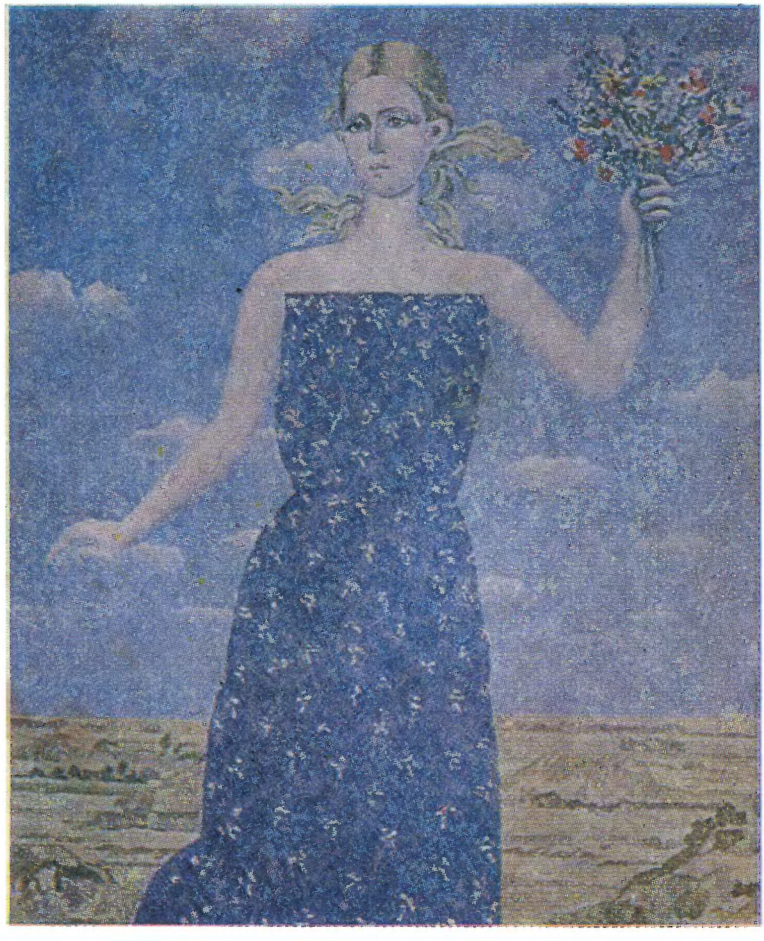
ISSN 0130 – 6545

9. 1985

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



ЛАЗАРЬ РОДИКА «Рабочие».

Цветные иллюстрации номера — работы румынских художников

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ с 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

9 сентябрь 1985

Содержание

Из болгарской поэзии

АЛЕКСАНДР ГЕРОВ, ДАМЯН ДАМЯНОВ, ПЫРВАН СТЕФАНОВ *(Перевод с болгарского Лорины Дымовой)* 3

ЭНН ТАЙЛЕР — Обед в ресторане «Тоска по дому» *(Роман. Перевод с английского Ф. Лурье)* 10

МИШЕЛЬ БОЛЬЁ — Из книги «Калейдоскоп» *(Перевод с французского и вступление И. Кузнецовой)* 93

ЛАДИСЛАВ БАЛЛЕК — Конь из Орландо *(Глава из романа «Акации». Перевод со словацкого Н. Замошкиной. Вступление Н. Шульгиной)* 98

Литературное наследие

СТЕФАН ЦВЕЙГ — Кристина Хофленер *(Роман. Перевод с немецкого Н. Бунина. Окончание)* 127

Критика

Вл. ГАКОВ — Ночь, которая не наступила *(Тема фашизма в англоязычной фантастике вчера и сегодня)* 185

К столетию Эдуарда Вэнса Палмера

Беспокойный свет искусства *(Предисловие и перевод с английского О. Зернецкой)* 193

Отклики, встречи, впечатления

М. ИЛЬИНСКИЙ — От сердца к сердцу 195

Трибуна переводчика

С. АПТ — Время и переводчик 201

Культура и современность

А. Б. ПЕРЕВЕРЗЕВ — Школа в кризисе: нужен еще один спутник? 207

Публицистика

БОРИС ПИЛЯЦКИН — Легендарная птица Зимбабве 212

Наши гости

ПИТЕР УСТИНОВ (Великобритания). *Запись беседы К. Кабановой* 238

Говорят советские издатели

В. ОСИПОВ—Углубляя сотрудничество, расширяя круг чтения... 241

Среди книг

Издано в СССР

Хосе Солер Пуиг о себе и о своих книгах ◆ Д. УРНОВ — Итоги больших ожиданий *(Николай Анастасьев. Обновление традиции. Реализм XX века в противоборстве с модернизмом)* 243

Издано за рубежом

В. ХОРЕВ — Судьба польского крестьянина *(Веслав Мысливский. Камень на камне)* ◆ СЕРГЕЙ БЕЛОВ — Серьезна ли «серьезная литература»? *(Дэвид Уэлдон. Виадук)* 247

Из месяца в месяц 251

На 1-й странице обложки — работа МИХАЯ РУСУ «День рождения».

© «Иностранная литература», 1985

Из болгарской поэзии

Перевод с болгарского ЛОРИНЫ ДЫМОВОЙ

АЛЕКСАНДР ГЕРОВ

■ ■ ■

Ах, жизнь.
Долго ль на тебя еще смотреть я буду
взглядом удивленного мальчишки?

■ ■ ■

Связала поэзия миры и вселенную,
подземные воды и горы нетленные,
и солнце, глядящее с синего свода,
связала с судьбой моего народа.

■ ■ ■

В груди, как зерно живое,
сердце счастливо бьется.
А высоко над землею
мое проплывает солнце.

Глядит на меня бессонно
и повесть мою читает.
И все страданья и стоны
спокойно во мне умирают.

Абсурд

Человек не может вынести счастья.
Мечты о счастье ему достаточно.

Нежность

Старым людям
надо прощать их капризы.
Они собираются в путь —
туда, где никто из нас еще не бывал.

© Александр Геров, 1979, 1982, 1983, 1985.

АЛЕКСАНДР ГЕРОВ (род. в 1919 г.)

Болгарский поэт, лауреат Димитровской премии, народный деятель искусства и культуры. Автор многих стихотворных сборников, в том числе «Мы — люди» («Ние хората», 1942), «Два миллиарда» («Два милиарда», 1947), «Лучшее» («Най-хубавото», 1958, 1970, 1979), «Свободный стих» («Свободен стих», 1967), «Пылинки» («Прашинки», 1973). Перу А. Герова принадлежат также сборники рассказов и стихи для детей. В русском переводе его стихи печатались в сборнике «Из современной болгарской поэзии» (М., 1976), в «Иностранной литературе» (1972, № 6) и других периодических изданиях.
Публикуемые стихотворения взяты из сборника «Лучшее» (1979), из журналов «Пламък» (1982, № 4; 1983, № 7) и «Септември» (1985, № 1).

Природа

На площади, где карнавал шумел,
я встретил нищего без рук, без ног.
От боли я, от гнева онемел
и ничего сказать ему не мог.

Средь гомона и шума карнавала
был этой встречей потрясен мой дух.
О, как в тот миг душа моя страдала,
какую горечь ощутил я вдруг!

Кто он — солдат, доживший до победы?
Иль поезд искалечил жизнь его?
Не знаю. Только понял я, что беды
на свете не обходят никого.

Зачем, зачем так этот мир устроен:
беда нас поджидает каждый час.
Кто скажет, почему наш мир раздвоен:
то боль, то радость обжигает нас.

Природа, ты страданию нас учишь
весь век, пока земной наш длится путь.
Зачем ты нас своей загадкой мучишь?
Поймем ли мы тебя когда-нибудь?

Время

Дом отдыха наш на лоне природы —
мы отдыхали в нем долгие годы.

Мы жили тут весело, мы загорали,
ходили на теннис и в карты играли.

Тут жили, дружили мы каждое лето —
и старые и молодые поэты.

Но быстрые годы прошли-пролетели.
И вот мы состарились, мы поседели.

И, в круг собираясь утром погожим,
теперь мы узнать друг друга не можем.

Автомат

Идет, не видя ничего,
по улице безмолвной.
Пронизывают дух его
невидимые волны.

Он связан с небом и землей,
со звездами высокими,
с травой душистой, молодой,
с ее хмельными соками.

Как автомат, он вдоль домов
шагает в тьму манящую,
и им командует любовь,
опасная, пьянящая.

Круг

Я не замкнутый круг...
Александр Вутимский

Я круг. Я замкнут. И заключено
во мне все то, что нужно нам для жизни.
А сердце — сладкий плод, оно полно
мечтами. В нем надежды, чувства, мысли.

И то, что в раннем детстве я постиг,
и чем владею с самого рожденья —
все превратилось в чувство, в рифму, в стих —
в его бескрайность и его паренье.

Я замкнутый, я неразрывный круг,
во мне заключены мечты, страданья.
И не желает стариться мой дух,
законы нарушая мирозданья.

ДАМЯН ДАМЯНОВ

Вечер

Довольно! Было радостно и тяжко.
Я целый день сражался, как боец.
И как кольчугу, потную рубашку
под вечер я снимаю наконец.
Я вешаю ее на спинку стула —
как хорошо, что ткань ее груба.
Она мое тепло в себя вдохнула,
моя судьба теперь ее судьба.
Она со мною вместе шла по свету,
когда меня он в гневе не щадил.
И даже в сушь неистового лета
для нас он каплю грязи находил.
И каплю солнца. И глоток надежды.
Нас жизнь не обходила стороной.

© Дамян Дамянов, 1976, 1984, 1985.

ДАМЯН ДАМЯНОВ (род. в 1935 г.)

Болгарский поэт, лауреат Димитровской премии, народный деятель искусства и культуры. Автор многих поэтических сборников «Если нет огня» («Ако нямаше огън», 1958), «Ожидание» («Очакване», 1960, 1968), «Как трава» («Като тревата», 1966), «Ты похожа на мою слезу» («Ти приличаш на моя сълза», 1969) и др. На русском языке вышла его книга «Пусть окно распахнется» (М., 1963). Публикуемые стихи взяты из антологии «Поэты апреля» (1976) и из журналов «Септември» (1984, № 6; 1985, № 4), «Пламък» (1984, № 10).

Рубашка — мой двойник. Моя одежда.
Она — пускай не я, но образ мой.
Как оболочка: без души, без сердца,
без кулаков — пустые рукава.
Но как легко в ней сердцу загореться
в минуты гнева или торжества!
Мне так привычны пятна и прорехи
на ней и на холсте узор простой.
Надежная, как рыцаря доспехи,
благодарю за горечь и успехи.
Спокойной ночи! Завтра снова в бой!

Деревушка

Я шел один дорогою ночною,
и в горький миг печали и безверья
чужая деревушка предо мною
гостеприимно распахнула двери.
Бездомного — под крышей приютила,
продрогшего — у очага согрела,
поверила и даже не спросила,
куда иду и по какому делу.
Не побоялась, что, укрывшись тьмою,
я украду хлеб-соль ее... И что же?
Я, уходя, и вправду взял с собою
ее любовь. Что в мире есть дороже?
Прошли года... Но с той поры далекой
я щедрость сердца только этим мерю.
...А мог бы я вот так же, без тревоги,
для путника, по жизненной дороге
идущего, открыть средь ночи двери?

Жизнь!

...И хоть сурова ты была со мной,
хоть был мой путь не легок и не гладок,
но как любил я свод твой голубой,
как хлеб твой горький был мне мил и сладок.
Хоть столько приходилось мне терять
и горевать — о том я не тоскую.
И если б жизнь могли мы выбирать,
я выбрал бы тебя, а не другую.

Поэзия

Утратил лишь во имя книги я
весь этот белый свет [1].

Атанас Далчев

Мне надоели строки, рифмы,
мои усилия напрасные...
Дни и без рифм неповторимы,
простые, светлые и ясные.
Теплом чудесным жизнь согрета
вещей привычных и естественных,
но прелесть исчезает эта
в стихах — пусть даже и божественных...

[1] Перевод М. Петровых.

Нет, хватит... Зелен дуб высокий,
трель соловьиная пленительна.
Я это превращаю в строки.
Зачем? И так жизнь удивительна!
Как мало я любил — я понял,
я трели пропустил весенние.
Живую жизнь я проворонил
лишь ради книг и вдохновения...
Но ведаю: наступит осень,
умолкнут песни соловьиные,
дубы листву печально сбросят,
простятся навсегда любимые —
тогда к нам все в стихах вернется:
порой ненастною и сонной
гербарий мой осветит солнце
и май, страницами спасенный.

ПЫРВАН СТЕФАНОВ

Похолодание

Найдену Вылчеву

Осенний ветер, вестник холодов,
в унылом парке шарики колышет.
И хор тревожных птичьих голосов
нам с каждым днем отчетливее слышен.

Да, птицы улетают... Все быстрей
бег облаков. Не вечно лету длиться.
На почерневшей ветке воробей
«Прагматики!» — кричит кружащим птицам.

© Първан Стефанов, 1978, 1982, 1984.

ПЫРВАН СТЕФАНОВ (род. в 1931 г.)

Болгарский поэт, заслуженный деятель культуры, автор пятнадцати поэтических сборников, среди них «Соколиные перья» («Соколови пера», 1956), «Путешествие к улыбке» («Пътуване към усмивката», 1964), «Бабье лето» («Циганско лято», 1968). Известен и как переводчик советской поэзии. По-русски его стихи печатались в сборнике «Из современной болгарской поэзии» (М., 1976).

Публикуемые стихи взяты из его сборников «Маленькие нашествия» («Малки нашествия», 1978), «Диагноз» («Диагноза», 1982), «Любовь, обойденная молчанием» («Премълчана любов», 1984).

Вот если б смог и он когда-нибудь...
И все ж, пожалуй, лучше, что не может.
Не потому, что труден дальний путь,
не потому, что страх пичугу гложет —

нет, просто нужно, чтобы кто-то жил
и в непогоду под родимым кровом
и чтоб сражался из последних сил
с зимой, с ее характером суровым.

Иначе... Если все мы улетим
туда, где ни морозов, ни лишений,—
то будет ли над домом виться дым,
когда вернутся гастролеры в день весенний?

Слова

Высокие слова твердить не ново,
за жизнь мы произносим их не раз,
всегда во имя самого святого
взывая к тем, кто будет после нас.

Но наступает час тоски и боли,
и рядом никого, и ночь темна.
...Слова, что были сказаны тобою,
теперь ты должен оплатить сполна.

Порой и жизнь отдать бывает мало
за те слова, за смысл, что ты им дал.
Так помни же, что в них твое начало.
Смотри же, чтоб достойным был финал.

Внезапно

От жизни, как от сновидения,
пытался отмахнуться я.
Откладывал дела,
свидания —
и так летела жизнь моя,
пока
с тоскою и досадою
не понял, что стряслась беда:
я сам себя всю жизнь откладывал...
Но на когда? Но на когда?

■ ■ ■

И вновь деревья расправляют крылья
зеленые
и ночью вместе с ветром
отважно полетят на Млечный Путь —
и будут ждать рожденья фей и гномов:
все прежние так безнадежно стары,
а в мире столько родилось детей...

Они назад вернутся на рассвете,
и вновь начнется буйный праздник красок,
и песен, и цветов, и ароматов —
я тоже буду пировать на нем...

Но вот...
Сегодня я смотрю устало
в окно, как будто мне лет сто — не меньше,
и с грустной понимающей улыбкой
прощаю краскам суету и буйство
(наступит осень, и они смирятся!).

...И вдруг весь мир вокруг преобразился —
по скверу женщина прошла беспечно,
нарушив каблучками ход секунд.
Признайся, друг, твои усилья тщетны:
жизнь —
лишь она одна царит на свете.
А ты твердишь о вечности, ты хочешь
природу обмануть...
Но что на свете
древнее и мудрее, чем она?

Зима

Зима воюет за свои права
и логикой своей нас покоряет.
Упорно, не скрывая торжества,
и мир и души заново ваяет.

Но лишь воскликнешь ты:— Она права!
Она одна на свете правду знает!—
как молодая светлая трава
с улыбкою ее опровергает.

■

ДЫМОВА ЛОРИНА ЕВГЕНЬЕВНА

Советская поэтесса, переводчица с болгарского. В ее переводе публиковались стихотворения Элисаветы Багряны, Андрея Германова, Божидара Божилова, Станки Пенчевой и других поэтов. Книга стихов Л. Дымовой «Журавль в небе» выпущена издательством «Советский писатель» в 1982 году.

ЭНН ТАЙЛЕР

Обед в ресторане «Тоска по дому»

РОМАН

Перевод с английского Ф. ЛУРЬЕ

1. ВЫ ДОЛЖНЫ ЭТО ЗНАТЬ

Незадолго до конца странная мысль пришла в голову Перл Тулл. Губы ее дрогнули, дыхание участилось, и сын, сидевший рядом, наклонился к ней.

— Вам бы надо...— прошептала она.— Вам бы надо было завести...

Вам бы надо было завести еще одну мать — вот что она имела в виду,— так же как мы завели еще детей, когда наш единственный ребенок едва не умер. Ее первенцем был Коди. Не Эзра, который сейчас сидел рядом, а Коди, шалун и непоседа, трудный мальчик, их поздний ребенок. Они с мужем решили: хватит одного. И вот Коди заболел крупом. В 1931 году болезнь эта считалась очень опасной. Перл совсем потеряла голову. Повесила над детской кроваткой байковую простыню. Поставила на горячую плиту сковородки, кастрюли, ведра с водой. Собирала под простыней пар. Мальчик дышал прерывисто и тяжело — казалось, что-то тащат сквозь утрамбованный песок. У него был сильный жар. Волосы прилипли к вискам. К утру он заснул. Перл уронила голову на грудь и уснула в кресле-качалке, так и не выпустив из рук металлическую перекладину кроватки. Бек был в отъезде — он вернулся домой, когда самое страшное осталось позади; Коди уже ковылял по комнате, правда, еще хлюпал носом и слегка покашливал, но Бек и внимания на это не обратил.

— Я хочу еще детей,— объявила ему Перл.

Он воспринял ее слова с удивлением, однако не без удовольствия. Напомнил, как она говорила, что слышать не может еще об одних родах.

— Я хочу еще детей,— повторила она, потому что во время болезни сына с ужасом думала: если Коди умрет, что у нее останется? Маленький, взятый в аренду домик, обставленный тщательно, с любовью, детская с картинками из сказок и, конечно, Бек. Но Бек вечно занят в корпорации «Таннер», чаще в разъездах, чем дома. И даже дома у него только и разговоров что о работе: кто преуспевает, кто разоряется, кто распускает сплетни за его спиной и возможно ли продвижение по службе в столь трудные времена.

© 1982 by Anne Tyler Modarressi

ЭНН ТАЙЛЕР — ANNE TYLER (род. в 1941 г.)

Американская писательница. Автор многих романов, в том числе «Если утро когда-нибудь настанет» («If Morning Ever Comes» 1964), «В поисках Калеба» («Searching for Caleb» 1976), «Блага земные» («Earthly Possessions», 1977), а также рассказов и литературно-критических статей.

В русском переводе опубликован роман «Блага земные» (М., 1980).

Роман «Обед в ресторане «Тоска по дому» вышел в Нью-Йорке в издательстве «Альфред А. Кнопф» в 1982 г («Dinner at the Homesick Restaurant» New York, Alfred A. Knopf, 1982). Он был удостоен Фолкнеровской премии американского ПЕН-клуба (1983).

— Не понимаю,— сказала Перл,— как это я могла решить, что нам достаточно одного ребенка.

Однако все оказалось не так просто, как она думала. Вторым был Эзра — такой милый и неуклюжий, что сердце разрывалось глядеть на него. Теперь она жила в еще большем страхе. Лучше было бы остановиться на Коди. Но и появление Эзры не стало ей уроком. После Эзры родилась Дженни, девочка,— какое удовольствие наряжать ее, причесывать то так, то эдак. Иметь девочку — роскошь, думала Перл, а все же не могла отказаться и от Дженни. И теперь она жила в постоянном страхе потерять не одного, а троих. И все-таки, считала Перл, мысль была неплохая: иметь «запасных» детей, подобно тому как покупают запасные шины или к каждой новой паре чулок бесплатно добавляют третий, запасной.

— Вам бы надо было позаботиться о запасной матери, Эзра,— сказала она. А может, только хотела сказать.— Вы такие неприспособленные.— Но, видно, не сумела произнести ни слова, так как услышала, что сын снова откинулся в кресле и перевернул журнальную страницу.

Весной 1975 года, более четырех лет назад, она стала терять зрение и с тех пор ни разу отчетливо не видела Эзру. Все расплывалось перед глазами, и Перл пошла к врачу выписать очки. Тот сказал, все дело в сосудах. Как-никак ей уже за восемьдесят. Но врач не сомневался, что дело поправимое. Он послал ее к другому окулисту, тот — еще к кому-то... В конце концов они пришли к выводу — помочь ей ничем нельзя. Необратимые возрастные изменения.

— Ну и развалина же я стала,— сказала она детям,— видно, зажилась на этом свете.— И усмехнулась. Положа руку на сердце, ей трудно было поверить в неотвратимость беды. Сначала она испугалась, потом примирилась. Храбро отшучиваясь, твердо решила гнать от себя мрачные мысли. Просто слышать о них не желала. И точка. Она всегда была волевой женщиной. Однажды, когда Бек был в очередной поездке, она два дня ходила со сломанной рукой, пока он не вернулся и не взял на себя заботу о детях. Это случилось вскоре после очередного их переезда, когда Бека опять перевели на другую работу. В чужом городе ей не к кому было обратиться за помощью. Вот и теперь, много лет спустя, она не стала принимать никаких лекарств, даже аспирина, ни у кого не искала сочувствия, ни о чем не расспрашивала.

— Доктор говорит, я слепну,— сообщила она детям, в глубине души не веря этому.

А зрение между тем ухудшалось с каждым днем. Ей казалось, будто свет разжижается, тускнеет. Спокойное лицо Эзры, которое она так любила, расплывалось. Теперь и при ярком солнце ей стало трудно различать его черты. Она замечала сына, лишь когда Эзра подходил совсем близко — большой, сутулый, с годами чуть пополневший. Она ощущала его уютную теплоту, когда он садился рядом на диван и рассказывал, что передают по телевизору, или разбирал фотографии в ее ящике; она так любила, когда он этим занимался.

— Что там у тебя, Эзра? — спрашивала она.

— Какие-то люди на пикнике,— отвечал он.

— Пикник? Что за пикник?

— Белая скатерть на траве. Плетеная корзина. Дама в широкой блузе с матросским воротником.

— Может, тетя Бесси?

— Тетю Бесси я бы узнал.

— Или кузина Эльза. Помнится, она любила такие блузы.

— Первый раз слышу, что у тебя была кузина,— удивлялся Эзра.

— И не одна,— отвечала она.

Перл откидывала голову и вспоминала своих кузин, теток, дядей, деда, от которого пахло нафталином. Удивительно, память ее будто

слепла вместе с ней самой. Она смутно представляла себе их лица, зато отчетливо слышала голоса, шелест крахмальных женских блузок, чувствовала аромат помады, лавандовой воды и резкий запах нюхательной соли, которую болезненная кузина Берта носила с собой в маленьком флаконе на случай обморока.

— У меня было много кузин,— говорила она Эзре.

Все они думали, что она останется старой девой. Стали выказывать деликатность, оскорбительную деликатность. Едва она появлялась на пороге, как разговоры о чужих свадьбах и родах мгновенно обрывались. Дядя Сьюард предложил ей поступить в Мередитский колледж, прямо здесь, в Роли, так что не надо будет уезжать из дому. Он явно опасался, что ему всю жизнь придется материально поддерживать племянницу и эта одинокая старая дева, прочно обосновавшаяся в комнате для гостей, камнем повиснет у него на шее. Но она отказалась: колледж не для нее. Она считала, что поступление в колледж будет равносильно признанию собственной несостоятельности.

Чем же объяснялись ее несчастья? Она была недурна собой. Маленькая, изящная, с нежной кожей и копной светлых волос. Только с годами волосы становились все более сухими и ломкими, а в изогнутых подвижных уголках рта залегли морщинки. Ее окружало множество поклонников, правда, все почему-то быстро теряли к ней интерес. Казалось, будто есть на свете какое-то волшебное слово, которое знали все, кроме нее,— многие девушки, гораздо моложе, без труда повыскакивали замуж. Не слишком ли она серьезная? Может, надо быть помягче? Опуститься до бессмысленного хихиканья, как эти безмозглые близняшки Уинстон? Она спросила совета у дяди Сьюарда, но тот только дымил трубкой и предлагал ей пойти на курсы секретарш.

Потом она встретила Бека Тулла, коммивояжера корпорации «Таннер», продающей на восточном побережье сельскохозяйственную технику и садовые инструменты. В ту пору ей было уже тридцать лет, а ему двадцать четыре. Человек толковый и молодой, Бек Тулл мог твердо рассчитывать на продвижение по службе. Был он тогда худой, длинноногий, с шапкой причудливо уложенных черных волос. Глаза лучились ослепительной, почти неземной голубизной. Кое-кто мог назвать его — как бы это сказать? — несколько экстравагантным, что ли. Человеком не вполне ее круга. И, разумеется, он был чересчур молод для нее. Перл понимала: некоторые считают, будто он ей не пара. Но ей-то что до всего этого? Она была наверху блаженства.

Они встретились в баптистском молельном доме. Перл очутилась там лишь потому, что ее подруга Эммалин была прихожанкой этого молельного дома. Сама Перл не была баптисткой. Она посещала епископальную церковь, хотя, по правде говоря, не верила в бога. Придя в молельню, она увидела там незнакомца, безупречно выбритого, в ярко-синем костюме. Это был Бек Тулл — спустя несколько минут он уже просил позволения навестить ее; из какого-то суеверного чувства она решила: Бек послан ей господом в награду за посещение баптистской молельни. К ужасу своей семьи, она стала прихожанкой молельного дома и на протяжении всех лет замужества продолжала посещать баптистские молельни в разных городах, чтобы у нее не отняли ее награду. (В конце концов, думала она, может, в этом и состоит подлинная вера.)

Ухаживая за Перл, Бек не появлялся без шоколада и цветов, а чуть позже и без более серьезных, с его точки зрения, подарков — проспектов с описанием товаров корпорации. Он подробно рассказывал о своей работе и планах на будущее. Сыпал комплиментами, которые смущали ее; только оставшись одна у себя в комнате, она упивалась ими. Бек уверял, что она — чрезвычайно образованная и утонченная барышня, он таких в жизни не встречал, что у нее изысканные манеры, что на всем белом свете нет более изящной женщины, чем она. Часто,

прикладывая ладонь Перл к своей, он восхищался ее крохотной ручкой. Вел себя вполне прилично, без вольностей, какие позволяют себе многие мужчины. И вдруг ему сообщили, что фирма переводит его в другой город. Бек и слышать не хотел о том, чтобы оставить ее одну, настаивал на немедленной женитьбе, хотел увезти с собой. И вот они, как она позднее вспоминала, впопыхах отпраздновали свою баптистскую свадьбу и потратили медовый месяц на переезд в Ньюпорт-Ньюс. Она даже не успела насладиться новизной своего положения. Некогда было похвастать перед подругами нарядами из приданого, поразить их блеском двух золотых колец — перстнем с жемчужиной и надписью: «Перл — жемчужине среди женщин», подаренным при помолвке, и тонким обручальным кольцом. Все было скомкано.

Они перебрались в другой город, затем в третий, в четвертый... Первые шесть лет это казалось делом несложным — у них не было детей. На каждый новый город она смотрела с надеждой и думала: может, именно здесь у нее родится сын. (Беременность приобрела для Перл теперь такое же значение, как некогда замужество,— сокровище, которое легко доставалось всем, кроме нее.)

Но вот родился Коди, и переезжать с места на место стало труднее. Она заметила, что дети осложняют жизнь. Понадобились доктора, школьные тетрадки, то, другое, третье...

Между тем она вдруг поняла, что вольно или невольно потеряла всякую связь с родственниками. Тетки и дяди умирали, а она, находясь вдалеке от них, ограничивалась лишь соболезнованиями, которые отправляла по почте. Дом, где она родилась, был продан какому-то человеку из Мичигана, кузины повыходили замуж за совершенно незнакомых людей, изменились даже названия улиц, так что, вернись она когда-нибудь в родной город, заблудилась бы.

Однажды, когда ей уже перевалило за сорок, ее как громом поразила мысль: ведь она понятия не имеет, какова судьба деда, от которого пахло нафталином. Не мог же он так долго жить? Значит, умер, и никто не посчитал нужным известить ее. Впрочем, не исключено, что извещение было отправлено по адресу трех-четырехлетней давности. Или ей все-таки сообщали о его смерти, а она в суете очередного переезда просто запамятовала об этом? Все могло случиться...

О, эти переезды! Для них всегда находился повод — возможность повышения по службе, более удобный район... А в результате, как правило, никаких существенных перемен.

Была ли тут вина Бека? Он отрицал это. А она не знала. В самом деле, ничегошеньки не знала. Он утверждал, будто его преследуют недоброжелатели. В этом мире, говорил он, полно мелких людишек. Она молча поджимала губы и вглядывалась в его лицо.

— Ты чего уставилась? — спрашивал он.— О чем думаешь? Во всяком случае, на жизнь я зарабатываю и не допущу, чтобы моя семья голодала.

Так и было. Но Перл не покидало чувство тревоги. Глядя по утрам, как этот пошловатый крикливый коммивояжер повязывает галстук, с нескрываемым самодовольством взбивает перед зеркалом свой влажный вычурный кок, укладывает расческу в нагрудный карман куртки, где лежали карандаши, ручки, линейка, блокнот и карманный манометр с отпечатанной на них броской рекламой, Перл понимала: на него положиться нельзя.

Вечерами за кружкой пива (не поймите превратно, он был человеком непьющим) Бек обыкновенно пел и при этом без конца тискал и мял руками лицо, немилосердно растягивая кожу. Она силилась понять, почему пиво заставляет его обходиться с собственным лицом так, будто это резиновая маска; перед сном кожа у него на лице растягивалась, щеки отвисали. Он пел свою любимую песню — «Никто не знает о моих страданьях». Никто не знал о них, кроме Христа. Может, так оно и есть, допускала она. Сама же не имела ни малейше-

го понятия, какие тайные мысли мелькали в этой голове, под копной черных волос.

В один из воскресных вечеров 1944 года он сказал, что не желает больше оставаться с семьей. Его переводят в Норфолк, и он полагает, что ему лучше переехать одному. Перл почувствовала, как внутри у нее что-то оборвалось, словно ее ударили под ложечку. И одновременно возникло острое любопытство, будто все это происходило не с ней, а с кем-то другим, в какой-то чужой жизни.

— Но почему? — спросила она довольно спокойно.

Он не ответил.

— Почему, Бек?

Он разглядывал свои кулаки. Прямо как задира школьник, пережидающий нотацию. Она заставила себя говорить еще спокойнее. Ведь надо же выяснить причину. Не объяснит ли он ей, в чем дело? Он сказал, что уже объяснил. Сгорбившись, она опустилась в кресло напротив и устремила взгляд на его левый висок с пульсирующей жилкой. Что-то на него нашло. К утру он передумает.

— Утро вечера мудренее,— сказала она.

Но он возразил:

— Я ухожу сегодня.— И пошел в спальню за чемоданом, вынул из шкафа свой костюм. Чтобы оттянуть время, Перл спросила, нельзя ли обсудить все как следует. Серьезно обдумать. К чему такая спешка?

Он переходил от комода к кровати, от кровати к шкафу, укладывал свои вещи. Их было не так уж много. Он управился минут за двадцать, потом глубоко вздохнул, и она подумала: ну, теперь наконец он мне все объяснит. Но он только сказал:

— Я не безответственный человек. Буду посылать тебе деньги.

— А дети? — спросила она, цепляясь за новую надежду.— Ты ведь будешь навещать их?

(Он приедет с подарками для детей, она откроет ему дверь — надушенная, в нарядном платье, щеки чуточку нарумянены. Она всегда считала, что косметика старит, но, возможно, она ошибалась.)

— Нет,— отрезал Бек.

— Что?

— Я не буду навещать детей.

У нее подкосились ноги.

— Я не понимаю тебя,— пробормотала она и подумала: должны же существовать какие-то особенные слова, более правдивые, чем все остальные, чтобы высказать бесспорную, всем понятную истину. Несомненно было одно: она не понимает его и не поймет никогда.

Они жили тогда в Балтиморе на Кэлверт-стрит. Детям было четырнадцать, одиннадцать и десять лет. Уже достаточно взрослые, они могли заподозрить неладное, если не соблюдать осторожность. Надо все время быть начеку. На следующее утро после ухода Бека она встала, как обычно, оделась, причесалась, сварила детям на завтрак овсянку. Коди и Дженни ели молча, Эзра рассказывал длинный бессвязный сон. (Только он один бывал по утрам весел и разговорчив.) Дети были недовольны, что в овсянке нет изюма. Никто не поинтересовался, где Бек. По понедельникам он часто уезжал, когда они еще спали. И случалось, отсутствовал целую неделю. Ничего необычного в этом не было.

В пятницу в конце вечера она сказала, что Бек задерживается. Он собирался повести детей в цирк лилипутов. Перл обещала пойти с ними вместо него. Минула еще неделя. Близких друзей у нее не было, и если в бакалейной лавке она встречала случайную знакомую, то говорила как бы невзначай, что, к счастью, ей сегодня не надо тратить мясные карточки. «Муж уехал по служебным делам»,— поясня-

ла она. Люди равнодушно кивали. Бек почти всегда находился в разъездах. Многие даже не знали его в лицо.

Ночами, особенно по пятницам, она лежала в темноте и прислушивалась к резкому цоканью каблуков по тротуару. Шаги приближались, потом удалялись. Она переводила дух. Вот идет еще кто-то. Наверняка это Бек. Она представляла себе, как нерешительно он войдет в дом, готовый к худшему — слезам детей, попрекам жены,— но ничего подобного, все будет как прежде. Дети бросятся к нему. Перл чмокнет его в щеку и спросит, удачная ли была поездка. В глубине души он будет благодарен ей — она сохранила тайну. Он сможет спокойно вернуться в семью — ведь только они двое знают, что он уходил. Для посторонних Тулл — счастливая семья. Они и впрямь были счастливой семьей. Всегда были так счастливы! Уверены друг в друге. Им часто приходилось переезжать. А это очень сближает. Он вернется.

Вдова дяди Сьюарда прислала ей поздравление ко дню рождения (сама она начисто позабыла о нем). Перл ответила сразу же. Поблагодарила за внимание. «Мы отпраздновали этот день дома. Бек удивил меня — преподнес очаровательное ожерелье... Передай привет родным»,— добавила она и мысленно увидела их всех в гостиной дяди Сьюарда. Что ни говори, она соскучилась по ним; но тут же Перл одернула себя, вспомнив, как они были уверены, что ни один мужчина не женится на ней. И разве может она теперь рассказать им обо всем?

Однажды к ней заехала ее старинная подруга Эммалин по дороге в Филадельфию. Перл сказала, что Бек в отъезде; им так повезло — наговорятся всласть!

Вместо того чтобы постелить Эммалин в комнате для гостей, она улеглась с ней на большую двуспальную кровать. Полночи сплетничали и хихикали.

Была минута, когда Перл захотелось взять Эммалин за руку и пожаловаться: «Знаешь, Эммалин, мне так худо». К счастью, она вовремя спохватилась. Минутная слабость прошла. Утром они проспали, и Перл пришлось в спешке собирать детей в школу, тут уж не до разговоров.

— Надо почаще встречаться,— сказала Эммалин перед отъездом.

— Бек очень огорчится, что не повидал тебя,— ответила Перл.— Ты же знаешь, он к тебе всегда хорошо относился.

На самом деле Бек утверждал, что Эммалин похожа на сурка.

Наступила пасха. Дженни предстояло участвовать в живых картинах. Подошел день праздничного представления, а Бека нет как нет. Дженни расплакалась: почему его вечно нет дома?

— Он не виноват,— объяснила Перл,— идет война, надо налаживать производство. Ничего не поделаешь, компания ни дня не может обойтись без него. Мы должны им гордиться.

Дженни вытерла слезы и стала всем говорить, как папа старается помочь, чтобы война скорее кончилась. К тому времени война уже настолько затянулась, что на слова Дженни никто не обращал внимания. Однако настроение у нее стало получше. Перл надела лихую шляпку с козырьком, вроде тех, что носили в Добровольном женском корпусе, и отправилась на живые картины одна.

Через месяц после своего ухода Бек прислал из Норфолка короткое письмо: у него все в порядке, и он надеется, что она и дети ни в чем не нуждаются. К письму был приложен чек на пятьдесят долларов. Смехотворная сумма. Все утро Перл бродила по дому, мысленно перечитывая письмо, в поисках скрытого смысла останавливаясь на каждом слове. Но какой может быть потаенный смысл в словах «вполне приличная квартира с горячей водой» или «управляющий отделом сбыта неплохо ко мне относится». Потом она стала думать о

деньгах. В полдень надела пальто и шляпку и пошла в соседнюю лавку братьев Суини «Бакалейные товары». В витрине там с давних пор висело пожелтевшее объявление «Требуется кассирша». Перл взяли сразу же. Младший из братьев Суини научил ее обращаться с кассовым аппаратом и сказал, что она может приступить к работе завтра утром. Когда дети вернулись из школы, Перл объяснила, что нашла себе работу. У нее слишком много свободного времени, и теперь, когда они подросли и стали более самостоятельными, ей надо заняться каким-нибудь делом.

Прошло два, потом три месяца. Бек ежемесячно присылал по пятьдесят долларов. В конверте со вторым чеком письма не оказалось. Перл подумала, что оно застряло, и разорвала конверт, но внутри было пусто. К третьему чеку Бек приложил записку, в которой уведомил о своем переезде в Кливленд, где корпорация намерена открыть филиал. Это хороший признак, считал он, что его решили перевести туда — «пригласить», как он выразился. Он всегда называл это не «переводом», а «приглашением». Приглашением принять участие в завоевании Запада. Хотя письмо начиналось с обращения «Дорогая Перл и дети», детям она его не показала, сложила аккуратно и присоединила к первому письму, спрятанному в комоде, в ящике с чулками, куда не сунул бы нос даже Коди. В четвертом письме снова был только чек. Она поняла: Бек не желает общаться с ней, а лишь поддерживает официальные отношения. И действительно, все это выглядело как «при сем прилагаю...». Она не собиралась отвечать. Но продолжала хранить его письма.

Что за мысли приходили ей в голову! Например: теперь у меня по крайней мере освободилось место в шкафу. И в комоде.

По ночам ей снилось: Бек снова тот удивительный человек, с которым она только что познакомилась. Он с обожанием смотрел на нее, и что-то непривычно замирало у нее внутри. Помогал переходить улицу, подниматься по ступенькам, заботливо поддерживал под локоть, обнимал за талию, нежно поглаживал по спине. Она млела от счастья. Просыпаясь, хотела только одного — вновь окунуться в свой сон. Она лежала с закрытыми глазами, не двигаясь, суеверно внушая себе, что еще не проснулась. Все было тщетно: сон не возвращался. Тогда она наконец вставала с постели и, будь то раннее утро или глубокая ночь, спускалась вниз, чтобы сварить себе кофе. Стоя с чашкой в руках у кухонного окна, смотрела на улицу, наблюдала, как светлеет над крышами небо; в оконном стекле она улавливала отражение своего осунувшегося лица, подбородка, который с годами утратил округлость, тревожный изгиб бесцветных бровей, светлые кудряшки над шрамом, пересекавшим лоб. Это действительно была не морщина, а шрам, след несчастного случая в детстве. Нет, она еще не постарела. Нисколько. Потом ей вспомнился сам несчастный случай. Она попробовала прокатиться на велосипеде своей кузины — первом велосипеде в их семье. Тогда его называли «колесо». Прокатиться на «колесе»! Сейчас, в 1944 году, велосипеды встречались на каждом шагу, но совсем другие, совсем не похожие на тот, первый. Ее дети умели кататься, и, если бы не война, у каждого из них наверняка был бы свой «ве́лик». Как летит время! Недавно ей исполнилось пятьдесят... Надежды на возвращение Бека улетучились. Наверное, он нашел себе молодую обаятельную женщину, которая будет рожать ему детей. И они смеются над тем, что в душе она, Перл, всегда была старой девой. И над тем, как она вздрагивала, когда он поворачивался к ней в темноте. Все в нем, даже спустя годы, пугало ее — колючие усы, пахнущая солью кожа, полнеющее тело. Как она не жалела сил, лишь бы в доме царил образцовый порядок: белье аккуратно разложено в шкафу по полкам, шторы на окнах тщательно расправлены. Как не научилась она пускать домашнее хозяйство на самотек, не обращать внимания на житейские мелочи — постоянно суетилась, что-то доделывала,

подправляла и, что хуже всего, сознавая тщетность своих усилий, не могла остановиться.

Он уже не вернется. Никогда.

Пора сказать детям. Удивительно, до чего долго ей удавалось скрывать от них правду. Неужели они еще верят ей? Успокаивало одно: узнав обо всем, дети станут внимательнее к ней. Даже самой себе больно признаться, но мальчики начали отбиваться от рук. Ни вынести мусор, ни по-мужски подставить плечо в трудную минуту — как с цепи сорвались, даже Эзра. Отлынивали от домашних дел, которые раньше с готовностью брали на себя, не говоря уж о новых обязанностях. Коди вообще редко сидел дома. Эзра, задумчивый и рассеянный, едва начав, бросал любое дело. Скажу им все напрямик, думала она. Дети придут в ужас от того, что огорчали ее. Наверняка спросят, почему она до сих пор молчала и о чем думала все это время.

Только она никак не могла начать разговор с ними.

Представляла себе, как это произойдет. Однажды вечером, после ужина, она зажжет лампу, усадит их рядом с собой на диван, скажет: «Дети, дорогие мои, вы должны это знать...» И, не в силах продолжать, разрыдается. А разве можно плакать перед детьми? И вообще перед кем бы то ни было? О-о-о, у нее есть своя гордость. А вот выдержки ей частенько не хватало... Она срывалась, отвешивала оплеухи, выкрикивала оскорбительные слова, а потом жалела об этом, но, слава богу, никто не видел ее в слезах. Такого она себе не позволяла. Она, Перл Тулл, торжественно отбыла с мужем из Роли и никогда не оглядывалась на прошлое. Даже сейчас, в полнейшем одиночестве, застыв у кухонного стола и вглядываясь в отражение своего поблекшего лица, она не плакала.

Каждое утро Перл отправлялась на работу в лавку братьев Суини. Сидела за кассой, не снимая шляпки,— будто забежала на несколько минут, чтобы в виде одолжения немного помочь им. Едва входила покупательница (из тех, кого она знала хотя бы в лицо), Перл, прищурившись, встречала ее гордым кивком и подобием приветливой улыбки. Она быстро выбивала чек, а мальчик Александр тем временем укладывал покупку в бумажную сумку.

— Благодарю вас и всего доброго,— произносила она и снова одаривала покупательницу мимолетной улыбкой. Казаться уверенной и деловой — вот чего ей так хотелось. Стоило появиться соседям, как внутри у нее все цепенело, но и тут самообладание не покидало ее. Со знакомыми людьми она держала себя еще увереннее. В работе соблюдала определенный ритм — нажимала на клавиши кассы, когда покупка скользила по деревянному желобу, ведь стоило отвлечься, и тяжелые мысли лавиной обрушивались на нее. Наступило лето, дети целыми днями пропадали на улице, бог знает, что они могли там натворить.

В половине шестого, возвращаясь домой, она проходила мимо подростков, игравших на тротуаре в классы или в шарики, мимо младенцев в колясках, которых вывозили на свежий воздух, мимо истомленных жарой женщин, сидевших возле своих дверей и обмахивавшихся веерами.

Вот и сегодня она подошла к крыльцу своего дома, поднялась по ступенькам. На пороге ее ожидали неприятные новости:

— Дженни упала с лестницы и рассекла себе нижнюю губу. Пришлось бежать к миссис Симмонс за льдом и примочкой.

— О Дженни, крошка!..

Казалось, дети специально приберегали для нее все свои беды. Ей не терпелось снять шляпу, сбросить туфли и прилечь на диван. Но не тут-то было! До нее доносилось:

— Туалет засорился... Я порвал штаны... Коди стукнул Эзру по голове кувшином для апельсинового сока...

— Неужели вы не можете оставить меня в покое? — спрашивала она.— Хоть на минуту?

Она приготовила ужин «без затей» — из консервов, которые принесла из лавки. Потом вымыла посуду, слушая радио. Дженни должна была вытирать тарелки, но убежала играть с братьями в салочки. Перл вышла во двор, выплеснула воду из таза. Остановилась взглянуть на детей: Коди и Дженни — темноголовые, подвижные, звонкоголосые — заливались громким смехом; Эзра, луч света в сумерках, подумала она... Иногда они играли с соседскими ребятами, но чаще втроем.

Перл вымыла голову, выстирала лифчик и крикнула Коди, чтобы тот позвал детей домой.

По вечерам она занималась домашними делами. Посмотреть на нее — нисколько не похожа на современную женщину: тонкая в кости, хрупкая, с впалой грудью. Казалось, ее фигуру сформировали прямые девичьи платья. Невозможно было представить себе, что Перл умеет ловко орудовать инструментами. Она шпаклевала трещины, стеклила разбитые окна, заменяла ступеньки на лестнице в подвал. Чинила выключатели и красила кухонные шкафчики. Даже в лучшие времена она все это делала сама: Бек был неумехой. «Весь дом держится на моих плечах»,— повторяла Перл с укоризной. Так оно и было. Это поднимало ее в собственных глазах. С самого начала их семейной жизни, поняв, что им придется переезжать с места на место, она стремилась каждое новое их жилье сделать как можно более совершенным — неприступным, нержавеющим, водонепроницаемым. Обосновываясь в очередном городке, не водила знакомства с новыми соседями — не посылала им торты в ответ на домашнее печенье, присланное по случаю их приезда. Одно желание властно владело ею — защитить свой дом. Как если бы ему грозил ураган. По ночам она просыпалась в тревоге и босиком спускалась вниз — проверить, не залило ли подвал. Воскресные прогулки не доставляли ей удовольствия — она боялась, что в ее отсутствие дом сгорит дотла. Видела как наяву: вот они возвращаются, а дома нет, и там, где был подвал, зияет яма. Перл догадывалась, что здесь, в Балтиморе, ее считали нелюдимкой, этакой ведьмой с Кэлверт-стрит. Подумать только! В детстве ей встречались такие ведьмы, она ничуть на них не похожа. Просто ей хотелось сделать что-то полезное: протереть окна, обить входную дверь. С инструментами в руках она чувствовала себя в родной стихии — ловкой, сноровистой, сильной. С легкой досадой, даже с осуждением думала она о детях — нет, не унаследовали они этих ее способностей. Коди нетерпелив, Эзра неуклюж, неловок, Дженни чересчур легкомысленна. Удивительно, размышляла Перл, как в любых мелочах проявляется характер человека.

Вот и в тот вечерний час, зажав в зубах гвозди, она прикрепляла отставшую половицу. До пол-одиннадцатого, возможно, до одиннадцати. Наконец на пороге появились дети, потные, грязные от возни во дворе. Они щурились от яркого света.

— Боже милостивый! Немедленно марш в постель! — распорядилась она.— Я же давным-давно звала вас домой.

А когда они тут же испарились, ей стало одиноко, хотя дети не баловали ее своим вниманием. Отложив в сторону молоток, она встала с пола, одернула юбку и, машинально приглаживая выбившиеся из пучка волосы, поднялась по лестнице в прихожую, прошла мимо маленькой комнатушки, где обитала Дженни, к себе в спальню, где мозолили глаза шаткий, отделанный под дерево шкаф из прессованного картона, комод без единой безделушки и огромная продавленная кровать. Потом одолела еще несколько ступенек, которые вели на третий этаж в душную комнату мальчиков. С завистью прислушалась к глубокому, ровному дыханию сыновей, потом спустилась на кухню. Дверь черного хода стояла распахнутой настежь, и в железную сетку билась мошкара. В соседних домах слышался смех,

хриплые звуки трубы, кто-то бренчал на расстроенном пианино «Чаттануга-чу-чу». Она захлопнула дверь, заперла ее на ключ и опустила бумажную штору. Поднялась к себе, сбросила одежду, надела ночную рубашку и легла в постель.

Ей приснился Бек и как после бритья от него пахнет тем же одеколоном, которым он душился, когда ухаживал за ней. Она успела позабыть, давным-давно не вспоминала этот запах, но теперь, во сне, вновь ощутила его — острый, жгучий, пряный. Пижонский, вызывающий запах, который кружил ей голову с того дня, когда Бек подъехал за ней к крыльцу дяди Сьюарда и она стремглав выбежала ему навстречу, так широко распахнув дверь, что та ударилась о стену, а Бек рассмеялся и сказал: «Собирайся в дорогу. Пора». А она стояла на пороге и улыбалась ему.

Говорят, запах не может присниться, тем более его нельзя вдруг вспомнить; вот почему она проснулась с мыслью, что Бек был здесь, сидел на краю кровати и смотрел, как она спала. Но в доме никого не было. Никто не приходил к ней.

Потанцуем? Да нет, вряд ли, мысленно ответила она, я тут хозяйка, и стоит мне на минутку отвлечься, как сразу же все полетит кувырком. Тот, кто пригласил ее, отошел. Эзра перевернул страницу журнала.

— Эзра,— позвала она.

Он замер. У него с детства была такая привычка — застывать на месте, когда к нему обращались. По-своему трогательно, конечно, но вместе с тем вызывает неловкость. Что бы она ни говорила ему теперь («сквозняк», «почтальон снова опаздывает»), он всегда огорченно замирал на месте. А разве можно расстраивать его? Перл натянула на себя одеяло.

— Я хочу пить,— сказала она.

Он налил в стакан воды из стоящего на комоде кувшина. Кусочки льда не звякнули о стекло, наверное, лед растаял. Хотя совсем недавно Эзра, кажется, принес довольно большую порцию льда. Эзра приподнял ее голову, поддержал своим плечом, поднес к губам матери стакан. Так и есть, теплая. Пусть... Она покорно, с благодарностью сделала несколько глотков, не открывая глаз. Плечо Эзры было таким надежным и удобным. Он осторожно опустил ее голову на подушку.

— Доктор Винсент придет в десять,— сообщил он.

— А сейчас сколько?

— Половина девятого.

— Утра?

— Да.

— Значит, ты пробыл здесь всю ночь?

— Я поспал немного.

— Поспи еще. Я не стану тебя беспокоить.

— Успеется, сперва с доктором поговорю.

Перл надо было любой ценой обмануть врача. Она не хотела в больницу. Судя по симптомам, у нее воспаление легких. В прошлые разы было так же — боль в спине все усиливалась. Если доктор Винсент обнаружит это, он незамедлительно отправит ее в больницу «Юнион мемориал», а там ее поместят в затянутую полиэтиленом кислородную палатку.

— Может, отменишь врача? — попросила она Эзру. — Мне гораздо легче.

— Пусть он решает, ему видней.

— Но мне лучше знать, Эзра.

— Не будем спорить,— возразил он.

Удивительное создание этот Эзра. То позволяет людям садиться себе на голову, а то в самый неожиданный момент проявляет желез-

ное упорство. Она вздохнула и провела рукой по одеялу. Похоже, Эзра расплескал воду.

Она вспоминала Эзру ребенком, когда он ходил в начальную школу.

— Мама,— сказал он однажды,— если бы вдруг на деревьях выросли деньги, на один-единственный день, ты бы разрешила мне не пойти в школу и нарвать их?

— Нет,— ответила она.

— Почему?

— Школа важнее.

— А другим ребятам мамы наверняка бы разрешили. Спорим?

— Значит, они не заботятся о том, чтобы их дети выросли настоящими людьми.

— Но на один-единственный день?

— Собирай свои деньги после уроков. Или до. Встань пораньше. Поставь будильник на час раньше.

— На час раньше? — сказал он.— На один только час? А ведь такое случается раз в жизни!

— Эзра, прекрати! Что ты пристал ко мне? Что за упрямство?

И только теперь, лежа под потным одеялом, она пожалела, что не сказала тогда: да, можешь оставаться дома. Если в один прекрасный день деньги будут расти на деревьях, пусть бы он собирал их в свое удовольствие сколько душе угодно! Вот что ей следовало сказать. Разницы-то никакой.

Да, она всегда была злой и вспыльчивой матерью. Нервы постоянно на пределе от забот, от одиночества. После ухода Бека приходилось без конца думать о том, как уплатить за аренду, как распределить деньги, чтобы купить ее распрекрасным деткам, на которых обувь просто горела, новые башмаки. Это она вызвала врача часа в два ночи, когда у Дженни начался приступ аппендицита; это она спустилась вниз с бейсбольной битой в руке в ту ночь, когда раздался подозрительный шум; это она закладывала уголь в раскаленную топку котла; она задала жару соседскому хулигану, когда тот избил Эзру; она заливала водой крышу во время пожара в доме миссис Симмонс. А когда Коди вернулся со дня рождения какой-то девочки пьяным, кто его отхаживал? Перл Тулл, которая спиртного и в рот не брала, разве что стакан легкого вина на рождество.

Потом Коди окончил среднюю школу, Эзра перешел в десятый класс, а Дженни превратилась в высокую юную девицу. Бек не узнал бы их. Да и они, пожалуй, не узнали бы его. Дети никогда не спрашивали об отце. Возможно, потому, что он не представлял для них большого интереса. Человек-невидимка, отсутствующее лицо. Перл ощутила прилив злобного удовлетворения. Похоже, она справилась с этим. Все прошло гладко — ни одна живая душа не догадалась ни о чем. Это была величайшая победа в ее жизни. Мое единственное настоящее достижение, подумала она (жаль, что не перед кем похвастать). Незаметно для себя она перестала посещать баптистскую молельню, ссылаться в разговорах на Бека, хотя в рождественских открытках продолжала сообщать родственникам в Роли, что у Бека все в порядке, он шлет им приветы.

Как-то вечером она выбросила его письма. Это решение не было обдумано заранее. Просто, разбирая ящики комода, она задалась вопросом: зачем понадобилось ей хранить письма Бека? В спальне рядом с ней стояла мусорная корзина, вот она и бросила туда: «...Похоже, меня ждет повышение... Местечко, подходящее для железнодорожной станции... И он сказал мне, что я делаю огромные успехи...» За последний год от него пришло всего три или четыре письма. Когда перестала она дрожащими руками вскрывать эти конверты и жадно проглатывать слова? Поняла наконец, что чело-

век, которого она продолжала оплакивать бессонными ночами, не имел ничего общего с тем, кто слал ей эти нудные строчки. «...В июне Эд Болл уходит на пенсию,— с тоской прочла она,— и я займу его территорию, которая известна самыми высокими доходами на душу *населения* в Делавэре...» Ее очень обрадовало, что в слове «население» он сделал ошибку.

Дети росли, у каждого из них началась своя жизнь. Сыновья стали помогать ей, подбрасывать деньги; Перл спокойно относилась к этому (она как должное брала деньги — когда-то у дяди Сьюарда, потом у Бека, теперь у сыновей. Женщины ее круга считали естественным, чтобы на жизнь зарабатывали мужчины). И когда Коди стал быстро продвигаться по службе, он купил дом, который они арендовали все эти годы, и однажды утром на рождество в виде подарка вручил ей права на владение. Самое время было распрощаться с бакалейной лавкой, но она все тянула и тянула, пока не стало сдавать зрение. Куда еще ей было девать свое время? «Пустое гнездо»,— говорили о ее доме. Теперь было принято называть это именно так. Странно, но лишь в преклонном возрасте, оглянувшись на прожитые годы, она поняла, сколь кратким был миг, когда ее гнездо не было пустым. Поразительнее всего, что пустым оно оставалось гораздо дольше, чем полным. А сколько сил вложила она в этих детей, кто бы мог подумать, что они так быстро разлетятся из дома.

Представляя себе детей в разные периоды их жизни — сперва они цеплялись за нее, позднее отдалялись и отходили,— Перл вспомнила, как они боялись темноты и она оставляла в коридоре зажженную лампу. Потом стала включать свет только в ванной, затем в конце коридора — и так в каждом доме, где они жили; когда дети подросли, лампочка горела лишь у лестницы на первом этаже, если кто-нибудь уходил из дома на целый вечер. Поэтому взросление детей связывалось в сознании Перл с постепенным ослаблением света, проникавшего в ее спальню, как будто дети, отдаляясь от нее, уносили его частицу. Надо было заранее подготовиться к этому, порой думала она. Завести друзей или вступить в какой-нибудь клуб. Но она была человеком иного склада. Вряд ли это утешило бы ее.

Прошлым летом ее однажды разбудил печальный голос какого-то популярного певца, исполнявшего по радио перед краткой проповедью Нормана Винсента Пила церковный гимн «Нас счастье ждет на небесах». «Мы встретимся на этом прекрасном берегу...» Она снова заснула. И во сне услышала от незнакомца, что «прекрасный берег» — это Райтсвилл-Бич в Северной Каролине, где они всей семьей — с Беком и детьми — один раз провели летний отпуск. По приезде, переодевшись в купальные костюмы, они сразу же отправились на пляж. Бек был очень хорош собой, да и сама она чувствовала себя весьма и весьма привлекательной; дети были еще совсем маленькие — миловидные, возбужденные мордашки, пухлые гельца. Ее поразила жизнерадостность всей семьи. Она протянула руки навстречу детям и — проснулась. Потом, говоря с Коди по телефону, она рассказала о своем сне. Как, мол, было бы хорошо, если б рай был городком Райтсвилл-Бич. И на том свете, на небесах, открыв глаза, они бы снова встретились на теплом, залитом солнцем песке, молодые, счастливые, как прежде, среди набегающих на берег давних волн. Но ее слова ничуть не растрогали Коди. Только и всего? — спросил он. И это она считает раем? Райтсвилл-Бич? Насколько ему помнится, именно там она целых две недели изводила их вопросом: выключила ли она дома электрическую плиту. Она хочет знать, что думает он по этому поводу? Неужели она полагает, что он останется ребенком на всю жизнь?

— Да что ты, Коди, просто я хотела...

Что-то с ним было неладно. Что-то было неладно со всеми ее детьми. Они так огорчали ее — все трое красивые, обаятельные, но какие-то неродные, противоестественно отчужденные, и она никак не могла понять почему. Ей казалось, что жизнь каждого из них отмечена каким-то пороком. Коди подвержен вспышкам безрассудного гнева. Дженни — сама неуравновешенность. Эзра так и не развил своих способностей (он стал владельцем ресторана на Сент-Полстрит — совсем не то, чего она от него ожидала). Она задумывалась, не винят ли дети в чем-нибудь ее. В тесном семейном кругу (с женами и отпрысками, навсегда чужими друг другу) они вспоминали только о бедности и одиночестве — об игрушках, которые были ей не по карману, о вечеринках, на которые их не приглашали. В особенности Коди, он постоянно твердил о ее вспыльчивости по отношению к детям, и тогда перед ней возникали изумленные детские лица, такие грустные, что она сама с трудом узнавала их. По совести говоря, думала она, пора бы за давностью простить ей все прегрешения. Ведь он уже взрослый и не вправе требовать с нее ответа за то, что было в прошлом.

А Бек? Он еще жив, хотя это уже не имеет значения. Вероятно, состарился. Она не сомневалась, что у него была тяжелая старость. Наверняка он носит парик с какой-нибудь нелепой молодежной прической или вставные зубы, неестественно белые и ровные. А галстуки и костюмы у него, как всегда, вызывающе крикливые. И что только она в нем находила? Перл закусила нижнюю губу. Единственная ее ошибка состояла в том, что она приняла черное за белое. И это, к сожалению, повлекло за собой столь далеко идущие последствия. Судьба могла бы проявить к ней больше милосердия.

Раз или два в год, даже теперь, от него приходили письма. (Однако едва Дженни отпраздновала свое совершеннолетие, как спустя два или три месяца он перестал посылать деньги. Возможно, забыл точную дату ее рождения, решила Перл.) Впрочем, это так похоже на него — никогда ему не хватало смелости сделать последний шаг. Прощаясь, он бесконечно мешкал, топтался в дверях, разглагольствовал и выстуживал комнату. Он написал, что ушел из корпорации «Таннер». Но по воле случая остался там же, куда его перевели последний раз,— в Ричмонде — и, видно, все еще разъезжал немного. В 1967 году он прислал открытку со Всемирной выставки в Монреале. А в 72-м еще одну — из Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси. Похоже, его побуждали к этому чрезвычайные обстоятельства — например, когда человек впервые высадился на Луну (событие, мало взволновавшее Перл, как и всех других серьезных людей). «Наконец-то! — писал он.— На этот раз мы, кажется, победили!» Возможно, этот неестественно преувеличенный восторг был вызван неумеренным потреблением алкоголя. Она поморщилась и разорвала открытку.

Позже, когда сдало зрение, ее корреспонденцией стал заниматься Эзра.

— Откуда это? — спрашивала она, протягивая ему конверт.— Я что-то не могу разобрать.

— Из Национальной оружейной ассоциации.

— Выбрось. А это?

— От республиканской партии.

— Выбрось. А это?

— Что-то от руки. Из Ричмонда.

— Выкинь.

Он не спрашивал почему. Ее дети не проявляли излишнего любопытства.

Ей приснилось: дядя запряг Принца и повез ее на конкурс, а она забыла стихотворение и стояла на сцене как немая, и вокруг все

шептались. Проснулась не в духе. Ей надо было прочесть стихи «Про парня Фрица». Она прекрасно имитировала диалекты, да и стихотворение знает назубок до сих пор. Память ее нисколько не ухудшилась. Перл с раздражением поправила подушку. До чего неудобно... Замялись края, подумала она и снова погрузилась в сон. На этот раз ей привиделось, будто в доме пожар. От жара кожа ее пересохла, шипение горящих волос отзывалось в ушах. Дженни бросилась наверх спасать свои побрякушки, звук ее шагов мгновенно угас, будто она провалилась в пропасть.

— Стой! — крикнула Перл и открыла глаза. Кто-то сидел рядом в кожаном скрипучем кресле.— Дженни? — спросила она.

— Это я, мама, Эзра.

Бедный Эзра. Наверное, совсем измучился. Разве не дочь обязана была ухаживать за ней? Перл знала, его пора отпустить, но никак не могла заставить себя сделать это.

— Наверное, ты хочешь вернуться в свой ресторан...— сказала она сыну.

— Нет, нет.

— Ты постоянно сидишь там, как наседка,— усмехнулась она. Потом принюхалась и добавила: — Эзра, ты не чувствуешь запах дыма?

— Что ты, откуда здесь дым? — спросил он (мягко, как всегда).

— Мне приснилось, что дом сгорел.

— Ничего подобного.

— Ты уверен?

Она помолчала. Мускулы ее напряглись, по телу разлилась боль.

— Эзра!..— не выдержала она.

— Да, мама?

— Может, на всякий случай проверишь?

— Что проверить?

— Дом, конечно. Проверь, не горит ли где? — Она понимала, что ему не хочется, и попросила: — Ну ради меня.

— Ладно.

Она услыхала, как Эзра поднялся с кресла и направился к двери. Похоже, он был в носках; она догадалась об этом по шелестящему звуку шагов. Он так долго не возвращался, что она не на шутку встревожилась. Напряженно вслушивалась в воображаемый рев пламени, но различала только гудки проезжавших мимо машин, мурлыканье радиоприемника, вмонтированного в электронные часы, треньканье велосипедного звонка под окном. Но вот Эзра вернулся, на лестнице раздались его тяжелые неторопливые шаги. Он не спешил, ничего страшного не произошло.

— Все в порядке.— Эзра снова уселся в кресло.

— Спасибо, сынок,— покорно поблагодарила она.

— Не за что.

Она услышала, как он взял журнал.

— Эзра,— окликнула она,— знаешь, о чем я подумала? Ты проверил подвал?

— Разумеется.

— Спустился в самый низ?

— Да, мама.

— Меня беспокоит, как работает котел.

— Прекрасно,— сказал он.

Значит, все в порядке. Ему можно верить. Мысленно пройдя из конца в конец по всему дому, Перл успокаивала себя, с гордостью отмечая, в каком порядке она его содержит. Заслонка в печи задвинута — от холода. Водосливы прочищены, краны плотно закручены. Однажды, услышав шипение воды, она, почти слепая, сама туго затянула гайку. Участок перед домом подметен, крыша не протека-

ет, холодильник мирно урчит на кухне. Все содержится как и положено по инструкциям.

— Эзра,— позвала она.

— Да, мама.

— Помнишь мою записную книжку, ту, в письменном столе?

— Записную книжку?

— Слушай внимательно, Эзра. У меня только одна записная книжка. Не маленький красный блокнот для телефонов, а черная записная книжка в моем столе, в ящике для письменных принадлежностей.

— Понял.

— Я хочу, чтобы всех, чьи адреса там записаны, пригласили на мои похороны.

Воцарилось тягостное молчание, будто она произнесла нечто неприличное.

— Похороны? — переспросил Эзра.— Ты же не умираешь, мама.

— Конечно нет, но когда это случится...

— Давай не будем...

Она замолчала, набираясь терпения. Он что, думает, она будет жить вечно? Это было бы так утомительно. Но Эзра верен себе.

— Я хочу,— повторила она,— чтобы пригласили всех... Ты слушаешь меня? Всех, кто записан в моей книжке.

Эзра молчал.

— Она лежит в ящике с письменными принадлежностями.

— В ящике с письменными принадлежностями,— повторил Эзра.

Наконец-то до него дошло. Он молча перевернул журнальную страницу, но Перл знала: он все понял.

Записная книжка совсем истрепалась, подумала она, пахнет мышами, бумага крошится под пальцами. Она пользовалась ею задолго до того, как стало плохо с глазами. Там была записана Эммалин, а ее нет в живых вот уже более двадцати лет. Миссис Симмонс тоже скончалась — в Сент-Питерсберге, штат Флорида, умерла и вдова дяди Сьюарда, а может, и его дочери тоже. Подумать только! Все, кто записан в этой книжке, уже в могиле. Все, кроме Бека.

Она вспомнила, что его адреса занимали целую страницу — она вычеркивала их город за городом, но продолжала вписывать все новые и новые, вплоть до последнего, считая, что в чрезвычайных обстоятельствах ей может потребоваться его помощь. Какие чрезвычайные обстоятельства она имела в виду? Трудно представить себе, что присутствие Бека могло бы хоть что-то облегчить. Вот бы увидеть его лицо, когда он получит извещение о ее похоронах. «Приглашение,— скажет он и изумленно воскликнет: — Надо же! В конце концов она первая оставила меня. Вот приглашение на ее похороны». Она отчетливо услышала его голос и засмеялась.

Пришел доктор и, чтобы согреться, постучал несколько раз ногой об ногу.

— Разве идет снег? — спросила она.

— Снег? Ничего подобного.

— Почему же вы так стучите ногами?

— Просто замерз.— Он присел на край ее кровати.— Ну и холодище, ноги прямо закоченели. Мои колени как барометр: сегодня ночью ударит мороз.

Она отмахнулась от его болтовни.

— Послушайте,— сказала она,— вас вызвали по недоразумению.

— Неужели?

— Я действительно чувствую себя хорошо. Может, и приболела немного, но сейчас мне гораздо легче.

— Ясно,— кивнул он и заледеневшими, сморщенными пальцами нащупал пульс на ее запястье. (Он был почти ровесником Перл и

собирался оставить практику.) Несколько минут он считал ее пульс, потом спросил: — И давно это началось?

— О чем вы?

— Где телефон? — обратился он к Эзре.

— Подождите, доктор Винсент! — крикнула Перл.— Подождите!

Он отпустил ее запястье, положил ладонь ей на руку, и она почувствовала, что он склонился над ней — пахнуло трубочным табаком.

— Что случилось? — спросил он.

— Ни в какую больницу я не поеду.

— Еще как поедете.

Он говорил отчетливо, по-видимому чуть громче, чем следовало, и смотрел в потолок.

— Я все обдумала,— сказала она.— Я не выношу скрипучих больничных коек, больничных запахов. Это убьет меня.

— Голубушка...

— К тому же, как вы знаете, мне запрещен пенициллин.

— Пенициллин? Но...

— Я принимала его в сорок третьем.

— Не утомляйте себя,— сказал доктор.— Я помню.

...А может, это случилось в сорок четвертом. В то время они с Беком еще были вместе. Из деловой поездки он привез детям игрушечный набор — лук, стрелы и мишень. На что он только тратил деньги! Они никогда не были состоятельными людьми, даже в лучшие времена. Он взял с собой этот набор в одну из воскресных прогулок за город и укрепил полотняную мишень на стволе дерева. Бек был не из тех, кто бессонными ночами перебирает в уме, что может случиться; о последствиях он никогда не задумывался. Она не знала, как все произошло (собирала букет сухих трав, спорт был уже не для нее), но каким-то образом в нее попала стрела. Тетиву натянул Коди, но это было не самое главное. При первой же размолвке она обвинила во всем не Коди, а Бека, который-де из чистого легкомыслия, если не намеренно, выстрелил из лука ей в самое сердце. Может, попал и не в самое сердце, а чуть повыше — где-то между грудью и плечом. Странное ощущение — как внезапная пощечина. Не боль, скорее нервное потрясение. А потом на ее любимой блузке проступило алое пятно.

— Ой! — вскрикнула она и, как была с букетом в руках, так и опустилась на землю. Потом ее пронзила боль. Бек с побледневшим от испуга лицом вытащил стрелу. Дженни расплакалась. Они тут же вернулись домой, забыли даже снять с дерева мишень. Дома кровотечение прекратилось, и как будто ничего страшного. Перл смазала рану йодом и сама перевязала ее. Однако спустя два дня заметила неладное. Рана воспалилась, поднялась температура. Бек снова уехал, и Перл пришлось идти к врачу одной. Задыхаясь, она торопливо напялила шляпку — успеть бы вернуться домой до прихода детей из школы. В те годы доктор Винсент только начинал практиковать после службы в армии. Она помнила, что у него была тогда густая шевелюра и он еще не носил очков. Он сделал ей укол пенициллина, чудодейственного лекарства, о котором, по его словам, впервые узнал за океаном. По дороге домой она чувствовала себя превосходно, как обычно бывает с пациентами, когда врач берет на себя ответственность за исход болезни. Но в тот же вечер она слегла. Выступила сыпь, ее стало знобить, перед глазами змеился неясный, подернутый дымкой пейзаж. Коди вызвал «скорую». Когда кризис миновал, все в больнице обращались с ней так сурово, словно случилось это по ее вине.

— Вы чуть не отправились на тот свет,— выговаривала сестра. Но это была глупость. Ни о какой смерти не могло быть и речи — ведь у нее дети. А раз у человека есть дети, он обязан жить. Она

закрыла глаза, стараясь не слушать сестру. И вдруг в палате появились два врача, придвинули стулья к ее кровати и стали торжественно разъяснять, что такое для нее пенициллин. Никогда, ни под каким видом ей нельзя принимать это лекарство. И в записной книжке при ней всегда должны быть специальные указания на сей счет. Перл не очень-то вникала в их слова (она обдумывала, как бы уговорить врачей поскорее выписать ее из больницы домой, к детям), но «Это не должно повториться. Второй подобный случай может оказаться для вас смертельным» врезалось ей в память. Поразило ее. Как в сказке, подумала она. Волшебный напиток, который может спасти только один раз в жизни. И вот она прибегла к нему по такому пустячному поводу — какая-то ничтожная ранка от стрелы. Чудес больше не будет! Впоследствии пенициллин стал широко распространенным лекарством, и ее внукам кололи его когда надо и не надо. А она без конца повторяла, как и что с ней случилось, и сокрушенно твердила: «Счастливые вы люди, а мне, бедной, теперь приходится остерегаться любой инфекции. Не дай бог слечь от ангины или воспаления легких».

Воспаление легких.

В ушах стоял гул, и собственный голос словно тонул в потоках воды. Прежде чем заговорить, надо было выждать, пока этот гул немного утихнет.

— Доктор Винсент,— позвала она.

— Я здесь.

Кажется, он все еще держал ее руку. Но пальцы его были уже не такие ледяные. Согрелись, ведь ее рука была горячая, как печка. Она собралась с силами.

— Скажите Эзре, что я остаюсь дома.

— Но...— попытался возразить он.

— Я знаю, что делаю.

Доктор промолчал.

— Скажите ему,— настойчиво продолжала она,— что у меня ничего страшного. Понимаете? Никаких больниц. Я не выдержу этого. Не выношу, когда через громкоговорители вызывают каких-то незнакомых врачей. Скажите Эзре, что у меня просто легкая простуда. Скажите ему.

— Ну что ж...— Доктор Винсент откашлялся, убрал ладонь с ее руки.— Это ваше последнее слово?

— Да.

Он как будто что-то обдумывал. Потом обратился к Эзре:

— Вы слышали, что она говорит?

— Да,— ответил Эзра. Видимо, он стоял гораздо ближе, чем ей казалось.

— И все-таки я бы рекомендовал вам вызвать брата и сестру.

Слова эти пробудили у Перл проблеск интереса.

— Но если это так серьезно...— заговорил Эзра.

— Посмотрим, как пойдут дела.— С этими словами доктор опустил ладонь на ее лоб.

Потом он вроде бы ушел. У нее снова заложило уши, и она не расслышала его шагов.

Она все думала о Коди и Дженни. Как славно было бы, если б ее дети собрались все вместе. И вдруг в глубине груди разлился леденящий холод. Неужели, мелькнуло в голове, доктор Винсент может это допустить! Да, он в самом деле не исключает такую возможность. Выходит, это конец... Не может быть...

В последние годы она не раз думала о смерти, но вот что не приходило ей на ум: расставшись с жизнью, человек так и не узнáет, что же будет после него. Вопросы, которые он задавал сам себе, так навсегда и останутся без ответа. Устроит ли свою жизнь вот этот ее сын? Научится ли другой быть счастливым? Узнáет ли она, что хо-

тел сказать тот или иной человек? Оказывается, все эти годы она ждала, что случайно встретит Бека. Странно, она не признавалась в этом даже самой себе. Она надеялась также, что в один прекрасный день наступит озарение и ей неожиданно откроется какая-то тайна — придет время, и она проснется более мудрой, умиротворенной, терпимой. Но этого не произошло. И теперь уже не произойдет никогда. Она надеялась, что в последний час, на смертном одре... На смертном одре! Ну что ж, будут самые обычные, а не пышные похороны с музыкой, как она себе это представляла. Она думала, что в смертный час, когда дети соберутся вокруг нее, она скажет им напоследок что-то очень важное. Но ничего важного не было. И сказать нечего. Ей стало как-то неловко, она почувствовала неуверенность в себе. Нервно вытянула ноги и попыталась найти на подушке прохладное место.

— Дети,— сказала она. Это было накануне отъезда Коди в колледж, в тот день, когда она сожгла письма Бека. — Дети, я должна рассказать вам...

Коди в это время рассуждал о работе. Ему необходимо было найти заработок, чтобы платить за обучение.

— Я мог бы работать в студенческом кафетерии,— сказал он,— или где-нибудь в городе. Пока не знаю точно, где именно...

Услышав голос матери, он оглянулся.

— Я хочу поговорить с вами о вашем отце,— сказала Перл.

— Я бы выбрала кафетерий,— посоветовала Дженни.

— Я без конца говорила вам, дорогие мои,— сказала Перл,— что ваш отец постоянно находится в служебных разъездах...

— Но в городе будут больше платить,— возразил Коди,— в моем положении каждый цент на счету.

— Зато в кафетерии ты будешь среди однокурсников,— сказал Эзра.

— Точно, я думал об этом.

— Ох, это совместное обучение!— воскликнула Дженни.— Болельщики, девчонки в белых гольфах.

— Барышни в свитерах,— добавил Коди.

— Я хочу объяснить вам кое-что насчет вашего отца,— повторила Перл.

— Выбирай кафетерий,— сказал Эзра.

— Дети...

— Конечно, кафетерий,— решили они.

И с удивлением посмотрели на нее немигающими, бесстрастными серыми глазами, как две капли воды похожими на ее собственные.

Ей приснился день ее девятнадцатилетия, когда этот коварный Джон Дюпри принес ей коробку шоколада и ленту для волос из кожи медного оттенка. «Ох, Джон, ну и хитрец же ты! Возьми конфетку»,— сказала она. Во сне ее поразила мысль, что Джона Дюпри нет в живых уже шестьдесят один год. Он погиб в Аргоннском лесу в схватке с немцами. Она вспомнила, как пришла выразить соболезнование его матери, но та никого не принимала. «Наверное, все это ошибка»,— сказала Перл Джону Дюпри и скрепила волосы лентой из кожи медного оттенка.

— Надо вызвать «скорую»,— сказала Дженни. — Что происходит с доктором Винсентом? Он случайно не выжил из ума?

— Для своего возраста он в полном порядке,— ответил Эзра.

Как всегда, он, видимо, не понял самого главного. Даже Перл это было ясно. Дженни то ли вздохнула, то ли резко повернулась, отчего зашуршала ее юбка.

— Хорошо, что вы меня вызвали. Я приезжаю и застаю здесь полнейший развал.

— Ничего у нас тут не разваливается.

— Так почему же она лежит в таком состоянии? Ей, наверное, трудно дышать. Где та большая зеленая подушка, которую для нее сделала Бекки?

Перл меж тем снова окунулась в прошлое, в это мгновение она ждала «скорую помощь», чтобы врачи обработали ее пораненное стрелой плечо. А потом готовилась к рискованному спуску по лестнице на носилках. Упоминание о Бекки вернуло ее к действительности. Бекки была ее внучкой, старшей дочерью Дженни.

— Дженни,— выдохнула она.

— Как ты себя чувствуешь?— спросила Дженни.

— Коди тоже здесь?

Кажется, Коди не было. Дженни наклонилась поцеловать ее. Перл погладила дочь по голове и поняла, что та скверно подстрижена: пряди волос — даже на ощупь — были неровными, но на этот раз она не упрекнула Дженни (у Дженни были красивые густые волосы, однако она не ухаживала за ними, будто внешность не имела для нее никакого значения).

— Хорошо, что ты приехала,— сказала Перл.

— А как же иначе? Я же волнуюсь, ведь ты наша единственная мама.

Круг замкнулся, подумала Перл.

— Вам бы надо было иметь запасную мать,— сказала она.

— Ты это о чем?

Она не стала повторять. Отвернулась к стене с внезапным раздражением. Почему они не позаботились о запасной матери? Все эти годы, пока она была их единственной матерью, единственной опорой, одиноким высоким деревом на пастбище, ожидающим удара молнии... Ну что ж... Мысли ее путались.

— Ты привезла детей?

— На этот раз нет. Они остались с Джо.

Джо? Ах да, это ее муж.

— А почему нет Коди?— спросила Перл.

— Ты ведь знаешь, как трудно его разыскать,— сказал Эзра.

— Мы считаем, тебе надо лечь в больницу,— заявила Дженни.

— Спасибо, дорогая, но мне что-то не хочется.

— Ты плохо дышишь. Куда девалась подушка, которую тебе сделала Бекки, когда была маленькая? С таким воодушевляющим изречением: «Спи, о верный воин, на каменной резной своей подушке».

Дженни хихикнула, и Перл улыбнулась, представив себе, как дочь привычным жестом прикрывает рукой рот, словно она смущена, поражена и совершенно беспомощна перед нелепостью жизни.

— И все-таки,— сказала Дженни, овладев собой.— Ты согласен со мной, Эзра?

— Насчет чего?

— Насчет больницы.

— Хм-м-м... — промычал он.

Наступила тишина. Даже такие мелочи, подумала Перл, могут столько сказать о моих детях, в том числе о Коди. Самый факт его отсутствия говорит за себя. Пожалуй, это главная его особенность. А Дженни всегда такая энергичная и легкомысленная, но... ее можно назвать и скрытной. Копия матери, ничего своего. А Эзра, мягкий, добрый Эзра, наверное, смущенно теребит светлые, падающие на лоб волосы и — весь в сомненьях — думает и передумывает...

— Как бы тебе сказать?— пробормотал он.— Не знаю. Может, подождем немного...

— Что значит «немного»? Сколько можно тянуть?

— Может, до вечера, а может, до завтра...

— «До завтра»! А если у нее воспаление легких?

— А может, это простуда.

— Да, но...

— Зачем нам класть ее в больницу, если она об этом и слышать не хочет?

— Нет, но...

Перл слушала их и улыбалась. Она знала наперед, чем все кончится. Они будут часами спорить, вторя друг другу, задавая одни и те же вопросы, уклоняясь от главного, споря во имя спора, и разойдутся, так и не придя ни к какому решению.

— Вы никогда не умели справляться с трудностями,— добродушно сказала она.

— Да что ты, мама?

— Вы всегда уходили от них.

— Уходили?

Она снова улыбнулась и закрыла глаза.

До чего же приятно было наконец плыть по течению. Почему она медлила так долго? Шум уличного транспорта — рожки, звонки, обрывки музыки — смешивался со звуками голосов в ее комнате. Она по-прежнему блуждала во времени, но это уже не имело значения, все воспоминания были только приятными. Дуновение ветра летней ночью, когда он проникает в дом, колышет занавеси, приносит аромат смолы и роз. Блаженная тяжесть спящего ребенка на плече. А как уютно гулять под дождем, когда капли стучат и стекают по зонту. Она вспомнила сельский аукцион, на котором была сорок лет назад. Там продавалась старинная латунная кровать с полным комплектом постельного белья — простыни, одеяла, подушка в льняной, расшитой незабудками наволочке. Двое мужчин вывезли кровать на помост, и оборка покрывала колыхалась, словно девичья нижняя юбка. Закрыв глаза, Перл Тулл представила себе, как взбирается на кровать, кладет голову на подушку и течение уносит ее к берегу, где трое маленьких детей, смеясь, бегут ей навстречу по залитому солнцем песку.

2. УЧИТЬ КОШКУ ЗЕВАТЬ

Пока отец укреплял мишень на стволе дерева, Коди примерялся к луку: натянул тетиву, прижался к ней щекой и стал целиться. Отец забивал гвозди ботинком — он не догадался захватить с собой молоток. Какой у него дурацкий вид, подумал Коди. У отца не было одежды для воскресных прогулок, как у других отцов, и он отправился за город в помятом коричневом, в рубчик коммивояжерском костюме, белой крахмальной рубашке и ярко-синем галстуке с рассыпанными по нему разноцветными квадратиками и кружками. О том, что день воскресный, можно было догадаться, лишь когда, вбив последний гвоздь, отец обернулся — узел не был затянут, и галстук съехал на сторону, как у пьяного. Надо лбом у отца торчал хохолок. Волосы у него были такие же черные, как у Коди, но вьющиеся.

— Ну, теперь порядок!— сказал он и тяжело зашагал обратно, все еще держа в руке ботинок и припадая на одну ногу. Он то ли улыбался Коди, то ли щурился от солнечного света. Весна еще толком не наступила, но в воздухе ощущалось живительное тепло, и бледное солнце расплескивало его на плечи Коди. Он достал из картонного футляра стрелу и наложил ее на тетиву.

— Не торопись, сынок,— посоветовал отец,— все надо делать как следует.

Опять лекция... Сейчас начнет воспитывать... Коди со вздохом опустил лук. Отец нагнулся и стал надевать ботинок, не расшнуровывая его (мать ненавидела эту привычку). Сквозь черный вискоз-

ный носок просвечивала пятка. Коди отвернулся. Ему исполнилось четырнадцать, и он уже перерос эти семейные прогулки, а тем более такие развлечения, как лук и стрелы; другое дело, если бы ему их просто подарили — тогда можно было бы устроить состязание с друзьями или пострелять в оконные стекла и уличные фонари. Ну и выдумки у папаши! Одна глупее другой. Мать, совершенно равнодушная к спорту, собирала у изгороди засохшие цветы. Маленькая сестренка застегивала кофту посиневшими, в цыпках, руками. Одиннадцатилетний брат Эзра жевал соломинку и тихонько напевал, явно скучая по своей бамбуковой дудке с шестью дырочками для пальцев,— он все время наигрывал на ней разные песенки.

Эзра тайком прихватил сюда дудочку, но отец велел оставить ее в машине.

Двое закадычных приятелей Коди в это самое время смотрели кинофильм «Воздушный флот» с Джоном Гарфилдом и Фэй Эмерсон. Коди дорого бы дал, чтоб очутиться сейчас вместе с ними.

— А левую руку держи вот так,— объяснял отец.— Не напрягая запястье. Понял? И не горбись. В инструкции говорится, что именно стрельба из лука помогала развивать правильную осанку. Раньше люди ходили сутулые — все, кроме лучников. Ты ведь наверняка об этом не знал?

Нет, Коди об этом не знал. Он стоял как глиняное изваяние, а отец подталкивал его с разных сторон, словно придавая ему нужную форму.

— В старые времена...— начал было рассказывать он.

И тут Коди спустил тетиву. Зумм... Задев самый край мишени, стрела отскочила и упала на корни дерева.

— Это еще что за фокусы?— спросил отец.— Разве я дал команду стрелять? А?

— Она сорвалась,— ответил Коди.

— Что значит «сорвалась»?

— Все равно отскочила бы. Слишком твердый ствол...

— Это еще неизвестно,— возразил отец.— Торопишься, как всегда. И когда только ты научишься держать себя в руках?!

Продолжая ворчать, отец (сам не умевший держать себя в руках, о чем мать не раз говорила ему) бросился к мишени, сбивая на ходу головки засохших цветов. Семена и сухие стручки кружились в воздухе.

— Что за олух! Все пропускает мимо ушей! И зачем только я стараюсь?— бормотал отец.

Заслонясь рукой от солнца, мать спросила:

— Попал?

— Нет, конечно. Как можно попасть в цель, если он даже не дослушал меня до конца.

— В цель, как известно, попадают без предварительных объяснений,— буркнул Коди.

— Что ты сказал?

— Теперь пусть Эзра попробует,— предложила мать.

Отец поднял стрелу и воткнул ее в самое яблочко, в центр мишени.

— Ну? Будешь говорить мне, что она не вонзается? — спросил он у Коди. Стрела держалась прочно.— Посмотри: стальной наконечник. К тому же у этого дерева пористая кора. Я специально выбрал его. Ты мог бы запросто всадить стрелу в мишень.

— Ха-ха,— сказал Коди и пнул ногой комок земли.

— Что ты сказал, сын?

— Пусть попробует Эзра,— повторила Перл.— Бек, пусть Эзра попробует.

Эзра был ее любимцем. В семье об этом знали все.

Эзра смутился, перебросил соломинку из одного уголка рта в другой.

Бек подошел к ним.

— Не знаю, не знаю. Иногда меня просто удивляет...— ворчал он.

— Эзра, сынок, попробуй теперь ты попасть в эту мишень,— сказала Перл.

Бек взглянул на Коди не то с сочувствием, не то с отвращением и вынул из картонного футляра новую стрелу.

— Ну что ж, Эзра, давай попробуем. Только не торопись, как Коди.

Не выпуская соломинки изо рта, Эзра подошел к Коди и взял у него лук.

Вот смеху-то будет! Такого размазню днем с огнем не найдешь. Он и стоять-то как следует не умеет. Все у него не по-людски. Эзра выставил локти, точно крылья, пряди растрепанных светлых волос падали ему на глаза.

— Погоди, погоди,— повторял Бек,— ну, в чем дело?

Он ходил вокруг Эзры, расправляя его плечи, показывал, как правильно держать лук. Эзра не сопротивлялся. Мысли его были заняты чем-то другим. Его внимание, по всей видимости, привлекло проплывающее в небе облако.

— Ну ладно,— сдался в конце концов Бек.— Стреляй. Слышишь?

Эзра спустил тетиву. Стрела молнией полетела вперед по прямой, не описав ни малейшей дуги, словно ее направляла какая-то невидимая нить,— может, это была чистая случайность, но стрела Эзры расщепила стрелу, которую Бек воткнул раньше, и, трепеща, вонзилась в самый центр мишени. Воцарилось напряженное молчание. Его нарушило восклицание Бека:

— Нет, вы только посмотрите!

— Ай да Эзра,— сказала Перл.

— Эзра,— закричала Дженни,— погляди, что ты сделал с этой стрелой!

Эзра вынул соломинку изо рта.

— Я нечаянно,— сказал он. (Он вечно все ломал.)

— «Нечаянно»? — переспросил Бек срывающимся голосом. Помолчал и, овладев собой, продолжал:— Так-то, сынок. Это лишний раз подтверждает, как важно следовать инструкции. Ты только взгляни, Коди! Видишь? В самое яблочко! Если б ты слушал меня так же внимательно, а не спешил как угорелый...

С этими словами он направился к мишени, продираясь сквозь заросли. Дженни со всех ног бросилась за отцом, чтобы поспеть первой. Поэтому Коди не мог сразу же стрелять, хотя у него и чесались руки. Он должен, во что бы то ни стало должен расщепить вторую стрелу, как Эзра расщепил первую. Что, собственно, мешает ему сделать это? Он сам дрожал, как натянутая тетива. Коди наклонился, вынул из картонного футляра новую стрелу. Натянул тетиву, прицелился — сначала в сухой куст, затем в пропыленный синий галстук отца и, наконец, в Эзру. Тот, как всегда, задумчиво брел куда-то. Коди прицелился в светловолосую растрепанную голову брата.

— Зумм... Бум-бум! Попался!

Эзра медленно повернулся и увидел Коди.

— Не надо!— закричал он.

— Ага!

Эзра бросился ему навстречу, по-дурацки размахивая руками.

— Перестань, перестань, перестань!— кричал он.— Перестань!

Неужели он и в самом деле решил, что Коди выстрелит в него? Коди не сводил глаз с брата. Раскинув руки, Эзра прыгнул ему навстречу. Он, как любовник, сжал Коди в своих медвежьих объятиях

и повалил на спину. У Коди перехватило дух. Он лежал, задыхаясь под тяжестью теплого костлявого тела Эзры.

А куда же девалась стрела?

В конце концов Коди удалось сбросить Эзру и сесть. Оглядевшись, он увидел, что мать, опираясь на руку отца, идет к ним, а на плече ее блузки алеет кровавое пятно.

— Перл, боже мой, Перл!— повторял отец.

Коди повернулся и посмотрел на Эзру, бледного и растерянного:

— Вот видишь? Видишь, что ты наделал?

— Я?!

— Ну, а теперь давай в меня,— сказал Коди.

Он поднялся на ноги — и пошел прочь.

В один из будних дней, когда отец был в отъезде, мать отправилась в магазин купить кое-что к ужину, а Эзра и Дженни делали уроки, Коди прострелил из пневматического ружья кухонное окно. Потом он выскользнул во двор, просунул в образовавшуюся дырку длинную леску с привязанным к ней ржавым ключом и, возвратясь на кухню, подтянул леску, так что ключ уперся снаружи в оконное стекло. Леску он прижал к подоконнику цветочным горшком.

Когда мать вернулась из магазина, Коди сидел за кухонным столом и раскрашивал карту Азии.

Покончив с уроками, Дженни и Эзра вышли во двор. Всю неделю Эзра учил Дженни отбивать мяч (в школе она играла хуже всех). Едва они вышли за дверь, Коди подкрался к окну. В сумерках он увидел: брат и сестра заняли свои места во дворе, отгороженном от соседей кустарником. Они стояли до смешного близко друг к другу; Дженни — возле самого дома — робко подняла над головой биту, будто готовясь прихлопнуть какого-то крохотного зверька. Эзра мягко подал ей мяч. Он и сам-то был не из лучших игроков. Дженни резко, со свистом размахнулась битой — мяч пролетел мимо, и она подобрала его среди мусора возле черного хода. Потом она ударила по мячу, да так неловко, что Коди с удивлением подумал: зачем Эзра с ней столько возится? Эзра поймал мяч и снова послал его Дженни. Когда мяч летел к дому навстречу бите, Коди схватил конец лески, прижатый цветочным горшком, и резко рванул на себя. Оконное стекло разлетелось на куски и со звоном посыпалось в комнату. Дженни повернулась и застыла на месте. Эзра от изумления раскрыл рот.

— Что случилось?— крикнула Перл из столовой.

— Ничего особенного,— сказал Коди.— Эзра опять разбил стекло.

Как-то в конце недели отец не приехал домой. Не приехал он и на следующий уик-энд. И на все последующие. Короче говоря, однажды утром Коди проснулся с мыслью, отчего отца так давно не было дома. Нельзя сказать, что Коди сразу заметил это. Мать ничего не говорила. Коди, как шпион, украдкой изучал ее покрытое морщинами лицо, отсутствующий взгляд, наблюдал, как она нервно потирает руки. Его раздражало, что он напрочь забыл, когда же отец появлялся дома в последний раз. Пытаясь разгадать причину исчезновения Бека, он вспоминал только ничего не значащие случаи, расплывающиеся от бесконечных повторений одного и того же: трапезы, прерываемые ссорами или тем, что Эзра разливал молоко; поездки за город, когда отец сбивался с дороги, а мать сердито и нетерпеливо выговаривала ему за это. Он припомнил, как однажды у них прорвало отопительную батарею и отец беспомощно набросил на нее свой пиджак. «О боже!» — только и сказала мать. Но все это было давным-давно. Коди обшарил все уголки и закоулки дома в поисках

следов отцовских причуд — «вывертов», как их называла мать. В доме оставались бадминтонные ракетки, сачок для ловли бабочек, лук со стрелами, фотоаппарат с испорченной вспышкой и коробка для обуви, наполненная иностранными марками в прозрачных конвертах. Однако эти вещи не говорили ни о чем. Тревогу вселяла отцовская половина комода: пустой ящик для носков, пустой ящик для нижнего белья, в ящике для рубашек — одна ненадеванная, подаренная детьми на день рождения, когда ему исполнилось сорок четыре года, и целый набор пижам, но ведь он всегда спал только в нижнем белье. В шкафу болталась вешалка со старыми, выцветшими галстуками, изношенными и грязными, и стояла пара старых ботинок с загнутыми вверх носами. Брат и сестра Коди были удивительно беспечны — они порхали как птицы, Эзра играл на своей дудочке, а Дженни распевала считалки. Коди казалось, что их головы доотказа забиты всякими дурацкими песенками и для серьезных вещей места там уже нет. «Тетя Сью форсила вовсю: галоши на туфлях носила Сью»,— распевала Дженни. Ее слабый невыразительный голосок, непослушно разлетающиеся косички почему-то успокаивали его. Может, все не так уж и плохо, если она беспечно скачет по дому со своей растрепанной прыгалкой. Значит, ничего страшного.

Вдруг в один из субботних вечеров Дженни сказала:

— Я беспокоюсь о нашем папе.

— Почему? — поинтересовался Коди.

— Коди,— произнесла она как взрослая,— ты же видишь, он больше не появляется дома. Наверное, он ушел от нас.

— Не говори глупостей.

Дженни посмотрела на него с таким странным спокойствием, что он смутился и промолчал. А она повернулась и вышла на веранду. Он услышал скрип деревянной качалки, когда она садилась в нее. Но петь Дженни перестала. В доме воцарилась тишина. Единственным звуком был стук материнских каблуков над головой — мать ходила взад и вперед по комнате, разбирала белье.

Даже Эзра не свистел на своей дудке. Интересно, куда же он девался? Коди поднялся в спальню матери. Она складывала простыни.

— Ты что делаешь?— спросил он.

Мать пристально посмотрела ему в глаза. Он уселся на стул и стал наблюдать за ней. На матери был домашний халат — самый его нелюбимый — кремовый, с темно-красными пятнами, похожими на мазки кистью, и с треугольными подплечниками, которые отстегивались перед стиркой. Коди часто хотелось потихоньку их выбросить. В этом халате с могучими плечами мать выглядела просто устрашающе. На ногах у нее были босоножки и белые носки. Она ходила от бельевой корзины к кровати и стопками раскладывала белье. Отцовского белья не было.

— Когда вернется папа?— спросил он.

— Наверное, скоро.— Мать смотрела куда-то в сторону.

Коди огляделся и впервые заметил, какой у них бедный и убогий дом. На комоде ни единого флакона духов, ни единой фарфоровой безделушки. На стенах ни одной картины. Даже на ночных столиках пусто. Но он знал: во всех ящиках в этой комнате белье и одежда разложены с безупречной аккуратностью. Не только рассортированы, но и подобраны по цвету — белый переходил в пастельные, затем и в более темные тона; гребни и головные щетки лежали на своих постоянных местах; перчатки, аккуратно свернутые парами, были похожи на ряд сжатых кулаков. Кто же мог вынести такое? Он вздрогнул и выпрямился. Мать подошла и погладила его по голове.

— Господи!— с улыбкой сказала она.— Как же ты вырос!

Он отстранился.

— Ты уже совсем большой, можешь быть мне опорой.

— Но мне всего только четырнадцать,— сказал Коди, соскользнул со стула и вышел из комнаты.

Дверь ванной была закрыта. Он услышал звук льющейся воды. Напевая песенку «Зеленые рукава», Эзра принимал душ. Коди приоткрыл дверь, просунул руку в ванную и до упора отвернул над раковиной кран с горячей водой. Он прошел по всему дому — от кухни до подвала,— открывая все краны с горячей водой. Нельзя сказать, что он делал это с удовольствием.

— Тулл?— спросил незнакомый мужчина.

— Да.

— Это дом семьи Тулл?

— Да.

— Дэррил Питерс,— представился гость, протягивая визитную карточку.

Коди отхлебнул пива и взял карточку. Рассматривая ее, он машинально встряхивал бутылку, чтобы получилось побольше пены. Он был в одних джинсах.

Стоял жаркий августовский день, но в доме было прохладно, и в гостиной царил полумрак, сквозь спущенные шторы пробивался свет полуденного солнца. Мистер Питерс нерешительно заглянул в дом, но остался на веранде со шляпой в руках. Для августовского дня он был одет слишком тепло.

— Та-ак...— Коди толкнул босой ногой затянутую сеткой дверь. Мистер Питерс вошел в прихожую.

— Ваша мама дома?— спросил он.

— Нет, на работе.

— В таком случае ваш... Эзра Тулл — ваш отец?

— Это мой брат.

— Ах вот оно что.

— Он дома.

— В таком случае...— произнес мистер Питерс.

Коди поднялся наверх в комнату Дженни. Сидя на полу, Эзра и Дженни играли в шашки. Эзра, в шортах и дырявой майке, гладил свою кошку Алисию и хмуро смотрел на доску.

— Там внизу тебя спрашивают.

Эзра поднял голову.

— Кто?

Коди пожал плечами.

Эзра поднялся и, прижимая к себе кошку, направился к двери. Коди проводил его до лестницы, облокотился о перила и стал подслушивать.

Эзра вошел в гостиную.

— Вы хотели меня видеть?— услышал Коди его вопрос.

— Эзра Тулл?

— Да.

— В таком случае... наверное, это ошибка?

— Какая ошибка?

— Я из похоронного бюро «Мирные холмы»,— сказал мистер Питерс,— мы полагали, что вас интересует приобретение земельного участка для могилы.

— Для могилы?

— Я думал, это вы прислали нам по почте заказ. Вот ваша подпись: Эзра Тулл. «Да, я намерен приобрести вечное прибежище для себя и своих близких. Надеюсь, ваш агент посетит меня».

— Я ничего такого не писал,— сказал Эзра.

— Значит, это не вы прислали? Вас не интересует приобретение земельного участка для могилы?

— Нет.

— Этого следовало ожидать,— пробормотал мистер Питерс.

— Извините за беспокойство,— сказал Эзра.

— Ничего страшного. Теперь мне все ясно, заказ прислан не вами.

— Может, когда я подрасту...

— Не волнуйся, сынок, ничего страшного.

Коди поднялся на душный третий этаж, где на его кровати, прислонясь к стене, сидела Лорена Шмидт. Она появилась в этих краях недавно — смуглая, черноволосая девушка. Лорена накручивала локон на палец.

— Кто это? — спросила она Коди.

— Из похоронного бюро.

— Ой!

— Он приходил к Эзре.

— А кто такой Эзра?

— Мой брат, дурочка.

— Откуда же мне знать?— возразила Лорена.— Тот паренек внизу — твой брат? Такой белокурый, красивый.

— Эзра? Красивый?

— Мне понравилось его лицо,— сказала Лорена.— Такое серьезное. И его светло-серые глаза.

— У меня тоже серые глаза.

— Ну и что?

— Вдобавок он припадочный.

— Да брось ты.

— Он только с виду такой. Вроде нормальный. И вдруг — хлоп! Катается по полу, на губах пена...

— Вот ужас!

— Точно. Многие просто боятся его. Когда он в таком состоянии, только я один могу подойти к нему.

— Врешь ты все.— Лорена потянулась к изголовью кровати и приподняла штору.— Вон идет твоя мать.

— Не может быть! Где?

Лорена с усмешкой повернулась к нему. Передний зуб у нее был обломлен, и это придавало ее лицу неуверенное выражение, словно она сомневалась в себе.

— Я тебя разыграла.

— То-то.

— Надо же. Вот дурачок! Я ведь в жизни ее не видела. Откуда же мне знать, кто это возвращается — она или не она.

— Ты наверняка ее видела,— сказал Коди.— Она работает кассиршей в бакалейной лавке братьев Суини. Ее прозвали Злючка-Колючка.

— Мы делаем покупки у Эсмонда.

— Я бы тоже хотел там,— сказал Коди.

— А почему она работает? Где твой отец?

— Пропал без вести.

— Ой, извини.

Он небрежно махнул рукой и глотнул из бутылки.

— Она сидит за кассой. В следующий раз, когда будешь проходить мимо лавки Суини, загляни в окно. Сразу ее узнаешь. Войди и скажи: «Мэм, на этой банке с супом — вмятина. Нельзя ли ее уценить?» А она ответит: «Суп ведь хуже не стал, и цена будет прежняя».

— А-а, знаю я таких,— сказала Лорена.

— На затылке небольшой пучок. Рот — как будто в губах зажаты булавки. Кто-нибудь зайдет просто так, от нечего делать, а она непременно скажет: «Проходите, проходите, пожалуйста».

Коди говорил и улыбался, но внутри у него что-то кольнуло. Он

представил себе мать за кассой и эту тревожную складку, пересекающую ее лоб, словно прядка волос или тонкий стежок портнихи.

Коди снял с кровати Эзры одеяло, подушки, простыни и матрац. Вытащил из рамы и спрятал в шкаф деревянные перекладины. Потом осторожно положил матрац на место и затаил дыхание. Матрац держался на одной раме. Коди тщательно прикрыл его постельным бельем, взбил подушку и осторожно положил в изголовье. Достал из тайника стопку журналов, раскрыл их и в беспорядке разбросал по полу, после чего погасил свет и улегся на свою кровать.

Эзра, босой, в пижаме, вошел в комнату, дожевывая сандвич. Сзади у него болталась завязка от пижамных штанов. Он вздохнул и плюхнулся на кровать. Раздался оглушительный треск. Задрожал пол. Мать закричала, тяжело протопала по лестнице наверх и включила свет. Коди поднял голову и посмотрел на нее сонным, отсутствующим взглядом. Она держалась за сердце и глотала воздух. За ней стояла дрожащая Дженни, прижимая к себе старого игрушечного зайца.

— Господи... спаси и помилуй!— пробормотала мать.

Постель Эзры походила на заполненную бельем ванну. Он никак не мог выбраться из простынь. В поднятой руке был зажат недоеденный сандвич.

— Эзра, милый...— сказала Перл и, увидев журналы, добавила:— Это что такое, Эзра?

С журнальных страниц — с каждой!— на нее смотрели женщины в ночных сорочках, купальных костюмах, поясах с подвязками, в черных кружевных бюстгальтерах, банных полотенцах, нелепых прозрачных набедренных повязках или попросту нагие.

— Эзра Тулл!— произнесла мать.

Эзра все еще барахтался, пытаясь выбраться из кровати.

— Вот уж не ожидала от тебя, Эзра,— укоризненно сказала мать, повернулась и вышла из комнаты, уводя за собой Дженни.

Эзра наконец выбрался из кровати и набросился на Коди. Вцепился ему в волосы и стал трясти изо всех сил. Коди с мычанием отбрыкивался. Он не кричал, чтобы не услышала мать. Ему удалось вцепиться зубами в коленку Эзры, и тот, задыхаясь, в слезах, откатился в сторону. Похоже, Эзра еще раньше наткнулся на что-то — левый глаз у него распух и вид был несчастный. Коди поднялся с пола, показал, где спрятаны перекладины от кровати. Они положили их на раму, водворили на место матрац, старательно расправили постельное белье и одеяло. Потом Коди выключил свет, они улеглись и вскоре заснули.

Иногда по ночам Коди снился отец. Он появлялся в одном из своих коммивояжерских костюмов, с вечерней газетой в руке, как бывало по пятницам. Поражала достоверность его облика: густые, падающие на плечи волосы, желтоватые мешки под усталыми глазами. Днем облик отца представлялся ему в последнее время не так реально — он расплывался, лишался объемности. «Ну как прошла неделя?»— равнодушно спрашивал он. И мать отвечала: «Нормально».

В этих снах и сам Коди был не таким, как теперь. Время поворачивало вспять. Он видел себя малышом, который семенил вокруг на своих коротких толстых ножках и отчаянно старался привлечь к себе внимание: «Ты только посмотри! Ну посмотри еще. Посмотри, как я кувыркаюсь. Видишь, как я тащу тележку?» Каждый его поступок в том возрасте, как ему представлялось сейчас, объяснялся безудержным стремлением утвердить себя, свою независимость.

Просыпаясь в темноте, он вытягивал свои длинные ноги и поднимал над головой руки, которые становились жилистыми и мускулистыми. Он думал о том, что будет, если в один прекрасный день —

к тому времени он сам уже станет мужчиной — вернется отец. «Посмотри, чего я достиг,— скажет он отцу.— Видишь, чего я добился, как много успел без тебя!»

Может, я сказал что-нибудь не то? Что-нибудь сделал не так? Или чего-то не сделал? Из-за этого ты ушел?

Начались занятия в школе. Коди и два его лучших друга оказались в одном классе. Иногда Пит и Бойд провожали его до самого дома; обычно он вел их в обход, дальней дорогой, чтобы оставить в стороне бакалейную лавку, где работала мать. Жизнь его была поделена на две части — друзья в одной половине, семья в другой, и он должен был следить за тем, чтобы они не соприкасались. Мать терпеть не могла, когда сын водился с чужими.

— Почему ты не пригласишь кого-нибудь в гости? — спрашивала она.

Ну нет, его не проведешь!

— Да мне никто не нужен,— говорил он. И ответ этот был ей по душе.

— Тебе достаточно и своей семьи,— говорила она. — Нам так повезло, что мы — одна семья. Правда?

Коди приводил друзей домой, только когда мать была на работе. Иногда, сам не зная почему, хвастался ее вещами. Выдвигал маленький верхний ящик комода и вынимал оттуда золотую брошь, которую отец подарил ей еще до женитьбы.

— Видите, как он уважает мать,— говорил Коди,— сколько надарил. У нее уйма разного барахла. Всего и не показать.

Друзья томились от скуки. Тогда Коди менял тактику: вынимал из шкафа ее носовые платки — они были выглажены и сложены так аккуратно, будто находились в невидимой квадратной коробке.

— Ваши матери платки так не складывают, правда? — вздыхал он и, крутя в руке какую-нибудь таинственную металлическую застежку, продолжал: — Женщины! Кто их разберет! Разве их поймешь? Вот, например, ее любимчик Эзра, мой безмозглый брат Эзра. Ну если бы она в Дженни души не чаяла, еще можно было бы понять: как-никак девчонка. Но Эзра! Кому он нужен? За что его любить?

Друзья пожимали плечами, равнодушно глазели по сторонам и позвякивали мелочью в карманах.

Он спрятал левый ботинок Эзры, его тетрадь с домашними заданиями по арифметике, его большую кожаную перчатку для бейсбола, его самописку, его любимый свитер. Запер кошку Эзры в стенном бельевом шкафу. Утащил в школу бамбуковую дудочку Эзры и запихнул в карман бушлата его лучшего друга Джосайи Пейсона, верзилы, которого многие считали полоумным. Но Эзра был Эзрой — он всем сердцем привязался к Джосайе и с радостью приводил бы его домой, если бы мать не боялась этого мальчишки.

Коди проскользнул в Эзрин класс, там не было ни души — все завтракали в школьном кафетерии. Шмыгнул за перегородку и, очутившись в раздевалке, засунул дудочку в карман огромного черного бушлата Джосайи. Наступили теплые дни бабьего лета. Джосайя не забирал домой бушлат, и все считали, что дудочка потерялась. Эзра ходил сам не свой.

— Никто не видел моей дудочки? — спрашивал он.

Наконец-то Коди избавился от песенок «Зеленые рукава» и «Ясеневая роща», которые Эзра беспрерывно наигрывал на своей свистульке; диапазон у нее был ограничен, и, чтобы извлечь из нее звуки, тем более высокие, Эзре приходилось дуть изо всех сил, терзая слух окружающих.

— Это ты ее взял? — сказал он Коди.— Я же знаю, твоих рук дело.

— На кой мне эта дурацкая свистулька?

Коди надеялся: когда пропажа обнаружится у Джосайи Пейсона, Эзра обозлится на своего друга, однако этого не случилось. Все вроде уладилось, и Эзра с Джосайей дружили по-прежнему. А надрывные звуки «Ясеневой рощи» снова расползлись по всему дому.

На мать накатил очередной приступ ярости.

— Перл на тропе войны,— сообщил Коди брату и сестре. В такие минуты он всегда называл мать по имени.— Берегитесь. Она уже вывалила все из Дженниного комода.

— Ой-ой-ой...— вздохнул Эзра.

— Рвет и мечет.

— О боже...— загрустила Дженни.

Коди поджидал их на веранде; брат и сестра задержались в школе. Он тихонько открыл дверь, и они на цыпочках поднялись по лестнице. Осторожно перешагнули через скрипучую ступеньку, хотя мать все равно бы ничего не услышала. Она бушевала на кухне. Оттуда доносился грохот: уж не швыряет ли она кастрюли в закрытые окна?..

Они на цыпочках пробрались по коридору в комнату Дженни.

— Ну и погром,— ахнул Эзра.

На полу — груды вещей. Тут и там выдернутые из комода ящики. Дверцы шкафа распахнуты. На перекладине болтаются вешалки, а платья Дженни с рукавчиками-фонариками свалены в кучу. Дженни застыла в дверях...

— Дженни,— спросил Коди,— ты натворила что-нибудь?

— Ничего,— дрожащим голосом ответила Дженни.

— Вспомни, может, чепуха какая-нибудь? Может, ты просто забыла?

— Да ничего не было. Точно.

— Помоги мне засунуть ящики обратно в комод,— попросил Коди Эзру.

Одному с этой работой не управиться. Громоздкие дубовые ящики застревали в пазах. Коди и Эзра пыхтели, задвигая их на место. С глазами, полными слез, Дженни бродила по комнате и собирала свои вещи.

— Прекрати! — крикнул Коди, увидев, что она утирает нос то одной, то другой парой свернутых носков.— Как только мать заметит сопли на носках, она снова все вывалит на пол.

Вместе с Эзрой они подбирали трусики и ленты, встряхивали блузки, пытались повесить на вешалки платья. Безнадежно помятые вещи разглаживали руками и убирали в шкаф, подальше от глаз. А Дженни, опустившись на коленки и шмыгая носом, подбирала свои майки.

— А ведь можно просто уйти,— сказал Эзра,— и не возвращаться, пока она не придет в себя.

— Она не уймется, пока не закатит скандал,— возразил Коди.— Ты же знаешь ее. Тут уж ничего не попишешь.

— Жалко, нет папы.

— Нет и нет. Заткнись!

Эзра расправил поясок от какого-то платья. Слава богу, все уже разложено по местам. Они уселись на постель Дженни. Теперь на кухне не грохотало — слышался звон ножей, вилок, посуды. Мать накрывала на стол. У Коди в горле стоял ком, он и думать не мог о еде. Наверное, Эзра и Дженни тоже. Эзра все время как бы пытался проглотить этот ком.

— Давайте убежим из дому,— предложила Дженни.

— Нам некуда бежать,— сказал Коди.

Мать позвала их снизу писклявым, как у комара, голосом:

— Дети!

Они спустились гуськом, шаркая ногами. В ванной на первом этаже стали мыть руки, с особым усердием намыливая ладони. Потом все вместе вошли в кухню. Мать нарезала ломтиками прямоугольный кусок консервированного мясного фарша. Как только дети уселись за стол, не глядя на них, заговорила:

— Мало того что работаешь с утра до ночи — приходишь домой, а здесь конь не валялся. Шляетесь допоздна, отираетесь в подворотнях черт знает с кем, транжирите время в школьном хоре и всяких там кружках. Стол не накрыт, посуда не мыта, пол не метен, почта валяется на коврике у двери, а вас и след простыл... Кто-кто, а уж я-то знаю, что здесь творится! Вижу, чем вы занимаетесь! Дикари — вот вы кто. Водитесь со всякой шпаной... Что мне делать? Как прибрать вас к рукам? Никудышная дочь, два неслуха-сына... Я слышу... слышу, что говорят люди! Знаю, как они злорадствуют! Зайдет покупательница в лавку и с ангельским видом пускает шпильку: «Ну, миссис Тулл,— говорит,— ваш старший растет не по дням, а по часам. Встретила его с пачкой сигарет в руках перед домом этой девчонки Барлоу». Я слушаю и только улыбаюсь как дура, а они небось думают: «Бедная миссис Тулл, каково ей смотреть людям в глаза? Дети совсем отбились от рук, позорят ее. Затыкают сырыми картофелинами выхлопные трубы автомобилей, прокалывают шины, палят из мелкашек по уличным фонарям, снимают колпаки с автомобильных колес, срывают дорожные знаки, украли из палисадника у миссис Корелли статую мадонны и перетащили ее на заднее крыльцо Сонни-Боя Брауна, околачиваются на улице с девчонками, настоящими шлюхами, свитера в обтяжку, на ногах цепочки». Куда ни повернусь — одно и то же...

— Но это ведь не про меня, мама.

— Что?

— Я же ничего такого не делаю.

Разумеется, Дженни ничего такого не делала (все это — проделки Коди). Но ей лучше было помолчать. Перл мигом переключилась на нее и с новой силой бросилась в атаку:

— И ты тоже хороша!.. Выхожу в воскресенье из церкви, а ты стоишь с этой Мелани Миллер, одноклассницей из церковной школы. И что же я слышу? Прямо ушам своим не поверила! «Ах, Мелани,— манерно передразнила она визгливым голосом, ничуть не похожим на голос Дженни,— до чего мне нравится твое платье, вот бы и мне такое...» Подумать только! — обратилась она к сыновьям.— Платье — дешевка! Клетка и та не подогнана. На подоле оборка, как на сельский праздник. А у пояса искусственные цветы. Надо же, вырядить в такой наряд девятилетнюю девочку! «Ах, вот бы и мне такое!» — вздыхает ваша сестра. А люди кругом смотрят и думают: бедная миссис Тулл. Ей не по карману купить дочери даже дешевое платье с искусственными цветами. Целый день работает в лавке как каторжная, а по ночам ломает себе голову, на чем бы сэкономить. Как дотянуть до конца недели? Живет надеждой, что никто в семье не заболеет и не придется вызывать врача, платить ему за визит, молит бога, чтобы ноги у ее детей росли не так быстро... А мать Мелани, стоит обронить при ней хоть слово насчет платья, сразу тут как тут, такой уж она человек. Не успеешь оглянуться, а она уже у двери. «Миссис Тулл,— скажет,— вот у меня случайно остался каталог, ну тот, по которому мы заказывали платье для Мелани. Если надумаете купить такое же для вашей Дженни...» Так я и допущу, чтобы моя дочь носила приютское платье! Я не позволю, чтобы она одевалась точь-в-точь как другой ребенок! «Нет уж,— скажу я,— благодарю вас, миссис Миллер. Может, мне не все по средствам, но если я покупаю платье, то швы у него должны быть заделаны. Не нужен мне ваш за-

мечательный каталог, по которому вы заказываете дешевые платья без припуска на подол, с безвкусными цветами из бархатной бумаги...» Что же это творится на белом свете? Выходит, я недостаточно хороша для своей родной дочери? Неужели она не видит, как я из кожи лезу, чтобы у вас было все? Почему моя дочь водится с какими-то подонками? Зачем тащит домой всякое отребье? Мы же одна семья! Самые близкие друг другу люди! Что случилось? Как она могла предать семью?

Перл спокойно села, словно раз и навсегда покончила с этой темой, и протянула руку за миской с зеленым горошком. Слезы ручьем текли по щекам Дженни, но она не проронила ни звука, и мать, казалось, не замечала ее.

Коди кашлянул.

— Да ведь это же было в воскресенье.

Ложка Перл застыла на полпути между миской с горошком и тарелкой. На ее лице появилось нечто вроде вежливой заинтересованности.

— Да,— подтвердила она.

— А сегодня среда.

— Да.

— Сегодня среда, черт возьми! Уже три дня прошло. Зачем вспоминать, что было в воскресенье?

Ложка Перл полетела в лицо Коди.

— Выскочка! — Перл влепила ему пощечину.— Выродок... Чудовище! — Она схватила Дженни за косу и дернула с такой силой, что девочка слетела со стула.— Дурак, балбес! — крикнула она Эзре и треснула его по голове миской с горошком. Миска уцелела, но горошек разлетелся во все стороны. Эзра пригнулся и закрыл голову руками.— Паразиты! — вопила Перл.— И почему только вы раньше не передохли и не освободили меня? Почему я не похоронила всех вас в детстве?!

Она поднялась наверх. Дети вымыли и убрали посуду, вытерли обеденный и рабочий столы, подмели кухню. Обнаружив крошку или пятнышко, они радостно набрасывались на него с кухонным порошком «Бон ами». Задернув занавески на окнах, они заперли заднюю дверь. На улице соседские ребята собирались играть в прятки, но голоса их были едва слышны, точно их отделяло от дома Туллов не только пространство, но и время. Так в воспоминаниях или в странных, похожих на явь снах возникают голоса и смех людей из давнего-давнего прошлого.

В конце ноября, незадолго до Дня благодарения, у них в школе появилась девочка по имени Эдит Тэбер. Коди, который сам не единожды переходил из школы в школу и всякий раз испытывал на собственной шкуре, что значит быть новичком, мгновенно отметил вызывающий поворот головы, с каким новенькая вошла в классную комнату. В руке у нее была папка на «молнии», что никак не соответствовало школьным правилам, а поверх юбки — подумать только! — мужская рубашка навыпуск. Густые черные волосы придавали ее облику нечто цыганское, и это очень понравилось Коди. Притягивала и ее манера гордо, с презрительной миной входить в класс. Такая же одинокая, как я, думал Коди (в душе он считал себя одиноким). Поэтому после уроков он пошел следом за ней (выяснилось, что она живет всего в квартале от них), а на следующий день догнал ее и пошел рядом. Похоже, Эдит обрадовалась его обществу и болтала без умолку. Время от времени она прихватывала у горла воротник, как взрослая. Ее брат служит на флоте, сказала она, обещал привезти ей шелковое кимоно, если вернется с войны живым; Балтимор не такой уж шикарный город; а мисс Сондерс, учительница английского языка, похожа на кинозвезду Лану Тернер. Хорошо, заметила она,

когда у мальчишек волосы не зализаны назад, а свободно падают на лоб, как у Коди. Он провел пятерней по волосам и сказал, что в общем-то не уверен, он всегда думал, что девочкам нравятся вьющиеся волосы. А Эдит ответила, что терпеть не может курчавых мальчишек. Остаток пути они молчали, иногда Коди принимался насвистывать, но ничего не мог вспомнить, кроме Эзриной «Ясеневой рощи».

В среду Коди не удалось проводить Эдит: его оставили после уроков в школе, а в четверг — День благодарения, и потом до понедельника у них были каникулы.

В четверг он все утро проторчал на веранде, хотя ноябрьский день выдался сырым и холодным. Глядя в сторону улицы, на которой жила Эдит, он изо всех сил раскачивался в кресле-качалке. На пороге появилась мать, лицо ее раскраснелось от кухонного жара.

— Коди, сынок,— позвала она,— ты здесь замерзнешь, иди покоди мне орехи.

Мать колдовала над скромным праздничным обедом — индейки не предвиделось, зато на сладкое был обещан пирог. Дом наполняли дразнящие ароматы — пахло пряностями и еще чем-то необычным. Будь у Коди хоть капля надежды увидеть Эдит, он постарался бы задержаться на веранде.

После обеда они сели играть в «монополию». Обычно дома Коди не разрешалось участвовать в играх из-за его бзика — очень уж ему хотелось выиграть любой ценой. Он всегда стремился к победе, во что бы ни играл, и всегда побеждал. Ему помогала спортивная злость — победа для него действительно была намного важнее, чем для остальных. (Иногда он жульничал, водилось за ним и такое.) Коди хотел непременно быть первым, даже если другие и не подозревали, что участвуют в состязании. Он больше всех съедал арахиса, быстрее всех очищал кукурузный початок, первым дочитывал до конца страницу очередного комикса.

— Уходи,— слышал он, когда приближался к играющим, непринужденно тасуя колоду карт или подбрасывая в руке кости.— Ты же знаешь, мы больше с тобой не играем.

Но в тот день они приняли его. Он старался сдерживать себя. Но стоило ему «купить» гостиницу на самой выгодной клетке — Бордуок, и он уже был не в состоянии совладать с собою.

— Господи,— сказала мать,— как же я могла позабыть! Неужели он тоже играет с нами? — Но она улыбалась. На ней было нарядное платье из голубой шерсти, стянутые в пучок волосы слегка растрепались; она выглядела спокойной и умиротворенной. Она тоже бросила свою фишку (утюг) на Бордуок и промахнулась, а Эзра попал. У него, разумеется, не хватило денег («заплатить за постой»). Коди попытался одолжить ему недостающую сумму, потому что терпеть не мог, когда противники сдавались без боя, и был счастлив, если кто-то брал у него взаймы крупную сумму и продолжал сражаться.

— Нет, сдаюсь.— Эзра по-стариковски беспомощно поднял руку, так что Коди пришлось продолжать партию с Перл и Дженни, а потом только с матерью. Они сражались до конца,— когда фишка матери очутилась на клетке Бордуок, а «капитала» у нее осталось всего-навсего три доллара, Коди пришел в восторг.

Потом Дженни и Эзра насели на Коди и Перл, чтобы те показали их любимый скетч «Просроченная закладная».

— Ну пожалуйста! Какой же без этого праздник!

Перл и Коди дали себя уговорить, хотя уже порядком подзабыли текст; к тому же Коди никак не мог вспомнить заключительный танец. Этот скетч играли в семье Перл еще в те времена, когда она была девочкой. Его показывали на любительских конкурсах, ставили в драматических кружках. Перл исполняла роль Айви, попавшей в беду девицы, а Коди — злодея. Подкручивая свой нафабренный ус и

зловеще ухмыляясь, он ворковал: «Айви, милая Айви, обопритесь о мою руку...» Перл с вытаращенными от ужаса глазами забивалась в угол. Дети считали, что она играет как настоящая актриса. Роль знает назубок. Окидывает партнера жеманным девичьим взглядом, говорит нараспев, по-старомодному. В финале появлялся герой и спасал ее. Стеснительные Эзра и Дженни в спектакле не участвовали, поэтому Коди приходилось исполнять также и роль героя. «Я выкуплю закладную на ферму»,— обещал он девице и, обхватив ее за талию, в танце увлекал в столовую. В последнюю минуту Коди вспомнил весь танец, но Перл вместо «замужняя жизнь» сказала «занудный муж» и рухнула, задыхаясь от хохота. Дженни и Эзра трижды вызывали артистов.

В сумерках Коди снова появился на веранде и, не отрывая глаз, стал смотреть туда, где жила Эдит. Эзра тоже вышел на веранду и уселся в качалку, пяткой отталкиваясь от пола.

— Хочешь, пойдем прогуляемся до Слуп-стрит? — предложил Коди.

— А что там такого на Слуп-стрит?

— Ничего особенного. Просто там живет одна знакомая девчонка. Эдит Тэбер.

— А, Эдит...

— Ты что, знаешь ее?

— У нее есть дудочка, на которой можно брать и бемоли и диезы...

— У Эдит Тэбер?

— Да, у нее есть блок-флейта.

— Ты, наверное, ее с кем-нибудь путаешь,— сказал Коди.

— Не знаю, может быть.

Коди помолчал, опираясь на перила веранды. Эзра мирно поскрипывал качалкой. Наконец Коди сказал:

— Такая с темными волосами. Учится в нашем классе.

— Они здесь недавно,— заметил Эзра.

— Ты когда видел ее?

— Да только вчера,— ответил Эзра.— Я шел из школы домой и играл на дудочке, а она догнала меня и сказала, что ей нравится, как я играю, и спросила, не хочу ли я посмотреть ее блок-флейту. И мы пошли к ней домой...

— Домой? А она знает, что ты мой брат?

— Вряд ли,— ответил Эзра.— У нее есть волнистый попугайчик. Он все время икает и говорит: «Извините». А ее мама угощала нас печеньем.

— Ты познакомился с ее матерью?

— Если у меня когда-нибудь будет флейта....

— Она гораздо старше тебя,— сказал Коди.

Эзра с удивлением посмотрел на него.

— Конечно. Ей уже четырнадцать с половиной.

— На что же ей такой сопляк, как ты?

— Она хотела показать мне свою флейту.

— Ну и дела...— вздохнул Коди.

— Так мы пойдем прогуляться до Слуп-стрит, Коди?

— Нет! — Коди пнул ногой столб.

— Как ты думаешь,— спросил Эзра,— если я попрошу маму, она купит мне на рождество такую флейту?

— Дубина,— огрызнулся Коди.— Идиот. Откуда у нее возьмутся деньги на твои дурацкие свистульки?

— Ты прав. Денег у нее, конечно, нет,— согласился Эзра.

Потом Коди ушел и запер за собой дверь, а когда Эзра стал дубасить по ней, Коди сказал матери, что это всего-навсего их сумасшедший сосед мистер Милледж, на которого опять накатило...

В понедельник утром по дороге в школу Коди снова высматривал Эдит, но так и не увидел ее. Она опоздала и появилась сразу после звонка. Он старался встретиться с ней взглядом, но она даже мельком не взглянула в его сторону, а уставилась на учительницу, которая объявляла распорядок дня. Когда прозвенел первый звонок, Эдит вместе со Сью Микс и Гарриет Смит направилась в класс; похоже, теперь она уже не была одинокой. К третьему уроку стало ясно: она избегает его. Он не осмеливался подойти к ней — ее все время окружали телохранители. Ну где он допустил промашку? Он поймал Барбару Пейс, смешливую рыженькую толстушку, которая была как бы связной для всех парочек в их классе.

— Что с Эдит? — спросил он Барбару.

— С кем?

— С Эдит Тэбер. Мы с ней вроде бы подружились, а теперь она и словечка сказать мне не хочет.

— А-а-а...— кивнула Барбара и переложила учебники из одной руки в другую. Она была в мужской рубашке навыпуск. Кстати, чуть ли не половина девчонок в классе стали носить такие рубашки, подумал он.

— По-видимому,— предположила Барбара,— ей понравился кто-то другой.

— Мой брат?

— А кто это — твой брат?

— Эзра. Мой брат Эзра.

— А я и понятия не имела, что у тебя есть брат.— Барбара не сводила с него глаз.

— Во всяком случае, на прошлой неделе ей нравился я. Что же случилось?

— Видишь ли,— терпеливо объяснила Барбара,— она уже успела побывать в разных домах. Ребята собирались. И у нее, конечно, появились новые интересы. Теперь она... как бы это сказать... лучше разбирается во всем. И потом, она не знала о твоей репутации.

— Какой такой репутации?

— Ну, что ты пьешь, Коди, и все лето путался с этой дешевкой Лореной Шмидт! От тебя вечно разит табаком, а на День всех святых тебя чуть не арестовали.

— Это мой брат натрепался?

— Да при чем тут твой брат? Все говорят. Какой тут секрет?

— Ну, я никогда не корчил из себя святого,— отрезал Коди.

— Эдит говорит, ты очень красивый парень и все такое... Но она хочет дружить с мальчиком, которого можно уважать,— сказала Барбара,— например, с таким, как Фрэнсис Элберн.

— Фрэнсис Элберн? Этот слюнтяй?

— Вообще-то он даже больше в ее вкусе,— сказала Барбара.

— Да у него волосы вьются!

— Ну и что?

— Фрэнсис Элберн. Господи Иисусе!

— Не поминай имя господа всуе,— сказала Барбара.

Коди дождался, пока все разошлись из школы, и отправился домой один. Он выбирал улицы, где не мог встретить ни Эдит, ни ее друзей. Случайно свернул в какой-то незнакомый переулок, и вдруг его осенило: он до сих пор чужой здесь, не знает даже своего района. Большинство его одноклассников родились и выросли здесь, в Балтиморе, между ними завязалась дружба, о которой он, Коди, и мечтать не мог. Вот, например, два его лучших друга — их родители вместе ходят в кино, матери перезваниваются по телефону, а его мать... Коди пнул ногой столб. Все бы отдал, лишь бы она походила на других матерей: сплетничала бы на кухне с подругами, они бы накручивали ей волосы на бигуди, делились разными косметически-

ми секретами, дулись в карты, забывая о времени. «Боже, вы только посмотрите на часы! А ужин не готов. Да муж убьет меня! До свидания, девочки!» Так хотелось, чтобы у матери были какие-то личные интересы, знакомства за стенами их мрачного дома.

А отец? Все эти его бесконечные переезды. Он то и дело перетаскивал семью с места на место. Вырывал их с корнем, едва они приживались, и бросал в новую, незнакомую среду. Где же он был сейчас, когда Коди жаждал, чтобы его, Коди, вырвали с корнем именно отсюда, когда на нем клеймо дурной репутации и он отчаянно стремился уехать куда глаза глядят и начать все сызнова. Отец искалечил им жизнь во всех отношениях, подумал Коди. Хорошо бы вызнать, где он, заявиться к нему на порог и сказать: «У меня беда. И все по твоей вине. У меня никудышная репутация. Мне необходимо уехать из Балтимора. Ты должен взять меня к себе». Но это будет всего лишь очередной незнакомый город, очередная незнакомая школа, в которую ему придется идти одному. И там его отметки наверняка поползут вниз. И соседи начнут жаловаться. А учителя тоже будут считать его виновным в любой проделке. Потом появится Эзра, как всегда упорный, серьезный и увлеченный, и все будут говорить Коди: «Ну почему ты совсем не похож на своего брата?»

Он вошел в дом; со вчерашнего дня здесь стоял запах капусты. Уже почти стемнело, и Коди казалось, что ему приходится преодолевать сопротивление густеющего воздуха. Он устало поднялся по лестнице. Миновал комнату Дженни — она сидела за уроками в маленьком тусклом круге желтого света от настольной лампы. Худенькое личико Дженни было в тени; она не взглянула на брата. Он прошел к себе и включил свет. Только положив на стол учебники, он заметил в комнате Эзру: спит, как всегда свернувшись калачиком на кровати с ворохом тетрадей. О, медлительный, самодовольный Эзра! Он мог спать в любое время суток. Рядом довольно мурлыкала его кошка Алисия.

Коди стал на колени, вытащил из-под своей кровати недопитую бутылку кукурузного виски, пустую бутылку из-под джина, пять пивных бутылок, надорванную пачку сигарет и коробку с солеными крендельками и ловко разложил все это вокруг Эзры. Потом спустился в прихожую и достал из стенного шкафа отцовский фотоаппарат. С порога комнаты он навел объектив и нажал спуск. Просто поразительно — Эзра не проснулся. (Вспышка была такой ослепительной, что перед глазами еще несколько минут плавали темные круги.) Но кошка встрепенулась. Она поднялась и громко зевнула — вот это был зевок! Мог бы получиться потрясающий кадр: бездельник Эзра и его драгоценная Алисия, оба с разинутыми ртами. Вот если бы она проделала это еще раз!

— Зевни! — приказал он кошке и перевел кадр.— Алисия, да зевни же!

Кошка фыркнула и снова улеглась. Он зевнул сам для наглядности, но, очевидно, такие примеры на кошек не действуют. Коди опустил фотоаппарат, подошел ближе, потрепал Алисию по голове, почесал у нее под подбородком. Ничего не помогало.

— Да зевни же, черт тебя подери! — прикрикнул он и попытался силой разжать ей зубы. Она резко выгнулась, глаза сверкнули дико, свирепо. Эзра проснулся.

— Твоя кошка кретинка,— сказал ему Коди.

— Что?

— Не могу заставить ее зевнуть.

Эзра машинально протянул руку и обнял кошку, та зевнула, заурчала, уютно пристроилась возле него, и Эзра опять заснул. Но Коди уже не стал их снимать. Этот Эзра вечно испортит любую затею.

Коди, Дженни и Эзра отправились в магазин за рождественским подарком для матери. Каждый из своих карманных денег сэкономил за неделю по сорок центов, а у Коди в придачу был еще доллар — он стащил его из среднего ящика стола мисс Сондерс. Всего у них набралось два доллара двадцать центов — можно купить матери теплые перчатки, решил Коди. Но Дженни сказала:

— Перчатки — это очень скучно,— и предложила вместо них кольцо с бриллиантом.

— Вот балда! — воскликнул Коди.— Пора бы знать, что за два доллара двадцать центов кольцо с бриллиантом не купишь.

— Да не настоящее, а со стеклышком вроде бриллианта,— пояснила Дженни,— или еще что-нибудь такое — красивое, не обязательно полезное.

Им пришлось пойти в магазины неподалеку от дома, чтобы не тратиться на проезд.

Была середина декабря — время предпраздничных покупок. Мимо беспрестанно шли люди, целые толпы нагруженных свертками людей, в морозном воздухе их дыхание превращалось в белые клубы пара. В центре города витрины огромных универсальных магазинов сверкают сейчас как ларцы с драгоценностями. Возле больших магазинов звучат рождественские песни, звенят колокольчиками Санта-Клаусы, светофоры разукрашены блестящей мишурой. А в их квартале магазины поменьше, победнее, и в витринах красуются лишь венки из еловых веток или картонные Санта-Клаусы с блоком сигарет «Честерфилд» в руках. Солдаты, получившие увольнительную, рассеянно брели по двое, по трое, пешеходы с покупками, даже те, кто нес самые яркие свертки, мрачно и решительно устремлялись вперед, готовые смести любого на своем пути. Чтобы Дженни не потерялась, Коди ухватил ее за рукав.

— Нет, серьезно,— продолжала она.— Я не хочу покупать ничего теплого, ничего необходимого, ничего...

— Полезного,— подсказал Эзра.

Они дружно рассмеялись.

— Кстати, если мы купим кольцо, она расстроится, что мы зря истратили деньги,— сказал Эзра.— Вряд ли она останется довольна нашим подарком.

Коди терпеть не мог этого просветленного, серьезного выражения, которое иногда возникало на лице Эзры: смотрите, мол, какой я внимательный и заботливый.

— А ты бы чего хотел на рождество? — грубо спросил Коди.— Мира во всем мире?

— Чего? Я хочу флейту,— сказал Эзра.

Вместе с группой военных моряков они перешли улицу на перекрестке.

— Ну так никто тебе ее не подарит,— сказал Коди.

— Знаю.

— Ты получишь шерстяную шапку с ушами и вельветовые брюки.

— Коди,— упрекнула Дженни,— ну зачем ты ему сказал...

— Да неважно,— отмахнулся Эзра.

Они обошли женщину, которая надевала ребенку варежки.

— А раньше нам дарили на рождество игрушки и конфеты. Помнишь, как весело было на прошлое рождество?

— В этом году тоже будет весело,— сказал Эзра.

— Помнишь, как мы жили в Виргинии и папа купил нам санки, а мама сказала, что это глупо, потому что там почти никогда не бывает снега. А наутро после рождества мы проснулись, а кругом — снег.

— Вот было здорово,— сказал Эзра.

— Во всем городе только у нас одних были санки,— сказала

Дженни,— и Коди за деньги давал другим ребятам прокатиться. Папа научил нас смазывать полозья, и мы залезли на самую верхушку той горы... Как она называлась? Как-то смешно...

Дженни вдруг остановилась посреди тротуара. Прохожие со всех сторон толкали их.

— Знаете...— Она запнулась. Коди и Эзра посмотрели на нее.— Он ведь к нам никогда уже не вернется, правда?

Они промолчали. А минуту спустя пошли дальше. Коди ухватил за рукав и Эзру, чтобы толпа не разделила их.

Коди разбирал почту. Он отложил несколько адресованных матери конвертов, похожих на рождественские поздравления. Выбросил какой-то рекламный проспект и письмо из своей школы. Конверт с кливлендским штемпелем сунул в карман. Потом поднялся к себе в комнату и включил лампу возле кровати; дожидаясь, пока она нагреется, Коди посвистывал и смотрел в окно; но вот он дотронулся пальцем до лампочки — достаточно ли она накалилась,— обернул вокруг нее конверт и медленно сосчитал до тридцати. Распечатал конверт и вынул оттуда листок бумаги и чек.

«...говорят, что в июне 45-го они достигнут проектной мощности,— сообщал отец.— Извини, что чек на меньшую сумму, чем я рассчитывал: у меня были некоторые...» Ничего нового, его обычное письмо. Коди сложил листок и сунул обратно в конверт — ради такого письма не стоило и стараться. Внизу хлопнула входная дверь.

— Эзра Тулл! — крикнула Перл. Стуча каблуками, она быстро поднималась по лестнице.

Коди бросил конверт в ящик комода и задвинул его.

— Эзра! — снова позвала мать.

— Его здесь нет,— отозвался Коди.

— Где он? — спросила она, запыхавшись. Ну и вид... Шляпка съехала набок, пальто снять не успела.

— Он пошел в прачечную, как ты велела.

— Что тебе об этом известно? — Мать протянула ему пачку фотографий.

Верхний снимок был сильно размыт, и Коди с трудом разобрал, что на нем. Он взял у нее всю пачку. Ах да! Это же Эзра, лежащий в беспамятстве, а вокруг — пустые бутылки. Коди улыбнулся. Он совершенно забыл об этих снимках.

— Что это значит? — спросила мать.— Я отдала проявить пленку, а когда получила фотографии, чуть не умерла от ужаса. Я просто хотела приготовить аппарат к рождеству. Думала, это старая пленка, что-нибудь летнее или торт на дне рождения Дженни... И что же я вижу? Эзра валяется как распоследний алкоголик. Пьянь подзаборная! Неужели это правда?! Отвечай.

— Не такой уж он паинька, как тебе кажется,— сказал Коди.

— Но он никогда не доставлял мне огорчений.

— Знала бы ты, что он вытворяет.

Перл опустилась на кровать Коди. Потрясенная, она только и могла молча качать головой.

— Ах, Коди, ты себе не представляешь, как трудно воспитывать детей,— пожаловалась она.— Ты, наверное, считаешь, что со мной тяжело жить. Я часто срываюсь, иногда бываю ведьма ведьмой. Но если бы ты только знал... как я беспомощна. До смерти боюсь сделать что-нибудь не так.

Она наклонилась к нему, он подумал — за фотографиями. Но нет, она взяла его за руку. Притянула к себе и усадила рядом. Ладонь у нее была горячая и сухая.

— Наверное, я слишком часто рычу на тебя,— сказала она,— но сейчас, Коди, мне нужна твоя помощь. Кроме тебя, мне не к кому

обратиться в трудную минуту. Мы с тобой гораздо больше похожи друг на друга, чем ты думаешь. Как же быть, Коди? — Она наклонилась к нему еще ближе, и Коди отпрянул. Казалось, жар струится даже из ее глаз.

— Ну так вот...— сказал он.

— Кто все-таки сделал этот снимок? Ты?

— Видишь ли,— сказал он,— я просто пошутил.

— Пошутил?

— Эзра ничего не пил. Это я раскидал бутылки по его постели.

Перл окинула его испытующим взглядом.

— Он никогда не брал в рот спиртного,— признался Коди.

— Ясно.— Она отпустила его руку.— Только одно могу сказать по этому поводу: так не шутят, молодой человек.— Она встала и на шаг-другой отошла от него.— Странный у тебя юмор.

Коди пожал плечами.

— Ну, это, конечно, очень весело,— продолжала она.— Тебе, очевидно, весело до слез. Напугал мать до полусмерти, заставил ее нести всякую чепуху. Оболгал младшего брата! До чего смешно! Просто обхохочешься!

— Я, наверное, злой от природы,— сказал Коди.

— Ты был злым с пеленок,— отрезала она.

Когда мать вышла из комнаты, Коди принялся заклеивать конверт с отцовским письмом.

Фишка Эзры упала на Парк-Плейс.

— Ура! — выкрикнул Коди.— Парк-Плейс, а у меня там гостиница. Ты должен мне полторы тысячи долларов.

— Бедненький Эзра,— посочувствовала Дженни.

— Как это у тебя вышло? — спросил брата Эзра.

— Что вышло?

— Откуда у тебя взялась гостиница на Парк-Плейс? Ведь она только что была заложена?

— А я на всем экономил,— объяснил Коди.

— Нет, тут что-то не так...

— Мама! — крикнула Дженни.— Коди опять жульничает!

Перл в этот момент развешивала на елке лампочки.

— Коди! — окликнула она.

— Что я такого сделал? — спросил он.

— Что он сделал, дети?

— Он держит банк,— объяснила Дженни.— У него и деньги, и закладные, и дома. А теперь и гостиница на Парк-Плейс? И еще куча денег. Это нечестно!

Перл поставила на пол коробку с елочными лампочками и подошла к детям.

— Ну хватит, Коди, положи все на место,— сказала она.— Закладные теперь будут у Дженни, а банк — у Эзры. Ясно?

Дженни протянула руку за «закладными», а Эзра стал раскладывать «деньги».

— И вот что,— сказала Перл,— если я еще раз услышу хоть единое худое слово о тебе, Коди Тулл, ты немедленно вылетаешь из игры. И уже насовсем! Понял? — Она наклонилась, чтобы помочь Эзре разложить «деньги».— Вечно ты жульничаешь, выводишь всех из себя, портишь всем настроение...— Она разложила нарисованные бумажные купюры на три кучки: доллары, пятерки и десятки.— Слышишь, Коди?

Да, он слышал, но не удостоил ее ответом. Он откинулся на стуле, самоуверенный, отстраненный, и с улыбкой наблюдал, как мать разбирает «деньги».

3. ПОГУБЛЕНА ЛЮБОВЬЮ

1

Старики предсказывали, что когда-нибудь Дженни Тулл станет красавицей, но им едва ли суждено было дожить до той поры, а сверстники не находили в ней ничего особенного. В семнадцать лет она была худенькой, строгой, серьезной девушкой. Кости у нее до того выпирали, что казалось, вот-вот проткнут кожу. К великому огорчению матери, она всегда сама стригла свои жесткие темные волосы — то «под горшок» обкорнает, то челку выхватит, а станет подправлять — так искромсает, что смотреть страшно. Ее одноклассницы (в 1952 году) щеголяли в пышных юбках и кокетливых блузочках с воротничками-стойками, а Дженни ходила в старомодных материнских платьях — такие, с подложенными плечиками и зауженной юбкой, носили в сороковые годы. Мать терпеть не могла неопрятные спортивные туфли и покупала Дженни прочные коричневые полуботинки на шнурках, вроде тех, в каких разгуливали ее братья. Каждое утро Дженни тащилась в школу хмурая, с раздраженным видом. Неудивительно, что почти никто с ней не разговаривал.

Теперь она впервые осталась в доме на положении единственного ребенка. Коди уехал в другой город учиться. Эзра поступать в университет отказался; он нашел себе работу (временную, как откровенно рассчитывала мать) — работу на резке овощей в ресторане Скарлатти, а когда его решили повысить — перевести на соусы,— он получил повестку о призыве в армию. Дженни с матерью представляли себе, как медлительный, неуклюжий Эзра пробирается по Корее, спотыкаясь на каждом шагу о собственный штык, но в голове это не укладывалось. Они надеялись, что у него обнаружат какой-нибудь дефект позвоночника или нелады со зрением и это спасет его от армейской службы. Но нет, его признали годным, и в феврале он отправился на юг для прохождения военной подготовки. Пока он собирался в дорогу, Дженни сидела на его кровати. Ее растрогало, что он берет с собой маленькую блок-флейту грушевого дерева, которую купил на первые заработанные деньги. Видимо, он не совсем отдавал себе отчет в том, что его ожидает. По обыкновению неторопливо и осторожно, Эзра разбирал вещи — в одну сторону то, что брал с собой, в другую — то, что оставлял на хранение в подвале. Мать надумала сдать его комнату, поэтому нужно было навести порядок. Постель Коди была уже готова принять нового жильца, свежие простыни и одеяла натянуты на узком матраце, как кожа на барабане, а спортивные принадлежности Коди уложены в картонные коробки и спрятаны.

Дженни наблюдала, как Эзра достает из комода майки, почти все дырявые. (Почему-то у него всегда был сиротский вид.) Он стал совсем взрослым — крупный, ширококостный мужчина,— только лицо с широко раскрытыми глазами, пушком на щеках и нежными губами школьника еще оставалось по-детски округлым. Волосы будто слои шелка, от желтого до бежевого. Дженни знала, что за ним постоянно бегали девчонки, но он был чересчур застенчив и, возможно, даже не замечал этого. Он шел по жизни рассеянно и задумчиво, словно решая в уме какую-то сложную математическую головоломку. Казалось, стоит ему найти ответ, и он тут же вскинет голову. Увы, ответа он не находил.

— Когда я уеду,— сказал он Дженни,— заходи иногда в ресторан Скарлатти.

— Зачем?

— Ну просто так, поговорить с миссис Скарлатти. Узнать, все ли у нее в порядке.

Миссис Скарлатти уже много лет была без мужа, если такой

вообще когда-то существовал, а единственный ее сын недавно погиб на войне. Дженни понимала, что живется ей, видимо, очень одиноко. Миссис Скарлатти, мрачная, яркая женщина, одевалась по последней моде, точно бросала вызов обитателям окрестных кварталов. Дженни чувствовала себя оскорбленной. Как же она будет с ней разговаривать? Но для Эзры Дженни была готова на все. Она кивнула в знак согласия.

— И с Джосайей тоже,— добавил Эзра.

— С Джосайей?!

Вот это было еще труднее, просто невозможно, честно говоря. Джосайя, друг Эзры, двухметровый верзила, всегда возбужденный, с бессвязной речью... Каждому известно, что у него «не все дома». В школе его вечно дразнили, а заодно и Эзру, допытывались у Дженни, почему ее брат водится с таким придурком. Мол, яснее ясного: Джосайе место в «психушке», и надо его туда упрятать.

— Я не могу разговаривать с Джосайей,— сказала Дженни.— У него ничего не разберешь.

— Разберешь,— успокоил сестру Эзра.— Ведь он же говорит по-английски, правда?

— Но он тараторит, бормочет, заикается.

— Это когда его дразнят. А так он вполне нормальный. Вот если бы мама разрешила хоть разок позвать его к нам домой, ты бы увидела, что он совершенно нормальный парень. Не глупее нас с тобой, а может, даже умнее.

— Ну, тебе лучше знать...— сдалась Дженни.

Однако Эзра ее не переубедил.

После отъезда Эзры Дженни вдруг пришло в голову, что говорил он с ней исключительно о чужих людях. Ни слова о том, чтоб позаботиться о матери. Может, он считал, что Перл позаботится о себе сама. Она и впрямь была весьма самостоятельным человеком. А между тем, проводив Эзру, мать как-то сникла. И все медлила, все не сдавала его комнату.

— Я знаю, деньги нам не помешают,— сказала она Дженни.— Но сейчас я просто не в силах. Комната еще хранит его запах. Вот разве что проветрить... Понимаешь, он как будто до сих пор живет там. Заглянешь, а в воздухе что-то теплое. По-моему, с жильцом надо повременить.

Так они и жили вдвоем. Ошеломленная пустотой большого дома, Дженни еще острее ощущала свою невесомость. Когда после полудня она возвращалась из школы, мать была на работе. Дженни открывала дверь и осторожно входила в дом. Иногда, едва переступив порог, она улавливала в глубине дома какое-то словно бы внезапно возникшее или прервавшееся движение. Сердце громко стучало, она замирала, настороженная, как лань, но страхи ее были напрасны. Закрыв дверь, Дженни поднималась к себе в комнату, включала настольную лампу и переодевалась. (Аккуратная, старательная девушка, она всегда вешала платья в шкаф, следила за своими вещами, педантично раскладывала на письменном столе тетради, карандаши, учебники.) Потом поправляла настольную лампу, принималась за уроки и добросовестно выполняла все домашние задания. В мечтах она видела себя врачом, а это означало, что придется добиваться стипендии. Последние три года в средней школе у нее были сплошь отличные оценки.

В пять вечера Дженни спускалась вниз и чистила картошку или жарила курицу (Перл оставляла на кухонном столе записку с инструкцией). А вскоре появлялась и сама Перл.

— Ну и дела! — рассказывала она.— С этой старухой Пендл просто наказание. Дождется, когда я пробью чеки, а потом говорит: «Погоди-ка, я сосчитаю. Ох, таких денег у меня с собой нет». И начинает рыться в своем драном тряпичном кошельке. А очередь стоит...

Мать надевала фартук и сменяла Дженни у плиты.

— Подай-ка мне соль, дочка. От наших парней ни слова. Совсем, видно, забыли о нас. Вдвоем мы с тобой остались — ты да я.

И действительно, они остались вдвоем, но дом их полнился отзвуками прошлого — будто и озорной забавник Коди был рядом, и миролюбивый Эзра. И когда Дженни с матерью садились за стол, воцарялось тягостное молчание. «Налей себе молока, дорогая... Возьми фасоли». Порой Дженни ловила себя на мысли, что даже отец напоминал им о своем отсутствии, хотя, сколько ни силилась, не могла нарисовать в воображении его лицо и мало что помнила о том времени, когда он жил вместе с ними. Естественно, в разговорах с матерью она об этом не заикалась. Они болтали о разных пустяках, роняли ничего не значащие фразы, осторожно обходили острые углы.

— Ну как эта бедняжка Джулия Кэррол, Дженни? Ты не заметила, она все худеет?

Дженни знала, что на самом деле мать человек страшный: властный, вспыльчивый, неуправляемый. Ее сухие соломенные ресницы словно выгорели в пламени пожара. Бесцветные волосы потрескивали от электрических разрядов в пучке, а зрачки сужались до размера булавочной головки. Кто из детей мог забыть ее обжигающие пощечины? Лапки кольца с жемчужиной, подаренного мужем в день помолвки, рассекали до крови губу Дженни. Она на всю жизнь запомнила, как однажды мать спустила Коди с лестницы, видела, как Эзра, подняв над головой руки, пригнувшись, защищался от материнских ударов. Сколько раз мать припечатывала к стене ее, Дженни, обзывала змеей, тараканом, соплей, гадиной! А вот сейчас сидит перед ней и участливо расспрашивает, не похудела ли Джулия Кэррол. В глубине души у Дженни затеплилась надежда, что времена изменились. Может, прежде все происходило по вине братьев. Может, теперь они с матерью — умные как-никак женщины — сумеют жить без этих отвратительных сцен. Но твердой уверенности у Дженни все-таки не было. И вечерами, после того как Перл целовала ее в лоб, Дженни уходила спать и видела один и тот же сон: нацисты топают вверх по лестнице, а мать с диким сатанинским смехом вытаскивает дочь из тайника, обвиняет ее в грехах и преступлениях, о которых та понятия не имеет, а потом сухим, учтивым тоном объясняет, что воспитывает дочь для того, чтобы живьем съесть ее.

Коди писал домой редко, а если и присылал письма, они были лаконичны и деловиты: «На весенние каникулы домой не приеду; все отметки, кроме французского, у меня хорошие; на новой работе платят больше, чем на старой».

Эзра бросил им открытку, как только добрался до места. А три дня спустя послал письмо, в котором описывал свою военную жизнь. Письмо Эзры было длиннее, чем несколько вместе взятых писем Коди, но в нем не было того, что интересовало Дженни. «Есть тут один парень, тоже из Мэриленда,— писал Эзра,— в другом бараке, но я с ним еще не говорил и думаю, он не из Балтимора, а из другого города, о котором я ничего не знаю, так что мы вряд ли...» О чем же, собственно, шла речь? Есть ли у него друзья? Раз люди живут бок о бок, почему бы им не поговорить? Дженни опасалась, что окружающие чуждаются Эзры или, что еще хуже, издеваются над его неуклюжестью. Какой же из него солдат? «Но я очень много узнал о своей винтовке,— сообщал он,— вот бы Коди удивился!» Она пыталась мысленно увидеть, как длинные тонкие пальцы Эзры чистят и смазывают винтовку. Она понимала: брат все-таки справляется со своими обязанностями, но как именно, трудно сказать. Она вообразила себе Эзру на стрельбище — вот он лежит на животе в пыли, держа палец на спусковом крючке. Взгляд у него задумчивый. Как

же он сумеет попасть в цель? «Говорят, скоро нас отправят в Корею,— писал он,— осталось только...» Господи, да его же прихлопнут там как муху! Он знает лишь один способ защиты — прикрыть голову руками и увернуться.

«Я часто думаю о ресторане Скарлатти и о том, как чудесно пахнет салат, когда режешь его и бросаешь в миску»,— писал он. Первый намек на тоску по дому, если только это в самом деле тоска. Перл ревниво потянула носом:

— Как будто у салата есть запах!

Дженни тоже рассердилась: лучше бы вспомнил, как они по понедельникам вечерами лежали на полу возле приемника и слушали джаз. Дался ему этот ресторан! И тут в душе ее шевельнулся червячок беспокойства. Ведь она что-то не сделала, что-то, чего ей делать не хочется... Ах да, не проведала миссис Скарлатти. Неужели Эзре и вправду хотелось, чтобы она сдержала свое обещание? Нет, не мог он ждать этого от нее. Впрочем, Эзра как раз и мог. Он мыслил более чем прямолинейно.

Она сложила письмо Эзры и сунула его в карман. Потом надела пальто и пешком направилась на Сент-Пол-стрит к узкому кирпичному зданию, втиснутому между конторами и магазинами.

В этом районе ресторан Скарлатти был единственным фешенебельным заведением. Там только ужинали — как правило, люди состоятельные, приезжавшие сюда из богатых кварталов. В этот час — около половины шестого — ресторан был еще закрыт. Она подошла к черному ходу, куда несколько раз приходила вместе с Эзрой, обогнула два мусорных бака с увядшей зеленью, поднялась на крыльцо и постучала. Потом приложила ладонь ребром к окну и заглянула внутрь.

Мужчины в грязных фартуках сновали по кухне — пар, нержавеющая сталь, лязгающие крышки кастрюль, огромные чаны, полные нашинкованных овощей. Немудрено, что никто не услышал ее стука. Дженни повернула ручку — заперто. Хотела постучать еще раз, погромче, и тут увидела миссис Скарлатти. Ссутулив плечи, та стояла у входа в зал, бледная, в узком черном платье, с зажженной сигаретой в руке. До Дженни донесся хриплый равнодушный голос миссис Скарлатти, но слов нельзя было разобрать. Дженни обратила внимание на ее прическу: черные волосы зачесаны вправо, как у сверхмодных манекенщиц из журнала «Вог». И голова ее тоже клонилась вправо, будто эта женщина несла непосильную ношу, какой-то тяжкий груз, связанный с мужчинами и прожитой жизнью. И Эзра был знаком с этой особой! И чувствовал себя с ней легко и свободно! Беспокоился о ней! Подумать только! Дженни повернулась и зашагала прочь. До нее внезапно дошло, что братья выросли и покинули дом. Они уже не такие, какими она их помнила; Эзра уже не школьник, играющий на бамбуковой дудочке; да и Коди, победоносно бросавший игральные кости на старую доску «монополии», уже не тот. Ей вспомнилась выцветшая байковая рубашка, которую Эзра носил не снимая, так что казалось, она приросла к нему. Вспомнилось, как он покачивался, засунув руки в задние карманы брюк, или, когда не знал, что ответить, буравил землю носком кеда. А как он утешал ее, когда она сидела у себя в комнате, зареванная после очередного скандала с матерью. Прокрадывался вниз, на кухню, и приносил ей кружку горячего молока с медом и корицей. Он молниеносно улавливал настроение каждого из членов семьи и в знак безмолвной поддержки тут же предлагал еду или питье.

Дженни прошла по переулку и, вместо того чтобы идти к дому, свернула сначала на Бушнел-стрит, а оттуда на Патнем-стрит. Холодало, пришлось застегнуть пальто на все пуговицы. Миновав три квартала Патнем-стрит, она очутилась перед зданием, таким старым

и унылым, что его можно было принять за бывший склад, если бы не вывеска: «Том и Эдди. Авторемонтная мастерская». Раньше она часто приходила сюда за Эзрой, но никогда не переступала порога, а ждала брата у въезда. Теперь же она вошла и огляделась. Ее окружал полумрак. Том и Эдди — насколько она поняла, это были они — разговаривали с каким-то человеком в темном костюме; один из них держал в руке скоросшиватель. В глубине мастерской Джосайя Пейсон бил по крылу пикапа огромной резиновой кувалдой. Осколок воспоминания пронзил Дженни, загадочный обрывок давнего-давнего прошлого: Джосайя на школьном дворе яростно размахивает то ли куском трубы, то ли металлическим стержнем, со свистом рассекающим воздух, и выкрикивает какую-то несуразицу, а Эзра, защищая его, стоит между ним и толпой мальчишек. «Все будет в порядке, ребята, вы только уходите!» — говорит Эзра. А что было потом? Чем это кончилось? С чего началось? Она не помнила. А сейчас Джосайя орудовал кувалдой. Он был непомерно высокий и худой, точь-в-точь остов какой-то незавершенной скульптуры. Коротко подстриженные черные волосы торчали ежиком, костлявое лицо блестело, кривые, находящие один на другой зубы были так стиснуты, словно он собирался раздавить их и выплюнуть.

— Джосайя!..— робко окликнула она.

Он опустил кувалду и взглянул на нее. А может, куда-то еще? Глаза у него были черные, как вар, без век, восточного разреза. Не поймешь, куда они смотрят. Он швырнул кувалду на груду мешковины и, сияя от счастья, ринулся к Дженни.

— Сестра Эзры! — сказал он.— Эзра!

Она улыбнулась и зябко обхватила руками свои локти.

Джосайя остановился перед ней и провел пальцами по волосам. Руки у него были чересчур длинные.

— Как Эзра? — спросил он.

— Нормально.

— Он не ранен, не...

— Нет.

Эзра был прав. Джосайя говорил вполне внятно, и голос у него был по-мужски низкий. Но он не знал, куда девать руки,— стал тереть их, словно пытался соскрести с ладоней грязь или машинное масло, а то и кожу. Том и Эдди прервали разговор и с любопытством поглядывали на них.

— Выйдем,— предложила она Джосайе,— я дам тебе почитать его письмо.

Уже сгустились сумерки, но Джосайя все равно взял у нее письмо и пробежал глазами по строчкам. Между его бровями пролегла глубокая складка, будто продавленная острием топора. Она заметила, что старый комбинезон Джосайи тщательно выстиран, но брюки так коротки, что из-под них виднеются съехавшие белые носки и волосатые икры. Губы его с трудом смыкались, подбородок от напряжения вытянулся.

Он вернул ей письмо. Трудно было сказать, что он там вычитал.

— Если бы разрешили,— сказал он,— я бы пошел с ним. С радостью. Но они сказали, я слишком высокий...

— Слишком высокий?

Надо же! Она и не подозревала, что из-за этого могут не взять в армию.

— Так что пришлось остаться здесь,— сказал он.— Но я не хотел. Не собираюсь ишачить в этой мастерской всю жизнь. Займусь чем-нибудь другим.

— Чем же, например?

— Пока не знаю. Наверное, подыщу что-нибудь вместе с Эзрой, когда он вернется из армии. Он часто заходил сюда ко мне. Глянет, бывало, на все это и скажет: «И как ты только выдерживаешь? Та-

кой грохот. Надо подыскать тебе что-нибудь другое». Но я не знал, где искать. А теперь Эзра уехал. Грохот — это еще куда ни шло, плохо, что летом здесь жарко, а зимой холодно. И от холода у меня болячки и зуд.

— Может, это цыпки,— сказала Дженни.

Она уже ничуть не робела. Казалось, они с Джосайей знакомы всю жизнь. Она провела ногтем по сгибу письма Эзры. Джосайя смотрел то ли на нее, то ли сквозь нее и хрустел суставами пальцев.

— Скорей всего я наймусь на работу к Эзре, когда он откроет свой ресторан,— сказал Джосайя.

— С чего ты взял? Эзра и не думает открывать свой ресторан.

— Нет, думает.

— Ну зачем ему это? Соберется с силами, поступит в университет и станет учителем.

— Кто это тебе сказал? — спросил Джосайя.

— Мама. Она говорит, у него терпенья хватит. Кто знает, может, он даже профессором станет,— сказала Дженни. И тотчас засомневалась. — Ты же понимаешь, ресторан — это не на всю жизнь.

— Почему?

Она не знала, что ответить.

— У Эзры будет такой ресторан, куда люди станут приходить просто как на семейный обед,— объяснил Джосайя.— Он будет готовить каждый день всего лишь одно блюдо и будет сам раскладывать еду по тарелкам, все самое сытное и полезное, как в настоящей домашней кухне.

— Это тебе сам Эзра сказал?

— Совсем как дома.

— Ну не знаю... А может, люди ходят в ресторан, чтобы забыть о доме?

— Такой ресторан сразу прославится на весь город,— сказал Джосайя.

— Ты его не так понял,— сказала Дженни.— Как ты мог поверить в такую чушь?

И вдруг он неожиданно стал прежним Джосайей, таким, каким она его помнила. Голова у него дернулась вниз, как у марионетки с оборванными нитками.

— Мне пора,— сказал он.

— Куда ты спешишь?

— Не хочу, чтобы они на меня орали.

И, не попрощавшись, он вприпрыжку побежал в мастерскую. Дженни смотрела ему вслед с таким сожалением, как будто это был сам Эзра. Джосайя так ни разу и не оглянулся.

Коди писал, что его приглашают на переговоры в крупные корпорации. После окончания университета он хотел заняться коммерцией. Эзра сообщал, что может теперь прошагать без отдыха двадцать миль. Перл и Дженни мало-помалу перестали удивляться, что он солдат. В конце концов, он из тех, кто терпеливо и безропотно выполняет свои обязанности. Напрасно Дженни волновалась. Мать тоже немного успокоилась.

— Как видно, все к лучшему,— сказала она.— Служба в армии идет парню на пользу, у него появляется возможность обдумать все как следует, собраться с мыслями. Вот увидишь, он вернется из армии и поступит в университет. А потом наверняка и сам захочет преподавать.

Дженни ни слова не сказала матери про ресторан.

После того первого раза она еще дважды навещала Джосайю. После уроков заглядывала в мастерскую, и Джосайя выходил к ней на улицу; он стоял, размахивая руками и глядя куда-то вдаль, и говорил об Эзре.

— Я тоже получил от него письмо. Оно у меня дома. Пишет, их заставляют делать большие переходы.

— По двадцать миль,— уточнила Дженни.

— Да еще в гору.

— Наверное, он здорово окреп.

— Он всегда любил ходить пешком.

Когда Дженни зашла в мастерскую в третий раз, уже почти стемнело. Дженни задержалась на спевке. Джосайя собирался уходить. Он надевал куртку в крупную неяркую темно-синюю и бордовую клетку. Ей вспомнились куртки, которые носят мальчики в начальной школе.

— Этот Том...— Джосайя с ожесточением засунул кулаки в карманы куртки.— И Эдди тоже хорош.— Он быстро зашагал по тротуару. Дженни едва поспевала за ним.— Разговаривать по-человечески не умеют. И думать не желают, каково человеку, и знать не хотят, что чувства у него как и у всех других...

Дженни отстала, решив, что ему лучше побыть одному, но через несколько шагов он остановился и обернулся, поджидая ее.

— Я ведь живой человек! — сказал он, когда она поравнялась с ним.— Разве мне приятно, когда на меня орут? Вот жить бы где-нибудь в лесу, чтоб никто меня не дергал. Кругом тихо-тихо. А я бы поставил палатку, залез бы в спальный мешок...

Он повернулся и зашагал так быстро, что Дженни пришлось бежать за ним.

— Я совсем было решил уволиться,— сказал он.

— Почему же не уволился?

— Маме нужны деньги.

— Ну, ты бы мог найти другую работу.

— Не так это просто.

— Почему?

Джосайя не ответил. Они миновали плохонький ювелирный магазин, булочную, большой многоквартирный дом с приветливо светящимися окнами. И вдруг он предложил:

— Может, зайдешь к нам поужинать?

— Что? Нет, не могу.

— Эзра часто у нас ужинал,— сказал он,— пока не стал работать в ресторане, потом он уже не мог уходить по вечерам. Мама всегда рада была поставить на стол еще одну тарелку. В любое время. А вот твоя мама редко его отпускала. Она меня не любит.

— Ну...

— Может, все-таки зайдешь?..

Дженни остановилась и неожиданно для себя сказала:

— С удовольствием.

Джосайя нисколько не удивился (зато сама Дженни была потрясена). Промычав что-то, он помчался дальше. Они прошли по узкой улочке, потом по незнакомому переулку.

С фасада дом Джосайи был очень похож на их — стандартный кирпичный домик с небольшим палисадником. Но они подошли с другой стороны, где он имел довольно обшарпанный вид из-за посеревшей деревянной пристройки, оказавшейся холодным тамбуром с потрескавшимся линолеумом на полу. Джосайя остановился, снял куртку, взял у Дженни пальто и повесил его вместе с курткой на крючки возле двери.

— Мама! — крикнул он и повел Дженни на кухню.— У нас к ужину гости, мама!

Миссис Пейсон, маленькая пухленькая женщина в темном, землистого цвета платье, стояла у плиты. Она напомнила Дженни неприметную бурую птичку. Лицо у нее было круглое, гладкое, лоснящееся. Она взглянула на Дженни и улыбнулась. Джосайя так и не догадался их познакомить, и Дженни представилась:

— Дженни Тулл.

— Вот как! Ты не родня Эзре?

— Я его сестра.

— До чего я люблю этого паренька.— Миссис Пейсон сняла с плиты кастрюлю и поставила ее на стол.— Когда его призвали, я плакала горькими слезами. Джосайя тебе говорил? Просто рыдала. Ведь он был мне как сын. Часто приходил к нам...— Она поставила на стол три прибора, а Джосайя разлил в стаканы молоко.— Никогда не забуду,— продолжала миссис Пейсон,— когда умер отец Джосайи, Эзра пришел и долго сидел у нас. Приготовил нам еду, сварил какао. Я ему говорю: «Эзра, мне неловко, что ты здесь с нами, а не дома со своей семьей». А он отвечает: «Ничего, миссис Пейсон, не беспокойтесь».

Когда же это могло быть? — подумала Дженни. Эзра словом не обмолвился о смерти мистера Пейсона.

На ужин были спагетти и салат, а на сладкое — шоколадный торт. Дженни старалась есть поменьше — дома опять придется ужинать, чтобы мама не догадалась; а Джосайя все время просил добавки. Миссис Пейсон только и успевала ему подкладывать.

— Посмотреть на него,— сказала она,— не подумаешь, что столько ест, правда? Тощий как жердь. Наверное, мальчик все еще растет.— Она засмеялась, и Джосайя, потупившись, смущенно улыбнулся — худущий, сутулый, неуклюжий мужчина.

Никогда раньше Дженни не приходило в голову, что Джосайя — чей-то сын, драгоценнейшее сокровище какой-то женщины. Его короткие черные ресницы были опущены, голова с ежиком волос склонилась над тарелкой. Он был уверен, что хотя бы здесь его любят. Дженни отвела глаза.

После ужина она помогла миссис Пейсон вымыть посуду, расставила чистые тарелки и стаканы на открытых крашеных-перекрашеных полках. Дома мать, наверное, уже с ума сходит, но Дженни нарочито медленно перетирала каждую вилку. Потом Джосайя пошел проводить ее.

— Приходи еще! — крикнула миссис Пейсон, стоя в дверях.— И застегни пальто как следует!

Дженни вспомнила сказку о Джеке и бобовом стебле... А может, это была какая-то другая сказка, в которой бедная вдова, честная добрая женщина, живет в хижине со своим сыном. В сравнении с этой жизнью и холод темных улиц, и облик ее собственной вечно суетящейся матери казались ей далекими и нереальными.

Они молча шли по Кэлверт-стрит, выдыхая клубы белого пара. Пересекли улицу и поднялись на веранду дома Дженни.

— Ну вот,— сказала Дженни,— спасибо, что пригласил меня, Джосайя.

Джосайя неуклюже, дернувшись всем телом, подался вперед. Ей показалось, что он хочет что-то сказать. Но он наклонился, заключил ее в кольцо жестких рукавов своей клетчатой куртки и поцеловал в губы. Сначала она не сообразила, что происходит, потом страшно огорчилась, не столько за себя, сколько за него. О, как все это грустно — он все неправильно понял. Ведь со стыда же сгорит. И как он мог так ошибиться?

Размышляя об этом (против воли прижатая к его щетинистому подбородку и жесткому рту), Дженни неожиданно увидела все его глазами: их скромный «роман» (так, наверное, он это называет), такой же неправдоподобный, как существование вдовы Пейсон. И ей вдруг страшно захотелось, чтобы это оказалось правдой; она остро затосковала по жизни с его матерью в их уютном доме, по чистой и безмятежной супружеской жизни. И ответила на поцелуй, ощутив даже сквозь толстую одежду Джосайи, как он напрягся и задрожал.

Внезапно яркий сноп света ворвался в темноту, входная дверь с шумом распахнулась, и на них обрушился голос ее матери:

— Что?! Что все это значит?

Они отпрянули друг от друга.

— Ах ты дрянь! — закричала Перл.— Шлюха! Мерзавка! Так вот что у тебя на уме! Не удосужилась сообщить, где шляется! Дома ее нет, ужин не приготовлен! Я тут голову потеряла, места себе не нахожу, а она вот где! Целуется! Целуется с...

Не подобрав подходящего слова, мать с кулаками набросилась на Дженни и влепила ей здоровенную пощечину. Глаза у Дженни наполнились слезами. Джосайя, будто это его ударили, резко отвернулся и уставился куда-то в сторону. Губы его беззвучно шевелились.

— ...С сумасшедшим, с идиотом! С дебилом! И все это назло мне. Так? — продолжала Перл.— Издеваешься надо мной? Я целыми днями надрываюсь в лавке, а она валяется в подворотнях с этим животным, с этой гориллой, разрешает ему все что угодно, лишь бы осрамить меня.

— Нет-нет-нет! — заикаясь, выкрикнул Джосайя.

— ...Лишь бы насолить мне, а я-то мечтала... А она небось прогуливала уроки, валялась с ним в кустах или на заднем сиденье в машине, а может, даже и в этом доме, откуда мне знать? Пока я надрывалась у братьев Суини...

— Нет! Нет! А-а-а! — закричал Джосайя, и Дженни увидела в полосе света белые брызги слюны. Потом он раскинул длинные, как у чучела, руки, ринулся вниз по лестнице и исчез.

С тех пор Дженни, разумеется, не встречала Джосайю. Она тщательно выбирала дорогу и никогда больше не ходила к нему, не приближалась даже к тому месту, где могла бы на него наткнуться. Дженни казалось, что и он поступает так же, будто они по обоюдному согласию разделили город пополам.

Да и незачем ей было видеть его. Эзра писем не присылал. В один прекрасный день он явился домой собственной персоной. Однажды в воскресенье, когда Дженни спустилась к завтраку, она увидела на кухне брата. Он сидел на стуле в старых джинсах и потрепанном синем свитере, которые на время его армейской службы были пересыпаны нафталином и убраны. Но одежда висела на нем как с чужого плеча. Дженни ужаснулась: до чего же он похудел! Короткая стрижка не шла ему. Лицо бледное, постаревшее, под глазами темные круги. Он сидел сгорбившись, зажав руки между коленями, а Перл тем временем соскребала в раковину обгорелую часть гренка.

— Ты что будешь, варенье или мед? — спросила она.— Дженни, посмотри-ка, кто к нам приехал! Эзра, целый и невредимый! Давай я налью тебе еще кофе, Эзра.

Эзра молчал, устало улыбаясь Дженни.

Выяснилось, что его демобилизовали как лунатика. Он ничего такого за собой не помнил, но каждую ночь видел один и тот же сон: он шагает по пустынной равнине, вокруг ни деревца, ни травинки, только потрескавшаяся глина, а над головой — безжизненный синий купол неба. Он медленно переставляет ноги и шагает, шагает, шагает... А по утрам у него болели все мышцы. Он думал — от дневных переходов, пока ему не объяснили, в чем дело. Всю ночь, сказали ему, он бродил по лагерю, неторопливо шагая между рядами коек. Солдаты просыпались, спрашивали: «Тулл, это ты?» И он уходил. Молча, не просыпаясь, шел куда-нибудь в другое место. Его молчание пугало некоторых солдат, особенно молодых. Посыпались жалобы. Его послали к врачу, тот дал ему коробочку с желтыми таблетками. Он стал принимать таблетки, но все равно продолжал ходить

во сне, хотя иногда падал и оставался лежать до утра. Однажды, очевидно, он упал ничком, и, когда его разбудили, нос у него был в крови. Решили даже, что он сломал переносицу. Перелома не обнаружили, однако несколько дней под глазами у Эзры не исчезали синяки. Затем Эзру направили к армейскому священнику — тот спросил, нет ли у него причин для беспокойства. Может быть, дома что-нибудь стряслось? Может, какая-нибудь история с женщиной? Или заболел кто-то из родных? Эзра на все вопросы ответил: «Нет». Он сказал священнику, что все в порядке. И что сам никак не возьмет в толк, отчего с ним все это происходит. Священник поинтересовался, нравится ли ему военная служба. И Эзра ответил, что это не может нравиться или не нравиться, просто через это надо пройти, вот как стоит вопрос. И добавил, что служба в армии не вполне в его вкусе, больно много крика и шума, тем не менее он вроде со всем справляется. Все идет своим чередом. Священник сказал ему, что в таком случае он должен постараться отучить себя ходить во сне. А на следующую же ночь Эзра отправился в нижнем армейском белье в городок, расположенный милях в четырех-пяти от лагеря; глаза его, безжизненные, как ночные окна, были широко раскрыты, но он крепко спал. И официантке в закусочной пришлось разбудить беднягу и попросить своего зятя отвезти его на машине в лагерь. На другой день вызвали еще одного врача. Тот задал Эзре несколько вопросов, подписал какие-то бумаги и отправил парня домой.

— И вот я здесь,— бесцветным голосом сказал Эзра.— Демобилизовали.

— Так ведь не за проступок же,— утешила его мать.

— Конечно нет.

— Подумать только, что с тобой творилось, и ты даже слова об этом не написал.

— А чем вы могли мне помочь? — спросил он.

Вопрос этот словно состарил ее. Она сникла.

После завтрака Эзра отправился наверх, повалился на свою кровать и весь день проспал. Дженни пришлось будить его к ужину. За столом у него все равно слипались глаза, он сидел, качаясь, как пьяный, почти ничего не ел, засыпал, не дожевав кусок, а после ужина снова лег спать. Дженни слонялась по дому, нервно задергивая шторы. Неужели теперь так и будет? Неужели он останется таким навсегда?

Но утром в понедельник он опять стал прежним Эзрой. Одеваясь, Дженни услышала, как он снова наигрывает на своей грушевой блок-флейте «Зеленые рукава». Когда она спустилась вниз, Эзра жарил ее любимую яичницу — с сыром и кусочками зеленого перца,— а Перл читала газету. За завтраком он сказал:

— Я, наверное, пойду работать на старое место.

Перл взглянула на него поверх газеты, но промолчала.

— Почему же ты так и не навестила миссис Скарлатти? — спросил он у Дженни.— Она писала, что ты ни разу не была у нее...

— Я собиралась...— Дженни потупилась и, затаив дыхание, замерла. Сейчас он скажет что-нибудь о Джосайе. Но он этого не сделал. Дженни подняла глаза, увидела, что брат намазывает маслом гренок, и только тогда перевела дыхание. Она так и не поняла, что Эзре известно, а что нет.

2

Ко времени поступления в колледж Дженни, как и предсказывали, стала красавицей. Или все дело было в том, что такие, как она, просто вошли в моду? Насколько она могла судить, глядя на себя в зеркало, лицо ее было все таким же. Но звонили в общежитие боль-

ше всего ей, и, если бы не приходилось одновременно зарабатывать на жизнь то официанткой, то в прачечной, то в библиотеке, она могла бы каждый вечер бегать на свидания. Она отрастила волосы, держалась свободно, но ни на минуту не забывала о занятиях на медицинском факультете. Будущее всегда представлялось ей предельно ясным: прямая дорога к частной практике врача-педиатра в городке средней величины, желательно приморском. Приятно сознавать, что в любую минуту можно сесть на пароход и уплыть куда угодно. (Интересно, а на Среднем Западе у людей развивается боязнь замкнутого пространства?) Друзья подтрунивали над ее упорством и целеустремленностью. Соседка по общежитию ворчала, если у Дженни допоздна горела настольная лампа; ее раздражала педантичность, с которой Дженни раскладывала на письменном столе вещи, необходимые для занятий. Тут Дженни осталась верна себе.

Что касается Коди, то этот ее брат явно пошел в гору. Благодаря своим новаторским идеям в области научной организации труда, он поднимался все выше и выше и, поработав в нескольких фирмах, стал независимым экспертом по НОТ. А Эзра еще работал в ресторане у миссис Скарлатти. Но и он тоже продвинулся — фактически заведовал всей кухней, сама же миссис Скарлатти выполняла роль хозяйки в зале. Мать писала Дженни, что это просто стыд и срам. «Я говорю ему,— писала она,— что чем дольше он торчит в ресторане этой женщины, тем труднее будет ему вернуться к нормальной жизни, ты же знаешь, он всегда хотел поступить в университет...»

Перл по-прежнему работала в бакалейной лавке. Но с тех пор как стипендия и приработки Дженни освободили ее от финансовых забот о дочери, она стала лучше одеваться и выглядела не такой удрученной. Дженни виделась с ней два раза в год — на рождество и в сентябре, перед началом занятий. На все остальные праздники она придумывала отговорки, а летом нанималась в магазин готового платья в небольшом городке поблизости от колледжа. Не то чтобы она не хотела видеть мать. Дженни часто вспоминала неукротимую энергию и силу духа, которые проявила Перл, воспитывая одна троих детей, ее неизменный интерес к их судьбам. Но стоило Дженни приехать домой, домашняя атмосфера — сумрак, теснота оклеенных обоями комнат и в то же время какая-то пустота — уже с самого порога действовала на нее угнетающе. Она даже подумала, не аллергия ли у нее на все это. Похоже на респираторное заболевание — случались приступы удушья, голова делалась ватной, как бывало от беспрерывных занятий. Дженни вдруг начинала грубить. Даже спокойный, покладистый Эзра раздражал ее. Поэтому она старалась ездить в Балтимор как можно реже и первое время тосковала по семье. Но мало-помалу мысль о доме сама собой отошла на задний план. Дженни становилась все более деловитой, занятой и торопливой. Письма Эзры, такие же тяжеловесные и скучноватые, как его речь, можно было обнаружить в ванной, на краю раковины, или на кровати, где Дженни оставляла их скомканными, оборвав чтение на середине строки. Просто мысли ее были заняты другим, только и всего. Пока она училась в колледже, Коди, отправляясь по делам в Пенсильванию, дважды (на первом и втором курсе) заезжал проведать ее, и она радостно предвкушала его визиты. Он был такой эффектный, такой красивый — не стыдно и похвастаться им,— но едва он появлялся, как ее охватывало уныние. И вина была не ее, а его. Казалось, в любом ее слове он слышал голос матери. Она видела, как он цепенел, и прекрасно понимала, о чем думает Коди в такие минуты. «Как у тебя с деньгами? — спрашивал он.— Не купить ли тебе несколько новых платьев?» И она отвечала: «Спасибо, Коди, у меня все есть». Это была правда — она действительно ни в чем не нуждалась, но по лицу Коди Дженни видела, что ее слова «Нет-нет,

не беспокойся обо мне» он воспринимает как произнесенные писклявым голосом Перл. Что бы она ни сделала — поправила брату галстук, похвалила костюм или поинтересовалась его жизнью,— все тотчас настораживало Коди. А она страдала от незаслуженной обиды — неужели он думает, что она станет такой же властной, будет в чем-нибудь упрекать, вмешиваться в его дела? «Слушай,— попыталась она однажды внести ясность,— я имела в виду вовсе не то, что ты думаешь. Давай забудем, что было». Но Коди в ответ недоверчиво посмотрел на нее. Они никак не могли выбраться из паутины прошлого. И в тот приезд брата Дженни без сожаления проводила его. Вернувшись в общежитие, внимательно посмотрела на себя в зеркало — копна темных волос, тонкая фигурка. После этого она некоторое время была оживленнее обычного, словно стряхнула с рук густой слой прилипшей к ним пыли.

В конце последнего учебного года она по-настоящему влюбилась. Разумеется, она влюблялась и раньше — в студента английского отделения, который оказался чересчур деспотичным, потом в футбольную «звезду» с бычьей шеей; оглядываясь назад, Дженни воспринимала свое увлечение этим спортсменом как симптом временного помешательства. Теперь все было иначе. Его звали Харли Бейнс. Это был талант, умнейшая голова — даже его грязные очки в черепаховой оправе, неестественно бледная кожа и гнусавый голос внушали однокурсникам благоговейный восторг. Он не то чтобы держался особняком в их компании, просто был выше остальных, далеко их опередил. Говорили, что в двенадцать лет он мог бы защитить диссертацию, но родители воспротивились: у ребенка должно быть нормальное детство. На следующий год он поедет в Полемский университет, неподалеку от Филадельфии, и будет заниматься там исследованиями в области генетики. Дженни тоже собиралась в Полем, ее уже зачислили на медицинский факультет. Поэтому она и обратила внимание на Харли Бейнса. Чувствуя себя уверенно в центре своей шумной компании (увы, ненадолго — вскоре после окончания колледжа все разъедутся кто куда, и она останется беззащитной), она однажды обвела взглядом университетский городок и увидела Харли Бейнса, вышагивавшего по-журавлиному в старомодных брюках из шерстяной фланели и в большом бесформенном пуловере, скорее всего связанном его матерью. Его иссиня-черные волосы порядком засалились. Знает ли он, что она тоже будет учиться в Полеме? Привлечет ли это его внимание, и вообще, не считает ли он женское общество ниже своего достоинства? Может, он неприступный? Недосягаемый? Друзья были вынуждены несколько раз окликнуть ее и посмеялись над ее задумчивым видом.

Весна 1957 года, запоздалая, неторопливая, набирала силу. Преподаватели длинными палками с крючками на конце открывали фрамуги, и в аудитории проникал аромат сирени. Дженни носила блузки без рукавов, пышные юбки и туфли-лодочки без каблуков. Харли Бейнс расстался со своим пуловером. Его обнаженные мускулистые руки были покрыты густыми черными волосами. На шее он носил какую-то круглую штуковину не то из золота, не то из латуни. Дженни сгорала от любопытства: что это? Как-то на занятиях по немецкому она не удержалась и спросила, и он сказал, что эту медаль получил на школьном конкурсе за эксперимент по обмену веществ у белых крыс. Странно, что он до сих пор носит эту медаль, подумала Дженни, но промолчала и осторожно дотронулась до медали. На ощупь медаль была теплой, почти горячей.

Позднее Дженни не раз (догоняя Харли в коридоре или пристраиваясь за ним в очереди в кафетерии) спрашивала, рад ли он предстоящему переезду в Полемский университет, где́ он будет жить, ка́к в Полеме с общественным транспортом. Дженни задавала свои вопросы ровным бесстрастным голосом — она чувствовала себя как дрессиров-

щик в цирке, ни на минуту не забывающий о том, что зверю можно показывать только открытые ладони: мол, ничего тебе не угрожает. Она боялась спугнуть Харли. Между тем Харли, похоже, вовсе и не боялся, он отвечал ей учтиво, по-деловому. (Хорошо это или плохо?) Когда начались экзамены, она подошла к нему с тетрадкой по генетике и спросила, не поможет ли он ей. Они занимались на лужайке перед студенческим клубом, сидя на синем плюшевом покрывале, которое она сняла со своей кровати. Вокруг на таких же покрывалах расположились их однокурсники, они удивленно, с недоумением поглядывали на нее и поспешно отводили глаза.

Дженни задавала вопросы (не строя из себя дурочку, чтобы он не махнул на нее рукой, но показывая, что она действительно нуждается в его помощи), а Харли слушал и машинально рвал травинку на длинные полоски. Он был в тяжелых модных ботинках, неуместных на этом покрывале. Зажатая в пальцах травинка казалась объектом какого-то научного эксперимента. Отвечал он спокойно, без тени сомнения, уверенный, что она его поймет. Она и правда все понимала, и даже если б не подготовилась заранее — все равно бы поняла. Он мыслил логически — от А к Б и В. Своей неторопливостью и педантизмом он напоминал Эзру, но в остальном они были такие разные! Закончив объяснения, Харли спросил, все ли понятно.

— Спасибо,— поблагодарила она.

Он кивнул и поднялся. Неужели это все? Дженни тоже встала, и вдруг у нее закружилась голова — не от резкого движения, а, как ей пригрезилось, от любви. Он покорил ее. Интересно, что бы он сделал, если б она вдруг обняла его и, обжигая щеку о научную медаль, прижалась лицом к его белой-белой груди. Но вместо этого она попросила:

— Помоги мне сложить покрывало.

Он нагнулся и поднял покрывало за один край, Дженни — за другой. Они шагнули друг к другу. Харли отдал ей свой край и аккуратно смахнул с него каждую травинку, каждый лепесток. Потом забрал у нее покрывало, ожидая, видимо, что она отряхнет его со своей стороны. Дженни посмотрела ему прямо в лицо. Он шагнул вперед, взмахнув рукой, набросил покрывало себе на голову и плечи, притянул Дженни к себе, в темноту, и поцеловал. Его очки стукнули Дженни по носу. Да и поцелуй был неловкий, чересчур грубый. Дженни увидела все это как бы со стороны — среди зеленой лужайки синяя плюшевая колонна, сдвоенная мумия. Она фыркнула. Харли сбросил покрывало, повернулся и быстро ушел. Хохолок у него на голове подпрыгивал, как петушиный хвост.

Дженни вернулась к себе, приняла ванну и переоделась в платье с оборками. Тихо напевая, она выглянула в окно. Харли внизу не было. Потом она пошла ужинать, но его не было и в кафетерии. На другой день, сдав последний экзамен, она позвонила ему в общежитие. Чей-то заспанный голос буркнул:

— Бейнс уехал домой.

— Домой? Но ведь еще не было выпускной церемонии.

— А он и не собирался тратить на нее время.

— Вот как...— вырвалось у Дженни. Ей даже в голову не приходило, что выпускная церемония означает «трату времени». В самом деле, можно попросить выслать диплом по почте. Наверное, для таких, как Харли Бейнс, диплом сам по себе большого значения не имеет, подумала она. (А вот у нее, Дженни, вся семья собиралась приехать в такую даль, в Саммерфилд, чтобы присутствовать на церемонии.)

— Спасибо,— сказала она и повесила трубку, надеясь, что сосед Харли не догадается по голосу, как ей тоскливо.

Тем летом она опять работала в магазине «Женская одежда Молли» в маленьком городке недалеко от колледжа. Прежде эта работа нравилась ей, но на сей раз изысканная небрежность одежды для за-

мужних женщин — пестрые удлиненные шорты до колен, широкие в бедрах юбки цвета хаки — угнетала ее. Когда покупательницы обращались к ней за советом: «Ну как, идет мне?», «Может, это не по возрасту?» — она безучастно смотрела в сторону. На следующий год в это время она будет в Полеме. А там, глядишь, наденет накрахмаленный белый халат.

В июле мать переслала Дженни письмо Харли Бейнса, которое пришло на балтиморский адрес. Дженни вернулась с работы и в прихожей дома, где она снимала меблированную комнату, на столике увидела письмо. Взглянув на конверт, Дженни положила письмо в соломенную сумочку и поднялась наверх. Отперла дверь, вошла в комнату, бросила сумочку на кровать и распахнула окно. Достала из комода жестянку, насыпала корма двум золотым рыбкам в круглый аквариум. И только потом вскрыла конверт.

Догадывалась ли она заранее, что в этом письме?

Позже ей казалось, что да.

Писал Харли мелко, отделяя буквы друг от друга, как в машинописном тексте. Она ждала от гения более решительного почерка. Стиль у него был сухой и деловитый.

18 июля 1957 г.

Дорогая Дженни!

Я имел глупость обидеться на то, что, в сущности, было с твоей стороны вполне естественной реакцией. Вероятно, я выглядел нелепо и смешно. Перед нашей размолвкой я надеялся, что за лето мы лучше узнаем друг друга, а осенью поженимся. И я до сих пор считаю наш брак вполне возможным. Это решение может показаться тебе неожиданным — нельзя считать, что у нас было нормальное американское предбрачное знакомство, но в конце концов мы оба люди не легкомысленные.

Прими во внимание, что на будущий год мы оба будем в Полеме и могли бы снять однокомнатную квартиру на двоих, сэкономить на питании и т. п.

Мне кажется, твое финансовое положение весьма затруднительно, и я буду рад принять на себя материальную ответственность.

Все это звучит прагматичнее, чем хотелось бы. Но я понял, что в самом деле люблю тебя, и с нетерпением жду твоего ответа.

Уважающий тебя Харли Бейнс

P. S. Знаю, что ты девушка умная. Незачем было придумывать все эти вопросы по генетике.

Из всего письма самое сильное впечатление на нее произвел постскриптум. И почерк тут выглядел более свободным, раскованным, тогда как само письмо, похоже, переписывалось — и не раз — с черновика. Она перечитала его, сложила листок пополам и положила на кровать. Подошла к аквариуму, долго смотрела на рыбок, которые оставили нетронутым почти весь корм. Не надо столько им давать. «Дорогой Харли,— попробовала она мысленно сочинить ответ,— для меня было большой неожиданностью...» Нет. Сантименты его не интересуют. «Дорогой Харли, я обдумала твои условия и...» На самом деле она хотела ответить «да». Чувства, которые она испытывала к нему раньше, сейчас почти совсем притупились — детская влюбленность, вызванная страхом перед окончанием колледжа. Теперь ее больше волновала острота ситуации — гигантский прыжок в неизвестность с почти незнакомым человеком. Но таким и должен быть брак. Как в кино, когда во время всяческих катастроф — кораблекрушений

землетрясений, в тюрьмах, в стане врага — незнакомые люди волею обстоятельств оказываются один на один друг с другом и раскрывают свою истинную суть.

В последнее время жизнь ее как-то сузилась. Она могла без труда представить себе, что ее ожидает: сначала медицинский факультет, интернатура, затем ординатура. Недавно, взглянув на себя в зеркало, она вдруг поняла, что придет день — и чистая, нежная кожа вокруг глаз покроется морщинками. Она состарится, как и все другие.

Дженни вынула из ящика лист бумаги, села на кровать и взяла ручку. «Дорогой Харли... — Она сняла с кончика пера микроскопический волосок, чуть-чуть подумала, написала: — Я согласна» — и подписалась. Ответ ее был образцом деловой переписки. Даже Харли не сочтет его многословным.

На другой день к вечеру Дженни приехала в Балтимор. Она сожгла за собой все мосты: уволилась с работы, отдала золотых рыбок и забрала свои вещи. Это был самый опрометчивый поступок в ее жизни. В междугородном автобусе она сидела, величественно распрямив плечи, и время от времени отталкивала храпящего солдата, который то и дело клонился в ее сторону. На автовокзале она не стала дожидаться городского автобуса, взяла такси и с шиком добралась до дому.

Она никого не предупреждала о своем приезде и поэтому была удивлена, когда, расплачиваясь с таксистом, увидела, как парадная дверь распахнулась и на крыльцо вышла мать в цветастом платье с расклешенной юбкой, в туфлях-лодочках на высоких каблуках и шляпке с черной вуалькой. За ней шагал Эзра в неглаженом мешковатом костюме, а замыкал шествие Коди, темноволосый, красивый, похожий на ньюйоркца, в безукоризненном сером костюме из тонкой дорогой ткани и в полосатом шелковом галстуке. На долю секунды Дженни почудилось, что они собрались на ее похороны. Именно так они выглядели бы — строгие, торжественные, притихшие,— если бы ее уже не было с ними. Она отогнала эту мысль, улыбнулась и вылезла из такси. Мать на тротуаре остановилась как вкопанная.

— Боже мой! — сказала она.— Когда ты, Эзра, затеваешь семейную встречу, так это действительно семейная встреча! — Она приподняла вуаль и поцеловала Дженни в щеку.— Почему ты не предупредила нас, что приедешь? Эзра, это твои хитрости?

— Я тут ни при чем,— сказал Эзра.— Я хотел написать тебе, Дженни, но мне и в голову не приходило, что ты поедешь в такую даль только ради того, чтобы пообедать с нами.

— Пообедать? — переспросила Дженни.

— Это Эзра придумал,— объяснила Перл.— Узнал, что Коди будет проездом в Балтиморе, а может, даже заночует здесь, и сказал: «Я хочу, чтобы вы оба принарядились...»

— Ночевать я не останусь,— предупредил Коди.— У меня все расписано по часам. Когда вы наконец усвоите? Я даже на обед не имею права задержаться. В это время мне уже положено быть в Делавэре.

— Эзра собирается что-то нам сообщить,— сказала Перл, снимая ниточку с летнего платья Дженни.— Вот и пригласил нас для этого в ресторан Скарлатти. Хотя в такую жару мне вряд ли удастся проглотить что-нибудь кроме листика салата. Дженни, милая, до чего же ты худая, прямо спичка! А что у тебя в этом большом чемодане? Ты надолго приехала?

— Видишь ли... Ненадолго,— ответила Дженни, не решаясь рассказать им о своих планах.— Может, мне переодеться? А то вы все такие нарядные.

— Нет-нет. Все в порядке,— успокоил ее Эзра, потирая руки, как всегда, когда бывал доволен.— Все так хорошо складывается! Настоящий семейный обед! Это просто подарок судьбы!

Коди отнес чемодан Дженни в дом. А мать тем временем суетилась вокруг нее — пригладила ей волосы, ужаснулась ее голым ногам:

— Боже, да ты без чулок! В общественном транспорте!

Коди вернулся, открыл дверцу сверкающего синего «понтиака», стоящего у тротуара, и, поддерживая Перл под локоть, усадил ее в автомобиль.

— Ну как, ничего машинка? — спросил он у Дженни.

— Прелесть. Новая?

— А то как же! Это «понтиак». Чувствуешь запах? Так пахнут новые машины.

Коди обошел вокруг автомобиля и уселся за руль. Дженни и Эзра устроились на заднем сиденье; Эзра свесил костлявые руки между колен.

— Купил в рассрочку, конечно,— продолжал Коди, трогаясь с места и вливаясь в поток машин,— но я скоро все выплачу.

— Коди Тулл! — воскликнула мать.— Значит, из-за машины ты влез в долги?

— А что такого? Я скоро разбогатею, вот увидите. Через каких-нибудь пять лет смогу зайти в любой автомобильный салон, даже в салон «кадиллаков», выложить наличные и заявить: «Беру три, нет, пожалуй, даже четыре машины».

— Но пока это тебе не по карману,— сказала Перл.— Ты же знаешь, я предпочитаю ничего не покупать в рассрочку, чтоб не думать все время о долгах.

— Именно с временем я и имею дело.— Коди засмеялся и проскочил на желтый свет.— То-то и оно. Через десять лет ты будешь ездить в лимузине.

— Ну вот еще, зачем это надо?

— Эзра, если захочет, сможет поступить в Принстон. А у Дженни будет собственная клиника. И я заплачу за ее специализацию во всех областях медицины, абсолютно во всех.

В эту минуту самое время было бы упомянуть о Харли, но Дженни отвернулась к окну и промолчала.

В ресторане Скарлатти их провели к отдельному столику в углу, в самом конце длинного зала с парчовыми портьерами на окнах. Был ранний вечер, еще не стемнело. В ресторане почти ни души. Интересно, где же миссис Скарлатти? — подумала Дженни и хотела было спросить о ней, но Эзра отдавал в это время распоряжения официанту. Еду он заказал, по-видимому, заранее и сейчас предупреждал, что за столом будут не три, а четыре человека, с ними приехала его сестра. Настоящий семейный обед. Официант, который, как видно, души в Эзре не чаял, кивнул и отправился на кухню.

Эзра откинулся на стуле и улыбнулся. Перл вытирала вилку салфеткой. Коди все еще рассуждал о деньгах.

— В недалеком будущем я думаю купить участок земли под Балтимором,— сказал он.— Жить в Нью-Йорке совсем не обязательно. Я давно мечтаю завести ферму среди мэрилендских холмов. Может, коневодством займусь.

— Коневодством?! Да ведь это совершенно не в нашем вкусе,— заметила Перл.— На что тебе лошади?

— Мама,— сказал Коди,— все в нашем вкусе. Разве ты не понимаешь? Барьеров нет. Знаешь, кому на прошлой неделе потребовалась моя консультация? Корпорации «Таннер».

Перл опустила вилку. Дженни пыталась припомнить, где она слышала это название. В памяти что-то смутно шевельнулось — так после долгого отсутствия замечаешь в доме старую вещь, на которую раньше никогда не обращал внимания.

— «Таннер»? А что это такое? — спросила она у Коди.

— Это фирма, в которой работал наш отец.

— Ах да.

— А возможно, работает до сих пор. Ты бы посмотрела на эту фирму, Дженни. Такая ничтожная... Не в том смысле, что маленькая, у них там уйма всяких филиалов, дублирующих друг друга, конфликтующих между собой, но очень уж... несолидная. Ее так легко обойти. И я подумал про себя: а ведь они в моей власти. Корпорация «Таннер»! Всемогущая корпорация «Таннер»! И в тот же день я пошел и заказал себе этот «понтиак».

— Никогда,— сказала Перл,— эта корпорация не была несолидной.

Подали закуску на охлажденных тарелках, а к ней высокую бледно-зеленую бутылку вина. Официант отлил немного для Эзры, и тот пригубил бокал.

— Пойдет,— одобрил Эзра. (Было странно видеть его в роли хозяина.) — Попробуй, Коди.

— ...Никогда,— продолжала Перл,— даже в мелочах корпорацию «Таннер» нельзя было назвать ничтожной.

— Ах, мама, посмотри правде в глаза,— возразил Коди.— Это же куча мусора. Да я с них кожу с мясом сдеру и оставлю одни кости.

Можно было подумать, что речь идет о чем-то живом, о животном, которое будут мучить. Перл, видно, так и подумала.

— Коди,— сказала она,— почему ты так разговариваешь со мной?

— Да никак я с тобой не разговариваю.

— Разве я когда-нибудь нарочно обижала тебя? Делала тебе гадости?

— Перестаньте! — вмешался Эзра.— Мама! Коди! Это же семейный обед! Дженни! Давайте выпьем!

Дженни поспешно подняла бокал.

— Выпьем,— поддержала она.

Перл нехотя перевела глаза на Эзру и, помолчав, сказала:

— Ну ладно. Спасибо, милый. Но если в такую жару я выпью вина, оно камнем ляжет у меня в желудке.

— Выпьем за меня, мама. За мое будущее,— сказал Эзра.— Выпьем за нового совладельца ресторана Скарлатти.

— Совладельца? И кто же это такой? — спросила Перл.

— Я, мама.

В этот миг двустворчатая дверь, ведущая на кухню, раскрылась, и в зал вошла миссис Скарлатти, как всегда элегантная, энергичная, гордо откинув голову с асимметричной прической. Наверное, миссис Скарлатти ожидала своего выхода, может быть даже подслушивала.

— Итак,— произнесла она, положив руку на плечо Эзры.— Что вы думаете о планах моего мальчика?

— Не понимаю,— сказала Перл.

— Но вы же знаете, с тех пор как погиб мой сын, Эзра стал моей правой рукой. Честно говоря, он помогал мне даже лучше, чем мой сын. Бедный Билли никогда не питал к ресторану особых чувств.

Эзра встал со стула, как будто сейчас должно было произойти нечто важное и торжественное. Миссис Скарлатти хриплым, надтреснутым голосом объясняла его собственной матери, что за ангел ее сын Эзра, какой он замечательный, какой талантливый, какое уважение питает к хорошей еде и сервировке, как он «божественно» (так она выразилась) чувствует приправу, а Эзра тем временем вытащил из кармана кожаный бумажник и заглянул в него с озабоченной миной на лице.

— Вот! — сказал он, подняв руку с истрепанной долларовой купюрой.— Миссис Скарлатти, за этот доллар я покупаю свою долю в вашем ресторане.

— Теперь ты мой партнер, милый,— кивнула миссис Скарлатти, принимая от него доллар.

— Что это значит? — спросила Перл.

— Вчера мы подписали документы в конторе моего адвоката,— объяснила миссис Скарлатти,— по-моему, мы поступили правильно.

Кому же еще я оставлю ресторан, когда отправлюсь на тот свет? Своей собачке? Эзра тут все знает. Налей мне вина, Эзра.

— А я думала, ты собираешься поступать в университет,— сказала Перл.

— Я?

— Думала, ты хочешь стать учителем. Может, даже преподавать в университете. Не понимаю, что случилось. Конечно, это не мое дело. Я не из тех, кто вмешивается в чужую жизнь. Но ты подумал, как на это посмотрят люди, которые не знают всей подноготной? Принять такой подарок! Да еще от женщины. Всю жизнь ты будешь должником, Эзра, а мы, Туллы, можем рассчитывать только на себя, только друг на друга. Мы не должны просить помощи ни у кого на свете. Как же ты мог согласиться на такое?

— Мама, я люблю готовить еду для людей,— ответил Эзра.

— Он чудо,— сказала миссис Скарлатти.

— Но быть вечным должником?

— Оставь его в покое, мама,— сказал Коди.

Перл так и подскочила.

— А тебе это, конечно, доставляет огромное удовольствие.

— Это его жизнь.

— Можно подумать, что его жизнь очень беспокоит тебя. Ты только и ждешь, чтобы наша семья распалась, чтобы мы растворились в окружающем нас мире.

— Перестаньте, пожалуйста,— попросил Эзра.

Но Перл встала и решительно направилась к двери.

— Ты же не ела! — крикнул ей вслед Эзра.

Она не остановилась. В прямой осанке матери Дженни увидела приметы надвигающейся старости — жилистые ноги, хрупкие кости.

— Как жаль,— сказал Эзра,— а мне так хотелось на этот раз угостить вас по-настоящему.

Он бросился за Перл. Немногочисленные посетители подняли головы и тотчас снова уткнулись в свои тарелки.

За столом остались Коди, Дженни и стоящая рядом миссис Скарлатти. Миссис Скарлатти, похоже, не очень расстроилась.

— Ах эти матери,— сказала она миролюбиво и спрятала доллар в вырезе своего черного льняного платья.

— Ну так что? — спросил Коди.— Судя по всему, бал окончен. А мне полагалось еще час назад быть в Делавэре. Тебя подвезти, Дженни?

— Пожалуй, я лучше пройдусь пешком.

Уходя, Дженни увидела, что миссис Скарлатти в одиночестве стоит у стола и с легкой усмешкой смотрит на нетронутые закуски.

Когда Коди уехал, Дженни медленно пошла к дому. Ни Перл, ни Эзры нигде не было видно. Сгущались сумерки. Жаркий влажный вечер пахнул резиной от перегретых покрышек. Легко шагая в своем летнем платье мимо витрин, Дженни вдруг ощутила себя чьим-то романтическим идеалом юной девушки. Потом она попыталась вызвать в памяти образ Харли Бейнса, но ничего из этого не получилось. Что Дженни знала о браке? И вообще, зачем ей понадобилось выходить замуж? Она всего лишь ребенок и навсегда им останется. Мысли о свадьбе казались несерьезными, надуманными. Ей стало не по себе. Она попыталась вспомнить поцелуй Харли и не могла, да и сам Харли был столь же условен, как крохотные фигурки в фирменных каталогах.

За стеклом витрины кондитерской ссорились двое детей, их мать стояла рядом, прижав руку ко лбу. В следующем доме была аптека, а рядом — окно гадалки. На грязном стекле облупившимися по краям золотыми буквами выведено: МИССИС ЭММА ПАРКИНС — ГАДАНИЕ И СОВЕТЫ. На подоконнике, словно постскриптум, еще две бумажки с надписью от руки: «Строгое соблюдение тайны» и

«Оплата только при полном удовлетворении». В тусклом свете пыльной лампы было видно, как миссис Паркинс сновала по комнате — толстая, неопрятная старуха с картонным веером на палочке от мороженого.

Дойдя до угла, Дженни остановилась и повернула обратно к гадалке. Постучать или просто войти? Она тронула ручку. Дверь открылась, и в тот же миг над нею задребезжал колокольчик. Миссис Паркинс опустила веер.

— Надо же, клиентка!

Дженни прижала сумку к груди.

— Жара не спала? — спросила миссис Паркинс.

— Нет,— ответила Дженни. Ей почудилось, что в комнате пахнет микстурой от кашля, горькой, темной, с вишневым привкусом.

— Присаживайтесь,— пригласила миссис Паркинс.

В комнате было два мягких кресла, они стояли друг против друга, а между ними круглый столик с лампой посередине. Дженни села в кресло поближе к двери, миссис Паркинс одернула прилипшее сзади платье и, не выпуская из рук веера, со стоном опустилась в другое кресло.

— По радио говорили, что к завтрашнему дню жара спадет,— сказала она.— Но до завтра еще дожить надо. С каждым годом все хуже переношу жару.

Но когда она взяла Дженни за руку, собственная ее рука оказалась на ощупь прохладной и сухой, а кончики пальцев — жесткими, загрубевшими. Разглядывая ладонь Дженни, она обмахивалась веером, и поэтому создавалось впечатление, будто она занимается обыденным делом.

— Долгая жизнь, хорошая карьера...— бормотала она, словно перебирая карточки в картотеке.

Дженни расслабилась.

— Наверное, ты хочешь задать какой-то вопрос,— сказала миссис Паркинс.

— Я...

— Ближе к делу.

— Стоит ли мне... выходить замуж?

— Замуж? — повторила миссис Паркинс.

— У меня есть такая возможность. Мне сделали предложение.

Миссис Паркинс снова уставилась на ее ладонь, затем жестом велела Дженни протянуть другую ладонь и мельком взглянула на нее. Потом она откинулась в кресле и, продолжая обмахиваться веером, посмотрела на потолок:

— Замуж? Так вот. Можешь выходить, а можешь отказаться. Если и откажешься на этот раз, у тебя будут другие предложения. Точно. Но мой тебе совет: действуй.

— Что, выходить?

— Если не выйдешь замуж на этот раз,— сказала миссис Паркинс,— тебя ожидают горе и отчаяние. В сердечных делах у тебя будет много огорчений. От разных людей. Короче говоря, если не выйдешь сейчас замуж, любовь погубит тебя.

— Вот как,— сказала Дженни.

— С тебя два доллара.

Пока Дженни рылась в сумочке, на ум ей пришла любопытная мысль. По Эзриному курсу на эти два доллара она могла бы купить целых два ресторана.

Она вышла за Харли в конце августа. Их обвенчали в маленьком баптистском молельном доме, который время от времени посещала семья Туллов. Коди был посаженым отцом, а Эзра — шафером. Гостями, которых Эзра встречал в церкви, были: Перл, родители Харли и его тетя по материнской линии. Дженни была в белом платье

из шитья и в босоножках, Харли — в черном костюме, белой рубашке с воротничком на пуговках и в тупоносых матово-черных полуботинках. На всем протяжении свадебной церемонии Дженни не отрывала глаз от этих ботинок. Они были похожи на черные лакричные мармеладки.

Перл не проронила ни слезинки, по ее словам, она была счастлива, что все так обернулось, хотя кое-кому не мешало сообщить ей обо всем заранее. Такое облегчение — видеть свою дочь в надежных руках, сказала она, гора с плеч. Миссис Бейнс плакала непрерывно. Ничего не могла с собой поделать. Но после венчания она сказала Дженни, что это вовсе не означает, будто она против их брака.

Сразу же после свадьбы Харли и Дженни поездом уехали в Полем и сняли там маленькую квартирку. Мебелью они пока не обзавелись и свою брачную ночь провели на полу. Дженни тревожила мысль о неопытности Харли. Она не сомневалась, что он всегда был выше таких вещей, как секс, сама она тоже понятия об этом не имела, вот они и потерпят крах в том, что у всех на свете получается само собой. Но Харли отлично знал, что к чему. Скорее всего, он заранее изучил эту проблему. Она живо представила себе, как он сидит в библиотеке, сопоставляя теории разных специалистов, и усердно делает выписки.

3

— Огнем Олимпа ослеплен, свалился Фред на голый склон,— сказала Дженни, обращаясь к ландшафту, проносящемуся мимо вагонного окна.

Эту абракадабру студенты сочинили для запоминания первых букв латинских названий черепно-мозговых нервов: обонятельный, зрительный, глазодвигательный... Она нахмурилась и снова заглянула в учебник. Был 1958 год, начался первый майский уик-энд, но она не могла провести его как хотела. Вообще-то ей полагалось сидеть в Полеме и зубрить, а она ехала с визитом в Балтимор.

Дженни заранее позвонила матери по междугородному телефону:

— Попроси, пожалуйста, Эзру встретить меня на вокзале.

— А я думала, у тебя много работы,— сказала мать.

— Позаниматься можно и дома.

— Ты приедешь с Харли?

— Нет.

— Что-нибудь случилось?

— Ничего особенного.

— Мне не нравится, как ты разговариваешь, Дженни.

Голос Перл в трубке был далеким и прерывался какими-то шумами; с ним легко было расправиться.

— Ну ладно, мама...— сказала Дженни.

Сейчас поезд подъезжал к Балтимору, и вид заводских труб, кирпичных, почерневших от сажи домов, залитых дождем рекламных щитов с облупившейся краской — ландшафт, с которым неизменно связывалось представление о родных местах,— поколебал ее уверенность в себе. Вся надежда, что Эзра приедет на вокзал один; она протерла чистый кружок на оконном стекле и смотрела на бесконечную сетку железнодорожных путей, потом промелькнули первые семафорные мачты, потом мимо проплыли другие столбы, с более четкими очертаниями, и, наконец, темный силуэт лестницы. Поезд заскрежетал, дернулся и остановился. Дженни захлопнула учебник, встала, протиснулась мимо спящей женщины и взяла из сетки маленький чемоданчик.

Этот вокзал почему-то без конца ремонтируют, подумала она. Поднявшись по лестнице, она услыхала вой какого-то инструмента — не то дрели, не то электропилы. Звук терялся под высокими сводами вокзала. Эзра ждал ее, улыбаясь, засунув руки в карманы куртки.

— Ну как доехала?

— Хорошо.

— Харли здоров? — спросил он, забирая у нее чемодан.

— Да, все в порядке.

Они осторожно пробились сквозь толпу людей в плащах.

— Мама на работе,— сказал Эзра.— Но пока мы доедем, она уже вернется домой. Я и Коди позвонил. Не исключено, что завтра вечером мы пообедаем все вместе в нашем ресторане. Коди собирался заглянуть сюда проездом.

— А как дела в ресторане?

Эзра помрачнел, вывел Дженни на улицу в мокрый, густой туман, охвативший ее прохладой.

— Ей очень плохо,— вздохнул он.

Дженни удивилась, что, говоря о ресторане, Эзра сказал «ей». Но он добавил:

— От лечения только хуже становится! Что бы она ни съела, ее все время рвет.

И тогда Дженни поняла: речь идет о миссис Скарлатти. Прошлой осенью она перенесла онкологическую операцию, вторую, хотя никто и не подозревал, что ее уже раз оперировали. Эзра был очень расстроен. Медленно шагая вдоль стоянки такси, он скорбно сказал:

— Она почти никогда не жалуется, но я знаю — она страдает.

— Так теперь ты управляешь рестораном один?

— Да, конечно. С ноября. Приходится заниматься всем: нанимать, увольнять, набирать новых людей, когда кто-нибудь уходит. Ресторан — это ведь не только еда. Иногда мне кажется, что еда занимает там последнее место. Такое впечатление, будто рушится все вокруг. Но миссис Скарлатти говорит, чтобы я не волновался. Дескать, всем так кажется. Дескать, в жизни непрестанно что-то рушится и разваливается и все это надо без конца подпирать. Похоже, она права.

Они подошли к его машине, серому помятому «шевроле». Он открыл дверцу и неловко забросил ее чемодан на заднее сиденье в кучу еженедельников по ресторанному делу, грязной одежды, каких-то шампуров или щипцов в фирменном пакете хозяйственного магазина.

— Не обращай внимания на этот беспорядок,— сказал Эзра, садясь за руль. Он завел мотор и задним ходом выехал со стоянки.— Ты еще не научилась водить машину?

— Научилась. Харли научил. Теперь я вожу его, ему так удобнее — есть время для размышлений.

Они ехали по Чарлз-стрит. Моросил дождик, такой мелкий, что Эзра не стал включать «дворники», и ветровое стекло покрылось крохотными капельками. Дженни пристально вглядывалась в дорогу.

— Тебе видно? — спросила она Эзру. Тот кивнул.— Сперва он требует, чтобы машину вела я, но стоит мне сесть за руль, как он принимается критиковать каждое мое движение. Он такой умный, ты даже не представляешь себе, какой он умный, и я говорю не только о математике или генетике. Он точно знает, какой должна быть температура для тушения мяса, как лучше всего расставить на кухне мебель,— у него в голове все разложено по полочкам. Когда я сижу за рулем, он говорит: «Дженнифер, ты же прекрасно знаешь, что через три квартала дорожный знак, нужно перестроиться влево, почему же ты остаешься в правом ряду? Планировать все надо заранее».— «До знака еще три квартала,— говорю я,— когда

доеду, тогда и...» А он говорит: «Вот в этом вся твоя беда, Дженни», а я говорю: «Между тем местом, где мы сейчас находимся, и тем знаком может случиться что угодно», а он отвечает: «Ничего подобного. Как тебе известно, у каждого из трех перекрестков есть левый поворот, так что ждать не придется вовсе...» В его жизни все распланировано заранее. Так и видишь, как в его голове перелистываются нумерованные страницы. Он никогда, никогда не делает ошибок.

— Ну,— сказал Эзра,— наверное, когда человек гениален, он совсем иначе смотрит на все.

— А ведь меня предупреждали,— сказала Дженни.— Только я не поняла, что это предупреждение. Я тогда была еще слишком молода, чтобы понять этот сигнал. Я думала, Харли такой же, как я,— скрупулезный. Я ведь тоже всегда была педанткой, но куда мне до него. Где были мои глаза, когда перед свадьбой я поехала знакомиться с его родителями? Все книги у него на полках расставлены по высоте и цвету. Я бы не удивилась, если б он расставлял их по алфавиту или по темам. Но такой педантизм! Тридцать сантиметров красных корешков, тридцать — черных, отдельно — книги в твердых переплетах, отдельно — в мягких... Еще хуже, чем ящики в мамином комоде. Из огня да в полымя. Прежде чем поцеловать меня первый раз, он сначала стряхнул покрывало, на котором мы сидели. Думаешь, это меня насторожило? Как бы не так! А теперь каждый вечер перед сном он усаживается на край кровати и стряхивает что-то со своих пяток. О, эти его босые, чистые, белые ноги!.. Чем бы он мог их запачкать? Он же никогда не ходит без ботинок, а если встанет ночью, то шагу не сделает без шлепанцев. Но нет — сидит и методично, аккуратно чистит и чистит свои подошвы... Иногда я прямо-таки готова ударить его. Стою как загипнотизированная и наблюдаю: вот он смахивает что-то с левой ноги, потом — с правой и уже ни за что не коснется пола. А я стою и думаю: дать бы тебе по башке чем-нибудь тяжелым!

Эзра кашлянул.

— Это вы просто притираетесь друг к другу, первый год супружеской жизни. Все дело в этом.

— Не знаю, не знаю...— сказала Дженни.

И тотчас пожалела, что поделилась с ним своими огорчениями.

Поэтому, когда они доехали до дома, куда только что вошла мать, Дженни ни словом не обмолвилась о Харли (Перл считала Харли прекрасным, замечательным человеком — конечно, может, с ним не очень-то легко поддерживать разговор, но именно такой муж должен быть у ее дочери).

— Ну а теперь скажи,— спросила Перл, поцеловав дочь,— почему ты не привезла с собой своего муженька? Надеюсь, вы не поцапались из-за какой-нибудь ерунды?

— Нет-нет. Все дело в моей работе. Я просто переутомилась,— сказала Дженни,— вот и решила отдохнуть немного дома, а Харли не мог оставить свою лабораторию.

И вдруг ей показалось, что здесь, в доме, действительно царит покой. После того как Эзра ушел в ресторан, мать повела Дженни на кухню и заварила для нее чай. Чего-чего, а заварки Перл никогда не жалела. Она ходила по кухне, подогревая коричневый, в крапинку, чайник, и дрожащим голосом напевала какой-то старинный псалом. От влажного воздуха ее волосы покрылись мелкими завитушками, щеки разрумянились от пара — она стала почти хорошенькой. (Какова была ее супружеская жизнь? Что-то в ней явно не сложилось, но бог весть почему супружеская жизнь матери представлялась Дженни идеальной, цельной, а родители соединенными навечно. То, что их отец ушел,— случайность, какое-то невыясненное недоразумение.)

— Я приготовлю сегодня совсем легкий ужин,— сказала мать,— салатик или что-нибудь в этом роде.

— Прекрасно,— одобрила Дженни.

— Что-нибудь попроще.

Простое, незатейливое — именно в этом так нуждалась Дженни. Она расслабилась. Слава богу, теперь она в безопасности, в единственном месте на свете, где все знают, что̀ она есть на самом деле, и все равно любят ее.

Тем более странным был внезапный прилив жалости к Эзре, когда, обходя после ужина дом, она заглянула в его комнату. Все как раньше! — подумала она, увидев детское клетчатое одеяло на кровати, старую флейту на подоконнике, на столе металлический штампованный поднос с грудой старинных, покрытых зеленой патиной медных монет. Как он может тут жить? — подумала она и, удивленно покачивая головой, спустилась вниз.

Дженни привезла с собой смену одежды, учебник анатомии, письмо Харли, в котором он делал ей предложение, и его фотографию в серебряной рамке. Распаковав чемодан, она решительно поставила фотографию Харли на письменный стол и внимательно всмотрелась в нее. Она привезла этот снимок не из-за сантиментов, а потому, что собиралась серьезно подумать о Харли, по достоинству оценить его и не хотела, чтобы на ее решение повлияла разлука. Дженни понимала: она может ошибиться из-за того, что будет скучать по нему. Фотография не даст ей скучать. Он был таким прямолинейным, таким нудным — это проступало и в утолщенной линии челюсти, и в тусклом взгляде, устремленном сквозь стекла очков в объектив. Он утверждал, что мыслит она поспешно и непоследовательно. Не любил ее разговорчивых друзей, считал, что она не умеет элегантно одеваться. Вечно поучал ее за столом. «Каждый кусок надо пережевывать двадцать пять раз,— говорил он,— следуй моему совету. Это не только гораздо полезней — ты станешь меньше есть. Вот увидишь». Он панически боялся, что она располнеет. Но Дженни была кожа да кости и порой задумывалась: уж не бзик ли это у него — не то чтобы помешался, а просто зациклился на чем-то. Наверное, он опасался ее безволия — ведь если Дженни растолстеет, один фунт будет безудержно наслаиваться на другой; мысль, что она может выйти из-под контроля, была ненавистна ему. Пожалуй, дело было именно в этом. Но она и сама стала беспокоиться, взвешивалась каждое утро. Подходила к большому зеркалу и втягивала живот. Не раздались ли у нее бедра? А ведь при этом замечала, что Харли нравятся полные женщины, пышные блондинки. Загадка, да и только!

Отметками Дженни похвастать не могла. Не то чтобы она заваливала экзамены, но «отлично» не получала, и ее лабораторные работы нередко были сделаны наспех. Порой думалось, что все эти годы у нее было пусто внутри и вот теперь оболочка проваливается внутрь. Ее разоблачили: она пустышка.

Собирая перед отъездом домой чемодан (Харли считал эту поездку пустой тратой времени и денег), она твердым шагом пересекла спальню, подошла к комоду с его фотографией. Харли стоял рядом. «Будь добр, подвинься»,— сказала она. С обиженным видом он шагнул в сторону, но, когда увидел, зачем она подошла к комоду, лицо его словно засветилось. Сердитый взгляд смягчился, губы раскрылись, чтобы произнести что-то. Он был тронут. А ее растрогало, что он смягчился. В жизни ничто не бывает просто, вечные сложности. Но он сказал: «Не понимаю. Всю жизнь мать терроризировала тебя, плохо с тобой обращалась. И вот сейчас ты собираешься проведать ее, просто так, без всякой причины».

На самом деле он, наверное, хотел сказать: «Пожалуйста, не уезжай».

Надо быть опытным шифровальщиком, чтобы понять этого человека.

Дженни развернула его письмо с предложением. Оно было датировано 18 июля 1957 г. Удивительно, как же она не заметила этих напыщенных фраз — «нормальное американское предбрачное знакомство» (будто благодаря своему интеллекту он находился на особом положении), но больше всего ее поразило теперь само письмо, в котором супружество рассматривалось как слияние двух корпораций.

Что говорить, тогда она не обратила на это внимания. Не пожелала обратить. Знала, что вела себя в этой истории расчетливо — заранее решила завоевать его — и замуж вышла по расчету. Да, точно, по расчету. Но кара, по ее понятиям, была непомерно сурова. Ее преступление не столь ужасно. Она и представить себе не могла (а кто из людей, не состоявших в браке, мог бы?), как серьезно то, к чему она относилась с таким легкомыслием, и сколь далеко идущие последствия все это возымеет. И вот результат: в дураках оказалась она сама. Добившись своего, она обнаружила, что попалась в собственный капкан. Вот тебе и расчет! Харли намерен управлять ее жизнью, бездушно разложив ее, как книги на своих полках — по размеру и цвету. В машине он всегда будет сидеть рядом и с осуждающим видом диктовать каждый поворот, каждое переключение скорости.

Она пришла в ресторан поздно вечером, зная, что это обрадует Эзру. Дождь перестал, но в воздухе еще висел туман. Такое ощущение, будто идешь под водой во сне, когда человеку в воде дышится так же легко, как и на суше. Прохожие на улице попадались редко — да и те спешили куда-то, укрытые плащами и полиэтиленовыми косынками, погруженные в себя. Машины, шурша, проносились мимо, блики света от фар трепетали на мокром асфальте.

Ресторанная кухня кишела людьми — просто чудо, что оттуда вообще могла появиться тарелка с приличной едой. Эзра стоял у плиты и снимал пену с бульона, а может, с супа. Молодая девушка черпала половником дымящуюся жидкость и выливала в миску.

— Как только закончишь... — сказал ей Эзра и, увидев Дженни, радостно воскликнул: — Здравствуй, Дженни!

Он направился к двери, где она дожидалась его. В длинном белом фартуке поверх джинсов Эзра был похож на повара; он тут же стал знакомить ее с потными мужчинами, которые что-то рубили, процеживали, размешивали.

— Это моя сестра Дженни,— говорил он, и тотчас какая-нибудь мелочь привлекала его внимание, и он останавливался обсудить ее с поварами.

— Хочешь поесть? — наконец догадался спросить он.

— Нет, я ужинала дома.

— Тогда, может, выпьешь чего-нибудь в баре?

— Спасибо, не хочется.

— Это Оукс, наш старший официант. А это — Джосайя Пейсон, ты, наверное, его помнишь.

Она запрокинула голову и посмотрела в лицо Джосайи. Он был в белоснежном халате (где только они нашли такой размер?), но волосы по-прежнему топорщились, и, как прежде, трудно было понять, куда именно он смотрит. Во всяком случае, не на нее. Он как бы не замечал ее. Прямо-таки в упор не видел.

— Когда придут Бойзы,— сказал Эзра Оуксу,— передай им, что у нас есть замечательный суп из моллюсков. Всего две порции, специально для них. Он стоит на задней конфорке.

— Как дела, Джосайя? — спросила Дженни.

— Ничего.

— Значит, ты теперь здесь работаешь.

— Я шеф по салатам. В основном режу овощи.

Его паучьи пальцы сплетались и расплетались. Складка на лбу стала еще глубже.

— Я часто думаю о тебе,— сказала Дженни. Сказала просто из вежливости. И вдруг кровь бросилась ей в голову. Ведь это правда — сама того не подозревая, она думала о нем все эти годы. Оказывается, он всегда жил в ее мыслях. Даже Харли, как она теперь осознала, был своего рода Джосайей навыворот: такой же отщепенец, черно-белый, непонятный никому, кроме нее.

— Мама твоя, надеюсь, здорова?

— Она умерла.

— Умерла?!

— Давно. Пошла в магазин и умерла. Теперь я живу один.

— Прости, я не знала.

Он все еще прятал от нее глаза.

— Ты так и не перекусишь, Дженни? — Эзра на минуту отвлекся от Оукса.

— Мне пора,— сказала она.

Возвращаясь домой, она никак не могла понять, почему дорога показалась ей такой длинной. Ноги отяжелели, и глубоко в груди возникла старая тупая боль.

«Ясеневая роща, как она прекрасна,— играл Эзра на своей блок-флейте,— как сладок ее напев...» Медленно пробуждаясь, все еще обвитая клочками снов, Дженни просто диву давалась, как грушевая блок-флейта может рассыпать сливы: круглые, прозрачные, будто сочные сливы, звуки рассыпались по ее постели. Она села на кровати и призадумалась. Минуту спустя отбросила одеяло и потянулась за одеждой.

Когда она выходила из дому, Эзра наигрывал французскую песенку „Le Godiveau de Poisson" — «Тефтелька рыбная».

Сначала надо идти по этой улице, теперь по той, затем по третьей — нет, ошибка, пришлось вернуться. День обещал быть великолепным. Тротуары были еще мокрые, но над трубами домов в жемчужно-розовом небе поднималось солнце. Она засунула руки глубоко в карманы пальто. По дороге ей навстречу попался лишь какой-то старик, который прогуливал своего пуделя, но даже этот человек прошел безмолвно и исчез.

Когда наконец она очутилась на той улице, которую искала, все показалось ей чужим, незнакомым, пришлось свернуть в переулок, ведь нужный дом она могла опознать только сзади. Ага, вот кособокая серая пристройка за кухней, пружинящая под ногами лестница и облупленная деревянная дверь. Она поискала взглядом звонок и, не обнаружив его, постучала. Из глубины дома донесся шум — кто-то отодвинул стул. Потом появился Джосайя. Он был такой высокий, что заслонил собою окно, в которое она глядела. Дверь открылась.

— Дженни?..

— Здравствуй, Джосайя.

Он оглянулся, словно подумал, что она пришла к кому-то другому. На кухонном столе Дженни увидела его завтрак: кусок белого хлеба с арахисовым маслом. Все вокруг — потертый линолеум, полная грязной посуды раковина, рваные джинсы Джосайи и дырявый коричневый свитер — дышало запустением и безнадежностью. Она плотнее запахнула пальто.

— Почему? Зачем ты здесь? — спросил он.

— Я все сделала не так,— сказала она.

— Ты о чем?

— Наверное, ты думаешь, я такая же, как другие! Как те, от кого ты хочешь удрать в лес со спальным мешком.

— Нет, Дженни,— сказал он,— я никогда не поверю, что ты такая.

— Правда?

— Никто не поверит. Ты очень красивая.

— Но я хотела сказать...

Дженни положила ладонь на рукав его свитера. Он не отшатнулся. Тогда она подошла еще ближе и обняла его. Сквозь пальто она почувствовала, до чего он худой, как торчат у него ребра, ощутила его тепло под изношенным свитером. Она припала ухом к его груди, а он нерешительно, осторожно опустил руки ей на плечи.

— Я должна была тогда целовать и целовать тебя, должна была сказать матери: «Уходи, оставь нас в покое». Должна была заступиться за тебя, а я струсила.

— Нет, нет,— сказал он.— Об этом я не думаю. Больше об этом не думаю.

Она отступила и взглянула на него снизу вверх.

— Я никогда не говорю об этом,— уточнил он.

— Джосайя,— попросила она,— скажи мне, что теперь все в порядке.

— Конечно,— кивнул он.— Все в порядке, Дженни.

После этого говорить им было уже не о чем. Она стала на цыпочки, чтобы на прощанье поцеловать его, и ей показалось, что он с улыбкой посмотрел ей прямо в глаза, а потом отпустил ее.

— Пью за здоровье всех присутствующих,— сказал Коди, поднимая бокал.— За еду, приготовленную Эзрой, за ресторан Скарлатти.

— И за удачный семейный обед,— добавил Эзра.

— Ну, если тебе так хочется.

Все выпили, даже Перл, хотя не исключено, что она сделала этот крохотный глоток всего лишь для виду. На ней была шляпка с вуалькой и строгий бежевый костюм, видимо надетый впервые — временами он торчал на ней колом. Дженни была в простой юбке и блузке, но чувствовала себя вполне нарядной. Все было прекрасно, ничто ее не тревожило. Она беспрестанно улыбалась окружающим, радуясь их обществу.

Но вся ли семья в сборе? Дженни она показалась слишком малочисленной. Троих взрослых детей и усохшей матери, подумала она, недостаточно. Вполне уместно было бы присутствие еще нескольких членов семьи: например, семейного шута и настоящего блудного сына, еще более блудного, чем Коди. Ну, может, и еще какой-нибудь властной старшей сестры, которая бы старательно сплачивала семью, а так это выпадало на долю Эзры, с чем он не очень успешно справлялся. Он был слишком увлечен приготовлением пищи. Вот и сейчас выговаривал официанту за суп, который якобы подали совсем холодным, хотя Дженни он показался в самый раз.

Но тут Перл взяла свою сумочку и отодвинула стул.

— Туалет,— произнесла она одними губами, обращаясь к Дженни.

Эзра как только увидит, что ее нет за столом, расстроится еще больше. Он любит, чтобы семья была в полном сборе, и терпеть не может, когда Перл то и дело принимается подновлять в ресторане свою косметику, так же как не выносит, когда Коди курит за столом свои тонкие сигары. «Хоть бы один-единственный раз,— постоянно твердит он,— нам удалось сесть за стол и спокойно, по-людски пообедать всем вместе». Он непременно повторит это и сегодня, как только заметит отсутствие Перл. Но пока он выговаривал официанту:

— Если бы Эндрю подогревал тарелки...

— Он всегда их подогревает, честное слово, но сейчас не работает подогреватель.

— Как по-твоему,— шепнул Коди, наклонясь к Дженни,— Эзра когда-нибудь спал с миссис Скарлатти? Или нет?

У Дженни отвисла челюсть.

— Ну так что ты думаешь по этому поводу? — не отставал Коди.

— Как тебе не стыдно!

— Только не говори, что тебе это никогда не приходило в голову. Одинокая богатая вдова, если у нее вообще когда-нибудь был муж, а рядом застенчивый красивый мальчик, у которого никаких видов на будущее...

— Это гадко,— отрезала Дженни.

— Напротив,— спокойно сказал Коди, откинувшись назад. У него была привычка разглядывать людей из-под ресниц, отчего он казался искушенным и терпимым к людям. — Что плохого, если человек не упускает своего в жизни. А надо признаться, Эзре везет. Он родился везучим. Ты никогда не замечала, что происходило, когда я приводил своих девчонок? Они тут же влюблялись в него... Так было всегда, с самого детства. И что они только в нем находят? Как это ему удается? Просто везение? Ты женщина, скажи, в чем секрет?

— Бог ты мой,— сказала Дженни,— Коди, когда же ты наконец повзрослеешь!

Эзра закончил разговор с официантом.

— А где мама? Стоит на секунду отвернуться, как ее и след простыл.

— В дамской комнате,— сказал Коди, закуривая сигару.

— Ну почему она всегда так? Сейчас принесут суп, на этот раз горячий.

— Босоногие гонцы доставят его, что ли? — спросил Коди.

— Не беспокойся, Эзра, я схожу за ней,— сказала Дженни.

Она прошла между столиками к коридорчику с табличкой «Выход» над аркой, но, не дойдя до дамской комнаты, увидела Джосайю перед двустворчатой, обитой кожей дверью. Он был в белом халате и нес бирюзового цвета таз с листьями цикория.

— Джосайя,— позвала она.

Он остановился как вкопанный, лицо его просияло:

— Здравствуй, Дженни.

Они стояли, без слов улыбаясь друг другу. Она протянула руку, коснулась его запястья.

— Нет-нет! — крикнула мать.

Дженни отдернула руку и резко обернулась.

— О Дженни! Боже мой! — твердила Перл. Глаза ее из серых стали черными, она судорожно вцепилась в свою блестящую черную сумку.— Теперь мне все ясно.

— Нет, подожди,— сказала Дженни. Сердце ее стучало так сильно, что ей казалось, все тело пронизывает дрожь.

— Явилась домой без всякой причины и тут же тайком помчалась к нему на свидание, как потаскуха, дешевая потаскуха!

— Мама, ты ошибаешься. Это ровным счетом ничего не значит, неужели ты не понимаешь? — Голос не слушался. Задыхаясь, она показала на Джосайю, который стоял с раскрытым ртом.— Он просто... Мы просто встретились в коридоре и... Это совсем не то, что ты думаешь... Неужели ты не понимаешь?

Все это она говорила уже в спину Перл, идя за ней следом. Перл подошла к столу и сказала:

— Я не могу здесь больше оставаться, Эзра.

Эзра поднялся.

— Почему?

— Не могу, и все.— Перл взяла со стула свое пальто и направилась к двери.

— Что случилось? — обратился Эзра к Дженни. — Что с ней?

— Не иначе как суп тепловат,— спокойно сказал Коди и, сжимая в зубах сигару, качнулся назад вместе со стулом.

— Хоть бы один-единственный раз,— сказал Эзра,— нам удалось сесть за стол всем вместе и спокойно, по-людски пообедать.

— Я плохо себя чувствую,— сказала Дженни.

Действительно, губы ее онемели. Это был симптом, который запомнился ей из давнего прошлого, из забытого мгновенья, а может быть, из страшного сна.

Она оставила на стуле свое пальто, ринулась через зал и выскочила на улицу. Сначала она подумала, что мать уже далеко, потом увидела ее. Перл успела пройти всего полквартала, но шагала быстро и решительно. А вдруг она даже не обернется? Или, еще хуже, обернется и наотмашь ударит ее по щеке: знакомая боль от кольца с жемчужиной, презрительное выражение лица... И все равно Дженни побежала вдогонку за ней.

— Мама,— окликнула она. В свете витрины винной лавки она увидела, как изменилось выражение лица матери: оно стало холодным и равнодушным.

— Ты все не так поняла,— сказала Дженни.— Я не шлюха! Я не дешевка! Выслушай меня, мама.

— Это не имеет значения,— вежливо произнесла Перл.

— Еще как имеет!

— Ты уже совершеннолетняя. Если ты до сих пор не понимаешь, что прилично, а что нет, я умываю руки.

— Мне просто стало его жалко,— сказала Дженни.

Они перешли улицу и свернули в следующий квартал.

— Он сказал, что его мать умерла.

Они обошли стайку подростков.

— Кроме нее, у него в жизни никого не было. Отец давно умер. Мать была для него все.

— Наверное, хлебнула она с ним лиха,— сказала Перл.

— Не знаю, как он будет жить без нее.

— Его мать, кажется, как-то раз заходила к нам в лавку. Она была шатенка?

— Полноватая, круглолицая. Похожа на дрозда,— сказала Дженни.

— Ну, Дженни,— усмехнулась мать.— Что за сравнения?

Они миновали кондитерскую, потом аптеку. Дженни и мать шагали в ногу. Подошли к окну гадалки. Все та же пыльная лампа светилась на столе. Дженни, заглянув в комнату, подумала, что пророк из миссис Паркинс никудышный. Ведь даже чтобы узнать прогноз погоды, она включает радио! С первой секунды, с самого первого взгляда она должна была бы догадаться, что любовью Дженни не погубишь.

4. СТУКИ В СЕРДЦЕ

Поначалу, когда Эзра навещал миссис Скарлатти в больнице, его пропускали к ней совершенно свободно. В последний раз дело осложнилось.

— Вы родственник? — спросила сестра.

— Нет, я... компаньон. В деле.

— Извините, но посещения разрешены только родственникам.

— Но у нее нет родственников. Вообще никого нет. Кроме меня. Видите ли, мы с ней совладельцы ресторана.

— А что это у вас в банке?

— Суп.

— Суп? — переспросила сестра.

— Я приготовил ее любимый суп.

— Организм миссис Скарлатти не принимает пищу.

— Да, да... Но мне хотелось порадовать ее чем-нибудь.

На него посмотрели искоса и наконец со скрытым раздражением проводили в палату.

Раньше миссис Скарлатти предпочитала общую палату (она была весьма общительна). Она сидела на кровати, откинув голову, выпрямившись, в своем эффектном черном халате и косынке из батика. «Голубчик!» — говорила она, едва он появлялся в дверях. Женщины в палате на миг настороженно застывали, потом до них доходило, насколько он молод — слишком молод для миссис Скарлатти. На этот раз она лежала в отдельной палате, и все, что она могла теперь,— это открыть глаза и снова устало закрыть их. Было даже непонятно, хочет ли она его видеть.

Стоит ему уйти, и кто-нибудь из персонала выльет принесенный им суп. А ведь это его коронное блюдо, суп из куриных желудочков, который она всегда любила. В его рецепт входило двадцать зубчиков чеснока. Раньше миссис Скарлатти утверждала, что чеснок успокаивает желудок и нервы, улучшает настроение на целый день. (Такой суп, однако, не включали в меню, потому что он, по ее словам, был «тяжеловат» для изысканного ресторана Скарлатти. И это несколько обижало Эзру.) Когда здоровье еще позволяло ей находиться дома, он часто готовил для нее в ресторанной кухне этот суп и сам относил наверх, в ее квартиру. И даже в больнице она поначалу съедала по маленькой тарелочке. Теперь об этом и речи не было. И все же он продолжал носить ей этот суп — от полнейшего бессилия; не лучше ли стать на колени у ее кровати, положить голову на простыню, взять ее руки и попросить: «Миссис Скарлатти, поправляйтесь». Но она — деловая женщина, это шокировало бы ее. И ему оставалось лишь одно — приносить ей суп.

Он сидел в углу палаты в кресле из зеленого пластика со стальными подлокотниками. Наступил октябрь, и уже начали топить — воздух был жгучим и сухим. Изголовье больничной кровати слегка приподняли, чтобы миссис Скарлатти легче было дышать. Время от времени она шептала, не открывая глаз: «О господи!» И тогда Эзра спрашивал: «Что? Вам что-нибудь нужно?» А она только вздыхала. (Или, может, это журчала вода в батареях?) Эзра не приносил с собой книг, не заводил разговоров с медсестрами, которые то появлялись, то исчезали, поскрипывая резиновыми подошвами. Он сидел, опустив голову, уронив на колени свои большие бледные руки.

В последнее время он немного пополнел. Не потолстел, нет, но словно бы округлился и раздался вширь, как нередко случается со светловолосыми мужчинами. Теперь же он сбросил этот излишек веса. Как и у миссис Скарлатти, его организм не принимал пищи. Одежда висела мешком на его крупном, словно бы утратившем объем теле. Спереди и сзади — широкий, а посмотришь сбоку — тонкий, как лист бумаги. Волосы, будто сноп пшеницы, падали ему на глаза, он и не пытался откинуть их назад.

Им с миссис Скарлатти немало довелось пережить вместе, сказал бы он, спроси его кто-нибудь об этом,— но что именно? Муж у нее оказался никудышный (дело случая, по ее словам, так же как бутылка плохого вина), и она ушла от его; на войне в Корее убили ее единственного сына, ровесника Эзры. Оба эти события она пережила в одиночку, еще до того, как взяла Эзру в компаньоны. Ну а сам Эзра пока ничего серьезного не пережил. В свои двадцать пять лет он не был женат, не имел детей и по-прежнему жил с матерью. На поверку все, что он и миссис Скарлатти пережили вместе, были годы тихого, дремотного однообразия. Ее жизнь, затерявшаяся где-то в прошлом, и его, все откладывавшаяся на будущее, встретились, и вот теперь они поддерживали друг друга в образовавшейся вокруг пустоте. Эзра был благодарен миссис Скарлатти за то, что она спасла его от бесцельного, бессмысленного существования и научила всему, что знала сама; более того — за то, что он был нужен ей. Не будь ее, с кем бы он остался?

Брат и сестра жили самостоятельно; он преданно любил мать, но она была чересчур эмоциональна, и ему все время приходилось быть начеку. По общепринятым меркам его и миссис Скарлатти нельзя было считать людьми близкими. Эзра называл ее «миссис Скарлатти». Она Эзру — «мой мальчик», «мой ангел», но держала его на расстоянии и никогда не интересовалась его жизнью вне ресторана.

Эзра знал: после ее смерти единоличным владельцем ресторана станет он. Миссис Скарлатти сказала ему об этом перед тем, как в последний раз лечь в больницу. «Не нужно»,— ответил он. Она промолчала. Наверное, решила, что это только слова. Конечно, внутренне он не желал, не домогался чужого (он никогда не придавал деньгам особого значения, но куда денешься?). Так или иначе, ей больше некому оставить ресторан. Она подняла руку и тут же уронила ее. К этому разговору они уже не возвращались.

Однажды Эзра уговорил мать пойти вместе с ним в больницу. Он любил, чтобы близкие ему люди ладили между собой, хотя и предвидел, что с матерью будет нелегко. Когда речь заходила о миссис Скарлатти, в ее голосе звучали недоверчивые и даже ревнивые нотки. «Не представляю,— повторяла она,— что только ты в ней находишь. Она же просто... бездушная, твердокаменная, хотя и носит модные тряпки, а как выглядит — ей наплевать. Понимаешь? Не утруждает себя. Губы и то не подмажет, а эти черные круги под глазами... И никогда никому не улыбнется».

Но сейчас, когда миссис Скарлатти была так серьезно больна, мать не высказывала своего мнения вслух. Она долго обдумывала, что надеть для визита в больницу, и выбрала шляпку с вуалью, чем весьма обрадовала Эзру. Ведь эта шляпка знаменовала собой важное семейное событие. Он с удовлетворением отметил, что мать решила пойти в выходном черном пальто, хотя оно и не такое теплое, как ее будничное, бордовое.

В палате она сказала миссис Скарлатти:

— Ну вы просто великолепно выглядите! Совершенно не похожи на больную.

Это была неправда, но с ее стороны — большая любезность.

— Когда я умру,— проговорила миссис Скарлатти хриплым голосом,— пусть Эзра переедет в мою квартиру.

— О чем вы говорите? Какая глупость... — сказала Перл.

— Что глупость?.. — спросила миссис Скарлатти, но усталость захлестнула ее, и она закрыла глаза.

Перл не поняла ее, решила, что это риторический вопрос, и невозмутимо расправила на коленях юбку.

— Верх глупости. Никогда в жизни не слыхала такой ерунды.

Один только Эзра понял, что имела в виду миссис Скарлатти. Она спрашивала, что было глупостью: ее смерть или что Эзра должен переехать в ее квартиру. Но он не стал объяснять этого матери.

В другой раз он получил специальное разрешение привести в больницу несколько работников ресторана — Тодда Даккета, Джосайю Пейсона и Реймонда, шефа по соусам. Пожалуй, миссис Скарлатти была рада повидать их, хотя прошел визит натянуто, неловко. Все трое стояли у стены и откашливались — ни один не согласился присесть.

— Ну, как идут дела? — поинтересовалась миссис Скарлатти.— По-прежнему покупаете все самое свежее?

Вопрос был задан невпопад (ни один из них не занимался покупкой продуктов), и Эзра понял, как далека она сейчас от всего этого. Но мужчины были, слава богу, тактичны. Тодд Даккет кашлянул и сказал:

— Да, мэм, так, как вы хотели.

— Я устала,— сказала миссис Скарлатти.

В соседней палате лежала истощенная, умирающая женщина, дальше по коридору — глубокий старик, жене которого, маленькой, хрупкой, ставили в палате на ночь раскладушку, а еще дальше — смуглокожий иностранец, которого постоянно навещали родственники,— его палата напоминала цыганский табор. Эзра знал, что женщина в соседней палате умирает от рака, у старика какое-то редкое заболевание крови, а у иностранца — что-то с сердцем, точный диагноз еще не установили.

— Стуки в сердце,— сообщила ему смуглая, экзотического вида девочка, которой было еще слишком рано посещать больницу. Она стояла за дверью палаты, тихо играя в «йо-йо».

— Может, шумы? — переспросил он.

— Нет, стуки.

Эзра начал чувствовать себя в больнице одиноким и был бы рад с кем-нибудь подружиться. Производя какие-то таинственные манипуляции над миссис Скарлатти, сестры выставляли его за дверь, и большую часть времени он проводил в холле, уныло прислонясь к стенке возле палаты или стоя у окна в конце коридора. Подойти было не к кому. Это больничное крыло отличалось особой тишиной, а люди, попадавшиеся ему здесь,— замкнутостью и неприступностью. И только девочка-иностранка заговаривала с ним.

— Наверное, он скоро умрет,— сказала она и опять занялась своей игрушкой.

Эзра еще немного постоял в коридоре, но девочке с ним явно было неинтересно.

Листовой салат, мягкокочанный салат, листья цикория, эскариоль — свежие, только что вымытые, лежали на столе посреди кухни. В другие рестораны никому не известные лица доставляли овощи прелыми, загнившими, в вонючих грузовиках, но у Скарлатти для этого был специально нанят мистер Парди; каждый день, едва рассветало, еще до восхода солнца, он самолично закупал овощи для ресторана Скарлатти. Около восьми утра он доставлял их на кухню в больших корзинах; к тому времени Эзра уже был на месте, чтобы знать, на какие продукты можно рассчитывать в этот день. Иной раз мистер Парди вовсе не привозил баклажанов, а иной раз — вдвое больше, чем нужно. В такое унылое время года, как сейчас — стоял ноябрь,— местных овощей не было, и мистер Парди волей-неволей закупал привозные: вялую морковь, огурцы, словно покрытые воском,— все из других штатов. А помидоры! Смотреть противно.

— Ты только подумай,— говорил мистер Парди, вынимая из корзины помидор.— Продавец уверяет: «Выращено на кусте». Ну, естественно, на кусте — как же еще их можно выращивать? «Но где они у вас дозревали?» — спрашиваю я. «Как это где? — отвечает.— На кусте». Что ж, возможно, так оно и есть. Только я вам прямо скажу: где бы они ни дозревали, вкус у них такой, будто они месяц-полтора лежали на подоконнике и сделаны из дерева, целлулоида или ластика. Душа кровью обливается, Эзра, привозить тебе эту дрянь. Уж лучше, прости меня, совсем не приезжать сюда, чем с таким товаром.

Мистер Парди — худой, сморщенный человек в комбинезоне и белой рубашке, поверх которой он надевал лоснящийся черный пиджак. Его длинное, узкое лицо вечно казалось недовольным, даже в разгар летнего сезона. Один только Эзра знал, что у него доброе сердце и широкая, щедрая душа. Так же, как и Эзра, и по тем же причинам мистер Парди радовался хорошей еде — не столько чтобы вкусно поесть самому, сколько чтобы накормить других. Как-то мистер Парди пригласил Эзру к себе домой. Жил мистер Парди в трейлере серебристого цвета на шоссе Ритчи, и накормил он Эзру обедом, приготовленным из одной только молодой спаржи, которая.

как считали они с Эзрой, вкусом напоминала устриц. Миссис Парди, улыбчивая круглолицая женщина в инвалидном кресле, сказала, что они разговаривают друг с другом точно полоумные, однако же съела подряд две большие порции, а мужчины с нежностью наблюдали за ней и были очень довольны, что на тарелке, покрытой тонкой пленкой растаявшего масла, не осталось ни кусочка.

— Если бы ресторан принадлежал мне одному,— сказал ему теперь Эзра,— я бы зимой вообще не подавал помидоры. А попытайся кто из клиентов заказать их, я бы сказал: «Да что вы. Это совсем не по сезону» — и предложил бы что-нибудь поинтереснее.

— А они взяли бы да ушли.

— Вовсе не обязательно. А еще я бы повесил на стене специальную доску и каждый день писал на ней мелом названия двух-трех хороших блюд. Вот! Как во Франции. И никакого меню. Посмотрел бы на посетителя и сказал ему: «У вас усталый вид. Позвольте предложить вам рагу из бычьего хвоста».

— Миссис Скарлатти умерла бы от огорчения,— заметил мистер Парди.

Воцарилось молчание. Мистер Парди потер щетинистый подбородок и поправил себя:

— Перевернулась бы в гробу.

Они помолчали еще немного.

— Вообще-то мне этот ресторан ни к чему,— сказал Эзра.

— Конечно,— сказал мистер Парди.— Я знаю.

Он надел черную фетровую шляпу, помедлил минутку и ушел.

Девочка-иностранка спала в холле, положив голову на стальной подлокотник кресла, такого же, как в палате у миссис Скарлатти. Эзра поежился. Ему захотелось свернуть свой пиджак и подложить его девочке под щеку, но он побоялся ее разбудить и не подошел к ней, а остался стоять у окна, глядя на прохожих внизу. Какими крохотными казались их ноги, как решительно двигались вперед их укороченные фигурки. И его вдруг поразило человеческое упорство.

В холл вошла женщина — одна из иностранок. Она была не такая смуглая, как другие, но Эзра догадался, что это иностранка,— она была в шлепанцах, что́ совершенно не вязалось с дорогим шерстяным платьем. Вся их семья, как он заметил, приходя в больницу, каждое утро сразу же переобувалась в шлепанцы. Эти люди ухитрялись создавать здесь домашнюю атмосферу: приносили с собой в пакетиках семечки и орехи, выкладывали пахнущую пряностями еду, а раз даже поставили на батарею в холле литровую бутылку молока, чтобы заквасить йогурт. Мужчины курили в коридоре, женщины тихо переговаривались и вязали яркие свитера.

Сейчас женщина подошла к спящей девочке, склонилась над ней и откинула с ее лица прядку волос. Взяла девочку на руки и села в кресло. Девочка не проснулась. Только устроилась поудобнее и вздохнула. Так что Эзра спокойно мог бы подложить ей под голову пиджак. Он упустил этот шанс. Все равно что опоздал на поезд или упустил что-то еще более важное, чего не вернуть никогда. Невозможно объяснить, отчего его внезапно охватило горестное чувство.

Он решил готовить для посетителей ресторана фирменный суп из куриных желудочков и велел официантам, чтобы, предлагая клиентам меню, они говорили: «Кроме супов, указанных в меню, у нас сегодня...» Когда один из официантов не вышел на работу, Эзра нанял вместо него женщину (миссис Скарлатти не потерпела бы такого; по ее словам, женщины могут работать только в забегаловках). Новенькая, однако, с большим успехом, чем официанты-мужчины, рекламировала новый Эзрин суп. «Попробуйте наш суп из куриных

желудочков,— говорила она.— Острый, с чесночком, и приготовлен с душой». На улице стоял такой пронизывающий холод, а официантка была такой услужливой и сердечной, что клиенты все чаще заказывали этот суп. Эзра решил, что, если кто-нибудь из официантов уволится, он снова наймет женщину, а потом, может быть, и еще.

На следующей неделе он предложил клиентам запеканку из крабов со специями — блюдо его собственного изобретения, потом суп-пюре из шпината. А когда официанты стали жаловаться, что приходится запоминать множество новых названий, он купил черную классную доску и сверху написал мелом: СЕГОДНЯ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ... Но когда миссис Скарлатти спросила его однажды, как идут дела в ресторане, он об этом даже словом не обмолвился. Наклонившись вперед и стиснув сплетенные пальцы, он сказал: «Прекрасно. М-м-м. Прекрасно». Если она и заметила странные нотки в его голосе, то ничего не сказала.

Миссис Скарлатти, худощавая, темноволосая, сутулая, в общении была несколько высокомерна. Мать Эзры, пожалуй, была права — миссис Скарлатти, видимо, было совершенно безразлично, что думают о ней другие. Но в этом-то и заключалось ее обаяние: полуприкрытые сонные глаза — она не давала себе труда держать их открытыми,— спокойный, равнодушный голос. Теперь все это резко усугубилось. Кожа ее приобрела безжизненный, мраморно-бледный оттенок, а лицо стало как у сфинкса — одни только плоскости и прямые линии. Даже волосы и те стали как у сфинкса — короткий черный клин, точнее, ком, безжизненный и жесткий. Эзре порой чудилось, будто она не умирает, а каменеет. До чего же трудно было воскресить в памяти ее низкий грудной смех, небрежное высокомерие. («Голубчик,— говорила она, посылая его с каким-нибудь поручением, и сопровождала свои слова томным жестом.— Послушай, ангел мой...») Раньше в ее присутствии он чувствовал себя двенадцатилетним мальчуганом, не старше, а сейчас он был древним старцем, ее отцом или дедом. Он утешал ее и развлекал. Не все, что она говорила в эти дни, можно было понять.

— Во всяком случае,— однажды прошептала она,— я никогда не казалась смешной. Правда, Эзра?

— Смешной? — переспросил он.

— Да, тебе.

— Мне? Конечно нет.

Он был смущен, что тут же отразилось на его лице; она с улыбкой покачала головой.

— О, ты всегда был любимым ребенком,— сказала она. Наверное, память подводила ее (она не знала его в детстве).— Ты все принимаешь за чистую монету.

Может, она путала его со своим сыном Билли. Она отвернулась и закрыла глаза. И ему вдруг стало не по себе. Он вспомнил, как однажды мать чуть не умерла, случайно раненная стрелой,— и виноват во всем был только он, Эзра, у которого вечно все валилось из рук. «Я не хотел, я нечаянно!» — кричал он, но его раскаяние оказалось ненужным: всю вину свалили на брата и на отца, купившего лук со стрелами, Эзра, любимец матери, вышел сухим из воды. С него не сняли бремя вины, не облегчили его душу, и тяжесть эта так и осталась с ним навсегда.

— Вы ошибаетесь,— сказал он.

Веки миссис Скарлатти дрогнули, подернулись мелкими морщинками, но глаза так и не раскрылись.

— Вы путаете меня с кем-то. Я Эзра,— сказал он и потом, низко наклонившись к ней, добавил непонятно почему: — Миссис Скарлатти, помните, как я демобилизовался? Меня комиссовали за то, что я ходил во сне. И отправили домой. Я не совсем спал тогда, миссис

Скарлатти. Я понимал, что делаю. Я не хотел ходить во сне, но какая-то частица моего существа бодрствовала и наблюдала со стороны за тем, что происходило, и постарайся я как следует, мог бы и проснуться. Мне казалось, я вижу сон и понимаю, что в любой момент могу прервать его. Но я не делал этого, я рвался домой. Я был не в силах больше оставаться в армии, миссис Скарлатти. Потому и не просыпался.

Если бы она могла слышать его (ее единственный сын Билли подорвался в Корее на мине), она бы поднялась, несмотря на тяжелую болезнь, и закричала: «Вон! Вон из моей жизни!» Но она, должно быть, ничего не поняла, потому что опять только покачала головой, улыбнулась и впала в забытье.

Сразу после Дня благодарения скончалась женщина, которая была при смерти, маленький старичок не то умер, не то выписался из больницы, а иностранец был жив, и родственники продолжали его навещать. Теперь они узнавали Эзру в лицо и, когда он проходил мимо их палаты, здоровались, окликали его: «Идите сюда!» И он заходил к ним, застенчивый, но довольный, и, скрестив руки на груди, молча стоял там минуту-другую. При появлении Эзры пожелтевший и высохший больной, подключенный к разным трубкам, всегда пытался улыбнуться. Судя по всему, он не понимал по-английски. У его родственников знание английского языка соответствовало их возрастам — девочка говорила совершенно свободно, молодые люди — с ярко выраженным, но приятным акцентом, а старики — с трудом, коверкая фразы. Правда, в конце концов все, даже те, кто свободно объяснялся по-английски, сами того не замечая, переходили на родной язык, в котором гласные были такие округлые, что говорящий то и дело вытягивал губы трубочкой, как будто беспрестанно выражал удивление. Эзра любил слушать их. Когда не понимаешь, о чем люди говорят, думал он, как отчетливо проступают все тонкости связей и отношений между ними! Вот женщина повернулась к одному из мужчин, и лицо ее озарилось и расцвело: вот больной вскрикнул от боли, и жена его вздрогнула, словно боль пронзила и ее... Вот девочка чем-то расстроена, поглаживает пальцами золотой браслет материнских часов и успокаивается.

Однажды девушка с косами пропела песню почти без мелодии. Песня как бы слагалась экспромтом, от ноты к ноте... Потом мужчина с большими черными усами продекламировал что-то, наверное стихотворение. Он читал без всякого смущения, с пафосом, и проходившие по коридору люди заглядывали в палату. Закончив, он перевел специально для Эзры:

— О, ушедший из жизни, почему ты скончался весной? Так и не успел попробовать ни кабачков, ни салата из огурцов.

Удивительно, даже их поэзия была близка сердцу Эзры.

К декабрю он заменил еще трех официантов в черных костюмах оживленными, по-матерински заботливыми официантками. И, отказавшись от меню в больших бежевых папках, стал ежедневно писать названия блюд на школьной доске. В результате все повара уволились (блюда были новые — они не привыкли готовить такие), поэтому в основном он готовил теперь сам, а помогали ему женщина из Нового Орлеана и мексиканец. У помощников были свои кулинарные рецепты; некоторые из этих блюд Эзра тоже никогда раньше не пробовал и пришел от них в восторг. Посетители, правда, удивлялись нововведениям, но постепенно они привыкнут, думал Эзра. Во всяком случае, большинство из них.

И теперь новые идеи не давали ему покоя; он даже ночами просыпался — так хотелось с кем-нибудь поделиться. Почему бы не по-

ставить в ресторане множество холодильников, чтобы люди приходили и выбирали еду по своему вкусу? Они могли бы сами готовить себе на длинной-длинной плите, которая занимала бы в зале целую стену. А что, если устроить огромный камин, где на вертеле медленно жарился бы целый бычок? Каждый отреза́л бы себе кусок мяса и, положив на тарелку, удобно располагался в кресле; люди ели бы и беседовали друг с другом. А может, лучше предлагать лишь самую простую еду, какую продают на улицах, на каждом углу. Вот именно! Он будет готовить то, о чем так тоскуют люди, покинув родные места, например кукурузные оладьи, которыми торгуют с лотков в Калифорнии, о них всегда мечтал его помощник-мексиканец, и этот замечательный уксусный соус к испеченному на углях мясу, который мать Тодда Даккета привозила несколько раз в год из Северной Каролины в картонных стаканчиках,— Тодд без этого соуса жить не мог. Эзра назовет свой ресторан «Тоска по дому». Он снимет старую черную вывеску с позолоченными буквами...

Тут он представлял себе вывеску «Ресторан Скарлатти», со стоном прижимал пальцы к глазам и беспокойно ворочался с боку на бок.

— У вас красивая страна,— сказала молодая иностранка.

— Спасибо,— ответил Эзра.

— Сколько зелени! И сколько птиц. Прошлым летом, до того как заболел мой свекор, мы снимали дом в Нью-Джерси. Не зря его называют «садовым штатом». Всюду розы. После ужина мы сидели на лужайке и слушали соловьев.

— Кого? — переспросил Эзра.

— Соловьев.

— Соловьев? В Нью-Джерси?

— Конечно,— сказала она.— А еще нам очень нравилось ходить по магазинам. Особенно в универсальный магазин «Корветт». Моему мужу нравятся... как это?... Костюмы, которые можно стирать и не гладить...

Больной застонал и заметался в постели. От резких движений чуть не выскочила подведенная к его запястью трубка. Жена больного, хрупкая старушка с высохшей, как пергамент, кожей, нагнулась и погладила мужа по руке. Прошептала что-то и повернулась к молодой женщине. Эзра увидел, что старушка плачет и не скрывает этого, слезы ручьем катятся по ее щекам.

— Ой! — вскрикнула молодая женщина. Она отошла от Эзры, наклонилась над женой больного и подняла ее на руки, как раньше свою девочку. Эзра понимал, что ему надо уйти, но не ушел. Только отвернулся и с равнодушным видом выглянул в окно — так иной мужчина, нажав на кнопку звонка, стоит на пороге в ожидании, что входная дверь откроется и его пригласят в дом.

Дженни, уткнувшись в учебник, сидела за столом в своей старой комнате. Она была удивительно хороша даже в очках для чтения и выцветшем стеганом халате, который оставляла в шкафу на случай приезда в Балтимор. Эзра остановился в дверях и заглянул в комнату.

— Дженни? Ты как здесь очутилась?

— Решила устроить себе передышку.— Она сняла очки и рассеянно посмотрела на него.

— Но ведь семестр не кончился, еще не каникулы?

— Каникулы! Думаешь, у студентов-медиков бывают каникулы?

— Да нет, пожалуй,— сказал он. Правда, с некоторых пор ему казалось, что она все чаще приезжает домой в Балтимор. Да и о муже

никогда не рассказывает. За всю осень, а может и за все лето, она ни разу не упомянула его имя.

— Мне кажется, она ушла от Харли,— сказала недавно мать Эзре.— Только не делай удивленного лица! Наверняка и тебе это приходило в голову. Вдруг переезжает на новую квартиру, якобы поближе к университету, а сколько я ни предлагаю навестить ее, не соглашается; вечно у нее какие-то зачеты, к которым надо готовиться, и потом, когда ни позвонишь, заметь, Харли никогда не подходит, ни разу он не взял трубку. Тебе это не кажется странным? Но я сама не могу ее расспрашивать. Она сразу же переводит разговор на другое. Понимаешь? А ты бы смог. Ты всегда был ей ближе, чем я или Коди. Расспросил бы, что да как.

И вот сейчас, стоя на пороге, он думал, с чего бы начать разговор. Дженни снова надела очки и уткнулась в учебник. Он почувствовал, что его выставляют за дверь.

— Ну... Как дела в Полеме?

— Нормально,— сказала она, не отрываясь от книги.

— А как Харли?

Последовало продолжительное молчание.

— В последнее время мы что-то совсем не видим его,— сказал Эзра.

— У него все в порядке.— Дженни перевернула страницу.

Эзра подождал немного, распрямил плечи и направился вниз. Мать он застал на кухне. Она вынимала из сумки продукты.

— Ну? — спросила она.

— Что «ну»?

— Ты говорил с Дженни?

— Хм-м-м....

Перл еще не сняла пальто, пучок у нее съехал на шею; засунув руки в карманы, она повернулась и посмотрела ему прямо в глаза.

— Ты же обещал мне. Поклялся, что поговоришь с ней.

— Я не клялся, мама.

— Нет, ты дал священную клятву.

— Обручальное кольцо она еще носит,— сказал он с надеждой.

— Ну и что? — Мать снова занялась продуктами.

— Она не носила бы обручальное кольцо, если б разошлась с Харли, правда?

— А вдруг она хочет нас обмануть?

— Ну, не знаю. Если она хочет нас обмануть, наверное, надо делать вид, что мы ей верим. Не знаю.

— Всю жизнь люди стараются быть от меня подальше,— сказала Перл.— Даже мои дети. Мои собственные дети. Стоит мне спросить у Дженни, как дела, и она шарахается, как будто я лезу ей в душу. Ну почему она такая ершистая?

— Может, именно твое мнение для нее самое важное,— заметил Эзра.

— Так я и поверила,— возразила мать, вынимая из сумки коробку яиц.

— Наверное, у меня нет подхода к людям,— сказал Эзра.

— Что?

— Мне кажется, подойди я к ним слишком близко, они скажут, что я лезу не в свое дело, всем надоедаю... А если я отстранюсь, подумают, будто мне все равно. Должно быть, я не усвоил какого-то правила, над которым другие даже не задумываются; наверное, в тот день меня не было в школе. Существует такая едва заметная граница, которую я почему-то никак не могу разглядеть.

— Глупости. Не понимаю, о чем это ты.— Мать посмотрела на свет яйцо.— Нет, ты подумай! Из дюжины — четыре треснутых. А два — просто битые. Во что превратилась лавка братьев Суини!

Эзра подождал, но больше она не сказала ни слова. И он ушел.

Эзра сломал стену между ресторанной кухней и залом, большую часть работы он проделал за одну ночь. Сначала как заведенный махал кувалдой, потом отрывал большие куски сухой штукатурки, пока все вокруг не покрылось толстым слоем пыли. Потом он добрался до какого-то сложного переплетения труб и электрических проводов, и, чтобы закончить работу, пришлось вызвать электриков. Он так разворотил все вокруг, что вынужден был на целых четыре дня закрыть ресторан. Убытки были весьма ощутимы.

Решив, что заодно можно изменить и оформление зала, он сорвал с окон жесткие парчовые драпировки, снял с пола ковер и нанял рабочих, чтоб отциклевали и покрыли пол лаком.

К вечеру четвертого дня он так устал, что каждое движение отзывалось болью. Несмотря на это, он вымыл голову, снял замазанные краской джинсы, переоделся и поехал в больницу навестить миссис Скарлатти. Она лежала, как всегда опираясь на подушки, но глаза у нее были ясные; ей даже удалось улыбнуться ему.

— Ангел мой, я приготовила тебе сюрприз,— прошептала она,— завтра меня выписывают.

— Выписывают?

— Я упросила врача, и он разрешил мне вернуться домой.

— Домой?

— Если я найму сиделку, он говорит... Ну не стой так, Эзра... Я хочу, чтобы ты нанял сиделку. Загляни-ка в тумбочку...

Так много она не говорила уже несколько недель. Эзра был окрылен новой надеждой: а ему-то казалось, все потеряно. Но, конечно, его тревожил и ресторан. Что она подумает, когда увидит все это? Что скажет? «Все должно быть как раньше. Ну в самом деле, Эзра. Немедленно восстанови эту стену, повесь на окна мои портьеры и постели на пол мой ковер». Наверное, у него очень плохой вкус, гораздо хуже, чем у миссис Скарлатти. «Голубчик,— скажет она,— как же ты мог допустить такую безвкусицу?» «Безвкусица» — ее любимое слово. Как бы сделать, чтобы она не узнала обо всем этом? Как убедить ее побыть наверху, в квартире, пока он не вернет все на свои места. Слава богу, что он не успел сменить вывеску.

На следующее утро Эзра зашел в больничную контору, расплатился за место миссис Скарлатти. Потом он случайно встретил в коридоре ее лечащего врача и коротко поговорил с ним.

— Это просто замечательно, что миссис Скарлатти выписывается,— сказал Эзра,— честно говоря, я просто не ожидал.

— Да,— сказал врач.— Действительно.

— Признаться, я потерял всякую надежду...

— Конечно, конечно,— сказал врач и так внезапно протянул руку для прощания, что Эзра не сразу сообразил, чего от него хотят.

Врач тут же ушел, хотя Эзра ожидал, что тот сообщит ему гораздо больше.

Миссис Скарлатти отправили домой в карете «скорой помощи». Эзра ехал следом на своей машине и время от времени видел сквозь матовое стекло силуэт миссис Скарлатти. Она лежала на носилках, а рядом стояли еще одни, на которых лежал мужчина с загипсованными до самых бедер ногами. Его жена примостилась тут же и, видимо, болтала без умолку. Эзра заметил, как перья на ее шляпке колышутся в такт словам.

Сначала машина остановилась у дома миссис Скарлатти. Санитары выкатили из кареты носилки, а Эзра стоял как неприкаянный и чувствовал себя лишним.

— Ах, какой воздух,— вздохнула миссис Скарлатти,— весенний чистый воздух!

На самом деле воздух был ужасный — зимний, сырой, прокопченный.

— Я никогда не говорила тебе, Эзра,— сказала она, когда санитары вкатили носилки в парадное,— ведь я уже не надеялась увидеть этот дом, мою маленькую квартирку, мой ресторан.

Тут она неожиданно подняла руку ладонью вверх — знакомый властный жест, обращенный на этот раз к санитарам, которые собирались провезти носилки через дверь справа и потом внести их наверх.

— Послушайте, милейший,— сказала она одному из них,— не могли бы вы открыть левую дверь, я хочу заглянуть туда.

Все произошло так быстро, что Эзра не успел возразить. С озабоченным видом санитар распахнул дверь в ресторан. Потом вернулся и стал осматривать лестницу — наверху был поворот, внушавший ему опасения Миссис Скарлатти с трудом приподняла голову и заглянула в открытую дверь.

На мгновение, на долю секунды, у Эзры мелькнула надежда, что она, быть может, все это одобрит. Но, проследив за ее взглядом, он понял, что это невозможно. Ресторан был похож на склад, сарай, гимнастический зал — там царил полнейший хаос. В углу под голыми окнами — сваленные в кучу столы, перевернутые стулья. На свежеотлакированном полу, припорошенном все-таки белой пылью, мостки из неровных досок, на месте кухонной стены зловеще, как беззубая улыбка, зияла дыра. Лишь два оштукатуренных широких столба отделяли зал от кухни, где все было на виду — мойки, мусорные баки, почерневшая плита, закопченные кастрюли, большой настенный календарь с фотографией девицы в прозрачном черном пеньюаре. На подоконнике — два цветочных горшка с засохшими растениями, металлическая щетка для чистки посуды и ручной ингалятор Тодда Даккета.

— Боже! — воскликнула миссис Скарлатти. Она посмотрела снизу вверх прямо ему в глаза. Лицо ее казалось совершенно беззащитным.— Хоть бы дождался, когда я умру.

— Нет! — крикнул Эзра.— Вы не поняли! Это совсем не то, что вы думаете. Я просто... как бы вам объяснить... я сам не знаю, что на меня нашло.

Но она все тем же знакомым жестом подняла руку и уплыла вверх по лестнице в свою квартиру. Даже лежа на носилках, она излучала энергию и силу.

Миссис Скарлатти не запретила ему посещать ее. Напротив. Каждое утро он приходил к ней, дверь ему отворяла дневная сиделка. Он пристраивался в спальне на краешке легкого стула и докладывал о полученных счетах, о санитарной инспекции, о доставке скатертей и салфеток из прачечной. Миссис Скарлатти была неизменно вежлива, кивала, когда требовалось, но не произносила почти ни слова. А вскоре закрывала глаза в знак того, что визит окончен. Тогда Эзра уходил, нередко случайно задевая кровать или опрокидывая стул. Он и раньше был неуклюжим, а теперь и подавно. Ему постоянно мешали руки, слишком длинные и большие. Если бы только можно было их куда-нибудь деть! Ему очень хотелось приготовить ей обед — питательные блюда, вкусные и ароматные,— сложный обед, на который ушел бы целый день: мелко-мелко нарубить что-то, провернуть, смешать в миксере. Поистине кухня была его стихией: так иной человек — на суше калека калекой — в воде становится легким и изящным. Но миссис Скарлатти по-прежнему ничего не ела. Что же он мог для нее сделать?

Порой Эзре хотелось схватить ее за плечи и крикнуть: «Послушайте!» Но лицо ее было таким замкнутым, что он не решался. Она словно давала понять, что лучше оставить все как есть. И он сдерживал себя.

Навестив миссис Скарлатти, Эзра спускался вниз. Ресторан в эту пору был пуст, и каждый звук отдавался в нем гулким эхом. Иногда

Эзра заглядывал в холодильную камеру и проверял, какие там хранятся продукты, или вытирал грифельную доску, а потом бесцельно бродил по залу, трогая то одно, то другое. Обои в небольшом коридорчике, ведущем из зала, были слишком аляповаты, и он содрал их со стены. Убрал вычурные золоченые бра возле телефона, снял с дверей мужского и женского туалетов старомодные силуэты. Временами он предавался разрушению так рьяно, что до открытия ресторана едва успевал хоть как-то скрыть его следы от чужих глаз, но служащие помогали ему; к шести часам, когда появлялись первые посетители, еда была готова, столы накрыты, и спокойные, улыбающиеся официанты находились на местах. Все шло своим чередом.

Миссис Скарлатти умерла в марте, холодным, промозглым днем. Когда сиделка позвонила Эзре, это известие обрушилось на него как страшный удар. Можно было подумать, что смерть миссис Скарлатти явилась для него неожиданностью. Он сказал: «Не может быть» — и повесил трубку. Потом снова набрал номер и задал все необходимые вопросы: спокойно ли она умерла? Во сне или бодрствуя? Сказала ли что-нибудь перед смертью? Сиделка ответила, что перед смертью миссис Скарлатти не сказала ничего, ни слова, и из жизни ушла спокойно.

— Но сегодня утром,— добавила сиделка,— она вспоминала о вас. Я даже удивилась, она как будто предчувствовала... Она сказала: «Передайте Эзре, чтобы он сменил вывеску».

— Вывеску?

— Она сказала: «Это уже не ресторан Скарлатти». Или что-то в этом роде. «Не Скарлатти»,— кажется, так она сказала.

Он ощутил вдруг такую боль, словно миссис Скарлатти простерла руку из небытия и влепила ему пощечину. Но, с другой стороны, это облегчало дело. Ее смерть пробудила в нем двойственное чувство — досады и облегчения. А деревья на улице сверкали, как только что отчеканенное серебро.

Заботы о похоронах он взял на себя, руководствуясь списком, который миссис Скарлатти составила задолго до смерти. Он заранее знал, в какое похоронное бюро и какому священнику надо позвонить, каких ее знакомых пригласить на похороны. Однако ему пришла в голову странная мысль — позвать тех иностранцев из больницы. Разумеется, он этого не сделал, хотя из них вышли бы превосходные плакальщики. Они наверняка держались бы куда лучше тех людей, которые чопорно стояли у ее замерзшей могилы. Эзра тоже был чопорен — печальный, усталый мужчина в развевающемся пальто, об руку со своей матерью. Глаза у него были красные. Но дай он волю слезам, миссис Скарлатти сказала бы: «Эзра, милый, да ты с ума сошел».

Он был рад вернуться после похорон в ресторан. Работа отвлекала от мрачных мыслей — он размешивал, добавлял специи, снимал пробу, то и дело спотыкаясь на том месте, где раньше была стойка. Потом он прохаживался между столиками, как раньше миссис Скарлатти, и предлагал посетителям рагу из устриц, салат из артишоков, суп-пюре из шпината, острый фасолевый суп и суп из куриных желудочков, приготовленный с особой любовью.

5. СЕЛЬСКАЯ ПОВАРИХА

У Коди всегда были девушки — то одна, то другая; все они были от него без ума, пока не знакомились с Эзрой. Казалось, что-то в Эзре притягивало их как магнит. При нем их глаза сияли, смотрели напряженно и внимательно, словно они прислушивались к звуку, который не могли уловить другие. Сам Эзра ничего не замечал. А Коди, конечно, настораживался. Он нарочито громко вздыхал, делая вид,

что все это его забавляет. Девушка тут же брала себя в руки, но было уже поздно: Коди таких вещей не прощал. Он обладал способностью как бы отстраняться от людей. Внешне похожий на индейца — гладкие черные волосы, правильные черты невозмутимого лица,— этот человек при желании мог выглядеть бесстрастным, как манекен, а между тем его второе «я» — оборванный, грязный, нелюбимый подросток с плохими отметками и единицей по поведению — сжимало кулаки и безмолвно стонало: «Ну почему? Почему Эзра? Почему всегда этот сопляк, этот паинька Эзра?»

А Эзра глядел вдаль ясными серыми глазами из-под копны мягких светлых волос и по-прежнему думал о своем. Одно можно сказать в его пользу: кажется, он в самом деле не замечал, какое впечатление производил на женщин. Никто не мог обвинить его в том, что он сознательно отбивает девушек у собственного брата. Но при мысли об этом Коди становилось совсем невмоготу. Скорее он готов был поверить, что у Эзры есть какой-то изъян и именно этот изъян «работал» на него, делал безразличным, выделял среди других мужчин. Было в Эзре что-то почти монашеское. Сколько женщины ни старались, им никак не удавалось разгадать его мысли, хотя он был с ними неизменно учтив и деликатен. У него выработалась привычка молча, до неприличия долго разглядывать их, а потом вдруг задать самый неожиданный вопрос. Например: «И как вы ухитрились воткнуть в уши эти золотые колечки?» Полный идиотизм — дожить до двадцати семи лет и ничего не знать о серьгах. Однако женщине, к которой он обращался, подобный вопрос, видимо, не казался идиотизмом. Она, точно под гипнозом, касалась пальцем мочки уха. Она была заворожена. Может быть, непредсказуемостью поступков Эзры? Ограниченностью восприятия? (Он не обратил внимания на ее глубокое декольте, напудренную грудь, длинные ноги в нейлоновых чулках.) А может быть, его неведением? Он был гостем на планете женщин — вот как следовало понимать его вопрос. Но сам он не сознавал этого и не понимал ее ответного взгляда, а если и понимал, то не придавал ему значения.

Только одну из девушек Коди не пленил его брат. Она работала в агентстве социального обеспечения, звали ее не то Кэрол, не то Карен. При первой встрече она окинула Эзру спокойным, оценивающим взглядом и сказала Коди, что ей не нравятся мужчины с материнской жилкой. «Вечно кормят, вечно кудахчут,— сказала она (она познакомилась с Эзрой в его ресторане),— а сами такие неуклюжие, застенчивые, что в конце концов садятся на шею. Ты замечал?» Но этот случай не в счет — Коди скоро потерял к ней всякий интерес.

Странно, конечно, что он продолжал знакомить своих девушек с братом, зная наперед, что его, Коди, ждет поражение, ведь с четырнадцати лет он накопил изрядный горький опыт. В конце концов он жил в Нью-Йорке, а брат с матерью — в Балтиморе; и он вовсе не был обязан возить своих приятельниц на уик-энд домой. Не раз Коди давал себе клятву, что больше это не повторится. Он встретит какую-нибудь девушку, женится на ней и не обмолвится об этом даже собственной матери. Но это означало, что всю остальную жизнь ему придется быть настороже и с подозрением следить за женой. Всю жизнь он будет ожидать неизбежного, как родители Спящей Красавицы, несмотря на все предосторожности, ожидали той роковой минуты, когда веретено уколет палец их дочери.

Ему уже исполнилось тридцать, он преуспевал и «созрел» для женитьбы. Квартиру в Нью-Йорке он считал временным пристанищем — так, снял ради удобства; недавно он приобрел под Балтимором ферму и сорок акров земли. И теперь в конце недели менял изящный серый костюм на вельветовые штаны и куртку и, строя планы, бродил по своим владениям. За домом был солнечный задний двор, где его жена сможет выращивать овощи к столу. Спальни в доме ожидали будущих детей. Он воображал, как вернется в пятницу домой с работы, а они

выбегут ему навстречу, и чувствовал себя на седьмом небе. Бедный Эзра... Только и имеет что этот разоренный ресторан в тесноте и убожестве городского центра.

Однажды Коди пригласил Эзру поохотиться на кроликов в лесу за фермой. Ничего хорошего из этой затеи не вышло. Сначала Эзра угодил в осиное гнездо. Потом уронил в ручей ружье. А когда они остановились на холме перекусить, вытащил из кармана свою старую флейту и принялся наигрывать «Зеленые рукава», распугав при этом всю живность чуть ли не на пять миль вокруг. Не исключено, что сделал он это умышленно. Кончилось тем, что Коди перестал с ним разговаривать, но Эзра с невозмутимым видом продолжал свою болтовню. В полнейшем молчании Коди быстрыми шагами ушел далеко вперед, пытаясь припомнить, с чего это ему втемяшилось в голову затеять охоту. «Мистер Кролик... — блаженно фальшивя, пел Эзра.— Каждая душа должна светиться...»

Неудивительно, что, вспоминая об этом, Коди грыз заусеницы, ходил взад-вперед по комнате и ерошил себе волосы. Во сне он так скрежетал зубами, что наутро у него сводило челюсти.

Ранней весной 1960 года Дженни прислала ему письмо. Развод будет окончательно оформлен через два месяца, прочел он, и тогда она сможет выйти замуж за Сэма Уайли. Коди был невысокого мнения о Сэме Уайли, мысленно отмахнулся от этого известия, как от мошкары, и стал читать дальше. «Боюсь,— писала она,— Эзра опередит меня. Ее зовут Рут, это все, что мне известно о ней». Дженни сообщала также, что всерьез подумывает бросить медицинский институт. Осложнения в личной жизни отнимали у нее столько сил, что на остальное их просто не хватало. Кроме того, за последние полтора месяца она прибавила три фунта, до неприличия разжирела и сейчас не берет в рот ничего, кроме салата и воды с лимоном. Коди привык к дурацким диетам Дженни (она была худущей до невозможности) и, оставив это место без внимания, пробежал глазами до конца страницы, а затем сложил письмо.

Рут?

Коди снова развернул письмо. «Боюсь, Эзра опередит меня»,— прочел он. Коди попытался представить себе, в чем же Эзра мог «обскакать» ее, и в конце концов догадался: Эзра надумал жениться. Что ж, теперь Коди нечего опасаться за своих девушек. (При этой мысли ему почему-то стало не по себе.) Но каков Эзра! Женится! Подумать только, Эзра, это ходячее недоразумение,— в церкви во время венчания. Забудет разрешение на брак, кольца и что надо отвечать священнику и с рассеянной улыбкой уставится в окно на колибри. И потом — Эзра в постели с женщиной! (Коди фыркнул.) Имя Рут натолкнуло его на мысль о библейской Руфи, и он нарисовал себе портрет женщины темноволосой, черноглазой, смуглой. Глаза с поволокой. Гладкая кожа. Водопад распущенных черных волос. Жгучие брюнетки — всегдашняя слабость Коди, к блондинкам он был равнодушен. Коди представил ее себе с обнаженными плечами, в алой атласной ночной рубашке. Резким движением скомкал письмо Дженни и бросил в корзину.

И на следующий день образ Рут не давал ему покоя. Он хронометрировал движения рабочих на одном из допотопных заводов по производству электродрелей в штате Нью-Джерси. Работа займет не одну неделю. «Соединение детали «К» с деталью «Л». Правой рукой деталь берется с конвейера — поиск детали, обхват, деталь кладется на конвейер...» Под враждебными взглядами рабочих он шел вдоль сборочной линии с раскрытой папкой в руках. Черные волосы Рут развевались между стропилами. «Неизбежные задержки — 3. Неоправданные задержки — 9». У нее, наверное, продолговатые, как сливы, чуть раско-

сые глаза. Руки унизаны кольцами, а длинные овальные ногти покрыты ярко-красным лаком.

Вернувшись вечером с работы, он нашел письмо от Эзры с приглашением в ресторан на ближайшую субботу. «Сердечно приглашаю Вас» — было написано посредине официального печатного бланка-приглашения — типичная для Эзры шутка. (А может, он это всерьез?) Боже избави от этих Эзриных обедов. Опять будут тосты и нескладная сентиментальная речь Эзры, в конце которой он объявит какую-нибудь важную новость, на этот раз известит о своей помолвке. Хорошо бы отказаться, подумал Коди, но что толку? Эзра будет безутешен, если недосчитается хотя бы одного члена семьи. Он отменит обед, перенесет его на другой день и будет откладывать до тех пор, пока Коди не согласится, так что лучше уж поехать и отделаться сразу. К тому же он был не прочь познакомиться с этой Рут.

Эзра слушал своего бывшего клиента — тот объявил, что пришел сюда в последний раз.

— Раньше,— говорил клиент,— это был шикарный ресторан.

Эзра кивнул, глядя на собеседника с симпатией и участием; Коди показалось, что думает Эзра о чем-то другом.

— Здесь была замечательная французская кухня,— продолжал клиент,— блюда под коньяком и многое другое... канделябры, гардеробщица, официанты во фраках. Куда подевались официанты?

— Они смущали посетителей,— сказал Эзра.— Считали, что те приходят сюда как на экзамен, а не просто пообедать. Совсем обнаглели.

— А мне так нравились ваши официанты.

— Теперь у нас домашняя обстановка,— сказал Эзра и кивнул на ближайшую официантку, высокую, сутулую, бесцветную девицу с полуоткрытым от усердия ртом; она не сводила глаз с большой кофейной кружки, которую несла в обеих руках. Осторожно, мелкими шажками официантка двигалась по залу. Прошла между Эзрой и посетителем. Эзра отступил, чтобы пропустить ее.

— Я говорю жене: «Нетти, ты должна своими глазами увидеть ресторан Скарлатти,— продолжал Эзрин собеседник.— Не ругай Балтимор, пока не увидишь этот ресторан». И вот мы приезжаем, и на месте нет даже вывески. Вы назвали его «Тоска по дому». Что за название? А оформление! Теперь все это похоже на... огромную придорожную забегаловку.

Он был прав. Коди с ним согласился. На полках по стенам зала красовались стеклянные банки с домашними солениями, кухня была открыта для всеобщего обозрения, там топтались неряшливо одетые повара, готовили свои любимые кушанья (закуски, диетические и национальные блюда — все, что приходило им в голову). С тех пор как Эзре достался в наследство этот ресторан (притом от женщины), он систематически разрушал его. Теперь он иной раз предлагал в вечернем меню одно-единственное блюдо и сам подавал его к столу. В другие дни выбор бывал пошире — четыре-пять названий, написанных мелом на черной доске. Но и тогда вам могли подать совсем не то, что заказано. «Копченый окорок»,— попросите вы, а вам несут рагу из окры. «Вы сильно кашляете,— скажет Эзра,— это блюдо вам гораздо полезнее». Но даже если он и прав, разве так должен работать ресторан? Когда заказываешь окорок — должен быть подан окорок. А так и дома поесть можно. «Через год ты окончательно разоришься»,— пророчил ему Коди. И вот теперь Эзра действительно почти что разорился: он потерял большинство завсегдатаев. Правда, некоторые продолжали посещать ресторан, появились даже новые клиенты. Стали заходить одинокие пожилые люди, которые ужинали каждый вечер за постоянными столиками в этом похожем на сарай зале с дощатым полом. Они могли себе это позволить, потому что цены в меню не были

обозначены, клиенты расплачивались с официантами по счетам и в случае чего могли рассчитывать на скидку. (Разве это законно?) Эзру беспокоило, где питаются эти старые люди по воскресеньям, когда ресторан закрыт. С другой стороны, Коди тревожило состояние бухгалтерских книг Эзры, но он не выражал желания ознакомиться с ними. Был уверен, что обнаружит там страшные ошибки, огромные долги. Лучше не знать, не вмешиваться.

— Действительно, у нас произошли кое-какие изменения,— сказал Эзра бывшему клиенту.— Но если вы попробуете нашу еду, то убедитесь, что это прекрасный ресторан. Сегодня в нашем меню всего одно блюдо — тушеное мясо.

— Тушеное мясо!

— Это необыкновенное блюдо — оно успокаивает.

— Тушеное мясо я могу съесть и дома.— Мужчина нахлобучил фетровую шляпу и, резко повернувшись, направился к выходу.

— Ну что ж,— сказал Эзра брату,— всем не угодишь.

Они прошли в дальний угол зала; на столе, который Эзра обычно отводил для семейных обедов, стояла табличка «Стол заказан». Дженни и матери еще не было. Дженни приехала днем и попросила мать помочь ей с выбором свадебного платья. Эзра был обеспокоен тем, что они опоздают.

— Обед назначен на половину седьмого,— сказал он.— Что же они так долго копаются?

— Ничего страшного, ведь на обед будет всего лишь тушеное мясо.

— Это не «всего лишь» тушеное мясо,— возразил Эзра. Он сидел на стуле, костюм на нем почему-то невообразимо топорщился, как будто был на несколько размеров больше.— Это нечто необыкновенное. Название «тушеное мясо» к нему никак не подходит, оно скорее похоже на... то, чего так хочется, когда человек в тоске и все донимают его. Понимаешь, у меня сейчас есть повариха, настоящая сельская повариха, и тушеное мясо — самое простое из тех блюд, которые она умеет готовить. К нему будет еще жареная картошка, отварной горох, пресные булочки из отбитого теста — его в самом деле отбивают на колоде обухом...

— А вот и они,— сказал Коди.

Дженни с матерью шли по залу. В руках у них не было свертков, но что-то в их облике говорило о том, что они долго ходили по магазинам,— быть может, усталые, недовольные лица. Помада на губах Дженни стерлась, у Перл шляпка съехала набок, и волосы выбивались из-под нее еще более беспорядочными и мелкими кудряшками, чем обычно.

— Что же вы так долго? — спросил Эзра, вскакивая со стула.— Мы уже начали волноваться.

— Да это все Дженни и ее капризы,— сказала Перл.— Худая, как глиста, и — надо же! — не желает ни ярких цветов, ни пастельных тонов, ни оборок, ни складок, ни отделки, словом, ничего такого, что «толстило» бы ее... А почему пять приборов?

Этот вопрос застал их врасплох. И впрямь, как теперь заметил Коди, на столе стояло пять тарелок и пять хрустальных рюмок.

— Так почему же? — настаивала Перл.

— Ну... Через минуту вам все будет ясно. Садись, мама, вон туда.

Но Перл будто и не слышала.

— И вот, наконец, мы отыскали именно то, что надо,— продолжала она,— такое приятное серое платье с кружевным воротничком ручной вязки. Как раз в ее стиле. «Вот это в самый раз для тебя»,— говорю я ей. И что вы думаете? Она закатывает мне истерику прямо посредине универсального магазина Хатцлера!

— Не истерику, мама,— поправила ее Дженни,— я только сказала...

— Ты сказала: «У нас не похороны, мама, я не собираюсь надевать траурный наряд». Можно подумать, я выбрала ей черное, вдовье платье! Приятный мягкий серый цвет, вполне нарядное платье, именно то, что нужно для второй свадьбы.

— Антрацит,— сказала Дженни.

— Какой антрацит?

— Продавщица объяснила: этот цвет называется «антрацит». Каменный уголь. Мать считает абсолютно нормальным выдавать меня замуж в подвенечном платье угольного цвета!

— Ну так что же? — сказал Эзра, оглядевшись по сторонам.— Может, мы наконец сядем за стол?

При этих словах спина у Перл стала еще прямее.

— И тогда,— сказала она, обращаясь к сыновьям,— ваша сестра совершенно бездумно, просто так, мне назло, подбегает к ближайшей стойке с одеждой и выдергивает оттуда платье снежной белизны.

— Кремовое,— уточнила Дженни.

— Кремовое, белое — какая разница?.. Ни то ни другое совершенно не годится, когда выходишь замуж во второй раз и развода еще не было, да и жених без постоянной работы... И говорит: «Вот это я беру». А платье даже не ее размера, она в нем утонет. Пришлось оставить на переделку.

— А мне оно понравилось,— сказала Дженни.

— Да ты же в нем утонула.

— Оно меня стройнит.

— Не накинуть ли сверху шаль или еще что-нибудь коричневое? — сказала мать.— Надо же хоть как-то приглушить этот цвет.

— Я не могу надеть шаль на свадьбу.

— Почему? А что, если добавить к нему жакетик,— например, льняной коричневый?

— Жакеты меня полнят.

— Подлиннее, фасона «шанель».

— Ненавижу «шанель».

— Ну,— сказала Перл,— тебе не угодишь.

— Мама,— сказала Дженни,— мне уже угодили. Я довольна своим кремовым платьем. Мне оно нравится таким, как оно есть. А теперь оставь меня в покое, ради бога.

— Слыхали? — спросила Перл у сыновей.— Не желаю оставаться здесь и выслушивать такое.— С этими словами она повернулась и решительно зашагала к выходу. Прямая, несгибаемая, как маленькая заводная кукла.

— Вот те раз! — сказал Эзра.

Дженни открыла пластмассовую пудреницу, глянула в зеркальце, будто хотела убедиться, что она, Дженни, еще существует на свете, и тут же захлопнула ее.

— Дженни, ради бога, верни маму,— попросил Эзра.

— Ни за что.

— Но она же поссорилась с тобой, я не смогу уговорить ее.

— Слушай, Эзра, давай-ка сегодня плюнем на все это,— сказал Коди.— С меня хватит!

— Ты о чем? Отменить обед?

— Лично я ничего, кроме нескольких листиков салата, съесть не смогу,— сказала Дженни.

— Но это крайне важно! Я же старался, чтобы обед на этот раз был особенно торжественным. Ну подождите, подождите минутку... Ладно?

Эзра бросился на кухню. Из группы поваров у стойки он выхватил маленького человечка в комбинезоне. Это была девушка, как

догадался Коди, рыжеволосая, с остреньким личиком. Она весело шла за Эзрой, почти не сгибая колен, вытирая ладони о собственные брюки.

— Знакомьтесь,— сказал Эзра.— Это Рут.

— Рут? — переспросил Коди.

— В сентябре мы поженимся.

— Вот как? — сказал Коди.

Наконец Дженни вымолвила:

— Поздравляю,— и чмокнула Рут в веснушчатую впалую щеку.

А Коди пробормотал:

— Да, конечно,— и пожал ей руку, ощутив на ее ладони твердые, как камешки, мозоли.

— Здрасьте,— сказала она ему.

Он вдруг вспомнил слова «курочка-бантамка», хотя в жизни не видел бантамок. Скорее ее можно было назвать «боевым петушком». Ее торчащие ежиком морковно-рыжие волосы были подстрижены так коротко, что едва прикрывали череп. Голубые глаза — круглые, как пуговицы, а кожа до того тонкая и туго натянутая (как и с волосами, здесь, видно, тоже поскупились), что просвечивал белый хрящик на переносице.

— Ясно,— сказал он,— Рут.

— Я тебя удивил? — спросил Эзра.

— Да. Весьма.

— Я хотел сделать все честь по чести — объявить об этом, когда будут наполнены бокалы, а потом пригласить ее, чтобы она разделила с нами семейный обед. Понимаешь, малышка,— обратился он к Рут,— мама, видно, очень устала. Не получилось так, как я задумал.

— Ничего страшного,— утешила его Рут.

— Конечно,— кивнул Коди,— можно собраться всем вместе и попозже.

Дженни стала расспрашивать их о предстоящей свадьбе, а Коди поднялся и сказал, что, пожалуй, пойдет посмотреть, как там мать.

Шагая в темноте к дому, он ощутил странное чувство утраты, будто кто-то умер или оставил его навсегда — Рут, черноволосая красавица его мечты.

(Окончание следует)

ЛУРЬЕ ФРИДА АНАТОЛЬЕВНА

Советский переводчик англоязычной прозы, литературовед. В ее переводе публиковались произведения современных американских, канадских, австралийских, индийских писателей, в том числе роман «Блага земные» Э. Тайлер, повести «Великолепная Гилли Хопкинск» К. Паттерсон, «Индеец с тротуара» М. Эллиса, «Пожарная команда № 82» Д. Смита, рассказы У. Истлейка, Дж. Тербера, Б. Кауфман, Ф. Моуэта, Дж. Уотена, П. Грейс, М. Р. Ананда и др.

МИШЕЛЬ БОЛЬЁ

Из книги «Калейдоскоп»

Перевод с французского и вступление И. КУЗНЕЦОВОЙ

«Я долго прятался за словами» — этой короткой фразой, сказанной в интервью журналу «Леттр кебекуаз» летом прошлого года, сорокачетырехлетний поэт Мишель Больё подвел черту под своим ранним творчеством.

Мишель Больё пишет по-французски. «Веком слова» назвал квебекский поэт Ролан Жигер наше время для говорящих и пишущих по-французски канадцев — пяти миллионов своих соотечественников, сохранивших родной язык в окружении двадцатимиллионного англоязычного населения страны. Точнее сказать трудно. В последние десятилетия слова в Квебеке действительно хлынули лавиной: заговорили разом романисты, поэты, драматурги, публицисты. Франкоязычная литература Канады, давшая уже в начале нашего столетия несколько заметных имен, вступила в новый период своего развития — период бурных поисков собственного лица. Идея создания самостоятельной национальной словесности буквально опьянила молодых. Писатели принялись экспериментировать. В литературу прорвался простонародный квебекский говор — «жуаль»,— сильно искаженный, изобилующий диалектизмами и английскими заимствованиями французский язык. Одни поднимали его на щит как язык истинно народный, другие говорили о нем с горечью как о признаке вырождения нации. Словами играли, ими упивались, в них захлебывались.

На эти годы интенсивного словесного поиска — поиска, так сказать, в национальном масштабе — и пришлась юность Мишеля Больё. В 1965 году Больё создал издательство «Эстерель», чтобы печатать стихи поэтов, осваивавших новые формы, а в 1967-м — журнал «Куа», где впервые применительно к квебекской поэзии прозвучало слово «лаборатория». Журнал вышел всего два раза, однако творчество таких поэтов, как Жильбер Ланжевен, Люк Расин, Рауль Дюге и сам Мишель Больё, группировавшихся вокруг журнала «Куа» и издательства «Эстерель», оказалось надолго отмечено совместными поисками.

Мишель Больё далек от того, чтобы полностью отрекаться ныне от своей поэтической юности. Однако само время и пришедшая вместе с ним зрелость заставили его пересмотреть многие прежние взгляды и суждения, причем не только в сфере поэзии. Так, о движении за независимость Квебека, некогда возбуждавшем в нем горячий энтузиазм, Больё в том же интервью говорит: «Я не думаю, чтобы независимость могла сама по себе избавить нас от всех бед. Нужно мыслить шире... Опасность чудовищных ядерных установок, которые окружают нас со всех сторон, кажется мне несравнимо важнее». А на вопрос корреспондента, выросло или уменьшилось, по его мнению, сегодня число читателей поэзии по сравнению с шестидесятыми годами, он отвечает: «Уменьшилось. Двадцать лет националистических выкриков и десять лет герметизма нанесли поэзии больший урон, чем любая попытка целенаправленного разрушения».

Словесные эксперименты и прежде не были для Больё самоцелью. В его ранних стихах усложненный, а порой и противоречивый поэтический образ всегда играл роль

МИШЕЛЬ БОЛЬЁ — MICHEL BEAULIEU (род. в 1941 г.)

Канадский поэт и прозаик. Автор многих поэтических сборников: «Чары ярости» («Charmes de la fureur», 1970), «Пейзаж» («Paysage», 1971), «Оракул теней» («Oracle des ombres», 1979), «Замыслы» («Desseins», 1980) и др., романов: «Я не могу вырваться из круга, но кружу вокруг тебя» («Je tourne en rond mais c'est autour de toi», 1969), «Представление» («La reprérsentation», 1972), «Сильви Стоун» («Sylvie Stone», 1974). Удостоен премии журнала «Этюд франсэз» за сборник «Изменения» («Variables», 1973) и премии генерал-губернатора Канады за сборник «Лица» («Visages», 1981).

Публикуемые стихи взяты из новой книги М. Больё «Калейдоскоп» («Kalédoscope». Saint-Lambert, Noroît, 1984).

своего рода лабиринта, назначение которого состояло в том, чтобы вывести в конце концов с неожиданной стороны к сердцевине изображаемого, будь то чувство, предмет или пейзаж. И все-таки сегодняшний Мишель Больё утверждает, что «прятался за словами». За этим утверждением — не только потребность вырваться из пут герметизма, не только стремление к полноте самораскрытия, но и новый обостренный интерес к окружающему миру.

Реальность, воссоздаваемая слогом подчеркнуто будничным, свободным от игры метафор, вторгается в поэтический мир Мишеля Больё вместе с шумом городов, о которых он пишет в своей последней книге «Калейдоскоп» (1984). Отказавшись от хронологической последовательности, автор здесь и впрямь по подобию калейдоскопа перемежает воспоминания о друзьях, о первой любви, о детстве путевыми зарисовками и впечатлениями. Под заглавием «Один из многих городов» в книге значится тридцать одно стихотворение, в том числе и небольшой цикл, посвященный детским годам.

Не открывая названия городов, поэт вовсе не задает читателю загадок, над которыми нужно ломать голову: автору важно, что представляет собою жизнь в этих городах и какую позицию занимает перед жизнью он сам, интеллигент двадцатого столетия. «Твердо считая себя одним из людей доброй воли», его лирический герой вместе с тем нередко сознает свое бессилие перед разрешением насущных проблем времени. Отсюда и то чувство неловкости и даже невысказанной вины, которое испытывает он, благополучный путешественник, перед обитателями шахтерского городка (№ 18) или жителями южного — вероятно, в прошлом колониального — города (№ 14). В нарочито отрывочных описаниях автора перед нами — часто через импрессионистическую деталь — предстает каждый из виденных им городов: от одного из бесчисленных «городов-дортуаров» (называемых так потому, что их обитатели работают, как правило, в крупном городе неподалеку, а домой возвращаются практически только ночевать) до Монреаля, где поэт родился и с которым у него связаны первые детские воспоминания. Перед читателем возникает Монреаль сороковых годов с его невысокими домами, так не похожими на гигантские здания, сменившие их сегодня, и с дорогими сердцу автора трамваями — он и свой маленький велосипед воображал некогда трамваем. Здесь, на фоне «ретро», недвусмысленно бросающем вызов безликой современной урбанизации, вырисовываются образы прошлого: расплывчатые, как преподносит их память, но всегда зримые и достоверные.

«В данный момент мое умонастроение таково, что я уничтожил бы все, что написал до «Калейдоскопа»,— со свойственной ему категоричностью заявляет Больё. Однако книгу, столь очевидно переломную, можно написать лишь однажды. Каков же будет следующий сборник этого поэта, одного из самых ярких представителей своего поколения в литературе Квебека?

Один из многих городов 10

город чьи птицы-хранители с хрустом
крылья ломают о лобовое стекло
проходящих автобусов бросив
обжитые дворы
очертанья которых похожи
как две капли воды
на дворы остальных
городов-дортуаров Америки
десять лет ты здесь не был
и оказавшись проездом
вдруг проникнешь в его пропыленное сердце
в исполинской тени столицы
озаренной сияньем луны

Один из многих городов 14

город куда приезжаешь
твердо считая себя
одним из людей доброй воли
ты начинаешь свой день
чашечкой черного кофе
тебе подает его женщина
чей взор устремлен сквозь тебя

© Les Edition du Noroit, 1984.

на сверкающую листву
между двух деревянных балок навеса
ты уходя оставляешь на стойке
мелочь и вдруг на тебя
у порога бросаются
продавцы безделушек
цену которых ты так и не смог разобрать
ты вспотел и одежда
уже начинает тереть в каждом сгибе
ты устремляешься в это скопление рук
которые тянут тебя за рубашку
впрочем не слишком настойчиво
ты от них ускользаешь в такси
оно тебя катит к отелю
по улицам где вода
журчит по канавкам
ты просишь шофера ехать помедленней
но он набирает скорость
в столпотворенье машин
и взгляд его явно смеется
ты отвернулся
и смотришь на белые здания
его забавляет ужасно твоя борода
это так очевидно
что не понять ты не можешь
случайно поймав его взгляд
в зеркале заднего вида
но что тут смешного
тебя мучает этот вопрос
а задать его вслух ты почему-то не можешь
и делаешь вид будто тоже смеешься
хотя на душе у тебя
вовсе не так уж весело

Один из многих городов 18

город где вслушавшись в выговор
сознаешь сколь внушительна цифра
километров покрытых с рассвета
город шахт где от пристальных взглядов
пробегают мурашки по коже
и ни от кого невозможно добиться ответа
на вопрос как проехать
полицейский тебя изучает
сквозь зеркальные стекла очков
и не двигая челюстью
трижды тебе как глухому
цедит невнятные указанья
ты обращаешься к негру сосущему палец поодаль
но вместо ответа он просто показывает кулак
после этого у тебя пропадает охота
выяснять у гуляющей в одиночестве женщины
хорошо ли она ориентируется
в этих улицах накаленных
светом неоновых ламп

Глухота

пока еще ты воли не даешь
словам жестокой властью наделенным
ее сразить ведь столько лет прошло
и ты отлично научился
отделываться фразами не слишком
чреватыми тяжелым объясненьем
ты видишь в ваших отношениях давно
не прорывается тот чудный шквал который
швырял вас некогда в объятия друг к другу
едва за вами закрывалась дверь
и ты прекрасно знаешь что придется
сказать ей это рано или поздно
и уж конечно лучше не тянуть
сказать что больше ты не можешь быть в ответе
за выдуманный ею образ твой
что жизнь твоя течет совсем не здесь
в ее руками созданном уюте
твоим секундам и часам и дням
хозяин ты один и ты не хочешь
считаться с обязательствами впрочем
обузой ставшими и для нее самой
и с тем желаньем изменить ваш образ жизни
что столько раз высказывалось ею
а ты встречал непобедимой глухотой

Один из многих городов 31

/фрагменты/

город куда после всех путешествий
после долгих и кратких отлучек
напрягая глаза чтоб в наплыве и смене картин
не упустить ничего ты возвращаешься неизменно
весь во власти сил притяжения

1

за несколько кварталов до конечной
где тянется развилка буквой «у»
(или «уай» как сказано во всех
английских а точней американских
путеводителях) на улице Вокли
ты живешь в необъятном
многоквартирном сооружении
с крыши которого наверняка
ты бы сам себе показался
крохотной точкой на тротуаре

ты слышишь как за спиной
постукивает по рельсам
номер 3 «А» и ты ждешь чтобы он повернул
и только потом переходишь
глядя сначала налево
потом направо
эту улицу на окраине
где так мало машин
где домам возвращен их нормальный размер

в три этажа
и где гладким асфальтом
покрыты поля
твоего далекого детства
ты окликаешь бегущую мимо собаку
она весело машет хвостом
но к тебе не подходит
как видно не зная
погладят ее
или окатят водой

2

ты не знаешь как звали ту девочку
хотя есть фотография в альбоме
она на трехколесном велосипеде
великолепном как тогда казалось
и кажется теперь
таком красивом что ты тайно
завидовал не только крыльям
вишнево-красным но и карим
ее глазам ее молчанью
ее уменью появляться
так неожиданно
запретный переулок
с крутым до головокруженья спуском
недавно ты его увидел вновь
и вспоминал как двадцать лет назад
въезжал на самый верх
на собственном трамвае
а девочка смотрела
она жила тогда неподалеку
за спуском
в невысоком доме
без лифта

5

неповторимый торжественный день
мать впервые ведет тебя в школу
и подталкивает к воротам
где тебя уже поджидает
та улыбающаяся монашка
в тяжелом крахмальном платье
ты рванулся назад
в этот первый торжественный день
несуразный звереныш
не обученный ритуалам
тебя ждал приветственный поцелуй
но ты от него увернулся
и вырвал ладонь не позволив
монашке вести тебя за руку
ты и вправду как дикий звереныш
хотел прошмыгнуть незамеченным

КУЗНЕЦОВА ИРИНА ИСАЕВНА

Советский переводчик с французского языка. В ее переводе публиковались стихи Ж. де Нерваля, А. Боске, Б. Ноэля, Ш. Добжинского («ИЛ», 1980, № 12), М. Бенезе («ИЛ», 1984, № 12), романы А. Ланжевена, Ортанс Дюфур, эссеистика А. Моруа и др. Составитель французского раздела сборника «Из современной канадской поэзии».

ЛАДИСЛАВ БАЛЛЕК

Конь из Орландо

Глава из романа «Акации»

Перевод со словацкого Н. ЗАМОШКИНОЙ

Ладислав Баллек пришел в литературу в середине 60-х годов. Пристальное внимание к характеру современника, к актуальным проблемам времени ощущается уже в первых произведениях прозаика, сразу же ставших заметным явлением словацкой литературы. Особое место среди них занял роман в новеллах «Южная почта», в котором писатель, обратившись к миру детства, воссоздал атмосферу небольшого провинциального городка на юге Словакии, Паланка, в 30—40-е годы.

Так было положено начало летописи жизни Паланка, вымышленного города, расположенного по воле автора в низовье реки Ипель. Судьба его обитателей становится основной темой и последующих произведений Баллека — романа «Помощник. Книга о Паланке» (1977), время действия которого отнесено к первым годам послевоенной Словакии, и романа-хроники «Акации. Вторая книга о Паланке» (1981), временные рамки которого расширены до середины 60-х годов.

«Паланк я строил годы, сознательно и бессознательно конструировал его как место действия моих будущих произведений»,— признал как-то в одном интервью писатель, определяя, таким образом, картографию всего своего творчества. В его изображении вымышленный провинциальный городок на южной границе Словакии, вобравший в себя черты пограничного города Шахи, родины автора, становится обобщенным образом всего словацкого общества, пережившего в первое послевоенное десятилетие коренную ломку старых буржуазных порядков и вступившего на путь социалистического обновления. При этом, однако, основное внимание писателя нацелено на разоблачение всего того, что мешало этому обновлению. Искусно используя средства сарказма, иронии, а порой сатиры, он рисует тот мир, где «жили чрезвычайно спесивые люди... презиравшие неблагородных и несостоятельных», мир, в котором «бедняк не имел цены» и «такое отношение к нему... никогда не осознавалось как нечто недозволенное и чудовищное...» Мир этот, показывает писатель, чванливый, мещанский, торгашеский, осужден историей на гибель, ему на смену неизбежно идет эра иных социальных и нравственных ценностей.

И пусть в романе «Акации» не так много примет нового времени — они намечены чаще всего пунктирно,— само изображение старого, уходящего мира становится в книге Баллека художественно убедительным аргументом в пользу необходимости, закономерности обновления.

Роман-хроника «Акации», написанный яркими, живописными мазками, состоит из ряда самостоятельных новелл, окрашенных в балладические тона. Язык насыщен сочными народными формами, запевками, элементами диалектной речи южного пограничья. Во всем этом ощутимо стремление автора как можно ярче изобразить жизнь родного края в драматичный, ответственнейший период его истории.

Н. ШУЛЬГИНА

© Ladislav Ballek, 1983.

ЛАДИСЛАВ БАЛЛЕК — LADISLAV BALLEK (род. в 1941 г.)

Словацкий писатель, заслуженный деятель искусств, лауреат литературной Национальной премии Словакии. Автор повестей «Бегство на зеленый луг» («Útek na zelenú lúku», 1967), «Красная как лилия дорога» («Pút' červená ako l'alia», 1969), «Белый воробей» («Bielý vrabec», 1970) романа в новеллах «Южная почта» («Južná pošta», 1974).
На русский язык переведен роман «Помощник. Первая книга о Паланке» (М., 1980). Роман Л. Баллека «Акации. Вторая книга о Паланке», из которого взята публикуемая глава, вышел в Братиславе в 1981 г. («Agáty. Druhá kniha o Palánku». Bratislava «Smena», 1981).
Статью об этом романе А. Машковой см. в «ИЛ» за 1983 г. № 7.

1

С того дня, как в Паланке появился плакат с головой бенгальской тигрицы и надписью «Цирк Орландо», город забурлил. Приезд цирка виделся утратившим рассудительность паланчанам грандиознейшим событием этой весны, и не было человека, который не ждал бы его с радостью. Перед афишей толпились возбужденные горожане, изощрялись в фантазии, жестикулировали и хватались за животики, услышав смешное. Они крутились перед мордой тигрицы, словно это было зеркало. Цирк их растревожил, заставил забыть, что они солидные граждане старого комитатского города.

Конец сороковых годов, утро.

Сегодня товарным поездом цирк прибудет в Паланк. За добрый час до его прибытия весь город высыпал на улицы и на станцию.

А этак за полчасика на станцию отправился мальчик по прозванью «Пипикофе». Жил он в Песках, над которыми вечно висели дым от паровой мельницы, пар и чад от пыхтящих локомотивов и паровозов.

Прозвище пристало к нему давно: заболталась как-то его мамаша во дворе с соседкой и забыла, что у нее на плите стоит кофе. Мальчик вышел за ней и пресерьезно сообщил: «Мамочка, кофе пи-пи!» Тогда он еще в школу не ходил.

2

Доподлинно прекрасный, южный, апрельский предполуденный час. Сады, парки и живые изгороди благоухают сиренью. На станцию вот-вот вползет длиннющий товарный состав с яркими, разноцветными маринготками[1] и клетками на платформах.

Цирк Орландо!

На станции полно народу, в особенности ребятишек, которые облепили ближайшую каменную ограду и все соседние деревья. От них в глазах рябит. Они озорничают, визжат, падают с ограды, дерутся в придорожной канаве, как маленькие дикари, подбрасывают в воздух ранцы, из которых сыплются тетрадки, буквари, промокашки и изукрашенные словацким народным орнаментом деревянные пеналы, которые в толчее мгновенно раскалываются на части. А самые хулиганистые из ребят залезли на деревья и оттуда льют на головы и за шиворот тем, которые внизу. Одним словом — детская война. Именно детская. Взрослые на них внимания не обращают. Они и думать не думают о том, где, собственно, этим ребятам сейчас положено быть. А ребята — кто сбежал из школы, кто вовсе туда не пошел. И все потому, что взрослые нынче думают не о своих обязанностях, а о всяких цирковых фокусах-покусах.

Взрослые стоят большими и маленькими группами. Оживленно толкуют между собой, фантазируют. Народ собрался разный: извозчики с кнутами за голенищами, дорожные рабочие, ремесленники-мастера, подмастерья и ученики, путевые обходчики, кладовщики и всякий прочий люд, главным образом с близлежащих к станции улиц.

Женщин почти не видно. Мужчины жадно курят, вертят головами, перебивают друг друга, вспоминая все довоенные цирки. А когда речь заходит о мускулистых акробатах, разражаются смехом.

Несколько парней стоят особняком. Эти ждут цирка ради временной, но хорошо оплачиваемой работы. Тут как тут и пресловутые городские шалопаи, не пропускающие ни единого сборища. Из них выходят лучшие в городе боксеры и борцы, у всех у них на левом предплечье вытатуирован знак 4 F, девиз немецких турниров: frisch, fromm, froh, frei, что в переводе означает — бодрый, набожный,

[1] Цирковая повозка, фургон *(словацк.). (Здесь и далее прим. перев.)*

веселый, свободный. Собираются они в трактире у перевоза, возле нижнего брода, где крестьяне с подводами и товаром ждут парома. Молодые шалопаи любят задирать крестьянских жен и дочерей. Крестьяне, по правде говоря, с ними не церемонятся. Не раз между ними вспыхивали кровавые драки, доходившие до того, что дерущиеся топили друг друга в Ипле, душили в грязи. У этих драк давняя традиция и на счету четверо серьезно пострадавших, все из числа городских. Крестьянам — тем все нипочем, в своей простоте они неукротимы, им плевать на спортивный дух борьбы. Они пускают в ход все, что под руку попадет: кнут, дубину, вилы, а парни из принципа дерутся голыми руками.

Поскольку драки имеют традицию, город смотрит на них как на принадлежность трактира у перевоза. Паланк таких озорников не осуждает — мужчина должен быть сильным и смелым; в конце концов, у горожанина всегда найдется причина вздуть деревенщину, и пока эта традиция существует в трактире у перевоза через Ипель, где сходятся дороги в деревни, лежащие на юго-западе возле государственной границы, в городе будет процветать бокс и греко-римская борьба. И точка.

Это поколение драчунов (последнее, как окажется вскорости, на нем в городе кончится история бокса и борьбы, так же, как исчезнет и сам трактир у перевоза, а с ним и возможность тренироваться) возглавляет родственник паромщика Карес, звезда здешнего ринга, крутой, самолюбивый парень.

Карес стоит по-командирски немного впереди, надвинув на брови широкополую шляпу, и держит в руках рубашку, выпятив на удивленье всему свету загорелую грудь — объемистую клетку стальных мышц. Он неподвижно наблюдает за маневрами паровозика. Вот паровозик отделился от короткого состава пассажирских вагонов с номерами 2 и 3 и мимо нагретой солнцем пассажирской платформы, где виднеются фигуры начальника станции в красной фуражке и нескольких пассажиров, покатил к водокачке. Пьет, поглощает воду, стонет, отяжелев, и откатывается к поворотному кругу. Там дальше — государственная граница, рельсы кончаются, путь закрыт, там сгружены запасы дров и угля.

Временами задувает ветерок, шелестит листвой. Если бы не ожидание цирка, на станции царила бы скука, теплый будний денек.

3

Но вот вдали показался большой, мощный паровоз с длинным красноватым составом. Он подходил неторопливо, подъезжая к станции осторожно, змеился на стрелках, как детский деревянный поезд. На платформах сияли вымытые, свежевыкрашенные маринготки.

ЦИРК ОРЛАНДО ПРИБЫЛ В ПАЛАНК!

Дети приветствовали его криком, а взрослые молчали, не зная, то ли радоваться, то ли держаться, как положено перед чужими.

Вскоре началась разгрузка; ярко одетые циркачи, смесь самых разных национальностей, приехавшие в двух пассажирских вагонах, два чина службы порядка и четверо полицейских в светлых летних униформах, несколько пожарных и дежурных железнодорожных служащих оттеснили зрителей, чтобы те не мешались, за дорогу к самой ограде еврейского кладбища.

Вместе со всеми, путаясь в ногах у взрослых, отступил к кладбищу и Пипикофе: из-за поднявшейся пыли ему ничего не было видно. Разве можно с этим смириться? Он пробрался вдоль кладбищенской стены в соседний садик, перелез через забор и очутился возле состава, но с другой стороны. Мальчик прокрался вдоль него туда, откуда доносилось больше всего шума и грохота. Тут состав дернулся, и Пипикофе едва не попал под колеса. От волнения он забыл, что озна-

чает долгий свисток паровоза. Проехав несколько метров, состав снова остановился, на сей раз окончательно.

Мальчик стоял, недоверчиво глядя на колеса, не тронутся ли они еще раз, и, морщась, вдыхал запах шпал и залитой маслом травы, серой от пепла, летящего из паровозов. Когда паровоз отцепили и он с мощным вздохом направился к водокачке, Пипикофе пролез под вагоном, уже без всякой опаски. Мальчик тихонько наблюдал за выгрузкой цирка, когда его внимание привлекло ворчание медведя. После небольшого колебания любопытство победило. Увидеть зверя было интересней, чем наблюдать за работой.

Он забрался на переднюю площадку платформы, перелез через борт и оказался возле клетки. В нос ему ударил едкий запах, присущий диким зверям, живущим в неволе. Затаив дух, Пипикофе подошел к щели в углу клетки. Заглянул в нее. Возликовал, счастливо вздохнул, словно воскликнул: «Вот это да! Гляди-ка, мишка!»

В сумраке за мощными прутьями клетки светились темные свинцовые глаза. У взрослого они вызвали бы ужас, потому что из них струилось коварство и жестокая звериная сила, но маленький мальчик, которому медведи представлялись добродушными сказочными лесными дядюшками, не понял этого.

Маленькие неподвижные глазки, тускло отливавшие свинцом, принадлежали гризли, серому североамериканскому медведю, которого за внушительные размеры именуют большим. Настроение у медведя было не из лучших. Утомительная дорожная тряска, особенно ощутимая в клетке, вконец расстроила его.

Товарная станция в Паланке была оборудована двумя платформами. По первой, ближайшей к зданию станции и более широкой, мог маневрировать даже тяжелый трактор, по второй, что поуже, свободно проходила лошадь, а двум уже было тесно.

Сначала из вагона вывели тяжеловозов. Они застучали копытами по толстым доскам мостков.

А мальчик тем временем приманивал зверя, подзывал его подойти ближе к решетке. Зверь не двигался, наблюдая за человеком со зловещим ворчаньем.

Пипикофе, как это заведено у детей, всунул в щель указательный палец и стал звать медведя к себе. Гризли вытянул шею, и его дикие глаза оказались на уровне щели. Тяжелая голова стремительно метнулась из угла клетки к самым прутьям, мальчик обмер, его охватил ужас, но было поздно. Он ощутил рывок и жгучую боль.

Медведь откусил ему палец.

Как раз в этот момент из вагона выводили лошадь. Внимание присутствовавших обратилось на нее. Была она невиданной масти — светло-желтой, точно цыплячий пух, а может, как золото южного полудня. Ребятишки так и охнули. Им показалось, что из вагона выходит сказочный Солнечный Конь.

Желтую статную лошадь вывел из вагона коренастый паренек, по виду итальянец. Он пятился по мосткам, держа ее под уздцы. Вдруг совсем рядом душераздирающе закричал ребенок. Все содрогнулись от ужаса и как бы даже соучастия в тяжкой вине.

— И-и-исусе христе,— охнула толпа.

Итальянцу померещилось, что он наступил на ребенка. Он подскочил, дрыгая ногами, попал на самый край мостков и, потеряв равновесие, кувырнулся наземь, не выпустив из рук недоуздка.

Позже никто из присутствующих не мог в точности описать, как же все это произошло,— глаза и мысли всех были устремлены на пути, куда с отчаянным, захлебывающимся воплем скатилось с платформы корчащееся от боли тело маленького мальчика. Этой болью и стоном заполнилось все пространство товарной станции. Ужас и страдание передались всем, кто смотрел на пути, а тем, у кого нервы послабее, просто сделалось худо. Большинство не могло опамятовать-

ся, шептали, что, наверное, ребенка сбило поездом, хотя никакого поезда не проходило, потом разнеслось, что, дескать, его ужалила какая-то страшная тропическая змея, которая потом уползла куда-то в сады соседних с полотном домов. Поезд — это страшно, но уж огромный ядовитый гад — просто чудовищно.

Когда люди пришли в себя и повернулись в ту сторону, откуда до них донесся какой-то глухой удар, падение, стон и болезненное ржание, то увидели лежащую у вагона желтую лошадь с окровавленным боком, словно свалившуюся с солнца. Напрягая все силы, она пыталась встать на ноги. Вокруг нее со злобным и болезненным криком прыгал маленький итальянец, подымая к подбородку колено в разодранной штанине, чтобы слизать с него кровь. Всем казалось, что он кричал о чем-то важном, но никто его не понимал. Один из чинов службы порядка подхватил, как буханку хлеба, потерявшего сознание мальчика, сел на велосипед и помчал на соседнюю улицу, где в тихом уголке под сенью елей и каштанов на зеленом газоне разместились белые здания городской больницы.

Покуда железнодорожники и циркачи осторожно и неуверенно оттесняли зрителей назад к кладбищенской ограде, второй блюститель порядка, городские полицейские, железнодорожники, из тех, кто посмелей, и укротители с ветеринарами обежали весь состав и обследовали платформы, на которых были размещены клетки со змеями и хищниками, но больше ни одного маленького смельчака, к счастью, не обнаружили.

Люди следили за ними, почти без звука пятясь назад к кладбищу, и было видно, что они злы на циркачей. За этого несчастного мальчонку! Отступая, они подняли пыль. Она повисла над головами, окутала их легким облачком, и если смотреть от здания станции, то казалось, что толпа рассеивается, как рой кладбищенских духов.

4

Когда суматоха улеглась, внимание обратилось на раненую лошадь. Она между тем поднялась на ноги. Вид у нее был плачевный. Те, кто стоял поближе, сокрушенно качали головами и беспомощно разводили руками.

Лошадь задыхалась, ее трясло, прекрасная золотая шерсть, кое-где пестревшая светлыми яблоками, которые не сразу бросались в глаза, потемнела от крови и пота.

Она упала на левый бок, повредила суставы, расшиблась и поранилась; вполне возможно, что у нее были и скрытые переломы.

Снизу, по дороге от мельницы, над которой равномерно тянулся к синему небу легкий дымок, к товарной станции приближался черный «мерседес». Беззвучно покачиваясь на неровностях дороги, он поднимал из-под колес густые клубы белой пыли.

Увидев машину, циркачи кинулись ей навстречу. Из передней двери вылез атлетически сложенный мужчина в клетчатом пиджаке, из задней дверцы — блондинка. Циркачи обступили их и повели взволнованный, короткий разговор с высоким, держащимся прямо мужчиной, который недоверчиво качал головой, хмурился, вскидывал бритый подбородок и вытирал платком лоб. Через головы людей — такой он был высокий — он взглядывал то на клетку с гризли, то туда, где стояла покалечившаяся лошадь. Потом что-то сказал своей спутнице, развел, словно оправдываясь, руками, его люди почтительно расступились, и он широким, решительным шагом направился к поезду,— работа возле него приостановилась. По галифе и высоким сапогам из рыжеватой кожи, а главное, по повадке мужчины было видно, что он в цирке Орландо приказывает и несет ответственность за все — в том числе и за несчастье с мальчиком и золотистой лошадью.

Озабоченный, слегка ссутулившийся, шел директор Орландо к лошади. Утренний оптимизм с него как рукой сняло. Он, видимо, про

себя чертыхался, что такие неприятности свалились на него в этом городе, который он, без сомнения, запомнит надолго. Сердитый на весь белый свет, он подошел к лошади, долго и тщательно ее осматривал, советовался с подчиненными, потом печально кивнул и растерянно пожал плечами.

Циркачи обсудили решение шефа, и собравшиеся поняли, что они с ним согласились. В самом деле, речь шла о ноже, бойне — золотой конь был осужден на смерть. Его собирались отвезти к ближайшему коновалу, вызвать ветеринара и проверенное мясо разрубить на куски и бросить на ужин хищникам.

Всем стоявшим вокруг раненой лошади это решение было понятно и ясно, только итальянец не желал его понимать. Он обнял лошадь за шею и раскричался. Выражался он, видимо, непочтительно, потому что директор Орландо, до этого спокойный и сдержанный, вспыхнул и выбранился. Он осыпал итальянца злобными словами, но тот, не обращая на них внимания, упрямо мотал головой и не отходил от коня. Тогда и другие стали на него кричать. Били себя в грудь, стучали пальцами по лбу: мол, дубина, будь благоразумен, не задерживай выгрузки, которая и без того затянулась. Но чернявый паренек, конюх при желтой и действительно прекрасной лошади, никого не слушал, держался храбро, свою подопечную не отпускал, фыркал, орал как бешеный, и людям подумалось, уж не пьян ли он? Кто же на трезвую голову так ведет себя перед начальством?

Двое мускулистых мужиков, из тех, кого увидишь в цирке с тяжелыми гирями и мощными канатами в руках, направились к итальянцу, чтобы покончить с ним в один момент. Но как решительно подступились, так и ретировались. Маленький черный человечек нагнулся, ловко набрал в руки гравия и пыли и швырнул в глаза силачам под громкий хохот паланчан, которым пришелся по душе такой оборот дел. Они снова оживились, сразу позабыв даже о несчастье, случившемся с мальчонкой. Силачи отскочили мгновенно и комично. Зрители были в восторге — один маленький и шустрый обратил в бегство куда более сильных.

Но силачи не ушли, они только отступили. Прикрыв глаза, они, пригнувшись, ринулись в атаку. Да только снова осеклись. Маленький злюка вдруг схватил тяжелую цепь, двинулся вперед, раскрутил ее над головой и сделал выпад. Противники сочли за благо отступить, сам директор отскочил в сторону. Обозленный, он повернулся на каблуках и повелительно окликнул двух других циркачей, которые тут же подошли к нему и встали с выражением почтительного внимания. Он что-то энергично приказал им. Оба кивнули и убежали. Вскоре один вернулся с шестом, другой — с длинным бичом, и с двух сторон пошли на итальянца. Оба с усиками, темноволосые, прилизанные, какие-то театральные, они вызывали у людей смех, но бедняге итальянцу было не до смеха. Увидев, что они идут на него, он ругнулся и стал похож на загнанного зверька, чувствующего, что дело его проиграно. Паланчане сердцем были на его стороне, но вмешаться не могли, да и не успели.

С первого же удара бичом итальянец вскрикнул и слетел на землю, как деревянная кегля. Не успел он опомниться, как лежал врастяжку под ногами своих победителей. По приказу шефа здоровенные мужики сунули его в клетку к обезьянам. Такое странное и унизительное наказание пришло на ум директору.

Пока циркачи возились с конюхом, который, оказавшись на земле, онемел и уже не издал ни звука, словно утратил дар речи, к раненой лошади подошел другой конюх — городской.

Это был Йозеф Кузма, рыжий детина в рейтузах и тяжелых сапогах. Извозчик и городской мусорщик. Он услышал о приезде цирка, возвращаясь с центральной свалки, куда вывозил отбросы. Свернул к станции, поставил телегу и стал глазеть вместе с другими, по-

ка не понял, что лошадь, которая так ему понравилась, пойдет на убой. Он подошел к ней и осмотрел с головы до копыт. Местные знали, что он разбирается в лошадях так же хорошо, как и в болезнях и ранах животных, а живет в нижней части города, в квартале извозчиков и мелких ремесленников. Многие звали его просто Йошо.

Кузма оценил лошадь, похлопал по шее, сунул ей кусок сахара и направился прямехонько к директору цирка. Выждал, пока тот кончит говорить, и потянул за рукав клетчатого пиджака. Великан в сапогах сердито и с легкой брезгливостью оглянулся и прежде всего удивился тому, что никто из подчиненных не заслонил его от этого рыжего. Он не понимал, о чем тот толкует ему, что это еще за наваждение, и с надеждой посмотрел на «мерседес».

Как только блондинка по знаку шофера взглянула на шефа, он сдержанным жестом, с улыбкой позвал ее на помощь, иначе, мол, ему от рыжего нахала не отделаться. Блондинка отошла от машины, поправила накинутый на плечи голубой жакетик и подошла к ним. Стараясь не запылить черные туфельки, она легко ступала на пальчики, как балерина или учительница гимнастики, и паланчане не могли надивиться стройности ее ног, угадывавшихся под белой юбкой.

Директор цирка, указывая пальцем на Кузму, любезно объяснил ей по-немецки, что не понимает, о чем толкует ему рыжий рябой. Она кивнула и, слегка повернувшись к Кузме, спросила по-чешски, кто он такой и чего хочет от пана шефа. Кузма объяснил, что ему надо, она перевела.

Слова Кузмы изумили директора, он воззрился на городского мусорщика с недоверием, как-то расстроенно покачал головой, что, мол, нет, нет и нет. Нахмурился, дав понять, что, дескать, говорить с мусорщиком ему не о чем, но, взглянув на свою компаньонку, смягчился.

Кузма не отступал. Он снял с головы замызганную кепку и указал ею на лошадь. Потом почтительно, как это делали городские бедняки при общении с власть имущими, плотно прижал кепку к груди и просящими глазами уставился на красивую светловолосую женщину. Он просил ее о помощи. Сначала она только слушала его, но постепенно взгляд ее стал приветливее, она даже начала улыбаться, тщетно пытаясь строго сжать губы, чтобы выражение ее лица соответствовало настроению шефа.

На все, что говорил Кузма, она благосклонно кивала. Он пробудил в ней интерес. Кончив свою речь, самую длинную и взволнованную в своей жизни, мусорщик покорно опустил голову и тихо стал ждать. В его позе была такая мольба и в то же время столько достоинства, что молодая женщина решительно обратилась к шефу. Даже издали было видно, что она держит сторону не своего начальника, а Кузмы. Она сказала директору, что этот рыжий паланкский мусорщик не только не имел такой красивой лошади, а даже сроду не видел, что он хочет ее купить, а заплатит сколько запросит цирк, что он ее вылечит, а забивать, мол, такого прекрасного коня, каких в здешних местах и не видывали, грех.

Шеф, не спускавший глаз с переводчицы, понемногу и все решительнее начал кивать, а потом заразительно расхохотался и сложил руки в знак своего поражения. Он с удовольствием смотрел на некрасивого, рябого мусорщика, потом молодецки кивнул, пожал плечами и с размаху, улыбающийся, веселый, хлопнул по руке Кузмы в знак того, что они все-таки пришли к соглашению.

Порешили на том, что прекрасный желтый конь, судьбу которого неожиданно изменил откушенный палец мальчонки, навсегда останется в Паланке, чтобы еще какое-то время украшать улицы города и радовать сердца детей.

Кузма нахлобучил кепку, повернулся и оглядел толпу сограждан — видят ли они, что он совершил.

Мусорщик наслаждался своей победой, но все же был удивлен, когда люди, поняв смысл его разговора с директором цирка, сердечно ему зааплодировали. Он храбро подошел к старшине КНБ [1], чтобы взять на время велосипед.

— Мне, пан капитан, только взять со двора Мадьяра Белы его большую телегу,— заверил он старшину,— и тотчас назад. Что скажете, пан капитан?

— Ладно, ладно, только быстро, Йозеф Кузма,— ответил молодой старшина и отпер замок на заднем колесе.

— Я мигом, пан капитан. Лошади нужно заварить чай. Больная, она как человек, который слетел задом с лестницы. Ободралась, конечно, здорово, но уж не настолько, как думают циркачи. Не настолько. Видать, они не слишком в этих делах кумекают.

— А сам-то вы кумекаете? — спросил старшина, отдавая велосипед без особой охоты.

— Кой-чего соображаю. Дело нехитрое,— ответил Кузма, вскочил на велосипед и помчался за телегой.

— Только бы тебе самому не свалиться,— вздохнул старшина, глядя, как Кузма тяжелыми сапожищами жмет на педали.

Циркачи снова принялись за работу. Лошадь, которая с трудом переступала, отвели в сторонку. Один из городских полицейских встал около нее.

В остальном выгрузка Орландо прошла без происшествий.

5

По дороге от станции через Пески и мосты потянулись на площадь пестрые, яркие маринготки, длинные повозки с цирковым реквизитом и зверинец на колесах. Груз тащили могучие кони и громыхающие тракторы-бульдоги с мощными колесами. Глухой грохочущий звук их моторов разносился по всему городу, а в особенности в ограниченном пространстве площади, где цирк раскинул свой лагерь.

Ох уж эти тракторы, ну и машины! Они дышали такой чудовищной силой, что, останавливаясь, подскакивали на колесах и срывались с места, как стрела или хищник.

В городе, растревоженном происшествием на станции, несчастьем, которое постигло мальчика и чудесного желтого коня, все было вверх дном.

Дорогу, по которой продвигался цирк, обступили люди. Они высыпали из магазинов, трактиров, кафе, учреждений, многие как были — в подтяжках поверх рубашек, с кружкой пива или стаканом вина в руках. Среди толчеи можно было увидеть парикмахера с расческой и ножницами в руках, а рядом — недобритого или недостриженного клиента, вытирающего намыленный подбородок белой салфеткой, сапожника в кожаном фартуке, шорника, усатых, красных от вина и загара крестьян, бабенок с рынка, пекарей, официантов, конторских служащих — женщин и мужчин — в сатиновых нарукавниках, слесаря в кожаном фартуке и с тяжелой сумкой через плечо, его ученика и подмастерья, были тут и торговцы, и мясники, и цыгане со скрипкой. В окнах домов, обращенных на площадь и улицы, по которым проезжал цирк Орландо, стояли старые дамы с высокими прическами и господа, уборщицы в платочках, подвязанных под подбородком, служанки в чепчиках, няньки. На улицы выходили новые и новые люди: крестьяне в национальных костюмах, горожане в рабочих и праздничных одеждах, мамаши с колясками, школьники и даже гимназисты со своими учителями, студенты; от самой железнодорожной станции и до места назначения за зверинцем, вдоль клеток с обезьянами, бежали дети; звери, в особенности обезьяны, которых

[1] Корпус национальной безопасности.

они дразнили, пуская солнечных зайчиков своими кругленькими зеркальцами, привлекали их больше всего. Был тут и городской фотограф Карол Брештянский с супругой (она же и ассистентка). Этот метался на своих плоскостопых ногах вверх-вниз по дороге, в то время как супруга — робкая, сутулая, серая мышка — семенила за ним, громко обращая его внимание на самое интересное.

— Карчи, Карчи,— запыхавшись, звала она. — Ах, да посмотри же вон туда! Туда посмотри, какая громадина идет!

Он ее не слушал, увлеченный своим делом, стараясь успеть увековечить и африканского слона, и двугорбых верблюдов с колокольчиками на пестрых сбруях.

— Так вот он какой, славный цирк Орландо! — слышалось в толпе, в особенности там, где стояли дети.

Люди внешне сдержанно, но потрясенно смотрели на пестрый поток повозок, зверей и крикливо разодетых циркачей, которые вызывали и восхищение и осуждение.

В город вступал далекий, экзотический мир, необузданный, свободный мир отважных и предприимчивых людей, беззаботных и здоровых, мир вольных нравов и правил, так думалось людям, мир веселой музыки, красоты, огней, восторженных аплодисментов — и толпа, сотни паланчан, женщины, мужчины, дети, старые и молодые, чувствовали, глядя на цирк, с одной стороны, недоверие старожила и оседлого человека к пришельцу и кочевнику, бродяге и в то же время сожаление за многие и многие убитые зря годы, канувшие, невозвратные, грешно расточенные, забытые и растраченные на мелочи, на скучное течение здешней жизни.

— Прибыл цирк Орландо! — говорили они, давно ждавшие этого дня.

Ведь как только в конце апреля появились первые афиши о гастролях цирка, сердца горожан стали биться быстрее. Люди начали фантазировать и мечтать. Само упоминание об Орландо стало маленьким золотым ключиком, отпиравшим сказочную шкатулку, где прятались потаенные красочные мечты и легкая грусть, которую навевают фантазия и воображение.

Никто не мог сказать с определенностью, тот ли это был цирк Орландо, часть которого поглотил океан. А произошло это, как помнилось старожилам, когда-то между двумя войнами: стародавние, бог весть какие древние легенды связывают морскую трагедию со всеми крупными цирками, но паланчане приписывали катастрофу в волнах Атлантики только и исключительно цирку Орландо.

Это может показаться странным, а может и естественным, что всякий раз, когда на перекрестках, пожарных кранах, заборах и стенах появлялись яркие афиши, в особенности с головой экзотического зверя, город начинал дружно фантазировать.

К примеру, многие задавались вопросом, что делали в момент морской катастрофы хищники и все прочие звери цирка, которых не могли выпустить из клеток на палубу тонущего корабля.

— Вот уж это страх так страх! Кошмар,— говорили люди, переносясь мысленно на палубу того трансатлантического гиганта, который отправился из Европы в Южную Америку. Как в страшном сне, судно кренилось на левый борт, поглощаемое бездонными водами бескрайнего океана. И тут взорвались паровые котлы!

Как было на самом деле? Точно знать не мог никто, тем не менее подробности были известны всем. Будто бы все обстояло так: среди водных ширей, в самом центре Атлантического океана, плыл прекрасный белый пароход, один из величайших морских гигантов, высокий, как братиславский «Мандерлак» [1], огромнее «Титаника», и из его четырех могучих труб валил дым. Валил дым, капитан, старый морской волк, статный, выбритый, спокойно стоял, потягивая трубку,

[1] Самое высокое здание предвоенной Братиславы, названное по фамилии владельца (Мандерле).

и смотрел на воды перед собой. Океан был синим и спокойным, за судном тянулся белый след, исчезающая борозда и сизый дым, матросы загорали на выдраенных, чистых, душистых досках верхней палубы, звери дремали в клетках, циркачи играли в покер — и вдруг... Что такое? Что происходит? На палубах среди пассажиров начинается паника. Никто ничего не знает, но судно все кренится, кренится и кренится набок. Боже, что происходит? Матросы спускают на воду спасательные шлюпки, люди покидают корабль и клетки со зверями, перепуганными, обезумевшими, скользят по мокрым палубам, переваливаются через перила и исчезают, словно уходят на охоту. В бездонные глубины океана стремительно катятся, падают, валятся жирафы, зебры, слоны, львы, леопарды, тигры, верблюды и буйволы. Становятся все меньше и исчезают. Внизу, глубоко внизу, на самой границе света и тьмы, на крайней точке видимости, но еще очень далеко от вечной темноты дна, испускают последний вздох, после чего совсем исчезают, маленькие, как детские игрушки.

Об этих-то зверях сейчас и фантазируют люди. Они живут в ограниченном мирке незначительного маленького города, затерянного среди кукурузных полей, в своей малости и скуке. Все обычное, в особенности то, что идет не из больших городов старой монархии, кажется им незначительным, но экзотические страны, звери и растения они обожают и ценят больше всего и умеют, когда речь заходит о чужедальних странах, кстати ввернуть иностранное словцо.

6

На площади поднялся грохот. Циркачи начали стройку. Горожане с изумлением наблюдали, как организованно и быстро работали эти люди. Они действовали, как пчелы, энергично, ловко, каждый их шаг и движение были осмысленны, ничего лишнего, ничего сверх меры. Раз-два — стоит забор, стенка из повозок, необходимое заграждение вокруг зверинца, от которого невозможно отогнать ребятишек, хотя уже наступил обеденный час.

Мускулистые, мокрые от пота мужчины торопливо вытаскивали из мостовой гладкие булыжники и забивали мощные клинья. От этих прямо-таки громовых взрывов в замкнутом пространстве сотрясались стены и окна домов. Грохот, буханье, мощные удары и тяжелый, быстро и проворно выполняемый труд опьяняли. Цирк поднимался на глазах.

Величественный и незабываемый вид открывался любопытным, которые подолгу задерживались на площади, не имея сил уйти по своим делам, когда парни из Орландо, буквально обливаясь потом, с помощью гибких тросов и полиспастов поднимали ввысь огромный брезент своего шапито.

Гигантский шатер поднялся вровень с домом бывшего комитатского управления, и его залило теплым солнечным светом.

Цирк встал!

Во второй половине дня на этой необычной стройке на нижнем конце площади Республики все вдруг стихло, как отрубило, запахло сытными мясными блюдами, резким ароматом обеда, запахом зверинца и опилок. Через час цирк ожил снова, насытившиеся и отдохнувшие циркачи снова взялись за работу. Они готовились к своему первому выступлению в городе. В цирке стоял шум, из-под брезента слышались крики, хлопанье бичей, топот, голоса малых и больших зверей, а через некоторое время зазвучала и бодрая музыка.

Цирк Орландо засиял сотнями белых и цветных лампочек. Свет их залил площадь и поднялся до вечереющего неба.

Стемнело.

Зрители, наблюдавшие за площадью из открытых окон двухэтажных домов, сияли воодушевлением, которое отрывало их от обыденщины и уносило куда-то вдаль, словно они не были неразрывно свя-

заны со своей прежней жизнью. Но это были обманчивые мгновенья, минуты, между которыми они ясно сознавали, что стоят у окон и смотрят на площадь, как и в любой другой день, и это тревожило не меньше. Они чувствовали в этом чуждую волю, которая никогда не позволит им увидеть далекие миры.

У людей в окнах и тех, что тесными рядами заполнили края площади, словно прикрывая цирк собственными телами, в глазах были восторг и печаль. Вид освещенного цирка увлекал, восхищал и в то же время давил печалью — цирк придет, засияет и уйдет, а они останутся. Он взволновал их уже одним своим появлением. Но они-то сами, пробудят ли они волнение у кого-нибудь из цирка? Чем? Они охвачены восторгом и печалью любви, но отвечает ли такими же чувствами тот, кого они любят? Цирк уедет, и снова будет пусто. Зачем им этот восторг и очарованье? Вот если бы во время его пребывания пережить какую-то великую, бессмертную любовь! Или хотя бы незабываемое приключение! Что делать с такими большими чувствами, разгоревшимися в них?

Стемнело, красный отблеск уходящего солнца погас в полях, на площади сиял один цирк. Бездна лампочек, цветное ожерелье, как гребень огромной волны, по которой до изнеможения блуждают сотни блестящих от восхищения глаз маленьких и больших паланчан.

Площадь Республики заполнила празднично одетая толпа. Если смотреть с боковых улиц, выходящих на площадь, то создавалось впечатление, что народ устремился по темным туннелям куда-то на огонь.

А между тем в других частях Паланка уличные фонари светили совершенно по-будничному, пожалуй, даже намного слабее, чем обычно. Царила тишина, ничто, кроме листвы, не шевелилось, потому что все, кто на сегодняшний день мог передвигаться, отправились на площадь и торчат там. А в других местах по-настоящему тихо, тише обычного, приятный весенний вечерок. Фонари светят, густая, буйная зелень шелестит, наполняя все своим шумом, вокруг фонарей тучами роится мошкара и комарье.

И надо всем, высоко над Паланком, возносится запах сирени и вечная, никогда не стареющая южная тоска, поразившая столько поколений людей, что не может быть выдуманной. Она тянется по ветру в поле, господствует надо всем паланкским краем, всей частью южной Словакии от паланкских акациевых лесов до долины Дуная.

7

Цирк Орландо, раскинувшийся на площади Республики, пробыл в Паланке до воскресенья. Все представления шли с аншлагом. Слухи о происшествии на товарной станции, а также то, что это были первые во всем паланкском крае после войны гастроли, привлекло под купол цирка зрителей со всей округи. В город устремились толпы любопытствующих, приезжали поездом, топали пешком, ехали на велосипедах, в плетеных повозках и колясках.

В городе шли оживленные дебаты о цирке и поговаривали о том, что он дурно влияет на местные нравы. С самого момента своего появления. Эти полуголые циркачки действуют на местных мужчин очень возбуждающе, это бросается в глаза, они только и говорят что о них и ходят их разглядывать. А женщины! Они теперь мечтают только о мускулистых мужчинах из Орландо, собственные мужья кажутся им и недостаточно горячими, и недостаточно ловкими.

Чужой мир, которым в глазах паланчан был цирк Орландо, вызвал в городе грешные желания, которые как бы изливались из-под его шатра и затопляли Паланк каким-то чувственным ароматом, более возбуждающим, чем все домашние. Словно он освобождал молодых и старых, мужчин и женщин от целомудрия и запретов.

Нравы в городе упали. В людях заиграла кровь. Цирк одурманил их головы. Он излучал словно бы нездешнюю силу и мощь. Те, кто

был поделикатней, сокрушались: мол, Паланк ударился в разврат, как Содом перед гибелью. Задавались вопросом: неужто наши люди уже не владеют собой? Забыли разве, как надо обуздывать страсти?

Все приписывалось магической власти цирка. Забыли и думать о чарующей весне, о душных, незабываемых южнословацких вечерах и ночах, которые не давали людям уснуть.

Вечером, когда кончилось первое триумфальное выступление цирка, большинство, в особенности кто помоложе, прямехонько направились в ресторан «Централ». Чтобы поболтать. Но беседы не получилось. Скоро, без видимой причины, как это случается в трактирах, корчмах, кафе и винных погребках, в «Централе» вспыхнуло разнузданное веселье. Началось со случайного воспоминания о покойном аптекаре Еугене Филадельфи и его прославленной речи в «Централе», а главным образом о его плутовском обычае заводить в аптеке разговор с самыми почтенными дамами насчет половой жизни экзотических зверей, спаривании тигров, слонов, а также о неисчерпаемой половой потенции мотыльков. Под веселые анекдоты о великом пьянице, бабнике и плуте Паланка, вино текло рекой. И после, когда огни цирка над площадью уже погасли, вино все лилось, а цыгане без устали наяривали смычками, все пили, вспоминали и пели.

Цирк Орландо погрузился в ночь, превратившись в темную пирамиду, люди и звери отошли ко сну. Но они оставались рядом. Этот особенный, далекий мир, все эти экзотические звери спали и видели сны тут, на паланкской площади, близко, в сердце города, со всех сторон окруженные паланчанами. Цирк был у паланчан прямо между их домами, будто в саду, будто в руках. Они сторожили его, предаваясь языческому веселью, словно у подножия своего любимого идола.

Веселье в «Централе» продолжалось, разгулявшиеся гости налепляли цыганам на лбы стокроновые бумажки, без этого кутеж не казался бы им настоящим и достаточно господским, заказывали словацкие и венгерские песенки, горла напрягались от крика, жилы вздувались, только что не лопались, гуляки вскакивали на стулья, чтобы с высоты, над головами у всех, управлять песней, пели на столах и падали под них, били рюмки, как старые венгерские богатеи, или рвали на себе волосы от скорби и тягучей печали, в особенности когда пели ту, венгерскую, где до изнеможения повторялось «ах, жаль, жаль, ой, да как жаль!», а то раздирали на груди праздничные сорочки, самые свои лучшие, в которых еще два часа назад сидели в цирке наглаженные, взволнованные, расфранченные и чопорные,— и в этом рванье соревновались с теми, кто заходился плачем при словах «Когда словак в далекий мир собрался...».

Все братались, зареванные и потные, падали друг другу в объятия во имя общих печалей, выли и ревели друг другу в ухо, пока не нашли лучшей забавы.

Совсем захмелев, начали кидаться на женщин, больше всего на ту девицу, которую звали Илоной и о которой шла слава, что у нее самые толстые ляжки и самая полная грудь во всем городе и ближайшей округе и что она любит их показывать, когда подвыпьет. Они бросались ей в ноги, а она напевала им непристойные песенки и, оказавшись на столе, позволяла задирать себе юбку и шарить под ней, но в конце концов обратилась в бегство от их слишком назойливых рук.

В панике и страхе, выбежала она стремглав в коридор и через окно выскочила во двор гостиницы. Спряталась там за пивные бочки, потом кинулась в дровяной сарай, оттуда в подвал, потому что пьяные мужчины гнались за ней с гиком. Они выскочили через окно в коридоре и подняли во дворе такой дикий крик, что персонал и гости, которые не могли уснуть, со второго этажа поливали их водой из кувшинов, ведер, тазов... Когда большинство мужчин вернулось через окно назад и только двое или трое исчезли в подвале, двор затих.

Гулянка в «Централе» кончилась уже под утро, как и было здесь принято. Обычай есть обычай. Раскричавшаяся и распевшаяся компания высыпала на площадь, словно в совершенно другой мир.

Цирк еще спал. Гуляк поразила тишина, и молчание их любимой площади, и утренняя прохлада. Они начали расходиться, исчезая в тихих улицах, и только время от времени в тишине раздавалась заунывная словацкая или венгерская песня, и тогда можно было угадать, куда люди идут и сколько их.

Сейчас же в ответ в большинстве случаев раздавался собачий лай, ясный, как рассвет, тут и там звучало трезвое пение петухов. После этого город совершенно затих. Не было в нем раннего прохожего — Филадельфи умер.

Повеяло резвым утренним ветерком, и сразу пробудилась вся зелень, город зашелестел, зашумел, словно от прибоя волн. Ночь кончилась, день раскрывался, как чашечка цветка, город снова наполнялся благоуханием. Всходило огромное, щедрое солнце.

8

Сияние цирка Орландо, подымавшееся над площадью, как только стемнеет, заливало все милые, тихие и прелестные закоулки города, которые ищут прежде всего влюбленные. Кое-где оно проникало даже под деревья, просачивалось в гущу кустарников, обнаруживало парочки даже среди сирени, расцветшей белыми, голубыми, синими и фиолетовыми гроздьями. Людям казалось, что свет проникает всюду. Куда бы они ни взглянули, везде находили любовников. Видели их, хотя те и съеживались, выжидая, пока совсем стихнут улицы и уснут в гнездах птицы. Сами они как будто и не знали, что свет Орландо настолько освещает и выдает их, хоть они прячутся в густой весенней листве, о которую порывами ударяется ветер, подымает в ней шум, но вскоре, задохнувшись, умолкает.

Благодаря цирку люди в Паланке словно получили на короткое время какие-то особые цветные очки, позволявшие видеть не только сквозь зелень кустов, но даже сквозь стены. Видеть хоть всю зеленую Голгофу [1], хоть вдаль, до самых акациевых лесов.

Свет Орландо заливал даже Голгофу, где испокон века было раздолье любовникам. И не только молодым любовникам, робким и нежным, как птичьи косточки и перышки, но и тем, что постарше, возбуждавшим всеобщее осуждение, бесстыдникам. Среди них самыми бесстыжими были Гейза Френчок, автомеханик из мастерской Кереста на Цинторинской улице, и пани Даница Лукашова, разбитная красотка из офицерской казармы. В городе поговаривали, что муженек ее вот уж полгода как собирается застрелить свою ветреную изменницу-жену, да все никак не соберется, занятый муштрой солдат.

Автомеханик и красотка постоянно рыскали по цветущей, синеватой Голгофе, откуда было хорошо видно не только город и казарму, но и несколько удобных путей для отступления. Сплетники, главным образом женщины, пустили о Гейзе Френчоке слушок, что он, дескать, обладает особыми мужскими достоинствами. Этим, мол, можно объяснить его из ряда вон выходящую популярность среди неудовлетворенных горожанок.

Френчок оставлял на улице отремонтированную машину или мотоцикл, на которых выезжал в город для испытания, и лез в окно или через забор к любовнице, потому что «определенная» работа требует двоих. А после прыг из окошка, шасть через забор и в машину или на мотоцикл, и след простыл. Потом к следующей — словно был почтальоном. Случалось, что Френчок впопыхах застегивал ремень на улице или вообще выбегал налегке, с брюками и ботинками в руках, и

[1] Голгофа — в данном случае холм, на вершине с тремя крестами и статуями, изображающими сцену крестных мук Христа.

машина или мотоцикл служили ему верой и правдой, да в такой момент он и от велосипеда не отказался бы.

Среди бесстыдников, которые часто посещали укромные уголки цветущей сирени под распятием, числились и супруги Бурдо. По стечению обстоятельств в один прекрасный вечер они там встретились. Правда, каждый из них был со спутником. Плохо они спланировали или, наоборот, хорошо, кто разберет. Вышли из кустов и оказались друг против друга, распаленные незаконной страстью. И такое тут разыгралось сражение, какого паланкская Голгофа не знала со времени турецких набегов. Казалось, даже библейские персонажи, украшавшие гору, и те приняли участие, не имея сил равнодушно смотреть на это,— каждый бил всех подряд, и все подряд били всех. Сумбур рук, ног, шляп, пальто, тросточек. Когда драка кончилась, супруги Бурдо ушли с Голгофы под ручку. Они и сами не знали, как и почему оказались вместе после этой дикой схватки. А случилось это в дни гастролей цирка. Однако этой истории иногда придавали слегка мистический смысл. Говорили о грехе, наказании, но главным образом о персте господнем и святом чуде — супруги жили с тех пор в мире и согласии. Видно, успокоились после той славной драки на вершине под распятием.

Но одного никак нельзя отрицать. Без сомнения во всем виноват был цирк Орландо. Упоминание о цирке придавало всем этим историям, о которых судачили в Паланке, оттенок достоверности.

Вдовице Ирме Цитовской-Бокоровой, в прошлом учительнице, а ныне служащей в Управлении хуторов, было уже сорок два года, и дочка у нее была на выданье, как вдруг ее охватила мучительная страсть к соседу, Йожке Ниеки, семнадцатилетнему ученику портного. Страсть эта порой делала ее дерзкой. Вдова всюду попадалась навстречу юноше и при любой возможности давала понять, что у нее на уме. Йожко вспыхивал, воображение его разыгрывалось, а что делать, он не знал. Пока один прекрасный вечер не решил этого за них обоих.

Тем вечером они возвращались из цирка и столкнулись в сумраке на улице. Оба были очарованы и растревожены цирком, жарким вечером, тишиной и темнотой улицы, которая скрывала их смущение. Для того чтобы они поняли друг друга, надо было немного. Йожко позволил себя уговорить помочь милой соседке перелить вино в подвале.

Вино, которое они переливали из большой бочки в две поменьше, придало Йожке куражу, а вдове смелости было не занимать. Она соблазнила любезного сердцу портновского ученика, зацеловала всего. А через некоторое время начала помаленьку округляться, как паучок.

А вот еще одна история, связанная с гастролями цирка и содеянная фининспекцией. Ну кто бы мог ожидать такого от учреждения? Людям и во сне не снилось, что даже фининспекция не лишена чувства юмора.

В один прекрасный день из Управления фининспекции было отправлено пятнадцать официальных писем. При помощи другого учреждения — почты — они попали в руки пятнадцати адресатов в виде срочной заказной корреспонденции. Различные, отнюдь не приятные чувства овладели адресатами, когда они вскрывали эти серьезные по виду бумаги; но когда они ознакомились с содержанием, растерянность их удвоилась. Они даже перепугались. Официальное письмо приглашало их не счесть за труд явиться в Управление фининспекции в следующую среду месяца мая с. г. в десять утра.

Самым странным во всем этом было то, что фининспекция вызвала пятнадцать самых отъявленных контрабандистов в городе, самых молодых, и, когда они явились, в страхе и опасениях перед ожидавшей их участью, их (что было самым странным в этой истории) слегка пожурили за контрабандистские грехи, слегка понаставляли насчет законов и таможенных установлений Чехословацкой республики,—

дескать, не след больше заниматься противозаконным ремеслом,— а потом позвали сыграть в футбол.

Через несколько дней чиновники с контрабандистами носились друг за дружкой не вдоль государственной границы, а по зеленому футбольному полю, что возле старого городского кладбища. И надо вам сказать, что это было невиданное зрелище, которое смотрело, ликуя и хохоча во все горло, бóльшее число зрителей, чем какой-нибудь профессиональный матч.

Шум об этом достопримечательном футбольном состязании поднялся в городе раньше, чем инициаторы его развесили афиши — большие листы белой бумаги, на которых сообщалось, что матч ФК фининспекции с ФК контрабандистов состоится такого-то в шестнадцать часов по местному времени.

И снова паланчане стояли перед афишами, волновавшими их воображение. А уж если кому случалось затесаться тогда в круг подростков, которые под афишами рассуждали о футболе, тот мог услышать невероятнейшие истории: Р. Замора, мол, застрелился в воротах, когда после многих лет ему наконец забили первый гол, а Планичка, тот переломал себе все ребра, когда рыбкой метнулся за мячом на верхнюю перекладину, а Г. Генри после броска вратаря пролетел в лучшей форме за мячом метров семьдесят и даже травы не коснулся...

В Паланке любили фантазировать, каждое маленькое или большое событие в городе обрастало ворохом вымыслов.

Матч, который команды фининспекции и контрабандистов сыграли в тренировочных костюмах первой команды, кончился со счетом 9:3 в пользу чиновников, гонявшихся за контрабандистами так, словно боялись, что те вот-вот удерут.

После встречи обе команды направились в летний ресторан недалекой гостиницы, где за выпивкой и под цыганские песни всласть наговорились и напелись. Подкалывали друг друга, смеялись. А потом мирно разошлись.

Вскорости фининспекцию упразднили.

А контрабандисты орудовали, пока не перемерли.

9

Цирк Орландо, расположившийся на площади Республики, гастролировал в Паланке до воскресенья. Все именовали его международным, и в кассе его был всегда аншлаг. Не один любопытный уходил домой от цирковой кассы несолоно хлебавши.

У циркачей были разнообразные обязанности и работы всегда хватало, но несмотря на это они не забыли о маленьком Пипикофе, виновнике их невероятной популярности — по всему краю разнеслась весть о том, что огромный медведь откусил маленькому мальчонке палец и из-за этого покалечился редкостный цирковой конь, желтый, как цыплячий пух.

Люди из цирка добросовестно справлялись в больнице, как себя чувствует маленький пациент, и передавали ему сердечные поклоны. А как только главный врач хирургического отделения разрешил, шеф Орландо со своей светловолосой переводчицей, с которой его, к слову сказать, частенько видели на Ипле и в тихих уголках города, отправился с подарками к мальчику.

Пипикофе между тем уже знал, как его откушенный палец повлиял на судьбу цирковой лошади, внеся разлад в обыденную и бедную историю его города. Мальчик лежал в хирургическом отделении, и постель его стояла недалеко от открытого окна. Кроме него в палате было четверо взрослых, один городской, трое деревенских, да еще подросток — цыган, которому санитар перед операцией аппендицита обрил даже голову, так что она у него светилась, и поэтому, посрамленный и опозоренный, он прятался под одеялом, а взрослые развлекались, донимая его.

Они как раз болтали о женщинах, когда в палату вошла дежурная сестра и зашептала Пипикофе, что к нему пришли гости из цирка, но чтоб он не боялся, она, мол, будет рядом, возле его постели.

— Лучше бы мама пришла,— не без гордости, но и не без испуга ответил мальчик.

— Мама у тебя уже была, ты ее каждый день видишь. И папа приходит. Не могут же они сидеть возле тебя целыми днями, наш главный врач этого не разрешит.

— Все равно,— сказал Пипикофе.

Никакие гости, кроме отца с матерью и сестры, его не радовали, он даже товарищами не интересовался. Гостинцы и приветы из цирка ему как будто были совершенно безразличны.

Мальчик по большей части лежал, уставившись в стенку. Боли, которые еще не совсем прошли, и само происшествие, в результате которого он потерял палец, были слишком сильными потрясениями. Он был не по-детски сдержанным и серьезным, хотя временами всхлипывал, а то и плакал навзрыд и звал маму. И в этом не было ничего удивительного. Сам того не желая, он все время вспоминал роковой миг, когда вслед за ужасом и страхом, охватившим его, он ощутил невыносимую боль.

Милая сестричка рассказала ему о лошади, золотистой, как луч летнего солнышка, и он мечтал о ней все чаще. Сам не зная как, он присвоил себе коня, почувствовал свое на него право.

Солнечный час стоял над Паланком, в раскрытое окно лились весенние запахи зеленого и пестро расцветшего города, в недалекой каштановой аллее птицы распевали, уютную, старую как мир песню, гудели пчелы.

Мальчик широко открытыми глазами смотрел на противоположную стену, ярче всего освещенную солнцем. Там чаще всего ему являлся образ сказочного желтого коня, которого он мечтал поскорее увидеть своими глазами. Он знал от сестрички, что конь не поедет дальше с цирком и навсегда останется в городе. Знал, что он тоже ранен, лечится, чтобы, сказала сестра, они вскорости могли встретиться друг с другом.

Узнав о посетителях, Пипикофе нахмурился, они его не радовали. И образ коня исчез со стены.

Директора цирка и переводчицу он принял сдержанно. Глядел на них без улыбки, время от времени проводя пальцами левой руки по бинтам правой, чтобы оба они видели, что с ним сделал их медведь, и только после напоминания сестры поблагодарил их за принесенные игрушки.

Мальчик оживился, когда переводчица села на спинку его кровати и ее светлая, красивая головка так и засветилась под солнечными лучами.

Когда они лучше познакомились и мальчик отведал сладостей, которые он получил вместе с деревянной тележкой, запряженной конями, директор цирка уселся на принесенный стул и перестал казаться маленькому мальчику таким пугающе огромным.

Директор рассказал историю желтого коня. Конь выступал под кличкой Конте, а нынешний конюх за силу и терпеливость прозвал его Колонной. Происходил он из далекой испанской земли Кастилии и в цирк попал вместе с еще тремя чудесными жеребятами, и вскоре был подготовлен номер, в котором все они выступали. Было это давно, теперь уже ни одна из этих лошадей не выступает. Из четырех золотистых испанских коней остался этот один, выбракованный на ломовую работу. От одной остановки цирка до другой, от города к городу возил он маринготки и в конце концов его ожидала обычная участь заезженных цирковых лошадей — в один прекрасный день мясо их бросают в клетки хищникам, потому что время, как буквально выразился директор, неумолимо и человеческой жалости в нем нет. Колонна

тоже кончил бы так — стал пищей цирковых хищников, не случись несчастья с маленьким мальчиком из Паланка, заключил директор.

Постепенно Пипикофе перестал замечать, что светловолосая женщина только переводит слова немца-директора. Интерес мальчика был адресован только ей — теперь он его даже и не слышал. Разинув рот и широко раскрыв глаза, он весь обратился во внимание, живо представляя себе все, о чем она рассказывала,— все это проецировалось на стене перед его глазами ясно и подробно, словно цветной кинофильм.

Он изо всех сил мечтал увидеть раненую лошадь и чтобы обязательно ее привела к нему вот эта, светловолосая. Глядя на нее, он подсознательно чувствовал, особенно по ее глазам и движениям, что вот так мило и сердечно она улыбается не ему одному и что путь к больнице проделала не только из-за него. Это доставляло ему непонятную боль.

10

В субботу после обеда в больницу ворвался чернявый итальянец. Он ринулся в хирургическое отделение как тайфун. Никто из персонала не мог его удержать, с таким пылом он пробивал себе дорогу через проходную, по аллее, лестнице, коридору прямиком в палату, где лежал Пипикофе. Преград для этого паренька не существовало.

Итальянец внес в палату сразу столько суматохи, жизни и веселья, что больные забыли о своих болезнях. Они не могли не смеяться.

Похожий на ястреба, он стрелял живыми черными глазами, скалил белые зубы, крутил длинные тонкие усы, что-то выкрикивал, хохотал, гримасничал, ходил на руках в проходе между кроватями, проказничал и взывал к Пипикофе:

— Come sta, bambino?!.. Come sta?[1]...

Выкрикивал еще что-то, но мальчику запомнились только эти слова. Итальянец так ему понравился, что Пипикофе вскочил с постели и начал бегать за ним в ночной рубашке, повторяя:

— Come sta, bambino, come sta? — ликовал он, забыв о своей искалеченной руке. За ним ожил и цыганенок, забывший о своей бритой голове. Он влетел в комнату сестер, где в шкафу была спрятана его скрипка, мгновенно вернулся и заиграл.

Сбежались больные со всего коридора, прибежал привратник, страдающий одышкой, еще не старый мужчина, которого озорники звали Кокус, что навряд ли было его крестным именем, и тут до всех дошло, зачем, собственно, явился итальянец. На улице у ворот больницы стояла тележка, запряженная четверкой разубранных пони. Тележка была выкрашена в цвета Орландо и с его знаком. Итальянец прибыл в Пески, чтобы отвезти Пипикофе на детский сеанс в цирк! По крайней мере так все поняли итальянца, объяснявшего это привратнику и прочим на пальцах и жестами.

Через двери, в которых столпились больные, протолкался исполненный негодования дежурный врач Файнор. Врач сделал выговор старшему санитару Бугару, позволившему впустить постороннего человека, и приказал немедленно вышвырнуть его хоть через окно.

Старший санитар Бугар, здоровенный мужик с красной физиономией, совсем побагровевшей от замечания врача, стоял в полной растерянности, а все больные наслаждались его позором. Обычно он вел себя как вельможный пан, грубил даже сестрам. Он и всегда-то был грубияном, а с этой весны, когда от него сбежала в Братиславу к любовнику молодая жена с ребенком, с ним просто не стало сладу. Санитар клял жену и ее любовника Корима, запил и совершенно опустился. Он и сейчас где-то потихоньку выпил, в палату прибежал за минуту до прихода врача и не имел времени навести порядок, ordre, как он выражался на французский манер. Бугар хотел было огрызнуться, да раздумал из боязни, что дохнет на врача сильнее и выдаст

[1] Как поживаешь, малыш?! Как поживаешь? *(итал.)*

себя. Наконец он обратился к итальянцу, предложив ему немедленно покинуть палату, иначе, мол, он за себя не ручается, а когда тот начал что-то выкрикивать и потом сел на стул и демонстративно сложил руки, Бугар, скрипнув зубами, схватил его и вместе со стулом вынес в коридор. Все забавлялись от души и хохотали, даже доктор Файнор не выдержал и слегка улыбнулся. Итальянец сорвался со стула и кинулся перед ним на колени. Сложив ладони, он то жалобно, то со смехом просил за мальчика, указывая на него. Казалось, он торопится исповедаться или молится. Доктор не знал, как на него воздействовать, слушал его то серьезно, то со смехом, а когда тот кинулся обнимать его колени, обратился в бегство.

Вверх по лестнице спешила блондинка-переводчица из Орландо. Пораженная увиденным, она уже с лестницы начала объяснять: спокойно, спокойно, господа, обо всем было заранее договорено...

Итальянец, говорила она запыхавшись и назвала его имя, которого никто толком не разобрал, отправился вперед, ее не подождал, потому что он шальной и торопыга. А она, к сожалению, немного задержалась и просит ее извинить. Задержалась на минутку, а итальянец мчался как бешеный, чтобы поскорее увидеть мальчика. Такой уж он есть, стремительный.

Поднявшись в коридор и оглядевшись, она уже спокойнее объяснила, что они пришли за мальчиком. За мальчиком, повторила она, масеньким мальчонкой, бедняжечкой укушенным. Когда они приходили в прошлый раз, сам пан директор договорился с паном главным врачом. Они договорились, что малыша, которому уже никакая опасность не грозит, отпустят на сегодняшнее послеобеденное представление для детей. Да, именно так договорились пан главный врач с паном директором. Все в порядке, договорено, устроено, вот только вмешался этот вечно подвыпивший итальянец со своей неуместной торопливостью, потому что в нем нет и капли самодисциплины. А мальчику уже действительно ничто не грозит, пусть он немного развлечется, бедняжка, страдалец.

Она так плела, плела, что ей, элегантной и красивой, даже не к лицу было. Она и сама поняла это и испугалась, как бы не переборщить.

Доктор Файнор, молодой темноволосый мужчина, выпрямившись, с достоинством выслушал переводчицу, попросил извинения и направился к телефону. Он позвонил пану главному врачу Гривняку и спросил его обо всем, потом вернулся и сообщил даме, что пан главный врач сейчас придет. Дал указание санитару успокоить больных, поклонился и отправился навстречу начальству.

Вскоре на лестнице показался степенно поднимающийся высокий пожилой мужчина. Тщательно выбритый, в накрахмаленном белом халате без единой складочки и пятнышка, он подошел к переводчице и со старомодной галантностью извинился перед ней, что совсем забыл о своем обещании. Он приказал одеть мальчика и послал за сестрой Амброзией, чтобы она сопровождала больного в цирк и привела его после представления назад.

Сестра Амброзия, монашка ордена Божьего Сердца, обрадовалась поручению и охотно взяла мальчика. Разочарование наступило потом, когда она увидела перед воротами больницы странную упряжку. Тут только она поняла, что ее ожидает. Но сознание долга и принесенной клятвы заставило ее сесть в тележку и поехать.

Ехали в город через все предместье, переезжали через мосты. И всюду привлекали внимание, возбуждали волнение, а на площади их экипаж буквально облепили дети. Все это время Пипикофе бил в барабан, подаренный ему итальянцем.

Детская программа была составлена из веселых номеров. На арене вертелись зверюшки, эквилибристы, клоуны. Особенно смешили детей два чудака. Они понравились больше всех выступавших. Клоу-

ны, потешно одетые, размалеванные и прыгучие, как мячи, лезли на трапеции, бегали на пальчиках в огромных, стоптанных башмаках, ставили друг другу подножки, лили один другому в штаны целые ведра воды, стреляли в директора, облаченного в драгунскую форму и с хлыстиком в руке, дрались за огромный велосипед на одном колесе, с которого потом слетали, как яблоки с яблони. Их проказы были детям близки, они делали то, что детишкам запрещалось делать, и потому ребятня восторженно им хлопала. Так же хлопали они и зверюшкам, не делая между ними разницы. Пипикофе со своей старшей сестренкой, которую тоже пригласили на представленье, итальянец и монашка Амброзия сидели в ложе. Мальчик, красный по самые уши от восторга и любви к цирку, привлекал к себе взгляды детей и взрослых, которые их сопровождали. В начале представления клоуны преподнесли ему тряпичного Петрушку, увешанного маленькими бубенчиками. Малыш отлично развлекался, махал здоровой рукой, когда надо было аплодировать, радовался всему, что бы ни появилось на арене, глаза у него сияли, и он подскакивал на сиденье, как на пружинах.

На манеж вывели медведя. Не гризли, а всего-навсего косолапого бурого мишку, которого выучили кувыркаться, но Пипикофе в ужасе оглянулся на публику, втянул голову в плечи, схватился за нос и стремглав выскочил из ложи. Молча, как тень, промчался он между рядами и исчез.

Итальянец опомнился первым. Мальчик так мчался, что тот с трудом настиг его уже на мосту, где они вместе дождались монашки. Она держалась за сердце. Когда сестра Амброзия пришла в себя, ее охватил стыд, а потом печаль. Она качала головой: чего только не случается в миру! Чего не бывает! Да! Все что угодно может оказаться правдой!

Старой сестре Амброзии хотелось заплакать, но она только выпятила нижнюю губу и погладила мальчика по волосам. Шлепнуть его она не могла. Не только из-за своего положения, миссии, но и из-за глубокого сочувствия.

А черный, маленький циркач хохотал, жестикулировал, что-то говорил. Потом посадил мальчонку себе на плечи и зашагал в Пески.

Монашка плелась сзади. Высокие башмаки на шнурках жали больные ноги, она с каждым шагом все больше отставала от итальянца с мальчиком на плечах. Теперь она уже в годах, а прежде — покуда была в силах — ей поручали самых тяжелых больных, потому что она была предана делу, а главное, бесконечно терпелива. Но время бежит неумолимо. Цирк и страх ответственности за маленького пациента настолько ее утомили, что она едва держалась на ногах. Чувствовала, что заболеет, и думала об исповеди.

11

Цирк Орландо отъехал в центральные области дорогой на Крупину и Банску-Штьявницу, а дальше бог его ведает куда. В Паланке поговаривали, что, мол, там из цирка ушла светловолосая, красивая чешка, что ее, мол, выжила укротительница змей, злющая и зловредная, как Горгона. Пригрозила, мол, что, если красотка будет морочить голову пану директору, она сунет ей в постель кобру.

Такую дешевую, но злобную клевету паланчане пустили вслед цирку Орландо. Этим они как бы расквитались с ним за его уход. Сразу помрачневшие, полные ребяческого гнева, они стыдились, что отдали ему частицу сердца и жизни. Они-то как малые дети поддались на его трюки и дурачества, дали себя увлечь пустяками, штучками-дрючками!

Паланчане чувствовали себя обманутыми. Шальной цирк! Растравил их и преспокойно убрался восвояси. Вот уж изменник так изменник! Психушка на колесах, обоз сумасшедших домишек. Уехал, бро-

сил их здесь, разбудив в них мечты, воображение, сумасбродство и игривость. Уехал, неверный, и даже «прощай» не сказал. Исчез в чужие края, к другим, будить чужие сердца, а здесь, в Паланке, снова воцарится тишина и прежняя скука. Зря они его полюбили, окружили вниманием, восторгами, аплодисментами — все равно он уехал, без сожаления, не всхлипнув, слезы не уронив. Люди срывали старые афиши, шепча про себя: «Изменник! Вертопрах! Авантюрист! Сколько мы отдали ему любви!»

Пребывание цирка оказалось для города бóльшим событием, чем представлялось поначалу. Кто-то сравнил его с волной, которая из водных просторов врывается на берег, наводит панику, смятение и откатывается назад. Но смятение, волнение вместе с ней не исчезают. Они стихают понемногу, иногда подолгу. Конца волнениям, связанным с цирком, не положил даже отъезд несчастной вдовы Цитовской-Бокоровой. На исходе лета она потихоньку исчезла вместе с двумя чемоданами детского приданого.

Однако постепенно о цирке Орландо начали забывать. Круги, которые он вызвал на спокойной, порою стоячей глади здешней жизни, были большими, разошлись широко, но не длились вечно. И они исчезли.

Справедливость этого мира, как говаривал аптекарь Филадельфи, навсегда обеспечена уже тем, что здесь ничто не длится вечно.

12

Цирк уехал, а желтая испанская лошадь навсегда осталась в Паланке на радость мусорщику Кузме и целому поколению детей, которые видели в ней волшебного Солнечного Коня словацких народных сказок.

В тот день, когда с лошадью случилась беда, она получила новое имя. Кузма довез ее до дома на телеге, с помощью соседей подвесил в конюшне на лямках и сменил ей имя. Оно не слишком походило на первоначальное, но такое уж пришло мусорщику на ум. Оно получилось у него невзначай, по ошибке, из двух прежних ее имен. И как только Кузма его произнес, у него отлегло от сердца, словно он сделал доброе дело. Он назвал ее Колонко и после этого уже не отходил от нее, считая своей.

Целыми днями он торчал возле лошади. Выхаживал ее и при свете дня, и при свете фонаря. Не успевал задремать, как его уже будил звонок будильника. Он подымался, поправлял свисавшие со стропил лямки, натирал больные места мазями, менял компрессы, кормил, поил и через день, если не было работы, чистил конюшню, пока не убедился, что превратил ее в горницу.

Он все время был на ногах, ходил вокруг лошади, приговаривая что-то приветливое, ласковое, даже собственная супруга его не переставала изумляться, откуда это в нем взялось столько терпения и нежности. Ведь обычно он был ворчуном, а частенько и грубияном — не только с лошадьми и посторонними людьми, но и со своими домашними.

Сколько чувства скрывалось в нем, крутили головами соседи. Ведь был он до сих пор вечно перемазанным мусорщиком, неотесанным, ворчливым возчиком, бирюком, который либо молчал, либо бранился. Какая перемена! Лошадь, что ли, его так изменила? Ей-богу, она!

Как-то утром Кузма рассмеялся, что привело жену в изумление. Она годами не слыхала, чтобы он так смеялся. А он позвал народ со всей Табаковой улицы, чтобы люди подивились на чудо.

И из темноты конюшни вывел на двор ухоженную, вычищенную, расчесанную лошадь, и ее желтая шерсть невиданно засветилась на солнце. Все так и ахнули. У всех аж дыхание сперло от красоты золотистой цирковой лошади, а в глазах засветилось стародавнее детское восхищение.

Лошадь была здорова, она не хромала, Кузма водил ее в поводу по двору и от счастья и гордости ни о чем никого не спрашивал. Это было ни к чему. Он прекрасно видел изумленные физиономии соседей, слышал их вздохи и приглушенные стоны удивления и зависти перед красотой и исключительностью исцеленного животного.

Мусорщик вывел лошадь со двора и пошел по склону на луга, куда спускались нижние улицы Паланка, в том числе и Табаковая, на которой стоял его дом, двор, сарай, конюшня, дровяник. На лугу он пустил коня пастись. И тут он приметил интересную вещь. Куда бы он ни повернулся, лошадь замечала это, вскидывала голову и шла за новым хозяином послушней собаки. Она же дрессированная! Она знала разные цирковые трюки. Как заиграет губная гармошка, начинает переступать ногами, встает на дыбы или низко кланяется.

Кузма, как маленький, радовался чуть не до слез. Он так привязался к лошади, что боялся оставить ее одну, чтобы ей, не дай бог, не показалось, что он не ценит ее преданности и ума. Он всерьез собирался спать с ней в конюшне, и только скандал, который учинила ему жена, заставил его отказаться от этого намерения. С этой лошадью к мусорщику Кузме пришло везение. С торговой и общественной точки зрения цирковая испанка была удачным капиталовложением. Теперь Кузма как возчик стал более нужным, а как человек — более интересным. А ведь все было по-иному, пока у него не было лошади, желтой, как яичный желток. Теперь он и его жизнь изменились к лучшему, словно он нашел клад.

Старых лошадей Кузма продал. На вырученные деньги заказал себе новую, обитую жестью мусорную телегу, купил цистерну для поливки улиц и садов, справную одежду, рубашки, новые сапоги, шляпу, а потом — пролетку, на которой по воскресеньям и праздникам, а также в свободные дни возил гуляющих на ванны в Дудинце и Сантовку, и к поезду, и по городу, и на пикники в акациевый лес. Начал хорошо зарабатывать, занят был выше головы и незаметно приобрел барские замашки, заважничал так, что знакомые его просто не узнавали.

Где бы он с лошадью ни появлялся, всюду привлекал вниманье и возбуждал волнение. Каждому хотелось рассмотреть лошадь поближе, коснуться ее светло-золотистой шерсти. Это были дни великой славы лошади, хотя голова вскружилась от этого у одного ее хозяина. Каждое утро он выезжал на ту или другую улицу, к нему сбегались дети и взрослые. Окружали лошадь, восторженно ее гладили и совали ей сахар. Всякий раз это выглядело так, словно лошадь привозила какого-то знатного человека — царя, короля, генерала, а вместе с ним лучшие, более спокойные времена. Кузму этот всеобщий интерес к лошади подчас сердил, люди, в особенности дети, бывали несносными и нахальными, но в гораздо большей мере этот интерес его согревал и радовал.

13

Заимев лошадь, Кузма заважничал и, можно сказать, изменился даже в худшую сторону. Он почувствовал себя первым извозчиком города, стал выставляться и франтить; на его подворье и в его жизнь вместе с лошадью пришло что-то от циркачества. Жизнь стала краше, но сложнее. Лошадь сделала ее более выгодной. Это было заметно и в делах, и дома, и на людях, в отношениях с женой и другими извозчиками. Первой перемену в нем заметила жена. Сначала ей это нравилось. Нравилось, что муж стал больше зарабатывать, заказы так и сыпались, дома завелись деньжата, стали заглядывать люди поприличней, чего раньше не бывало. Она и сама как бы поднялась в цене. Было приятно, что ее и мужа обхаживают, приходят занять денег. Они отремонтировали дом, сменили на крыше черепицу, поставили новый забор, пристроили комнату. А потом жену начало за-

девать, что муж франтит, заигрывает с женщинами. Она почувствовала, что он как-то осмелел, распетушился, позволяет себе щипать за зад служанок, когда те вытягиваются, чтобы высыпать мусор в его телегу. Раньше за ним такого не водилось. Злость и ревность разобрали ее, и она подняла страшный крик. Но убедилась, что и крика ее он больше не боится, как прежде, и истолковала это так, что из-за лошади, дескать, она утратила свою власть над мужем. Она возненавидела Колонко и пустила слух, что Кузме-де послал ее сам рогатый.

Но Кузму эти речи не трогали. Когда она на него набрасывалась, прикрикивал, чтоб молчала, не то вытянет ее кнутом. Или вообще ничего не говорил, сдерживался — усмехнется только и уйдет работать. То, что он не считал нужным отругиваться, терзало ее пуще всего — значит, он ее ни во что не ставит...

Кузма, в прошлом молчаливый, мрачный мужик, который от неуверенности в себе сторонился людей и долгих разговоров, нынче сам пускался разглагольствовать, словно был ученым всезнайкой. Ему нравилось теперь во все совать нос, затевать в корчмах склоки и ссоры.

Он был завсегдатаем фурманской корчмы у перевоза. Копейка у него теперь водилась, он мог себе позволить выпить не в долг, рассуждая о делах хозяйственных, о подводах, лошадях, нахваливая своего коня, равного которому в городе не было. Среди извозчиков он чувствовал себя королем. Кузма замечал, что вызывает зависть, ревность и злобу у своих сотоварищей, но, ослепленный гордыней, забыл об осторожности. Нарастающая враждебность его не останавливала, скорее еще больше распаляла и добавляла гонора.

Однажды, когда он вошел в деревянную корчму на берегу Ипля, все замолчали. Его это не насторожило. А что тут такого? Когда входит король, двор стихает!

Но тут же почувствовал царящую в корчме напряженность, догадался об опасности, но отступать он уже как-то разучился. Сегодня извозчики к нему не подходили, не толпились около, чтобы он их угостил, рассказал о выгодных поездках, о своей чудесной лошади. Вместо того чтобы побыстрее убраться из корчмы, он предпочел пить у стойки с видом обиженным и спесивым. Ни к кому не обратился, не поздоровался, не огляделся вокруг, надеясь, что кто-нибудь сам подойдет к нему и заведет разговор. Но никто ни словечка, мужики его будто не замечали, да и Карес за стойкой был какой-то более хмурый, чем обычно.

Паленка ударила в голову Кузмы, он пил и пил и становился все злее. Он уже собирался развернуться и всех в корчме хорошенько облаять — и извозчиков и их кляч.

За спиной послышался шум, Палю и Югас схватились за пояса. Ему это не показалось серьезной ссорой, но он все равно подошел к ним и как судья стал разнимать. Видно, они только этого и ждали. Оба кинулись на него. Из-за столов повыскакивали другие извозчики, загнали его в угол и начали лупцевать по чем попало. Тут только до него и дошло, что они сговорились и подстроили ему ловушку. Совсем близко мелькали их дикие глаза, в которых он видел одно желание — ударить, измордовать, опозорить его. Они били с такой страстью, словно он всю жизнь только и делал, что оскорблял их.

Кузма еле унес из корчмы ноги. Одичавшие, выпившие извозчики гнали его, как паршивого пса. Угощали пинками, оплеухами, тумаками, ругательствами и издевкой, от которых страдали и тело и душа. Он удирал от них, спотыкаясь, срезал углы и перелезал через заборы, но избавился от погони только перед самым домом.

С разбитой, окровавленной, вспухшей физиономией рухнул он в конюшне и зарылся в солому. В бессильной злобе он грозился, что завтра всех кучеров перережет.

Чем уж он их так оскорбил? Тем, что у него самая красивая лошадь во всем городе? Они били его, мужичье, из зависти. Не будь у него такой лошади, да они бы его не заметили, на рюмочку не позвали; к тем, более зажиточным, что сидели в правом углу, он никогда не посмел бы даже присесть. Не посмел бы затесаться в их общество, в их разговор, раз у него не было усадьбы, батраков и даже служанки. Был-то он всего-навсего бедным мусорщиком, и всем тут, большинству извозчиков неровня. Иные из них годами с ним словом не перемолвились, так, кивнут слегка на его поклон, и только.

Сообразив, что на дворе уже ночь, он поглубже зарылся в солому и заснул, а утром еще выслушал от жены, что так, мол, ему и надо. Схлопотал, как люди ей объяснили, чтоб не задавался и нос не задирал.

— Так тебе и надо,— крикнула ему жена,— с этой лошадью ты начисто охамел.

Ругань оскорбила Кузму, он пригрозил измолотить ее, дуру, чтоб впредь не держала сторону чужих, когда речь идет о муже, но сам и пальцем ее не тронул.

Как обычно, после ярости подступила обида, он принялся жаловаться, бухая кулаком по столу.

Всегда, мол, он боялся задеть кого-нибудь в корчме. Может, спесь и помутила ему разум, только разве он уже не в таких годах, чтоб перестать бояться всего, как мышь? Всю жизнь ему, что ли, быть тише воды, ниже травы? Перед всяким выскочкой, у которого денег больше, гнуть спину? Да опротивело ему быть тихоней, всякому кланяться да лебезить. Всю жизнь ему, что ли, вести себя как слуге? Зачем ему быть тихоньким до самой смерти? Что, у него нет головы или языка? Или не у него теперь самая лучшая лошадь в городе? У кого из тех, кто его вчера бил, найдется лучше? Да Паланк не припомнит еще такой лошади! Такой красивой лошади, из такой дальней страны не бывало даже у графов... Так почему бы ему не радоваться ей? С ним здесь никто никогда не считался. Издевались над ним за то, что он мусорщик, издевались, еще когда он мальчишкой ходил за телегой отца, издевались всю жизнь. Всегда, если шли рядом, надменно задирали нос. Вот он и платит им тем же. Долг платежом красен. Да пропади они все пропадом! Он им еще докажет, кто он такой. Он им головой не кивнет, в их сторону не глянет, слова не скажет. А если встретит один на один, он их всех поодиночке отдубасит! Ослы безмозглые! Он их гнилушками и грязью закидает, знать их больше не будет!

14

После взбучки, полученной в корчме, Кузма стал избегать возчиков, да и свою жену тоже, потому как она встала на их сторону. С возчиками не здоровался, с женой почти не разговаривал. Еще больше прилепился сердцем к лошади и детворе, которая вертелась вокруг его телеги, и разрешил свой спор с Пипикофе.

Когда мальчонку выпустили из больницы и рана у него зажила, он сделал все, чтобы получить своего коня,— был убежден, что лошадь должна принадлежать только ему. Откушенный палец — плата, с которой не сравнится никакая другая. Он чувствовал себя единственным и законным владельцем Колонко.

Первым делом мальчик постарался узнать, какой дорогой лошадь ездит, где она живет. Мусорщик отправился на работу, дома была только жена. Она занималась стряпней, но на голос мальчика вышла. Ничего не поняв, раскричалась: чего, мол, ему здесь надо, не пришел ли он, часом, попрошайничать! Если так, пусть проваливает. Мальчик оторопел, но от двери не отошел и в волнении показал ей искалеченную руку. Женщина наконец смекнула, что к чему и с кем

она имеет дело, пожалела его, но продолжала твердить, чтобы он шел домой, потому как лошадь все равно на работе, пусть приходит за ней вечером. От природы вспыльчивая и неприветливая, она обращалась с мальчиком безо всякой деликатности, но все же сдерживаясь: детская ручонка с откушенным пальцем подействовала на нее так сильно, что она сунула в нее яблоко. Потом выставила мальчика за ворота — пускай проваливает и больше сюда носа не кажет. Пускай, мол, выкинет из головы этакую блажь, будто лошадь его. Еще чего надумал. Ее муж, Кузма, купил лошадь по-честному, заплатил за нее хорошие деньги. И баста. Ей известно, как все получилось, как бедняга малыш потерял палец, но дела это не меняет — лошадь принадлежит им.

Мальчик стоял у ворот, держа в руке яблоко, хмурился, крутил головой и твердил одно и то же: нет, нет, не так все, лошадь принадлежит ему, раз из-за него она здесь осталась, он тому причиной.

Пока мальчонка и жена мусорщика твердили каждый свое, оба невольно повысили голос. Женщина, заметив это, вскипела от злости и разоралась на всю улицу. Разве есть у нее время на глупости? Пусть убирается, сопляк, неудачник, болтун меченый, нечего дурить ей голову. Как это лошадь может принадлежать ему, если они с мужем заплатили за нее кучу денег? Как он, сопляк, засранец, от горшка два вершка, мальчишка без разума, без гроша, без конюшни, как он может быть хозяином, владельцем настоящей большой лошади?

Она поддалась гневу. Выглядела при этом отталкивающе, смехотворно, и мальчишка расходился все больше. Начал в ответ ругаться, орать изо всей мочи, что цирковая лошадь может принадлежать только ему, из-за него она тут осталась, он тому причиной, только он, это он потерял палец, и не будь этого, они могли бы подавиться своими деньгами.

Женщина оскорбилась, с проклятиями кинулась за мужниным кнутом, но пока она возвращалась, Пипикофе пустился наутек. Она все равно погналась за ним и бежала, пока он не свернул на соседнюю улицу.

Мальчик не допускал и мысли, что ему не отдадут лошадь. Однако родителям об этом не сказал ни словечка, не надеясь на их поддержку в споре.

На следующий день он пошел жаловаться в больницу, оттуда к учителю Сенку. Старый учитель тщетно пытался его успокоить и вразумить, мальчик не отставал от него, покамест тот не закрыл фисгармонию и не надел шляпу, чтобы отправиться в город. На улице они начали выяснять, где сегодня можно найти Кузму и его желтую цирковую лошадь, а поскольку теперь в городе Кузма был фигурой заметной, они разыскали его еще до полудня.

Пипикофе впервые увидел лошадь. Взгляд его слегка погас — он ведь представлял ее с солнышком во лбу, ростом с дерево и был убежден, что, как только она его увидит, побежит навстречу и скажет человеческим голосом: «Наконец-то я тебя дождалась! Хорошо, что ты пришел, мой господин и повелитель! Теперь мы всегда будем вместе — вместе будем играть».

Ничего подобного. Лошадь не заговорила. Мальчик в первые минуты был разочарован, затих, глаза его потускнели. Но это продолжалось недолго. Лошадь все же была живой, золотистой, красивой, досягаемой. Мальчик подошел к ней и начал гладить, приговаривая:

— Моя лошадка, моя, моя, моя...

Старичок учитель разговорился с извозчиком, оба вскоре заулыбались. Мальчик, зорко следивший за ними, понял, что это он причина их улыбок, и рассердился на обоих, в особенности на мусорщика. Кузма начал его неловко уговаривать, обещая, что отвезет, куда ему только ни захочется, вот хоть сейчас, он даже и править ему позволит. Ну, а когда мальчик подрастет, тогда будет, если пожелает, при-

ходить и править лошадью, а он станет платить ему за работу. Но сегодня — пусть уж он на него, бога ради, не сердится, он должен ехать дальше, у него дела. Немного он его подвезет и даже на лошадь посадит, а пан учитель, который учит его читать-писать, все ему объяснит — и как обращаться с лошадьми, и как ходить за ними и работать на них. Все это могут только взрослые.

Пипикофе не стал ждать ни когда его покатают, ни когда учитель ему все объяснит. Он попрощался с лошадью и помчался в участок КНБ, чтобы хоть с помощью этих стражей порядка вызволить лошадь. Но и там от него отделались сладкими речами и еще позвонили на почту, пусть они, если их машина пойдет в участок, на обратном пути прихватят мальчика и отвезут домой.

15

Когда Кузма приехал в Пески и остановился с подводой на дворе недалеко от паровой мельницы, он обнаружил сидящего у стены Пипикофе. Мальчонка грелся на солнышке и строил планы мести. Он так и замер, увидев рыжего извозчика. Вскочил, хотел улизнуть, но от долгого сидения и от ужаса у него онемели ноги. А Кузма улыбался ему, звал подойти поближе, поиграть с лошадью. Конь стоял в их дворе, как и мечтал Пипикофе, его желтоватая шерсть отливала на солнце золотом. Мальчик не мог отказаться от желания его погладить. Он верил, что не извозчик, а лошадь сама свернула с дороги в их двор, чтобы они могли порадоваться друг другу и быть вместе после долгой разлуки.

Кузма сидел рядом с мальчиком у стены, курил, угощал его конфетами и вел сердечный, насколько мог, разговор. Потом выпряг лошадь, посадил на нее Пипикофе, чтобы он покатался по двору, а сам разговорился с его матерью.

С мальчиком они заключили соглашение, по которому лошадь принадлежала им обоим. Кузма будет владеть ею до того часа, когда мальчик подрастет и кончит школу, а тогда он возьмет ее вместе с телегой. Станет мусорщиком и извозчиком. Пипикофе имел право приходить в любое время и кормить лошадь, пасти ее, купать в Ипле, помогать запрягать и править.

Во время летних каникул оба часто проводили время возле лошади. Особенно радостными для Пипикофе были часы, когда они пасли и купали Колонко в Ипле.

Пока солнце не село, и на луга, простершиеся между городом и рекой, не спустился сумрак, и не принимались уж очень донимать комары, этот бич людей и скота возле медленно текущего Ипля, оба они лежали и смотрели на Колонко. Когда солнце, красное, как живая рана, ужасающе огромное и близкое настолько, что резало глаза, клонилось к горизонту, темная тень от лошади, щипавшей траву, становилась все длиннее, а сама она сияла, как факел.

Летом, во время каникул, они лежали на песке, купали лошадь, рыбачили и потом пекли рыбок на костре там же, на берегу, как и многие другие. Река была прогретой, неторопливой, зеленоватой, песчаные берега ее всегда были горячими от солнца. Листва ив, трава, песок и хребты больших рыб — все блистало в алых лучах заката. Рыба всплывала со дна. Подошло время ее охоты, она подымалась на поверхность, рябила ее, била хвостом. Ниже по течению перегоняли вброд гурт крупного рогатого скота — скотина у самого берега погружалась в синеватый ил и воду чуть не до рогов. С разных сторон отзывались лягушки.

Ранний южный вечер — время, когда Паланк затихал. Он купался в багрянце, как старый восточный город. Запах прогретой зелени, воды и песка, сверчки, лягушки, закат, медлительный ход стада, белого, как облако пыли. Все более глубокая тишина нисходила на город, на весь край по оба берега Ипля, на пойменный лес, луга, доро-

ги, на воздух, глину, на акации, на душу. Бессмертная минута. Минута, сотворенная для того, чтобы у обоих — старого мужика и маленького мальчонки — просились на язык мечты и слова. Они грезили, в их душах отзывались пережитые печали и кривды. Мусорщик был отталкивающе рыжий и рябой, у мальчика — изуродованная кисть. Соединяла их лошадь, такая, каких не было ни у кого в городе, конь, которому приписывали исключительность и чудодейственную силу сказочных существ. В памяти мусорщика с самого детства копились одни обиды, у мальчика с четырехпалой кистью слава происшествия на железной дороге оборачивалась посмешищем, стоило ребятам увидеть увечную руку, так что Пипикофе приучился прятать ее в кармане.

Те, кто знал жизнь Кузмы сызмальства, не удивлялись, почему он так прикипел сердцем к лошади. Заброшенный сын мусорщика, он рос без товарищей, пренебрегаемый всеми, юношеские годы, как он однажды под вечер признался мальчику, он простоял в уголке, хорошие девушки его не замечали. Счастливым он не был, зато был упорным, и этим качеством он чаще всего хвастался перед мальчиком. Чтобы купить старую клячу, он надрывался у хозяев батраком. А заимев лошадь, заработал на ней еще на двух лошадей, а с ними стал понемногу на ноги, приобрел домик, женился, родилась дочь.

Кузма принял Колонко как вознаграждение за старые обиды, потому-то он и не мог от него оторваться. Через много лет, говаривал он мальчику, получил он свою первую игрушку, редкостную, единственную, и она разгладила морщины его души. Он ощутил то самое, что более просвещенные люди называют удовлетворением.

Одержимые страстью прославлять желтую лошадь, рыжий извозчик и Пипикофе все каникулы провели вместе. По воскресеньям они торчали там, где было побольше народа — ездили в коляске к костелу, за мороженым, на футбол, возили гуляющих на ванны. За ними вечно тянулась стайка ребятишек, но Пипикофе катал только своих дружков.

Городские дети любили лошадь. За ее красоту они платили ей долгой привязанностью. А Кузма любил всех этих детей. Они давали ему то, чего он никогда не получал от взрослых ни в детстве, ни потом. Паланкские ребятишки беготню за лошадью и катание в коляске одно время называли «орландованьем».

Каждую среду на улицах, прилегающих к парку в квартале Кошек, раздавался звон колокольчика. Это ехал Кузма. Потом люди слышали, как он выкликивает:

— Мусор! Мусор! Мусор!

И звон колокольчика.

— Мусорщик,— заключали местные жители и вели себя как кому было угодно. Одни подходили к окнам и смотрели на улицу, а кто брал в руки ведра с золой и выносил их на тротуар перед домом.

Другого мусора, кроме золы, чаще всего и не было. Объедки скармливались птице и скотине, барахло экономно прибиралось, тряпье уносили тряпичники, перья — скупщики с огромными мешками, бумаги шли на растопку в плиты и печки — огромные, изукрашенные, отражавшие стремление людей к определенному образу и укладу жизни.

По улицам, прилегающим к парку, продвигалась крытая подвода, изнутри и снаружи обитая жестью, похожая на цинковый гроб. Подводу везла желтая лошадь, а перед ней у всех на виду вышагивал Кузма, рыжий, приметный мусорщик в рейтузах, сапогах, коричневой жилетке и шляпе. Он тряс колокольчик и кричал в окна, завешенные ветвями высоких, старых деревьев.

Женщины выходили на улицу с мусором, дети выбегали из ворот поздороваться с мусорщиком и лошадью.

Кое-кто из взрослых в квартале Кошек со временем перестал восхищаться цирковой лошадью, а самого Кузму здесь не жаловали. Терпеть не могли его манеры и разговоры. Ну да, говорили, лошадь, конечно, красивая, чудесная, единственная, этого не отрицал никто, но разве прилично, чтобы взрослый, можно сказать пожилой, мужчина, каковым был Кузма, вел с бессловесной тварью такие беседы, которые можно вести только с человеческой душой? Он и говорит-то о своей лошади, словно она человек. Ну разве это не грех? Животное есть животное, а человек есть человек, следует соблюдать порядок, а такое делать не след. Нельзя же скотину подымать до уровня человека. Не положено. Бывает, конечно, что извозчик скажет что-нибудь своему тягачу в добрую минуту, но чтобы вести с ним разговоры обо всем на свете, что касается тела человеческого и души, такого в заводе нет. Кузма — сумасшедший, он оскорбляет человеческие чувства, а тем самым и творца. Чего он только своей лошади не говорит! Какие речи разводит перед бессловесной тварью! Такого взрослый взрослому не скажет, разве что законной супруге — и то намеком, — или там доктору, или на исповеди всемогущему. А этот глупый Кузма обо всем этом да с лошадью! Словно она его первейший приятель и собутыльник и даже больше — его второе «я»!

Людям было не по душе, что Кузма все обсуждает со своей лошадью, обихаживает ее с вежливостью и смирением, словно подчиненный — вышестоящего, учитель — инспектора, верующая паства — священника, христианин — господа бога, любящая супруга — своего доброго мужа и детей. Все треплет ее по шее и кидается как бешеный на муху или овода, которые посмели сесть на конскую спину.

Нетерпимей всех были пожилые женщины и женщины вообще. Может, видели в этом пародию на свою преувеличенную материнскую любовь и преданность мужьям и детям.

Но обращение Кузмы с лошадью нравилось детям, потому что эти самые маленькие люди видели в ней нечто высшее, а не простое животное.

Больше всего Кузма любил проезжать по Школьной улице. Учителя этого просто боялись. Стоило Кузме появиться под окнами народной школы, уроку приходил конец. Ученики стремглав мчались к окнам, и удержать их не было никакой возможности. Восторженно приветствовали они Кузму и лошадь, крича наперебой. Растроганный мусорщик останавливался, широко расставив ноги, счастливо улыбаясь, выпрямлялся и гордо вскидывал голову. Кивал детям, а учителям, пребывавшим в растерянности, отвешивал неловкие поклоны. И, гордо вышагивая, шел дальше по своим делам.

Осенью в городе, полном ветра, опавшей листвы, теней и оголенных деревьев, желтый испанский конь казался сказочно прекрасным. Когда дети видели его на улице, в особенности под окнами своего класса, они буквально взрывались от восторга. Он сиял перед их глазами. Среди теней, листвы, голых деревьев он виделся им ясно, как далекое весеннее солнышко над водами Ипля.

Живое солнышко — таким он прочно запечатлелся в детской памяти.

17

Прошло несколько лет. Кузма перестал заниматься извозом, после тяжелой операции желудка ушел на пенсию, а лошадь совершенно одряхлела. Мусор в Паланке вывозили машинами.

Из чистой привязанности мусорщик продолжал держать лошадь. Непригодная для работы, она стояла в конюшне, а о бойне Кузма и не помышлял.

Как-то осенним утром он нашел лошадь лежащей и понял, что ей пришел конец, больше она не поднимется. Кузма молча просидел возле нее день и всю ночь, а когда под утро она вытянулась и умер-

ла, зажег в конюшне керосиновую лампу. Когда ноги ее перестали дергаться, извозчика охватила печаль, а вместе с ней и чувство облегчения, что все кончилось именно так. Он потерял лошадь, но руки у него теперь развязаны. Он это чувствовал. Настал покой. Все произошло так, как он хотел. И уважение сохранил, и лошади остался верен. Хотя потом его мыслями целиком завладело горе утраты.

В своей подсобной мастерской он отпилил кусок доски, обстругал ее, сделал надпись чернильным карандашом и пошел на кухню. Велел жене взять стул и отправиться на двор сторожить конюшню от собак, а сам взялся за работу. Раскалил в печке большой гвоздь и выжег на доске надпись.

Потом спустился по улице вниз на луга и стал смотреть за Ипель, где простирался прибрежный лес. Лес этот прозывался конским кладбищем, потому что в нем паланчане испокон века хоронили своих лошадей. В эпоху мировых войн обычай этот начал забываться, он утрачивался вместе со славой лошадей повсюду и в Паланке тоже, пока не исчез начисто. Кузма уже давно решил, что свою последнюю ломовую лошадь он похоронит на конском кладбище. Он помнил, что там предавали земле лошадей все так называемые лучшие люди города, они не допускали, чтобы их любимые животные шли на убой, не желали отдавать их мясникам.

А когда хоронили свою лошадь, засыпáли землей, то на ближайшее дерево прибивали табличку с кличкой лошади и краткими сведениями о животном и его владельце. И такие таблички висели там, пока не сгниют.

Наискосок через луга Кузма отправился к мосту. Его деревянные конструкции, тень которых лежала на спокойной глади Ипля, уже несколько лет назад лишили старого паромщика Кареса заработка и стали причиной исчезновения в городе ремесла перевозчиков. Эта профессия отмерла, а вслед за ней в городе перевелись и извозчики.

Было ветрено. Кузма кутался в коричневое суконное пальто, на голове у него была теплая шапка, горло и даже борода, красная, как огонь, были укрыты шарфом. Он был мерзляк и сам себя считал стариком. Сказывался тяжкий извозчичий труд, больше всего его мучил желудок. Он еще подрабатывал, нанимался от случая к случаю, особенно на сезонные работы, предпочтительно в совхозы, откуда приносил кой-чего и для лошади.

Лугом дошел он до моста и потихоньку, не доверяя ему, перешел на другой берег и направился на конское кладбище. Долго выбирал место, где похоронить Колонко, выбрал наконец и вернулся домой. Жену послал в совхоз за трактором с большим прицепом, а сам на велосипеде покатил к комбинату бытового обслуживания за Пипикофе, который учился там на маляра.

Пипикофе — теперь застенчивый, молчаливый, высокий парень с продолговатым, худым лицом,— тракторист, Кузма и еще трое мужчин взвалили лошадь на прицеп, взяли кирки и лопаты и пошли за трактором на кладбище. Когда сворачивали с тутовой аллеи, которая возле пристани паромов отделяла крайние улицы Паланка от лугов и реки, и вышли к мосту, их догнала колонна велосипедистов. Они ехали от районного Дома пионеров. Впереди — вожатый в пионерской рубашке, с красным галстуком на шее, за ним на двадцати или пятнадцати туристских велосипедах — пионеры, одетые для экскурсии.

Эта ребятня о лошади из цирка Орландо знала только понаслышке, и им казалось, что либо она уже давным-давно умерла, либо вообще не существовала. Они растерянно смотрели на прицеп, где лежала желтая лошадь, их изумило, что она такая удивительно желтая, хотя лошадь уже изрядно поседела. Они не могли знать и даже понять, какую радость принесла послевоенному поколению паланкских детей эта желтая лошадь из далекой, чужой страны. Но вожа-

тый это знал и сразу вспомнил обо всем, что касалось лошади, и коротко рассказал о ней ребятам. Однако и теперь они поняли не все. Росли-то они над шахматными досками, в авиамодельных мастерских, где бушевали мощные, шумные моторчики в фюзеляжах самолетов и кораблей, которые пахли клеем, ацетоном, эфиром, бензином, спиртом. Ребята теперь жили совершенно иной, по-другому организованной жизнью, нежели дети послевоенной поры.

Мужчины выкопали яму, опустили в нее лошадь и без промедления засыпали ее.

Потом закурили, опершись о лопаты, а Кузма прибил к стволу ближайшего дерева табличку, на которой было выжжено:

Колонко — Колонна
Испанская лошадь
Кузмы Йожки и
Пипикофе.

Колонко была последней из паланкских лошадей, которых хоронили на конском кладбище, потому что вскоре между лесом и рекой выросла ферма водоплавающей птицы.

Возле деревянного моста все попрощались и разошлись. Пипикофе, который никогда больше не встретится с Кузмой, направился вдоль Ипля лугами на Пески, трактор с прицепом осторожно переехал через мост и быстрехонько устремился в город. Кузма с помощниками зашли выпить в ближайшую корчму, пионеры сели на велосипеды и вслед за вожатым отправились по проселку, подняв пыль до самых макушек тополей. В Паланке кончилась тысячелетняя эра лошадей.

Это был последний след давнего, краткого пребывания цирка Орландо в Паланке. Дольше всех о цирке помнил Пипикофе, потому что он просто не мог о нем забыть. Прозвище Пипикофе приросло к нему, словно для Паланка он навсегда остался маленьким мальчиком, каким вошел в его историю. Повзрослев, он все равно предпочитал держать руку в кармане. Потом, когда его на год призвали в армию, он перебрался из Паланка в Чехию, где женился и осел. Там его стали называть Владимир Куделя, а то и просто Владо.

Возможно, никто больше не вспоминает о том послевоенном происшествии на железнодорожной станции в Паланке, но где-то в Остраве живет мужчина без пальца на руке, несчастье, случившееся с ним на юге Словакии, по-иному определило судьбу цирковой лошади, а лошадь — судьбу одного мусорщика, и оба — судьбы многих маленьких мальчиков города; вырастая, они при воспоминании о прекрасном золотом коне своего детства нежно и открыто улыбались миру.

■

ЗАМОШКИНА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА

Советский переводчик с чешского и словацкого языков, кандидат филологических наук. В ее переводе печатались романы Л. Балека «Помощник», В. Беднара «Коза», В. Швенковой «Кедровый бор», повесть В. Ванчуры «Поля пахоты и войны», рассказы и миниатюры К. Чапека, рассказы Я. Гашека, М. Майеровой и др.

СТЕФАН ЦВЕЙГ

Кристина Хофленер

РОМАН

Перевод с немецкого Н. БУНИНА

В Санкт-Пёльтене, утомленная от бессонной ночи, Кристина выбирается из вагона. Навстречу ей через рельсовые пути уже кто-то спешит, это учитель Фуксталер, наверное, ждал здесь всю ночь. С первого же взгляда Кристина все поняла — на нем черный сюртук, черный галстук; и когда она протягивает учителю руку, он пожимает ее соболезнующе, а глаза смотрят сквозь очки участливо и беспомощно. Кристина ни о чем не спрашивает, его замешательство сказало все. Но странно, она не испытывает ни потрясения, ни скорби, ни волнения. Умерла мать. Может быть, оно и хорошо — умереть...

В поезде на Кляйн-Райфлинг Фуксталер обстоятельно и деликатно рассказывает о последних часах усопшей. Вид у него усталый, лицо серое, небритое, одежда мятая и пыльная. Каждый день он (ради нее) по три-четыре раза навещал мать, дежурил ночами (ради нее). Заботливый друг, думает Кристина. (Хоть бы уж замолчал, оставил меня в покое, надоело слушать его проникновенно-сентиментальный голос, видеть желтые, плохо запломбированные зубы.) Ее вдруг охватывает почти физическое отвращение к этому человеку, прежде внушавшему ей симпатию, она понимает, что ее чувство постыдно, но ничего поделать с собой не может, это как привкус желчи во рту.

Невольно она сравнивает его с мужчинами *там* — здоровыми, стройными, загорелыми, ловкими кавалерами в приталенных пиджаках, с ухоженными руками — и с каким-то злорадным любопытством разглядывает комичные детали его траурного облачения: сюртук с протертыми локтями, явно перелицованный, дешевая нечистая сорочка, дешевый черный галстук. Невыносимо смехотворным кажется ей вдруг этот тощий человечек, этот деревенский учитель с бледными оттопыренными ушами, неровным пробором в жидких волосах, очками в стальной оправе на бледно-голубых глазах с воспаленными веками, его пергаментное остроносое лицо над продавленным воротничком из желтого целлулоида. И он еще собирался... он... Нет, думает Кристина, никогда! Чтобы он дотронулся до нее? Невозможно! Поддаться робким, недостойным ласкам вот такого переодетого семинариста с трясущимися руками? Ни за что! Ее тошнит при одной мысли об этом.

— Что с вами? — озабоченно спрашивает Фуксталер, заметив, что она вздрогнула.

Окончание. Начало см. в № 7, 8, 1985.

— Ничего... Нет, нет... Просто я слишком устала. Не хочется сейчас ни говорить... ни слушать.

Откинувшись к стенке, Кристина закрыла глаза. Ей сразу стало легче, едва она перестала видеть его, перестала слышать этот утешающе-кроткий, нестерпимый именно своей смиренностью голос. Какой стыд, думает она, ведь он так хорошо относится ко мне, такой самоотверженный, а я... ну не могу я больше смотреть на него, противно, не могу! Такого... таких, как он... ни за что! Никогда!

Льет дождь, священник скороговоркой читает у открытой могилы заупокойную. Могильщики, держа лопаты, нетерпеливо переминаются с ноги на ногу в вязкой глине. Дождь усиливается, священник говорит еще быстрее; наконец все кончено, и четырнадцать человек, провожавших старуху на кладбище, молча, чуть ли не бегом возвращаются в деревню. Кристина в ужасе от самой себя — вместо того чтобы скорбеть и горевать, она во время церемонии думала о разных пустяках: о том, что она без калош — в прошлом году хотела купить, но мать отговорила, предложив свои; что у Фуксталера воротник пальто протерся на сгибе; что зять Франц растолстел и при быстрой ходьбе пыхтит, как астматик; что зонтик у невестки прохудился, надо бы отдать в починку; что лавочница прислала на похороны не венок, а всего лишь букетик полуувядших цветов из палисадника, связанных проволочкой; что на лавке пекаря Гердлички появилась новая вывеска... Все мелочи того отвратительного мирка, в который ее впихнули обратно, острыми когтями вонзаются в нее и причиняют такую мучительную боль, что не остается сил для горестных переживаний.

У ее крыльца провожавшие прощаются и, уже не стесняясь, разбегаются, забрызганные грязью, по домам; лишь сестра, зять, вдова брата и столяр — ее второй муж — поднимаются по скрипучей лестнице наверх. В комнате всего четыре стула, и хозяйка, пятая, усаживает на них гостей. Помещение тесное, мрачное. От мокрых пальто на вешалке и капающих зонтиков несет сыростью, в окна барабанит дождь, в углу тенью сереет опустевшая кровать.

Все молчат.

— Может, кофе выпьете? — спрашивает Кристина, преодолевая смущение.

— Да, Кристль,— говорит зять,— чего-нибудь горяченького теперь в самый раз. Только поторопись, долго мы ждать не можем, в пять — поезд.

Закурив сигару, он облегченно вздыхает. Этот добродушный и веселый муниципальный чиновник, служа фельдфебелем в армейском обозе, наел себе брюшко, округлившееся еще стремительнее в мирную пору; уютно он чувствует себя только без пиджака и только дома. На похоронах он держался строго, с подобающе печальным лицом, что было нелегко. Теперь же, расстегнув немного траурный сюртук, который придавал ему какой-то маскарадный вид, он уселся поудобнее.

— Все-таки хорошо, что мы не взяли детей. Хоть Нелли и считает, что внуки непременно должны быть на похоронах бабушки — полагается, мол,— но я ей сказал: такие грустные вещи детям показывать нельзя, они этого еще не понимают. Да и поездка в оба конца стоит кучу денег, а при нынешней дороговизне...

Кристина судорожно вертит ручку кофейной мельницы. Прошло всего пять часов, как она приехала, а уже, наверное, в десятый раз слышит проклятое, ненавистное «слишком дорого». Фуксталер говорил, что было бы слишком дорого приглашать главного врача из санкт-пёльтенской больницы, он все равно ничем бы не помог; невестка говорила, что надгробный крест из камня не стоит заказывать, обойдется слишком дорого; сестра то же самое сказала о панихиде, а теперь вот и зять — о поездке. Все беспрерывно твердят

это слово, оно назойливо барабанит по ушам, как дождь по крыше, унося всякую радость. И ей придется теперь слушать это изо дня в день: слишком дорого, дорого, дорого... Кристина яростно крутит ручку, срывая злость на хрустящей зернами мельнице: уехать бы только отсюда, чтобы ничего не слышать и не видеть!

За столом в ожидании кофе пытаются завязать разговор. Столяр из Фаворитена, что женился на вдове брата, сидит, скромно потупившись среди полуродственников,— он вообще не был знаком с покойной; разговор вяжется с трудом, то и дело спотыкаясь о вопросы и ответы, будто о камни на дороге. Наконец кофе готов, Кристина ставит четыре чашки (больше в доме нет) и снова отходит к окну. На нее угнетающе действует сконфуженное молчание гостей, то странное молчание, за которым все неловко прячут одну и ту же мысль. Кристина знает, затылком чувствует, что́ сейчас последует,— в прихожей видела, что каждый принес по два пустых рюкзака,— она знает, что́ сейчас начнется, и омерзение сдавливает ей горло.

И вот раздается приветливый голос зятя:

— Собачья погода! А Нелли, по рассеянности конечно, не захватила зонтик. Может, выручишь, Кристль, дашь ей материн? Или самой надо?

— Нет, не надо,— дрожа, отвечает Кристина. «Ну, началось, только бы скорее, скорее!»

— Вообще-то,— вступает, будто по уговору, сестра,— мне кажется, самое разумное будет сейчас и поделить мамины вещи, а? Кто знает, когда мы соберемся опять вчетвером, ведь у Франца столько дел по службе, и у вас ведь (она обращается к столяру), наверно, тоже. А еще раз ехать сюда ради этого вряд ли стоит, да и тратиться опять же. Давайте прямо сейчас и поделим, не возражаешь, Кристль?

— Конечно нет.— Голос у Кристины вдруг становится хриплым.— Только прошу, делите все между собой, все! У вас дети, мамины вещи вам больше пригодятся, мне ничего не надо, я ничего не возьму, делите между собой.

Отперев сундук, она вытаскивает несколько поношенных платьев и кладет — другого места в тесной мансарде нет — на кровать умершей (вчера постель была еще теплой). Наследство невелико: немного постельного белья, старый лисий мех, штопаное пальто, плед, трость с рукояткой из слоновой кости, венецианская брошь, обручальное кольцо, серебряные часики с цепочкой, четки и эмалевый медальон из Мариацелля, затем чулки, ботинки, войлочные туфли, нижнее белье, старый веер, мятая шляпка и захватанный молитвенник. Все вынула, ничего не забыла, все заложенное и перезаложенное старье — его было так мало у матери,— и быстро отошла к окну.

За ее спиной обе женщины тихо переговариваются, оценивают, делят. Сестра откладывает свое направо, невестка — налево, между ними на кровати умершей остается незримая пограничная межа.

Кристина, глядя на дождь, тяжело дышит. Ее обостренный слух улавливает перешептывания торгующихся родственниц, хотя они стараются говорить как можно тише; она ясно видит их руки, перебирающие вещи, хотя стоит спиной к кровати. К жгучему гневу, обуревающему ее, примешивается жалость. Какие же они бедные, убогие и даже не подозревают об этом. Делят хлам, которого иные побрезговали бы коснуться ногой; старые отрезы фланели, изношенные туфли — и все это нелепое барахло для них драгоценность! Ну что они знают о настоящей жизни? Понятия не имеют! А может, так лучше — не понимать, как ты беден, как отвратительно, как позорно беден и жалок!

Зять подходит к ней:

— Что поделаешь, Кристль... но так же нельзя, ты ничего не берешь. Ну что-нибудь должна ж ты оставить себе в память о матери... хотя бы часы или цепочку?

— Нет,— твердо отвечает она,— ничего не хочу и не возьму. У вас дети, им нужнее. А мне не надо. Мне вообще ничего больше не надо.

Потом, когда она обернулась, все уже было поделено, сестра и невестка запихали свои доли в рюкзаки — лишь теперь умершую похоронили окончательно. Гости топчутся в комнате, смущенные, даже слегка пристыженные; они рады, что так быстро и в согласии уладили щекотливое дело, и все же чувствуют себя не очень уютно. Перед уходом надо бы сказать что-нибудь этакое торжественное, как-то загладить неловкость происшедшего и вообще потолковать по-родственному. Наконец, вспомнив, зять спрашивает Кристину:

— Да, а ведь ты не рассказала, как там было, в Швейцарии?

— Прекрасно,— выдавливает она сквозь зубы.

— Еще бы,— вздыхает Франц,— вот бы разок съездить туда и вообще пострансствовать! Но с женой и двумя детьми об этом и мечтать нечего, дороговато, тем более в такие шикарные места. Сколько там в отеле за сутки берут?

— Не знаю.— Кристина чувствует, что силы ее на исходе, вот-вот она сорвется. Хоть бы скорей ушли, хоть бы скорей!

К счастью, зять смотрит на часы.

— Ого, пора по вагонам. Кристль, давай без лишних церемоний, провожать нас незачем, при такой погоде-то. Оставайся дома, лучше как-нибудь навестишь нас в Вене. Теперь, после смерти матери, надо держаться вместе!

— Да, да,— нетерпеливо отвечает Кристина и провожает их до двери.

Деревянная лестница скрипит под тяжелыми шагами, каждый что-то тащит за плечами или в руках. Наконец-то ушли. Едва за ними закрылась дверь, Кристина рывком распахнула окно. Она задыхалась от запаха табачного дыма, сырой одежды, запаха страхов, тревог и стонов больной старухи, омерзительного запаха бедности. Какая пытка — жить здесь, да и зачем, для кого? Для чего вдыхать это день за днем, зная, что где-то там есть другой мир, настоящий, что и в ней самой живет другой человек, который задыхается, словно отравленный этим чадом. Не раздеваясь, она бросилась ничком на кровать и вцепилась зубами в подушку, чтобы не разреветься от жгучей бессильной злобы. Она вдруг возненавидела всех и все, и себя, и других, богатство и нищету, всю тяжкую, невыносимую и непонятную жизнь.

— Надутая индюшка, дура! — Владелец мелочной лавки Михаэль Пойнтнер с треском захлопывает за собой дверь.— Это ж неслыханно, что она себе позволяет, нахалка. Вот гадюка.

— Ну, ну, не заводись,— улыбается пекарь Гердличка, поджидавший Пойнтнера на улице перед почтовой конторой.— Какая тебя муха укусила?

— Вот именно, муха. Такой нахалки, такой стервы еще свет не видывал. Каждый раз к чему-нибудь да прицепится. То одно ей не так, то другое. Лишь бы придраться и гонор свой показать. Позавчера ее не устроило, что я заполнил накладную к посылке чернильным карандашом, а не чернилами, сегодня расшумелась, что не обязана принимать плохо упакованные посылки, что ответственность, мол, несет она. Да на черта мне ее ответственность, я отправил отсюда, клянусь, уже тысячу посылок, когда эта дура еще сопливой девчонкой бегала. А каким тоном она разговаривает, все свысока, с манерами, «по-книжному», все норовит показать, будто наш

брат дерьмо против нее. Да соображает она, с кем имеет дело? Нет уж, хватит. Я ей не игрушка.

Толстяк Гердличка усмешливо щурится.

— А может, ей как раз с тобой и охота поиграть, мужчина ты что надо. У этих засидевшихся девок не разберешь. Нравишься ей, вот она и кочевряжится.

— Не валяй дурака,— ворчит лавочник,— я не первый, с кем она этак «крутит». Вчера мне управляющий фабрики рассказал, как она его отбрила только за то, что он малость пошутил. «Как вы смеете, я здесь на службе»,— будто он мальчик на побегушках. Бес в нее вселился, не иначе. Но уж я его выгоню, будь покоен. Заставлю эту гордячку сменить тон, а не сменит, такое ей устрою... даже если мне придется пешком топать отсюда в Вену, к директору почт.

Он прав, добрый Пойнтнер, что-то действительно случилось с почтаркой Кристиной Хофленер, вот уж две недели как об этом все село судачит. Сперва помалкивали — господи, ведь у бедняжки умерла мать,— все понимали: тяжело ей, удар-то какой. Священник заходил к ней два раза, Фуксталер каждый день справлялся, не нужна ли какая помощь, соседка вызвалась посидеть с Кристиной вечерами, чтобы ей не было так одиноко, а хозяйка «Золотого быка» даже предложила переехать к ней и столоваться у нее же, в трактире, вместо того чтобы мыкаться с хозяйством. Но Кристина никому даже толком не ответила, и каждый понял: с ним не хотят иметь дела. Что-то стряслось с почтаркой Кристиной Хофленер — она больше не ездит, как прежде, раз в неделю на спевку хора, объясняет, что охрипла; уже три недели не ходит в церковь, даже панихиду по умершей не заказала; Фуксталеру, когда тот предлагает почитать ей вслух, говорит, что у нее разболелась голова, а если он приглашает на прогулку, отвечает, что устала. Она теперь ни с кем не общается, а когда бывает в лавке, то ведет себя так, будто спешит на поезд; если прежде у себя в конторе была услужлива и любезна, то теперь стала резка и придирчива.

Что-то с нею произошло, она и сама чувствует. Словно кто-то тайком, во сне, накапал ей в глаза что-то горькое, злое, ядовитое,— таким видится ей теперь мир, отвратительным и враждебным. Утро начинается с раздражения. Как только она открывает глаза, взгляд упирается в закопченные балки мансарды. Все в комнате — старая кровать, одеяло, плетеный стул, умывальник, треснутый кувшин, облезлый ковер, дощатый пол,— все ей опротивело, хочется закрыть глаза и снова погрузиться в сон. Но будильник не дает, сверля звоном уши. Она с раздражением встает, с раздражением одевается — старое белье, постылое черное платье. Под мышкой дыра, однако ее это не волнует. Она не берет иголку, не штопает. Зачем, для кого? Для здешних деревенских увальней она еще слишком хорошо одета. Ладно, скорее прочь из ненавистной мансарды, в контору.

Но и контора теперь не та, что была, не то равнодушно-спокойное помещение, в котором медленно, на бесшумных колесиках, бежит время. Когда Кристина, повернув ключ, входит в невыносимо тихую комнату, которая словно подкарауливает ее, она всякий раз вспоминает фильм под названием «Пожизненно», что видела год назад. Особенно ту сцену, где тюремный надзиратель в сопровождении двух полицейских вводит в камеру арестанта; надзиратель — бородатый, суровый и неприступный, арестант — тщедушный, дрожащий парень, камера — голая, с решеткой. Тогда, в кино, у Кристины, да и у других зрителей, мороз по коже прошел, и теперь она снова ощутила эту дрожь: ведь она сама — и тюремщик и арестантка в одном лице. Впервые она обратила внимание, что и здесь зарешеченные окна, впервые голые побеленные стены казенного помещения

показались ей стенами тюремной камеры. Все предметы обрели какой-то новый смысл, хотя она тысячу раз видела стул, на котором сидела, тысячу раз — стол в чернильных пятнах, где сложены бумаги и почтовые принадлежности, тысячу раз — матовое стекло, которое она поднимает к началу рабочего дня. И настенные часы она видит будто впервые, отмечая, что стрелки не убегают куда-то в сторону, а ходят только по кругу — от двенадцати к единице, от единицы к двойке и опять к двенадцати, затем опять от единицы к двойке и обратно к двенадцати, по одному и тому же кругу, не удаляясь ни на шаг; от завода до завода часы несут бессменную вахту и никогда не увидят свободы, замурованные навеки в прямоугольный коричневый футляр. И когда Кристина в восемь утра садится за рабочий стол, она уже чувствует усталость — не от какой-то проделанной работы, а от того, что еще предстоит: все те же лица, те же вопросы, те же операции, те же деньги. Ровно через четверть часа седой, всегда веселый Андреас Хинтерфельнер принесет почту для сортировки. Раньше она делала это механически, а теперь подолгу разглядывает конверты и открытки, особенно те, что адресованы в замок графине Гютерсхайм. У той три дочери, одна замужем за итальянским бароном, другие две незамужние и разъезжают по всему свету. Последние открытки из Сорренто: лазурное море, сверкающими заливами глубоко врезавшееся в берега. Адрес: отель «Рим». Кристина ищет отель на открытке (окна своего номера молодая графиня пометила крестиком) — ослепительно-белое здание с широкими террасами, вокруг сады, шпалеры апельсинных деревьев. Кристина невольно воображает, как хорошо там прогуляться вечером, когда с моря веет синей прохладой, а нагревшиеся за день камни отдают тепло, хорошо бы там прогуляться с...

Но работа не ждет, не ждет. Вот письмо из Парижа. Кристина сразу догадывается, от кого — от дочери господина... О ней мало хорошего говорят. Сначала вроде путалась с каким-то богатым евреем, нефтепромышленником, потом была где-то наемной партнершей для танцев и, возможно, кое для чего еще, а сейчас у нее опять кто-то завелся; да, письмо из отеля «Морис», шикарнейшая бумага. С раздражением Кристина швыряет письмо на стол. Теперь журналы. Те, что адресованы графине Гютерсхайм, она откладывает. «Дама», «Элегантный мир» и другие модные журналы с картинками,—ничего не случится, если госпожа графиня получит их вечером. Когда в конторе нет посетителей, Кристина извлекает из оберток журналы и листает их, рассматривая одежду, фотографии киноартистов и аристократов, ухоженные виллы английских лордов, автомашины знаменитых художников. Она вдыхает все это словно аромат духов, вспоминает своих знакомцев, с любопытством глядит на женщин в вечерних платьях и почти со страстью — на мужчин, этих избранников с отполированными роскошью или озаренными умом лицами; с дрожью в руках она закрывает журналы, потом снова листает их, и в глазах ее попеременно отражаются любопытство и злоба, наслаждение и зависть при виде мира, который еще близок и уже так далек.

Всякий раз она испуганно вздрагивает, когда ее соблазнительные видения прерываются топотом тяжелых башмаков и перед окошком появляется какой-нибудь крестьянин с сонными воловьими глазами, с трубкой в зубах и просит почтовых марок; вот тут-то Кристина, сама того не ожидая, взрывается и кричит на оторопевшего беднягу: «Читать умеете? Здесь запрещено курить!» — или бросает ему в лицо еще какую-нибудь грубость.

Это происходит помимо ее воли, она просто вымещает на первых встречных свою злость на весь мир с его мерзостью и подлостью. После она стыдится этого. Они ж не виноваты, бедняги, в том, что такие некрасивые, неотесанные, чумазые от работы, по-

грязшие в деревенской трясине, думает она, ведь я сама такая же. Но злость и отчаяние настолько завладели ею, что она, не желая того, срывается по всякому поводу. Удар, нанесенный Кристине, в силу вечного закона инерции как бы передается дальше, и вот на единственном посту, где почтарка обладает крохотной властью, в этой убогой конторке она разряжает свой гнев на невиновных. Там, в другом мире, пробудившаяся в ней потребность самоутверждения питалась вниманием и домогательствами поклонников, здесь же эту потребность она могла утолить, лишь когда пускала в ход частицу власти, какой обладала по должности. Она понимает, что важничать перед этими добрыми простыми людьми убого и низко, но, вспылив хоть на секунду, тем самым дает себе разрядку. А злобы скопилось столько, что если не представляется случая выплескивать ее на людей, то Кристина вымещает ее на неодушевленных предметах. Не вдевается нитка в иголку — она рвет ее, застрял выдвинутый ящик — с грохотом вгоняет его в стол; почтовая дирекция прислала не те товарные накладные — она, вместо того чтобы вежливо указать на ошибку, шлет письмо, полное возмущения и негодования; если ее сразу не соединяют по телефону — она грозит коллеге, что немедленно подаст на нее жалобу. Грустно все это, она сама ужасается происшедшей в ней перемене, но ничего с собой поделать не может, ей надо как-то избавиться от переполняющей ее злобы, иначе она задохнется.

После работы Кристина спешит домой. Раньше она часто прогуливалась с полчасика, пока мать спала, беседовала с лавочницей, играла с детьми соседки, а теперь запирается в четырех стенах, сажая на цепь свою враждебность к людям, чтобы не бросаться на них как злая собака. Она больше не в силах видеть улицу, где вечно одни и те же дома, вывески и физиономии. Ей смешны бабы в широких ситцевых юбках, с высокими взбитыми прическами, с аляповатыми кольцами на руках, нестерпимы мужики, пыхтящие, толстобрюхие, и всего противнее парни, которые на городской манер помадят волосы; невыносим трактир, где пахнет пивом и скверным табаком и служанка — ядреная девка — глупо хихикает и краснеет, когда помощник лесничего и жандармский вахмистр отпускают сальные шутки или дают волю рукам. Кристина предпочитает сидеть дома взаперти, не зажигая света, чтобы не видеть опостылевших вещей. Сидит молча и думает все время об одном и том же. Ее память с удивительной силой и ясностью рисует несчетные подробности, которых она там, в круговерти, толком не разглядела. Она вспоминает каждое слово, каждый взгляд, воскрешает с поразительной остротой вкус каждого блюда, которое отведала, аромат вина, ликера. Вызывает в воображении ощущение легкого шелкового платья на голых плечах и мягкость белоснежной постели. Оживляет в памяти множество мелочей: как однажды маленький американец упорно следовал за ней по коридору и в поздний час стоял перед ее дверью, как немочка из Мангейма нежно проводила пальцами по ее руке... Кристина вздрагивает, словно от ожога,— где-то она слышала, что женщина может влюбиться и в женщину. Восстанавливая час за часом каждый тогдашний день, она только сейчас осознает, сколько непредвиденных и неиспользованных возможностей таило в себе то время.

Так вечерами сидит она в одиночестве, переносясь мыслями в недавнее прошлое, вспоминает, какой была, понимая, что сейчас уже не такая, и ей не хочется этого знать, но тем не менее она это знает. Когда стучат в дверь — это Фуксталер уже не раз пытается ее навестить,— она, затаив дыхание, не двигается с места и облегченно вздыхает, услыхав его шаги, удаляющиеся по скрипучей лестнице; мечты — единственное, что у нее осталось, и она не желает с ними расставаться. Намечтавшись до изнеможения, Кри-

стина ложится в постель, и сразу ее, отвыкшую от холода и сырости, пробирает дрожь; она так мерзнет, что укрывается поверх одеяла еще платьем и пальто. Засыпает она нескоро, спит беспокойно, тревожно, и снится ей все один и тот же кошмарный сон: будто она мчится в автомашине по горам, вверх, вниз, мчится с жуткой скоростью, ей и страшно и весело, а рядом, обняв ее, сидит мужчина — то инженер-немец, то кто-то другой. Потом вдруг она с ужасом обнаруживает, что сидит совершенно голая, машина остановилась, их обступили какие-то люди и смеются, она кричит на спутника, чтобы завел мотор,— давай быстрее, быстрее! — наконец мотор заводится, его шум сладостно отзывается в сердце, и ее охватывает чувство восторга, они совсем низко летят над полями, в темный лес, и она уже не голая, а он все крепче прижимает ее к себе, так крепко, что она стонет и, кажется, теряет сознание.

Тут она просыпается, обессиленная, смертельно усталая, все у нее болит, и видит мансарду, закопченные червоточные балки с паутиной по углам, и лежит не отдохнувшая, опустошенная, пока не зазвенит будильник, этот безжалостный вестник утра; она слезает с постылой старой кровати, влезает в постылую старую одежду, вступает в постылый день.

Целый месяц Кристина пребывает в состоянии болезненной раздраженности и вынужденного уединения. Больше она не выдерживает — чаша грез исчерпана, каждая секунда той жизни пережита вновь, прошлое не придает сил. Измученная, с постоянной головной болью, она ходит на работу, выполняя ее механически, в полудреме. Вечером сон не идет к ней, безмолвие мансардного гроба не для ее натянутых нервов, горячему телу неуютна холодная постель. Терпение ее иссякло. Неодолимым становится желание хоть раз увидеть из окна не осточертевшую вывеску «Золотого быка», а что-нибудь другое, поспать на другой кровати, встретиться с чем-то новым, стать хоть на несколько часов другой. И внезапно она решается: вынимает из ящика стола две стофранковые купюры, которые достались ей от дядиного выигрыша, берет свое самое хорошее платье, самые хорошие туфли и в субботу сразу после службы отправляется на станцию, где покупает билет до Вены.

Она не знает, зачем едет в город, не знает точно, чего хочет. Только бы вырваться отсюда, из села, со службы, удрать от самой себя, от человека, обреченного прозябать в этой глуши. Только бы опять услышать стук вагонных колес, увидеть огни, других людей, ярких, нарядных. Лучше опять хоть раз поймать удачу, чем быть пригвожденной, как доска в заборе. Двигаться, почувствовать жизнь, почувствовать себя — другой.

В семь часов приехав в Вену, она оставила чемоданчик в небольшом отеле на Мариахильферштрассе и еще успела до закрытия в парикмахерскую. Ею овладела охота повториться, сделать то же, что и тогда, вспыхнула сумасбродная надежда, что с помощью искусных рук и румян она еще раз преобразится в ту, которой была. Снова она ощущает теплые, влажные дуновения, и проворные пальцы нежно прикасаются к ее волосам, ловкий карандаш вычерчивает на бледном, усталом лице прежние губы, столь желанные и целованные, немного румян освежает щеки, темноватая пудра воскрешает воспоминание об энгадинском загаре. Когда Кристина, окутанная ароматным облаком, встает, она ощущает в ногах прежнюю твердость. Теперь она шагает по улице выпрямившись, с достоинством. Будь на ней подходящее платье, она чувствовала бы себя, пожалуй, прежней фройляйн фон Боолен. Сентябрьским вечером еще светло, сейчас хорошо идти по вечерней прохладе, и порой Кристина замечает, что на нее с интересом поглядывают. Я еще живу, вздыхает она радостно, еще живу. Время от времени она останавливается у витрин, рас-

сматривая меха, одежду, обувь, и в стекле отражаются ее горящие глаза. А может, все еще вернется, думает она, взбодрившись. По Мариахильферштрассе она выходит на Ринг, ее взгляд все больше светлеет при виде людей, которые, беззаботно болтая, прогуливаются здесь. Это они, думает она, и отделяет меня от них лишь тонкий слой воздуха. Где-то есть невидимая лестница, по которой надо подняться, сделать только один шаг, один-единственный. У Оперы она останавливается; судя по всему, скоро начало спектакля, подкатывают машины — синие, зеленые, черные, сверкающие стеклами и лаком. У подъезда их встречает служитель в ливрее. Кристина входит в вестибюль, чтобы посмотреть на публику. Странно, в газетах пишут о венской культуре, думает она, о любящих искусство венцах, об Опере, которую они создали, а я, почти всю жизнь прожившая в этом городе, за двадцать восемь лет здесь впервые, да и то в «прихожей». Из двух миллионов, наверное, не больше ста тысяч ходят в Оперу, остальные только читают о ней в газетах, слушают чьи-то рассказы, видят на картинках, но сами так никогда и не бывают здесь. А кто же эти, другие? Она разглядывает женщин взволнованно и не без возмущения. Нет, они не красивее меня, я тогда выглядела лучше, и походка у них не легче, не свободнее, вот только одежда и что-то еще невидимое, придающее им уверенность. Нужно сделать лишь шаг, один-единственный шаг, и ты поднимешься с ними по мраморной лестнице в ложу, в золотой шатер музыки, в мир беззаботных и наслаждения.

Звонок — опаздывающие, снимая на ходу пальто, спешат к гардеробам. Вестибюль пустеет, все там, в зале, перед нею опять встает невидимая стена. Кристина выходит на улицу. Над Рингом белыми лунами парят фонари, на тротуарах еще многолюдно. Поток прохожих влечет ее дальше по бульварному кольцу. У какого-то большого отеля она останавливается, словно притянутая магнитом. Только что сюда подъехала машина, выскочившие из отеля бои-носильщики подхватывают чемоданы и сумку у прибывшей дамы восточной наружности, дверь-вертушка поглощает их. Кристина не в силах двинуться с места, эта дверь гипнотизирует ее, ей вдруг нестерпимо захотелось увидеть вожделенный мир хотя бы на минутку. Ничего не случится, думает она, если войду и спрошу портье, приехала ли госпожа ван Боолен из Нью-Йорка, ведь такое вполне возможно. Только взглянуть, не больше, еще раз все вспомнить, хорошенько вспомнить, на секунду опять почувствовать себя другой. Она входит, портье, занятый прибывшей дамой, не замечает Кристины, и она беспрепятственно идет через вестибюль, рассматривая публику. В креслах, беседуя и дымя сигаретами, сидят господа в хорошо сшитых, элегантных дорожных костюмах или смокингах, в изящных лаковых туфлях. В нише расположилась целая компания: три молодые женщины громко разговаривают по-французски с двумя молодыми людьми, то и дело звучит смех, беспечный, нестесненный смех — музыка беззаботности, упивающейся самой собою. Позади их ждет просторный зал с мраморными колоннами — ресторан. Официанты во фраках стоят у дверей на страже. Можно зайти поужинать, думает Кристина и машинально ощупывает сумку — там ли кошелек с двумя стофранковыми бумажками и семьюдесятью шиллингами. Конечно, можно, а сколько это будет стоить? Зато еще раз посидеть в таком вот зале, где за тобой ухаживают, восхищаются, балуют, послушать музыку — да, оттуда в самом деле доносится музыка, легкая и негромкая. Но в ней опять оживает знакомый страх: у нее нет платья, нет талисмана, который раскроет перед ней эту дверь. Мимолетное чувство уверенности исчезает, и опять внезапно вырастает незримая преграда, магическая пентаграмма страха, которую она не осмеливается переступить. Вздрогнув, она быстро, словно убегая от погони, выходит из отеля. Никто не взглянул на нее, никто не оста-

новил, и оттого, что ее просто не заметили, она чувствует себя еще более неуютно, чем когда вошла сюда.

И опять она шагает по улице. Куда пойти? Да и зачем я, собственно, иду? Улицы постепенно пустеют, ее обгоняют прохожие, видно, торопятся к ужину. Зайду в ресторан, решает Кристина, но не в такой шикарный, а куда-нибудь попроще, где светло, где обычные люди и где на меня не будут коситься. Вскоре она находит такое заведение и садится за свободный столик. Никто не обращает на нее внимания. Официант приносит ей заказанные блюда, она что-то жует, безучастно и раздраженно. «И для этого я пришла,— думает она,— ну что здесь делать? Сидеть и смотреть на белую скатерть? Нельзя же все время есть, что-то еще заказывать, рано или поздно придется встать и идти дальше. Но куда? Всего лишь девять часов». К ее столику подходит разносчик газет — уже разнообразие, предлагает вечерние выпуски, она покупает две-три газеты, не для того чтобы читать, а просто поглядеть и сделать вид, будто занята, будто кого-то ждет. Она равнодушно просматривает новости. Какое ей дело до трудностей при формировании правительственного кабинета, до кражи с убийством в Берлине, биржевых сводок, что́ ей эта болтовня о солистке Оперы: останется ли она в труппе или нет, будет ли выступать двадцать или семьдесят раз в год,— я все равно никогда ее не услышу. Уже отложив газету, она замечает на последней странице крупный заголовок: «Развлечения — куда пойти сегодня вечером», а ниже объявления театров, танцбаров, кабаре. Она снова берет газету и читает: «Танцевальная музыка — кафе «Оксфорд», «Сестры Фредди — бар «Карлтон», «Капелла венгерских цыган», «Знаменитый негритянский джаз-банд, открыто до трех утра, рандеву с лучшим венским обществом!» Может, еще раз побывать там, где развлекаются, потанцевать, сбросить невыносимый панцирь, сковывающий грудь? Она записывает адреса двух заведений — оба недалеко отсюда, как ей сказал официант.

Она сдает в гардеробе пальто и сразу чувствует себя легче, избавившись от надоевшего чехла. Снизу, из полуподвала, доносится быстрая, четкая музыка, Кристина спускается по ступенькам в бар. Увы, разочарование: здесь еще почти пусто. Оркестр — полдюжины парней в белых куртках — старается вовсю, словно хочет насильно заставить пуститься в пляс нескольких нерешительных посетителей, сидящих за столиками. Но на квадратной площадке одна-единственная пара: явно наемный партнер — чуть подведенные веки, чуть-чуть слишком тщательно причесан, чересчур бро́ски заученные па — без воодушевления снует вдоль средней линии со здешней «дамой».

Из двадцати столиков четырнадцать-пятнадцать пустуют. За одним сидят три дамы определенной профессии: одна с обесцвеченными до пепельного цвета волосами, вторая в весьма мужской экипировке — черное платье и облегающий жилет, похожий на смокинг, третья — жирная, грудастая еврейка, медленно потягивающая виски через соломинку. Все три, смерив наметанным взглядом Кристину, тихо посмеиваются и перешептываются, по своему многолетнему опыту они принимают ее за новенькую или провинциалку. Мужчины, сидящие врозь за столиками, по-видимому, коммивояжеры, у них усталый вид, они плохо побриты, перед каждым чашка кофе или рюмочка шнапса, сидят развалившись и словно ждут чего-то, что поможет им встряхнуться. Когда Кристина вошла в зал, ей показалось, будто она ступила в пустоту. Захотелось повернуть назад, но к ней тотчас услужливо подбегает официант, спрашивает, куда барышне угодно сесть, она садится за первый попавшийся столик и ждет, как и другие, в этом невеселом увеселительном заведении чего-то, что должно произойти и не происходит. Лишь раз один посетитель (в самом деле представитель пражской текстильной фирмы) неуклюже

поднялся со стула и, пригласив Кристину, потоптался с ней под музыку, а потом отвел ее на место: то ли решимости не хватило, то ли не было охоты, но он почувствовал в этой незнакомке какую-то половинчатость — что-то странное и нерешительное, колеблющееся между желанием и нежеланием, в общем, для него слишком сложный случай (учитывая, что в шесть тридцать утра надо ехать дальше, в Аграм). Тем не менее Кристина сидит здесь уже час. Двое недавно вошедших мужчин подсели к «дамам», только она по-прежнему в одиночестве. Она вдруг подзывает официанта, расплачивается и уходит прочь, озлобленная, отчаявшаяся, провожаемая любопытными взглядами.

Опять улица. Поздний вечер. Она идет, не зная куда. Ей сейчас все равно. Безразлично, бросят ли ее в Дунайский канал, когда ее задавит машина (это едва не случилось только что при переходе улицы). Ей вдруг показалось, что полицейский как-то странно взглянул на нее и даже было направился к ней, будто собираясь что-то спросить, и она подумала, что ее, наверное, приняли за одну из этих самых женщин, которые медленно выходят из сумрака и заговаривают с мужчинами. Она идет дальше и дальше. Пожалуй, вернусь-ка в гостиницу, думает она, что тут делать? Неожиданно она слышит шаги за спиной. Рядом возникает чья-то тень, мужчина смотрит Кристине в лицо.

— Уже домой, фройляйн, так рано?

Она молчит. Но он не отступает, продолжая настойчиво и весело уговаривать. Не согласна ли она куда-нибудь заглянуть? Кристина ловит себя на том, что ей приятно его слушать.

— Нет, ни в коем случае.

— Но кто же в такое время идет домой? Только в кафе.

В конце концов она соглашается, лишь бы не оставаться одной. Славный парень, думает она, сказал, что служит в банке... наверняка женат, вон и кольцо на руке. Ах, все равно, ей ничего не надо от него, просто не хочется сейчас быть одной, пусть рассказывает анекдоты, можно и послушать вполуха. Время от времени она разглядывает его: не первой молодости, под глазами морщины, лицо усталое, и вообще вид такой же поношенный и помятый, как у его костюма. Но болтает очень мило. Впервые она опять разговаривает с человеком, вернее, выслушивает его и все же понимает: это не то, чего ей хочется. Его веселость отдается в ней какой-то болью. Да, кое-что из его рассказов забавно, однако она чувствует, что горечь прежней озлобленности еще дает о себе знать, и постепенно в ней зреет что-то вроде ненависти к этому незнакомцу, который рад и беззаботен, в то время как ей гнев застит глаза. Когда они выходят из кафе, он берет ее под руку и прижимает к себе. Точно так же, как сделал тогда, перед отелем, другой человек, и волнение, охватившее Кристину, вызвано не сегодняшним разговорчивым кавалером, а воспоминанием о том, другом. Внезапно она почувствовала страх. Ведь она, чего доброго, может поддаться первому встречному, который вовсе ей не нужен, уступить только лишь от злости, оттого, что иссякло терпение... Увидев приближающееся такси, она вдруг резко взмахивает рукой и, вырвавшись от озадаченного кавалера, ныряет в машину.

Позднее она долго лежит без сна на гостиничной койке, прислушиваясь к уличному шуму, к проезжающим машинам. Конечно, туда уже не вернуться, невидимый барьер не перешагнуть. Кристине не спится, она то и дело тяжко вздыхает, сама не зная о чем.

Воскресное утро тянется так же долго, как и неспокойная бессонная ночь. Большинство магазинов закрыты, соблазны их спрятаны за опущенными жалюзи. Чтобы убить время, Кристина идет в кафе и сидит там, листая газеты. Она уже забыла, что́ предвкушала, отправляясь в Вену, зачем приехала сюда, где ее никто не ждет, где она

никому не нужна. Вспомнила только, что надо бы навестить сестру и зятя, ведь обещала, неудобно не зайти. И лучше всего сделать это после обеда, ни в коем случае не раньше, а то еще подумают, что нарочно пришла к накрытому столу. Сестра так изменилась с тех пор, как у нее появились дети, дрожит над каждым куском. Еще есть часа два-три, можно погулять. На Ринге, у картинной галереи, Кристина видит объявление, что вход сегодня бесплатный; она равнодушно бродит по залам, присаживается на бархатные скамейки, разглядывает публику. Потом снова шагает по улице, заходит в какой-то парк, и чувство одинокости в ней становится все сильнее и сильнее. Когда же наконец в два часа она подходит к дому зятя, то чуть не валится с ног от усталости, словно полдня тащилась по сугробам. И прямо у ворот неожиданно встречает все семейство; сестра, зять, дети — все нарядно, по-воскресному одеты и все искренне (к удовольствию Кристины) рады ее приходу.

— Вот это да, ну и сюрприз! А я еще на той неделе говорил жене, надо бы ей написать, чего она не показывается, и вот... Что ж ты не пришла к обеду? Ну ладно, мы собрались в Шёнбрунн, хотим показать детям зверушек, да и прогуляемся заодно, день-то какой... Идем с нами.

— С удовольствием,— соглашается Кристина.

Хорошо, когда знаешь, куда идти. Хорошо, когда ты с людьми. Нелли ведет детишек, а Франц, взяв под руку Кристину, развлекает ее всякими историями. Он говорит без умолку, широкое лицо лучится добродушием; издалека видно, что живется ему неплохо, что он доволен жизнью и собой. Еще не дойдя до трамвайной остановки, зять успел под большим секретом сообщить ей, что завтра его выберут председателем районного бюро, но ведь он заслужил это — доверенным лицом в партийной организации он стал сразу же, вернувшись с войны, и если дела пойдут успешно и на ближайших выборах удастся победить католиков, то он войдет в местный совет.

Кристина любезно слушает зятя. Она всегда симпатизировала этому простому, небольшого роста человеку, обходительному и доверчивому. Ей понятно, что товарищи Франца охотно избирают его на скромную должность, он действительно этого заслуживает. И все же, поглядывая сбоку на него — краснощекого, спокойного, с двойным подбородком и брюшком, которое колышется при каждом шаге, Кристина не без испуга думает о сестре: ну как она может... Чтобы ко мне прикасался такой мужчина — я бы не вытерпела. Но днем среди людей с ним хорошо. У решеток зверинца в окружении детишек он сам становится ребенком. И с тайной завистью Кристина подумала, что, изводя себя несбыточными мечтами, разучилась радоваться таким простым вещам.

Наконец в пять часов (детям надо рано ложиться спать) решено возвращаться. В переполненный по-воскресному трамвай сначала впихивают детей, затем втискиваются сами. Под торопливый стук колес, сдавленная со всех сторон, Кристина невольно вспоминает: ясное утро, сверкающий автомобиль, упоительно пряный воздух, ветерок, овевающий лоб и щеки, упругое сиденье, мелькающий ландшафт... В трамвайной давке, зажмурившись, она мысленно витает в далеких сферах, не замечая времени, и открывает глаза, лишь когда зять трогает ее за плечо.

— На следующей вылезаем. И сразу к нам, выпьем кофейку, на поезд еще успеешь. Погоди-ка, я первый, расчищу дорогу.

Выставив вперед локоть, он стал проталкиваться; низенькому здоровяку в самом деле удалось пробуравить узкий проход между елеуступающими напору животами и спинами. И когда он уже был почти у дверей, вспыхнул скандал.

— Осторожнее, болван, локтем своим живот продавил! — крикнул, озлившись, высокий худой мужчина в плаще.

— Кто болван? — возмутился Франц.— Все слышали, все?.. Кто болван?

Человек в плаще с трудом протиснулся ближе, пассажиры с любопытством уставились на них в ожидании перебранки. Но гневный голос Франца вдруг осекся.

— Фердинанд, ты?.. Это же надо, чуть было не разругались, ну и дела!

Человек в плаще тоже изумленно улыбается. Оба смотрят друг на друга, взявшись за руки, и никак не могут насмотреться.

Кондуктор, видя затянувшуюся встречу, предупреждает:

— Господа, кому выходить, прошу побыстрее! Вагон ждать не может.

— Пошли с нами, я живу тут рядом... Это ж надо!.. Пошли, пошли!

Высокий, улыбаясь, кладет руку низенькому Францу на плечо.

— Конечно, Франциль, конечно.

Оба выходят вместе. Франц шумно сопит от волнения, лицо его блестит, словно смазанное жиром.

— Это ж надо, свела нас все-таки жизнь — повстречались, уж сколько раз о тебе вспоминал, думал: напишу-ка ему, да все откладывал, откладывал, сам знаешь, как это бывает. И вот наконец встретились. Это ж надо, господи, как я рад.

Знакомый Франца тоже радуется, это заметно по тому, как у него подрагивают губы. Только он моложе и более сдержан.

— Ну ладно, ладно, Франциль,— он похлопывает друга по плечу,— а теперь представь-ка меня дамам, одна из них наверняка Нелли, твоя жена, о которой ты мне так часто рассказывал.

— Да, да, конечно, извини, совсем растерялся... Господи, до чего ж я рад!— И обращаясь к Нелли: — Это Фердинанд Барнер, ну тот самый, о котором я тебе говорил. Два года мы провели вместе в бараках, там, в Сибири. Он был единственный — да, да, Фердинанд, ты сам знаешь,— единственный порядочный парень среди всего австро-венгерского сброда, с которым мы угодили, единственный, с кем можно было поговорить, на кого можно было положиться... Это ж надо!.. Чего мы стоим, пошли, не терпится послушать, что с тобой приключилось. Нет, это ж надо! Если б кто-нибудь сегодня сказал, что меня ждет такая радость... Нет, ты представь: сядь я на следующий трамвай, и мы вообще могли больше ни разу в жизни не встретиться!

Никогда еще Кристина не видела спокойного, уравновешенного зятя таким оживленным и проворным. Он чуть ли не бегом поднялся по лестнице и распахнул дверь перед своим фронтовым товарищем, который со снисходительной улыбкой принимал его восторги.

— Снимай пиджак, располагайся поудобнее, садись вот сюда, в кресло... Нелли, кофе, водку, сигареты!.. Ну-с, дай-ка я на тебя погляжу. Да-а, не помолодел и чертовски тощий. Откормить бы тебя как следует не мешало.

Гость добродушно позволял себя рассматривать, ребячливость хозяина явно была ему по душе. Суровое, напряженное лицо с выпуклым лбом и выступающими скулами постепенно смягчалось.

Глядя на него, Кристина вспомнила портрет монаха какого-то испанского художника, который видела сегодня в галерее: такое же аскетическое, костлявое, почти бесплотное лицо с глубокими складками у рта.

Гость, улыбаясь, похлопал Франца по руке:

— Пожалуй, ты прав, нам бы с тобой опять поделиться, как тогда, консервами: немного жирка можешь мне уступить, тебе не повредит, и Нелли, надеюсь, не будет против.

— Ладно, дружище, рассказывай, а то я сгорю от любопытства: куда же вас тогда Красный Крест завез, я ведь попал в первый эшелон, а ты и еще семьдесят человек должны были приехать на следующий день. Мы двое суток простояли у австрийской границы. Не было

угля. С часу на час ждали, что ты появишься, десять, двадцать раз ходили к начальнику станции, требовали, чтобы запросили телеграфом, но там была жуткая неразбериха, в общем, двинулись мы только на третий день, семнадцать часов тащились от чешской границы до Вены. Так что с вами стряслось?

— Ты мог бы с тем же успехом еще два года ждать у границы, вам повезло, а нам дали от ворот поворот. Через полчаса после вашего отъезда полетели телеграммы: пути взорваны чехословацким легионом, и нас завернули обратно в Сибирь. Не шутка, но мы не отчаивались. Думали — еще недельку-две, ну месяц. Но что это протянется два года, никто и вообразить не мог. Из семидесяти дожили человек пятнадцать. Красные, белые, Колчак, война не затихала, нас перебрасывали то вперед, то назад и трясли, как горох в мешке. Только в двадцать первом Красный Крест вызволил нас через Финляндию. В общем, помыкались немало и, сам понимаешь, обрасти жирком не пришлось.

— Вот незадача, ты слышишь, Нелли! И все из-за какого-то получаса. А я знать ничего не знал, понятия не имел, что приключилось такое, да еще с тобой! Как раз с тобой! Ну и что же ты делал эти два года?

— Эх, дружище, если начну все рассказывать, до завтра не кончу. Пожалуй, я занимался всем, чем вообще может заниматься человек. Помогал косить, работал на строительстве, разносил газеты, стучал на пишущей машинке, две недели воевал за красных, когда они подошли к нашему городу, потом отправился по деревням — милостыню просил... Вспомнишь, и даже не верится, что сижу тут с вами и покуриваю.

Франц страшно разволновался:

— Нет, это ж надо! Я только сейчас понял, как мне повезло: ведь если подумать, что ты с детьми еще два года была бы тут одна, без меня... Нет, это ж надо! Чтобы жизнь этак огрела по башке, и какого славного парня! Слава богу хоть выкарабкался, цел и невредим.

Гость положил горящую сигарету в пепельницу и резким движением придавил ее. Его лицо внезапно помрачнело.

— Да, можно считать, мне повезло, и цел, и почти невредим, вот только два пальца сломали в последний день. Да, можно считать, выпала удача, отделался легко. Случилось это в день окончательного отъезда, собрали всех, кто жив остался, на станции, самим пришлось от пшеницы товарный вагон очищать, ждать больше сил не было, всем хотелось поскорее уехать, и погрузили нас в этот вагон семьдесят человек вместо сорока по норме. Повернуться негде, и если кому приспичило по нужде... нет, при дамах не расскажешь. Но все-таки мы ехали, и на том спасибо. На следующей станции к нам подсадили еще двадцать человек. Вталкивали их прикладами, одного за другим, пятеро или шестеро уже на полу валялись — затоптали, и так вот ехали семь часов, прижатые друг к другу, кругом стонут, кричат, хрипят, вонь страшная. Я стоял лицом к стенке, изо всех сил упирался руками, чтобы грудь не продавили, два пальца сломал, на третьем сухожилие лопнуло, шесть часов стоял, полузадохнувшийся. На следующей остановке чуть полегчало — выкинули пять трупов, двоих затоптали, трое задохлись, вот так и ехали до самого вечера... Да, можно считать, повезло, два сломанных пальца и порванное сухожилие... Пустяк.

Он показал правую руку: средний палец был дряблый и не сгибался.

— Пустяк, правда? Всего один палец после мировой войны и четырех лет Сибири... Но вы не поверите, что́ значит один мертвый палец для живой руки. Нельзя рисовать, если хочешь стать архитектором, нельзя печатать на машинке, нельзя браться за тяжелую работу. Какая-то несчастная жилка, а на этой жилке вся карьера висит. Все

равно что в проекте здания ошибиться на миллиметр — пустяк вроде, а дом может рухнуть.

Франц потрясен, то и дело беспомощно повторяет свое: «Это ж надо! Это ж надо!» Видно, больше всего ему хочется сейчас погладить руку Фердинанда. Женщины озабоченно и с интересом поглядывают на гостя. Наконец к Францу возвращается дар речи:

— Ну а дальше, дальше, чем ты занимался после, когда приехал?

— Тем, что еще тогда тебе говорил. Хотел продолжить техническое образование, связать нить там, где она порвалась, в двадцать пять лет снова сесть за парту, из-за которой встал в девятнадцать. В конце концов научился рисовать левой, но тут опять кое-что помешало, тоже мелочь.

— Что именно?

— Видишь ли, в этом мире так заведено, что учение стоит немалых денег, вот как раз этой мелочи мне и не хватило... Вечно эти мелочи.

— Да, но почему вдруг? У вас же всегда водились деньги — дом в Меране, земли, трактир, мелочная лавка, табачный киоск. Сам рассказывал... И еще бабушка, которая на всем экономила, каждую пуговицу берегла и спала в холодной комнате, потому что жалела бумагу и лучину для растопки. Что с ней?

— Она живет в прекрасном доме, вокруг чудесный сад, я как раз ехал на трамвае оттуда, это дом для престарелых в Лайнце, поместили ее в богадельню с огромным трудом. А кроме того, у нее куча денег, полная шкатулка. Двести тысяч крон в добрых старых тысячных банкнотах. Днем она держит их в ящике, ночью под кроватью. Врачи смеются над ней, потешаются и сиделки. Двести тысяч крон... она была хорошей патриоткой и все продала — виноградники, трактир, лавку,— потому что не желала стать итальянкой. И все вложила в красивые, новехонькие тысячные банкноты, с такой помпой появившиеся на свет в войну. А теперь прячет их под кроватью и убеждена, что они когда-нибудь снова поднимутся в цене, что иначе быть не может: ведь то, что однажды было двадцатью или двадцатью пятью гектарами, хорошим каменным домом, добротной старинной мебелью и сорока или пятьюдесятью годами труда, не может превратиться навеки в ничто. Да, в свои семьдесят пять лет бедняга не понимает этого. Она по-прежнему верит в доброго боженьку и его земную справедливость.

Вынув из кармана курительную трубку, он быстро набил ее и начал вовсю дымить. В его стремительных движениях Кристина сразу почувствовала хорошо знакомую ей озлобленность — хладнокровную, жестокую, язвительную, это было приятно и как-то роднило с ним. Нелли сердито отвернулась. В ней явно росла неприязнь к пришельцу, который бесцеремонно дымит в комнате и обращается с ее мужем, как со школьником. Ее раздражала покорность мужа перед этим плохо одетым, ершистым и — она ощущала это инстинктивно — преисполненным бунтарского духа человеком, который будоражил их уютную заводь. Франц же, будто оглушенный, не отрываясь смотрит на своего товарища, добродушно и в то же время испуганно, и то и дело бормочет:

— Это ж надо! Нет, это ж надо!— Немного успокоившись, он снова задает все тот же вопрос:— Ну а дальше, что ты потом делал?

— Да всякое. Сначала решил подрабатывать, думал, хватит на оплату лекций, но оказалось, что едва хватало на пропитание. Да, милый Франц, банки, государственные учреждения и частные фирмы отнюдь не дожидались тех мужчин, которые прихватили две лишних зимы в Сибири, а потом вернулись на родину с покалеченной рукой. Повсюду: «Сожалею, сожалею», повсюду уже сидели другие — с толстыми задницами и здоровыми пальцами, повсюду я с моей «мелочью» оказывался в последнем ряду.

— Но... ведь у тебя есть право на пенсию по инвалидности, ты же нетрудоспособен или трудоспособен ограниченно, тебе же должны оказать помощь, ты имеешь на это право.

— Ты полагаешь? Впрочем, я тоже так думаю. И думаю, что государство до некоторой степени обязано помочь человеку, если тот потерял дом, виноградники, один палец и вычеркнул из жизни шесть лет. Но, мой милый, в Австрии все дорожки кривые. Я тоже не сомневался, что оснований у меня достаточно, пошел в инвалидное ведомство, сказал, где и когда служил, показал палец. Но не тут-то было: во-первых, надо представить справку о том, что увечье я получил на войне или же оно является следствием войны. А это не просто, поскольку война окончилась в восемнадцатом, а палец покалечили в двадцать первом в обстановке, когда составлять протокол было некому. Ну ладно, это еще полбеды. Но вот затем господа сделали великое открытие — да, Франц, сейчас ты обалдеешь,— оказывается, я вовсе не австрийский подданный. Согласно метрике я родился в Меранском округе и подлежу его юрисдикции, а чтобы стать гражданином Австрии, мне следовало своевременно оптироваться.

— Так почему... почему же ты не оптировался?

— Черт возьми, ты задаешь мне тот же дурацкий вопрос, что и они. Будто в сибирских избах и бараках в девятнадцатом году вывешивали для нас австрийские газеты. В нашей таежной деревне мы, дорогой Франц, понятия не имели, отойдет ли Вена к Богемии или к Италии, да нам, честно говоря, было на это наплевать, нас интересовало только, как бы раздобыть кусок хлеба и избавиться от вшей. Да еще сходить в соседнюю деревню за коробком спичек или пригоршней табака — пять часов туда и обратно. Вот и оптируй там австрийское гражданство... В конце концов мне все-таки выдали бумажку, в которой значилось, что я «согласно статье шестьдесят пятой, равно как статей семьдесят первой и семьдесят четвертой Сен-Жерменского мирного договора от десятого сентября тысяча девятьсот девятнадцатого года, предположительно являюсь австрийским гражданином». Готов уступить тебе эту бумажонку за пачку египетских сигарет, ибо во всех ведомствах мне не удалось выцарапать ни гроша.

Франц оживился. Ему сразу стало легче — он почувствовал, что теперь-то сумеет помочь.

— Ну, это я устрою, не сомневайся. Это мы провернем. Лично я могу засвидетельствовать твою военную службу, а депутаты — мои однопартийцы,— они уж найдут ход, и рекомендацию от магистрата ты получишь... Это мы провернем, будь уверен.

— Спасибо тебе, дружище! Но хлопотать я больше не стану, с меня хватит. Ты даже не представляешь, сколько я приволок всяких бумаг — военных, гражданских, от бургомистра, от итальянского посольства, справку об отсутствии средств к существованию и еще бог знает что. На гербовые марки и почтовые сборы потратил больше, чем выклянчил за целый год, набегался так, что пятки до сих пор горят. В государственной канцелярии был, в военном министерстве был, ходил и в полицию и в магистрат, там нет ни единого кабинета, куда бы меня не отослали, ни одной лестницы, по которой бы я не протопал вверх и вниз, ни одной плевательницы, в которую бы не плюнул. Нет, мой милый, лучше подохнуть, чем еще раз таскаться по инстанциям.

Франц растерянно смотрит на приятеля, словно тот поймал его на вранье. Ему неловко за собственное благополучие, он чувствует себя чуть ли не виноватым.

— Да, но что же ты теперь делаешь? — спрашивает он, придвинувшись ближе к Фердинанду.

— Что придется. Пока работаю в Флоридсдорфе десятником на стройке, так — полуархитектор, полунадзиратель. Платят вполне сносно, будут держать, пока закончат строительство или же разорят-

ся. А там что-нибудь найду, сейчас это меня не волнует. Но вот главное, о чем я тебе говорил тогда в Сибири, на нарах, о моей мечте стать архитектором, строить мосты — на том поставлен крест. Время, которое там, за колючей проволокой, прошло впустую, теперь уже не наверстать. Дверь в институт закрыта, мне ее не отпереть, ключ выбила из рук война, он остался в сибирской грязи. И хватит об этом... Налей-ка мне лучше коньяку, пить и курить — единственное, чему мы научились на войне.

Франц послушно наливает рюмку. Руки его дрожат.

— Это ж надо, нет, это ж надо! Такой парень, умный, работящий, честный, и должен так мыкаться. Это ж истинный позор! Я готов был поклясться, что ты далеко пойдешь, уж если кто этого заслужил, так это ты. Иначе и быть не может. Должно же все в конце концов образоваться.

— Должно? Я тоже так думал, все пять лет с тех пор, как вернулся. Только «должно»— твердый орешек, не всем по зубам. В жизни ведь все выглядит немножко по-другому, чем мы учили в хрестоматии: «Будь верным и честным до гроба...» Мы не ящерицы, у которых обломленный хвост мигом отрастает. Когда отняли шесть лет жизни, Франц, шесть лучших лет — с девятнадцати до двадцати пяти — вырезали из живого тела, то становишься вроде калеки, даже если, как ты говоришь, удалось благополучно вернуться домой. Знаний у меня не больше, чем у любого юного ремесленника или беспутного гимназиста,— с такими знаниями я нанимаюсь на работу, а выгляжу на все сорок. Нет, в плохие времена мы родились на свет, и никакой врач тут не поможет, шесть лет молодости, вырванных живьем, кто их возместит? Государство? Эта шайка воров и подлецов? Назови хоть одно среди ваших сорока министерств — юстиции, социального обеспечения, любое из ведомств мирных и военных дел, которое было бы за справедливость. Сначала они погнали нас под марш Радецкого и «Боже, храни», а теперь трубят совсем другое. Да, милейший, когда твои дела дрянь, мир выглядит не очень-то розовым.

Франц сидит подавленный. Не замечая сердитых взглядов жены, он смущенно принимается оправдывать друга:

— Вот слушаю тебя и не узнаю... Эх, посмотрели бы вы, какой он был там,— добрее и талантливее его не было, единственный порядочный малый среди всего сброда. Помню, как Фердинанда привели к нам, худенький парнишка девятнадцати лет, другие на радостях чуть не плясали, что заваруха для них кончилась, только один он был бледный от злости, что его схватили при отступлении, вытащив прямо из вагона, не дали довоевать и погибнуть за отечество. В первый же вечер он, помнится, стал на колени и начал молиться, такого мы еще не видали... да, на войну он попал прямо из рук пастора и матушки. Если кто-нибудь смеялся над императором или армией, он готов был вцепиться тому в горло. Вот таким он был, самый порядочный, еще верил во все, что писали в газетах и в приказах по полку... а теперь вот что говорит!

Фердинанд хмуро посмотрел на него:

— Да, я верил всему, как школьник. Но вы меня отучили. Разве не вы сказали мне в первый же день, что все — обман, наши генералы ослы, а интенданты воры, что дурак тот, кто не сдался в плен. А кто был там главным агитатором? Я или ты? Кто держал речи о мировой революции и мировом социализме? Кто первым взял красный флаг и отправился в офицерский лагерь срывать с офицеров кокарды? Ну-ка вспомни, вспомни! Кто вместе с красным комиссаром у губернаторского дворца обратился с речью к пленным австрийцам, говорил, что они больше не наемники императора, а солдаты мировой революции, что они поедут домой для того, чтобы разрушить капиталистический строй и создать царство порядка и справедливости? Ну и что же стало после того, как тебе снова подали твою любимую

рульку с кружкой пива? Где же, позвольте покорнейше спросить, господин оберсоциалист, ваша мировая революция?

Нелли резко встает и начинает возиться с посудой. Она уже не скрывает своего раздражения тем, что ее муж в собственном доме позволяет чужаку распекать его, как мальчишку. Кристина замечает, что сестра рассержена, но ей самой почему-то весело, даже хочется смеяться, глядя, как зять, будущий председатель районного бюро, сидит понурившись и смущенно извиняется.

— Мы же сделали все, что было надо. Сам знаешь, революцию начали в первый же день...

— Революцию? Да вся ваша революция выеденного яйца не стоит. На императорско-королевском балагане вы только сменили вывеску, а внутри все оставили по-старому, с покорством и почтением: господ — аккуратненько наверху, низы — точненько внизу, вы побоялись грохнуть кулаком и перевернуть все до основания. Не революция у вас получилась, а фарс Нестроя [1].

Поднявшись, он в сильном волнении ходит взад-вперед по комнате, потом внезапно останавливается перед Францем.

— Не пойми меня превратно, я не из «красных». Я слишком близко видел гражданскую войну и, даже если б ослеп, все равно этого не забуду... Одна деревня трижды переходила от красных к белым, и когда наконец красные ее взяли, то нас заставили хоронить трупы. Я собственными руками закапывал их, обугленных, искромсанных детей, женщин, лошадей — всё вперемешку, вонь, ужас... С тех пор я знаю, что такое гражданская война, и предложи мне сейчас кто добыть вечную справедливость с неба такой ценой, я бы напрочь отказался. Мне до этого больше нет дела, я не за большевиков и не против них, я не коммунист и не капиталист, меня интересует судьба только одного человека — самого себя, и единственное государство, которому я хотел бы служить,— это моя работа. А каким путем добьется счастья следующее поколение, мне совершенно наплевать, моя забота — наладить свою исковерканную жизнь и заняться тем, на что я способен. Когда в моей жизни наступит порядок и появится свободный часок, тогда я, быть может, после ужина поразмышляю о том, как навести порядок в мире. Но сначала мне надо найти свое место. У вас есть время беспокоиться о чужих делах, у меня же только — о своих.

Франц порывается возразить.

— Да нет, Франц, я это не в укор тебе. Ты славный парень, я не сомневаюсь, что если бы ты мог, то очистил бы для меня Национальный банк и сделал бы меня министром. Знаю, ты добрый, но ведь это наша вина, наш грех, что мы были такими добрыми, такими доверчивыми, что с нами делали все, что хотели. Нет, дружище, меня больше не проведешь увериями, что, мол, другим хуже, что мне еще повезло — руки-ноги целы, без костылей бегаю... Мол, будь доволен, что дышишь и не голодный, значит, все в порядке. Нет, меня не обманешь. Я больше ни во что не верю: ни в бога, ни в государство, ни в какой-либо смысл жизни — ни во что, и не поверю, пока не почувствую, что отстоял свое право, право на жизнь, а пока этого не произойдет, буду утверждать, что меня обманули и обокрали. Я не уступлю, пока не почувствую, что живу настоящей жизнью, а не довольствуюсь чужими отбросами и объедками. Тебе это понятно?

— Да!

Все удивленно поднимают глаза. «Да» прозвучало громко и страстно. Кристина замечает, что любопытные взгляды устремлены на нее, и краснеет. Ведь она не собиралась говорить — только мысленно, всей душой произнесла это «да», но оно само собой сорвалось с языка. И вот она сидит смущенная, оказавшись неожиданно в цент-

[1] Нестрой Иоганн (1801—1862) — австрийский комедиограф.

ре внимания. Все молчат. И тут Нелли вскакивает с места. Наконец-то улучила минуту разрядить свой гнев:

— А тебя кто спрашивает? Будто ты имела какое-то отношение к войне, что ты в этом понимаешь?

Атмосфера в комнате сразу накалилась. Кристина тоже рада возможности сорвать злость:

— Ничего! Ровным счетом ничего! Только то, что мы из-за войны все потеряли. Что у нас был брат, ты уже забыла, и как отец разорился — тоже, и что всё пропало... всё.

— Только не ты, тебе не на что жаловаться, у тебя есть хорошее место и радуйся этому.

— Так, значит, мне надо радоваться. И еще благодарить за то, что прозябаю в жалкой дыре. Видно, тебе не очень там нравилось, если выбиралась к матери раз в год по праздникам. Все, что сказал господин Барнер,— правда. У нас украли годы жизни и ничего не дали взамен; ни минуты покоя, радости, ни отпуска, ни передышки.

— Ни отпуска? Сама была в Швейцарии, в шикарных отелях, а еще жалуется.

— Я никому не жаловалась, вот твои жалобы всю войну только и слышала. А насчет Швейцарии... Именно потому, что я там видела, мне есть что сказать. Только теперь я поняла... что у нас отняли.. как нам исковеркали жизнь... чего мы...

Кристина вдруг почувствовала пристальный взгляд гостя и смутилась. Она подумала, что, наверное, слишком уж разоткровенничалась, и сбавила тон:

— Понятно, я не собираюсь равняться с теми, кто воевал, конечно, они пережили больше. Хотя каждому из нас хватало своей доли. Я никогда не жаловалась, не ныла и никому не была в тягость. Но когда ты говоришь, что...

— Тихо, дети! Не ссорьтесь,— вмешивается Франц.— Толку от этого чуть, нам, вчетвером, уже ничего не поправить: не надо о политике, тут всегда начинаются раздоры. Поговорим о чем-нибудь другом, и, пожалуйста, не лишайте меня удовольствия. Вы не представляете, до чего мне приятно снова видеть его, даже если он ругает и поносит меня, все равно я рад.

В маленьком обществе вновь воцаряется мир.

Некоторое время все наслаждаются тишиной. Затем Фердинанд поднимается.

— Мне пора, позови-ка твоих мальчуганов, хочу еще раз на них взглянуть.

Детей приводят, они удивленно и с любопытством смотрят на гостя.

— Вот этот, Родерих, довоенный. О нем я знаю. А второй малыш, так сказать, новенький, как его зовут?

— Иоахим.

— Иоахим! Слушай, Франц, разве его не собирались назвать иначе?

Франц вздрагивает.

— Боже мой, Фердинанд! Забыл, начисто забыл. Ты подумай, Нелли, как же это у меня из головы вылетело, ведь мы обещали друг другу, что если вернемся домой, то он будет тезкой моего новорожденного, а я — его. Ну совершенно забыл. Ты обиделся?

— Милый Франц, думаю, мы никогда больше не сможем обижаться друг на друга. В прошлом у нас было достаточно времени для ссор. Видишь ли, суть в том, что все мы забываем прошлое, увы. А может быть, это и к лучшему,— он гладит мальчика по голове, взгляд его теплеет,— может, мое имя не принесло бы ему счастья.

Теперь он совершенно спокоен. После прикосновения к ребенку в его лице появилось что-то детское. Он миролюбиво подходит к хозяйке дома.

— Простите великодушно, сударыня... Увы, я оказался малоприятным гостем, видел, вам не очень нравилось, как я разговариваю с Францем. Но поймите, два года кряду мы с ним ели из одного котелка, вместе давили вшей, брили друг друга, и если после всего этого начнем расшаркиваться и делать реверансы... Когда встречаешь старого товарища, говоришь с ним так же, как говорил в былое время, и если я его малость отчитал, стало быть, погорячился. Но он знает и я знаю: мы никогда не разойдемся. Прошу извинить, понимаю, что вам не терпится поскорее меня спровадить. Ох как понимаю!

Нелли скрывает досаду. Он сказал именно то, что она думала.

— Нет, нет, заглядывайте, всегда рада вас видеть, а Францу так хорошо с вами. Заходите как-нибудь в воскресенье, на обед, будем очень рады.

Но слово «рады» звучит не вполне искренне, и рукопожатие холодное, сдержанное. С Кристиной он прощается молча. Лишь на секунду она ловит его взгляд, пытливый и теплый. Гость направляется к двери, следом за ним Франц.

— Я провожу тебя до ворот.

Едва они вышли, как Нелли порывистым движением распахнула окно.

— Ну и надымили, задохнуться можно,— сказала она Кристине, будто оправдываясь, и вытряхнула полную пепельницу, стукнув ею о жестяной подоконник, который отозвался таким же трескучим и резким, как голос Нелли, звуком. Кристина подумала, что, распахивая окно, сестра жаждала немедленно проветрить свой дом от всего, что вошло сюда вместе с чужаком. Она критически, словно постороннего человека, оглядела Нелли: как очерствела, какой стала тощей и сухопарой, а ведь была веселой, проворной девушкой. Все от жадности, вцепилась в мужа, как в деньги. Даже его другу не хочет уступить ни капельки. Франц должен целиком принадлежать ей, быть покорным, усердно работать и копить, чтобы она поскорей стала госпожой председательницей. Впервые Кристина подумала о старшей сестре (которой всегда охотно подчинялась) с презрением и ненавистью, ибо Нелли не понимала того, чего понимать не желала.

Но тут, к счастью, вернулся Франц. Почувствовав, что в комнате опять нависла предгрозовая тишина, он нерешительно направился к женщинам. Мягкими мелкими шагами, как бы ступая по нетвердой почве.

— Долго же ты с ним торчал. Ну что ж, мне все равно, это удовольствие, по-видимому, нам предстоит испытать еще не раз. Теперь повадится ходить, адрес известен.

Франц ужаснулся.

— Нелли... как ты смеешь, да ты не понимаешь, что это за человек. Если бы он захотел прийти ко мне, о чем-то попросить, то давно бы пришел. Отыскал бы мой адрес в официальном справочнике. Неужели тебе непонятно, что Фердинанд не приходил именно оттого, что ему плохо. Ведь он знает: я для него сделал бы все.

— Да уж, для таких тебе ничего не жаль. Встречайся с ним, пожалуйста, я не запрещаю. Только не у нас дома, с меня хватит, вот, смотри, какую дырку прожег сигаретой, и вот видишь, что на полу творится, даже ног не вытер дружок твой... Конечно, я могу подмести... Что ж, если тебе это нравится, мешать не буду.

Кристина сжала кулаки, ей стыдно за сестру, стыдно за Франца, который с покорным видом пытается что-то объяснить жене, повернувшейся к нему спиной. Атмосфера становится невыносимой. Она встает из-за стола.

— Мне тоже пора, а то не успею на поезд, не сердитесь, что отняла у вас столько времени.

— Ну что ты,— говорит сестра,— приезжай опять, когда сможешь.

Она говорит это так, как говорят постороннему «добрый день» или «добрый вечер». Какое-то отчуждение встало между сестрами: старшая ненавидит бунтарство младшей, младшая — закоснелость старшей.

На лестнице у Кристины внезапно мелькает смутная мысль, что Фердинанд Барнер поджидает ее внизу. Она пытается отогнать от себя эту мысль — ведь тот человек всего лишь бегло взглянул на нее с любопытством и не сказал ни слова,— да и сама она толком не знает, хочется ей этой встречи или нет, однако, по мере того как Кристина спускается со ступеньки на ступеньку, предчувствие переходит почти в уверенность.

Поэтому она не была поражена, когда, выйдя из ворот, увидела перед собой развевающийся серый плащ, а затем и взволнованное лицо Фердинанда.

— Простите, фройляйн, что я решил дождаться вас,— говорит он каким-то другим, робким, смущенным, сдержанным голосом, совершенно непохожим на тот прежний, резкий, энергичный и агрессивный,— но я все время беспокоился, что вам... что не рассердилась ли на вас ваша сестра... Ну, из-за того, что я грубо разговаривал с Францем, и еще потому... потому что вы были согласны со мной... Я очень сожалею, что напустился на него... Знаю, так не полагается себя вести в чужом доме и с незнакомыми людьми, но, даю слово, я сделал это без злого умысла, напротив... Ведь Франц славный, добрый парень, замечательный друг, он очень, очень хороший человек, другого такого вряд ли найдешь... Когда мы с ним неожиданно встретились, мне захотелось броситься ему на шею, расцеловать, в общем, выразить свою радость хотя бы так, как это сделал он... Но, понимаете, я постеснялся... постеснялся вас и вашей сестры, ведь это выглядит смешно в глазах других, когда разводят сантименты... вот из-за этой стеснительности я и стал на него наскакивать... но я не виноват, все получилось само собой, нечаянно. Посмотрел на него, кругленького, с брюшком, сидит довольный, попивает кофе под граммофон, и тут меня словно подтолкнули, думаю: дай-ка его подразню, расшевелю немного... Вы же не знаете, какой он был там — самый ярый агитатор, с утра до ночи только и говорил о революции: разобьем врагов, наведем порядок... и вот когда я увидел его здесь, такого пухленького, домашнего, уютного, довольного всем — женой, детьми, своей партией и квартирой с цветами на балконе, такого блаженствующего обывателя, то не удержался и решил его чуть пощипать, а ваша сестра подумала, что я просто завидую ему, их благоустроенной жизни... Но клянусь вам, я рад, что ему так хорошо живется, и если я пощипал его, то лишь потому, что... что на самом деле мне очень хотелось обнять Франца, похлопать его по плечу, по брюшку, но я стеснялся вас...

— Я это сразу поняла,— с улыбкой говорит Кристина, чтобы успокоить его.— Да, было не очень ловко, когда Франц выражал такой бурный восторг, он чуть не взял вас на ручки. Тут любой застесняется.

— Спасибо... рад, что вы меня поняли. А вот ваша сестра этого не заметила, вернее, заметила, что ее муж, как только меня увидел, тут же переменился, стал другим... Таким, которого она совершенно не знает. Ведь она понятия не имеет, что́ мы с ним пережили в то время... С утра до вечера, с вечера до утра мы были неразлучны, словно два арестанта в камере, я узнал о нем столько, сколько его жене никогда не узнать, и если бы я захотел, он пошел бы ради меня на все, как и я ради него. Она это почувствовала, хотя я повел себя так, будто зол на Франца или завидую ему... Наверное, во мне много зло-

сти, что правда, то правда... Но зависти нет, ни к кому, такой зависти, когда себе желаешь добра, а другим пусть будет плохо... Я желаю добра каждому, только ведь всякий человек, когда видит, что его ближний живет в достатке, припеваючи, обычно задается вопросом: а почему и не я?.. Вопрос вполне естественный, винить тут некого... Вы меня понимаете... я не спрашиваю: почему не я вместо него?.. Нет, только: а почему и не я?

Кристина невольно остановилась. Этот человек в который уже раз сказал именно так, как думала она сама. Совершенно ясно выразил то, что она лишь смутно чувствовала: ничего чужого мне не надо, но и у меня есть право на свою долю счастья, почему я всегда должна прозябать в голоде и холоде, когда другие сыты и в тепле?

Ее спутник тоже остановился, решив, что наскучил ей и она хочет спровадить его. Он неуверенно потянулся к шляпе. Кристина одним взглядом охватывает и это медленное, нерешительное движение руки, и его плохие, стоптанные ботинки, неглаженые, обтрепанные низы брюк, она понимает, что только лишь из-за бедности и поношенной одежды этот энергичный человек чувствует себя перед ней столь неуверенно. В эту секунду она вновь увидела себя у швейцарского отеля и вспомнила, как тогда дрожала ее рука с чемоданчиком, его неуверенность ей так понятна, словно она сама перевоплотилась в него. И захотелось тотчас же прийти на помощь ему, то есть себе в нем.

— Мне пора на поезд,— сказала она и не без гордости отметила его испуг.— Но если вам угодно проводить меня...

— О, пожалуйста, с огромным удовольствием!

Кристина уловила в его голосе счастливо-испуганную нотку, и ей опять почему-то стало приятно.

Теперь он идет с ней под руку и продолжает извиняться:

— Все-таки я вел себя глупо, ах, как досадно... Не замечал вашу сестру, игнорировал ее, так же нельзя, ведь она его жена, а я совершенно посторонний человек. Сначала надо было расспросить ее о детях, в каком они классе, какие у них отметки, и вообще поговорить о том, что касается обоих супругов... Не удержался вот... Как только увидел его, обо всем забыл, я так обрадовался, ведь он единственный человек, который знал меня, понимал... собственно, мы не то чтобы похожи... Он совсем другой, гораздо лучше меня, порядочнее... правда, мы росли и воспитывались в разных условиях, и ему невдомек, чего я хочу и к чему стремлюсь... Но вот жизнь свела нас, два года мы были отрезаны от мира, как на острове... Наверное, не все из моих объяснений было ему доступно и ясно, но он чутьем постиг это лучше, чем кто-либо. Нам даже порой не требовалось разговаривать, мы понимали друг друга без слов... И в тот миг, когда я сегодня вошел в их квартиру, я знал о нем все — быть может, больше, чем он сам о себе, и Франц это понял... вот почему он так смутился, будто я поймал его на чем-то нехорошем, и стеснялся все время... уж чего, не знаю, то ли своего брюшка или того, что превратился в образцового бюргера... Но в тот миг он опять был прежним, и уже не существовало ни жены, ни вас, мы бы с радостью остались вдвоем и говорили бы, говорили всю ночь напролет... Конечно, ваша сестра это почувствовала... Ну и что? Я теперь знаю, что он жив-здоров, он знает, что я вернулся, нам обоим стало легче, теплее. Мы оба уверены, что если одному из нас придется туго, то ему есть куда пойти излить душу. А другие... нет, вам этого не понять, да и объяснить я толком, пожалуй, не сумею, но с тех пор, как я здесь... у меня такое ощущение, будто я возвратился с Луны. Люди, с которыми я жил прежде бок о бок, стали мне какими-то чужими... Сижу с родственниками или с бабушкой и не знаю, о чем с ними говорить, не понимаю, чему они радуются, все, что они делают, кажется мне крайне чуждым, бессмысленным, ну... все равно как

смотришь на танцующих в кафе с улицы, через окна: движения видишь, а музыки не слышно. И удивляешься: чего они там дергаются с такими восторженными лицами. В общем, что-то я перестал понимать в людях, а они перестали понимать меня и потому, наверное, считают завистливым и злым... Будто я говорю на другом языке и требую чего-то непонятного от них... Впрочем, извините меня, фройляйн, это все чепуха, я просто заболтался, и не надо вам в это вникать, незачем.

Кристина опять остановилась и посмотрела на него.

— Ошибаетесь,— сказала она,— я вас очень хорошо понимаю. Понимаю каждое слово. То есть еще год, вернее месяца три назад, я бы вас, возможно, не поняла, но после того как вернулась из...

Опомнившись, она внезапно умолкла. Она чуть не начала рассказывать все постороннему человеку и поэтому быстро сменила тему:

— Между прочим, должна признаться, что сейчас я иду не на вокзал, а в гостиницу, забрать чемодан. Я приехала вчера вечером, а не сегодня утром, как они подумали... Сестре я этого не стала говорить, она бы обиделась, что я ночевала не у них, но я не люблю обременять кого-либо, и... прошу вас... не говорите об этом Францу.

— Ну разумеется.

Она почувствовала, что он рад и благодарен за доверие. Они сходили за чемоданом, Фердинанд хотел было нести его, но Кристина воспротивилась.

— Нет, нет, с вашей рукой, вы же сами говорили...

Заметив его смущение, Кристина сообразила, что напрасно это сказала, и тут же передала ему чемодан.

Когда они пришли на вокзал, до отправления поезда оставалось еще три четверти часа. Сидя в зале ожидания, они говорили о Франце, о почтовой конторе, о политическом положении в Австрии и о всяких мелких и несущественных вещах. Острота и наблюдательность в рассуждениях собеседника произвели на Кристину должное впечатление. Но вот время истекло, она поднимается со скамьи:

— Кажется, мне пора.

Он торопливо, чуть ли не испуганно встает, ему явно не хочется прерывать беседу. Сегодня вечером он будет совсем один, думает с сочувствием Кристина. Ей приятно, что неожиданным образом в ее жизни опять появился человек, который ухаживает за ней, приятно и даже лестно, что она, никчемное создание, простая почтарка, существующая, чтобы продавать марки, отбивать телеграммы и отвечать на телефонные вызовы, еще что-то для кого-то значит. Его огорченное лицо внезапно пробуждает в ней жалость, и она порывисто говорит:

— Впрочем, я могу поехать и следующим поездом — в десять двадцать,— так что есть еще время прогуляться и где-нибудь неподалеку поужинать... Если, конечно, вы не против...

В его глазах мгновенно вспыхнула радость, озарившая все лицо.

— О нет, нисколько! — восклицает он.

Сдав чемодан в камеру хранения, они бродят по улицам и переулкам. Темнеющей синей дымкой надвигается сентябрьский вечер, между домами белеют шарики фонарей.

Они идут рядом неторопливым прогулочным шагом и ведут легкий прогулочный разговор. В пригороде они обнаруживают дешевый ресторан с небольшим двором, где еще можно посидеть под открытым небом за столиками, разделенными живыми стенками из побегов плюща. Сидишь как бы в отдельной ложе, соседи тебя видят, но все-таки не слышат. Кристина со спутником обрадовались, найдя свободную «ложу». Двор окружен домами, где-то играет граммофон — из открытого окна неясно доносится треньканье вальса, в «ложах» кто-то весело смеется, а кто-то тихо и мирно пьет в одиночку, бла-

женно икая; на каждом столике подобно стеклянному цветку стоит свеча в колпаке, вокруг которого черными дробинками жужжат любознательные насекомые. В воздухе приятная прохлада.

Сняв шляпу, Фердинанд садится напротив Кристины. Ей хорошо видно его лицо, высветленное спокойным огоньком свечи: по-тирольски суровые, чеканные черты, в уголках глаз и рта мелкие морщинки,— строгое и вместе с тем какое-то изношенное лицо. Но так же, как у него меняется от гнева голос, так и лицо становится другим, когда оно улыбается, когда морщинки расходятся веером и непреклонный взгляд светлеет. Тогда в лице появляется почти детская мягкость, что-то ласковое, доверчивое; Кристина невольно вспоминает, что таким его знал Франц, что именно таким он был в ту пору. Во время беседы эти два лика удивительным образом сменяют друг друга. Когда он хмурится или сердито сжимает губы, лицо внезапно мрачнеет, и кажется, будто над лугом повисла туча и свежие зеленые краски сразу померкли. Странно, думает Кристина, в одном человеке словно живут двое, возможно ли это? Но тотчас она вспоминает о своем собственном преображении и о том забытом зеркале, которое стоит в комнате далеко-далеко отсюда и в которое смотрится сейчас кто-то другой.

Официант приносит заказ: простые блюда и два бокала белого вина «Гумпольдскирхнер». Фердинанд, глядя Кристине в глаза, поднимает бокал, чтобы чокнуться. Но едва он протянул руку, как раздался легкий стук. От его пиджака оторвалась болтавшаяся пуговица, покатилась по столу и, хотя он пытался ее схватить, упала на землю. Заметив, что это мелкое происшествие не укрылось от Кристины, он смутился и помрачнел. Она старается не смотреть на него. Женское чутье мгновенно подсказало ей, что о нем никто не заботится. Еще раньше она обратила внимание, что его шляпа не почищена — лента покрылась пылью, что брюки мятые, неглаженые, и ей понятно его смущение, сама испытала.

— Поднимите ее,— говорит она.— У меня в сумке есть иголка и нитки, всегда ношу с собой, нам же приходится все делать самим, давайте прямо тут и пришью.

— Нет, нет,— возражает он с испугом, хотя нагибается все же за пуговицей. Но, подняв, упрямо сжимает ее в кулаке.— Нет, нет,— он будто оправдывается,— дома пришьют.— А когда она еще раз предложила свою помощь, вспылил: — Нет, не надо! Не хочу! — и судорожно застегнул остальные пуговицы на пиджаке.

Кристина больше не настаивает. Она видит, что он смущен. Непринужденная беседа расстроилась, по его сжатым губам она вдруг почувствовала, что он сейчас скажет что-нибудь злое, нагрубит, потому что стыдится.

Так и случилось. Он будто ощетинился и посмотрел на нее с вызовом:

— Я знаю, что одет неподобающим образом, но я же не предполагал, что меня станут разглядывать. Для визита в богадельню это еще вполне сойдет. Если б знал, оделся бы получше... впрочем, это неверно. По правде говоря, у меня нет денег, чтобы прилично одеваться, ну нет их... по крайней мере на всё сразу. Куплю новые ботинки, тем временем шляпа обтрепалась, куплю шляпу, пиджак износился, раз то, раз другое, за всем не успеваю. Моя это вина или нет, мне безразлично. Так что примите к сведению: я одет плохо.

Кристина не успевает даже раскрыть рот, чтобы ответить, как он продолжает:

— Пожалуйста, без утешений. Я наперед знаю, что вы скажете. Мол, бедность — не порок. Но это неправда, бедность позорна, если вы не можете ее скрыть, и тут ничего не поделаешь, все равно стыдно... По заслугам она или нет, достойная или жалкая, все равно дурно пахнет. Да, она пахнет полуподвальной комнатой, выходящей на

задворки, пахнет одеждой, которую меняешь не так уж часто. Этот запах неистребим, словно ты сам — помойка... И ничего не поможет, хоть прикрывайся новой шляпой, хоть целый день чисти зубы — запах-то из желудка. Это въелось в тебя, прилипло, каждый встречный чувствует это, замечает сразу. Вот и ваша сестра сразу почувствовала, знаю я эти проницательные взгляды женщин, когда они смотрят на твои обтрепанные манжеты, понимаю, как неприятно смотреть на такое, но, черт возьми, ведь самому-то еще неприятнее. И никуда от этого не денешься, не убежишь, остается только напиться, а в этом...— Он хватает бокал и демонстративно, жадными глотками, осушает его.— В этом заключена огромная социальная проблема, почему так называемые низшие классы сравнительно больше потребляют алкоголя. Проблема, над которой за чашкой чая ломают себе голову графини, патронессы благотворительных обществ... На несколько минут, на часок забываешь, что ты в тягость другим и самому себе. Я понимаю, невелика честь, когда вас видят с человеком, так плохо одетым, мне это тоже не в радость. Если я вас стесняю, скажите, только прошу без жалости и церемоний!

Он резко отодвигает стул и опирается рукой о стол, чтобы встать. Кристина быстро кладет ладонь ему на руку:

— Не надо так громко! Соседям ни к чему это слышать. Сядьте поближе.

Он повинуется. Вызывающая поза сменяется нерешительной. Стараясь скрыть чувство жалости, Кристина продолжает:

— Зачем вы себя мучаете и почему вам хочется мучить меня? Ведь это все нелепо. Неужели вы действительно считаете меня так называемой «дамой»? Если бы я была ею, то не поняла бы ни слова из того, что вы говорили, решила бы, что вы просто раздраженный, несправедливый и вздорный человек. Но я поняла вас, почему — сейчас расскажу. Подвиньтесь ближе, соседям это незачем слушать.

И она рассказывает ему о своей поездке, рассказывает все: о восторге, о превращении, об обиде и горечи унижения. Ей доставляет удовольствие возможность впервые заговорить о своем опьянении богатством, а под конец она испытывает даже некоторое злорадство от самобичевания, когда описывает, как портье задержал ее, приняв за воровку лишь потому, что на ней была убогая одежда и она сама несла свой чемодан.

Фердинанд слушает молча, только подрагивающие ноздри выдают его напряжение. Кристина чувствует, что он впитывает каждое слово. Он ее понимает, так же как понимает его она, их связывает чувство гнева отверженных. И, открыв плотину, она уже не в силах сдержать хлынувший поток. Она поведала о себе больше, чем, собственно, хотела; ее речь, образная и сильная, питалась ненавистью к деревне и злобой на весь мир из-за погубленных лет. Никогда и никому еще она не раскрывала так свою душу.

Он слушает молча, наклонив голову, все больше и больше погружаясь в себя.

— Простите,— говорит он наконец, словно откуда-то снизу,— простите, что я так глупо напустился на вас. Ну что мне с собой делать, всегда вот так дурацки получается, сразу же злюсь, налетаю на первого встречного, будто он во всем виноват и будто я единственный несчастливец. Ведь знаю, что я всего лишь один из миллионов. Каждое утро, когда иду на службу, вижу легионы других, как они выходят из ворот и подъездов, невыспавшиеся, с хмурыми лицами, как нехотя спешат на работу, которую не любят, которая им неинтересна, а вечером снова встречаю их в трамваях, когда они возвращаются, словно налитые свинцом от усталости, измотанные бессмысленно или ради смысла, который им неведом. Вот только они не сознают и не ощущают так сильно, как я, эту страшную бессмысленность. Для них прибавка на десять шиллингов в месяц или новое

звание (новый собачий жетон) — уже удача; вечерами они ходят на собрания, где им внушают, что капитализм на пороге гибели, что идея социализма завоюет мир, еще десять, двадцать лет — и это свершится... но я не такой терпеливый, я не могу столько ждать. Мне тридцать лет, из них одиннадцать пропали. Мне тридцать, а я еще не знаю, кто я, не знаю, для чего устроен этот мир, я ничего не видел, кроме грязи, крови и пота. Ничего не делал, только ждал, ждал, ждал. Я больше не в силах жить поверженным и отверженным, это доводит меня до бешенства, я чувствую, как время ускользает из-под ног, пока я обречен быть подручным у архитектора, хотя знаю не меньше его... ведь у тех, что сидят наверху, такая же кровь, такие же легкие, как и у тебя, только ты явился слишком поздно; выпал из вагона и догнать его не можешь, как ни беги. Знаю, я сумел бы многое сделать — кое-чему научился, наверное, я не глуп, в гимназии был первым, в монастырской школе неплохо занимался музыкой, а заодно выучил французский у одного патера из Оверни. Но рояля у меня нет, играть с моей рукой не могу — вот и разучиваюсь, по-французски мне говорить не с кем — забываю. Два года я усердно изучал технику, пока другие увлекались фехтованием и попойками, потом, в сибирском плену, тоже работал и тем не менее продвинуться не могу. Мне нужен был год, один свободный год, как разбег перед прыжком... Год, и я был бы наверху, не знаю где, не знаю как, только знаю, что теперь я сумел бы стиснуть зубы, напрячь все силы и занимался бы по десять, четырнадцать часов в сутки... а еще несколько лет — и я стану таким же, как другие, усталым и довольным и, обозрев достигнутое, скажу: хватит! Кончено! Но сегодня я этого еще не могу, сегодня я ненавижу всех этих довольных, они до того бесят меня, что иногда руки чешутся, так бы и разнес вдребезги их уют. Взгляните на этих троих, рядом. Все время, что мы здесь, они раздражают меня, почему — не знаю, может, от зависти, что они так бездумно веселы и довольны собой. Взгляните: вон тот скорее всего приказчик в галантерейной лавке, целый день достает с полок рулоны, кланяется и тараторит: «Самый модный, метр — один восемьдесят, настоящий английский товар, прочный, ноский»,— потом забрасывает рулон обратно наверх, достает второй, третий, потом еще какую-нибудь мелочь, а вечером возвращается домой в полной уверенности, что жить надо только так; другой, наверное, служит в сберегательной кассе или на таможне, целый день считает цифры, цифры, сотни тысяч, миллионы цифр, проценты, проценты на проценты, дебет, кредит, понятия не имеет, кому принадлежат счета, кто получает, а кто вносит, кто должен, кому и за что, ничего не знает, а вечером идет домой, уверенный, что это и есть жизнь; третий — не знаю, где служит, возможно в магистрате или где-нибудь еще, но по его рубашке вижу, что и он целый день пишет бумаги, бумаги, бумаги, на одном и том же деревянном столе, той же рукой. Но сегодня по случаю воскресенья у них напомажены волосы и сияют лица. Они побывали на футбóле, на бегах или у девочек, а теперь рассказывают друг другу, и каждый выхваляется, какой он умный, ловкий и деловой... Вы только послушайте, как они самодовольно гогочут, эти машины на воскресном отдыхе, рабы по найму, нет, вы послушайте их, какой у них смех, взмыленный, жирный, несчастные, разок их пустили без поводка, так они вообразили, что и ресторан, и весь мир принадлежат им. Дал бы им по морде...— Он переводит дух.— Глупости, опять я не то говорю, не на тех нападаю. Конечно, они несчастные и вовсе не болваны, и поступают они разумнее всего — довольствуются тем, что есть. Они согласны мертветь заживо, тогда ведь становишься нечувствительным, но меня, дурака, все время подмывает поиздеваться над каждым таким мелким удачником, вывернуть его наизнанку... а почему? Наверное потому, что надоело быть одному, тянет в стаю. Понимаю, что это глу-

по, что тем самым действую себе во вред, но иначе не могу, за эти одиннадцать лет я весь пропитался злостью как ядом, чуть что — и она брызжет из меня, спасаюсь тем, что удираю домой или в Народную библиотеку. Только вот книги, теперешние романы, меня больше не радуют. От рассказиков, как Ханс женится на Грете, а Грета выходит за Ханса и как Паула изменяет Иоганну, а Иоганн — Пауле, меня тошнит... книги о войне — о ней мне тем более рассказывать не надо... Настоящей охоты учиться тоже нет, ведь знаю, что ничего не поможет, пока не получу диплом, без этого ярлыка не продвинешься, но для него у меня нет денег... вот и получается: без денег деньги не заработаешь... Такое зло берет, что поневоле залезаешь в конуру, чтобы не кусаться. И больше всего бесит, что ты бессилен, ведь против тебя что-то недоступное, чего не схватишь руками, и исходит это что-то от людей вообще, а не от отдельного человека, которому можно вцепиться в глотку. Франц — тот знает, что это такое. Наверняка помнит, как мы иногда ночами, забравшись на чердак сибирского барака, чуть не выли от бессильной ярости, даже думали убить киркой нашего охранника Николая, хотя этот тихий, добродушный парень по-дружески относился к нам... а все потому, что он был единственным доступным из тех, кто держал нас взаперти, только поэтому... Думаю, теперь вам ясно, почему меня взбудоражила встреча с Францем. Ведь я уж и забыл, что существует человек, который способен меня понять, а тут сразу стало ясно — он меня понял... Ну и вы.

Подняв глаза, она почувствовала, что растворяется в его взгляде. Фердинанд тут же смутился.

— Извините,— говорит он другим голосом, мягким, робким, так удивительно контрастирующим с только что звучавшим, твердым и вызывающим,— извините, я говорю только о себе да о себе, понимаю, это невежливо. Но я, наверное, за целый месяц так много не разговаривал, сколько с вами.

Кристина смотрит на чуть дрожащий огонек свечи. От порыва холодного ветра синяя сердцевина пламени вдруг вытянулась кверху.

— Я тоже,— отвечает она после паузы.

Некоторое время они молчат, мучительно напряженный разговор утомил обоих. Рядом в «ложах» уже погашены свечи, в окнах домов темно, граммофон умолк. Официант демонстративно убирает с соседних столиков. Кристина спохватывается.

— Мне кажется, пора идти, в десять двадцать последний поезд, сколько сейчас времени?

Он смотрит на нее сердито — но лишь мгновение — и улыбается.

— Вот видите, я уже исправляюсь,— говорит он почти весело,— если б вы спросили меня об этом час назад, я бы огрызнулся, но теперь могу вам признаться по-товарищески, как Францу: свои часы я заложил. Не столько ради денег — часы очень красивые, золотые с бриллиантами. Отец получил их однажды на охоте, в которой участвовал эрцгерцог, причем мой родитель к их высочайшему ублаготворению обеспечил всю жратву и даже сам руководил кухней... Сверкать такими часами на стройке — все равно что негру щеголять во фраке. Вы меня поймете, вы все понимаете... Вдобавок там, где я живу, не очень безопасно держать при себе золото с бриллиантами. Но продавать я их не стал, это мой, так сказать, неприкосновенный запас. Короче, заложил.

Он улыбнулся с видом человека, довольного совершенной работой.

— Вот видите, я делаю успехи, рассказал вам об этом с полным спокойствием.

Напряжение прошло, наступили ясность и успокоение. Они больше не смотрят друг на друга настороженно, с опаской, между ними возникло доверие и даже нечто вроде нежной дружбы. Они направ-

ляются к вокзалу. Сейчас хорошо идти, темнота скрывает от любопытных взоров глазниц-окон; нагревшиеся днем камни вновь дышат прохладой. Но по мере того как они приближаются к цели, шаг их становится резче и торопливее: над только что сплетенными душевными узами навис сверкающий меч разлуки.

Она купила билет и, обернувшись, посмотрела ему в лицо. Оно опять переменилось, брови нахмурены, глаза, излучавшие благодарность, погасли; не замечая ее пристального взгляда, он зябким движением стягивает на груди плащ. Кристину охватывает жалость.

— Я скоро опять приеду,— говорит она,— наверное, в следующее воскресенье. И если у вас будет время...

— У меня всегда есть время. Это, пожалуй, единственное, чем я располагаю, притом в избытке. Но мне не хотелось бы...— Он запнулся.

— Что не хотелось?

— Что... чтобы вы из-за меня беспокоились... Вы были так добры ко мне... понимаю, общаться со мной — невелика радость... и, возможно, сегодня в поезде или завтра вы спросите себя: к чему мне еще чужие горести... По себе знаю, когда человек рассказывает мне о своей беде, я сочувствую, переживаю, но потом, когда он уйдет, я говорю себе: да черт с ним, чего он взваливает на меня свои заботы, каждому собственных хватает... Так что не принуждайте себя, не думайте: мол, ему надо помочь... Уж я сам справлюсь...

Кристина отвернулась. Ей мучительно смотреть, когда он терзает самого себя. Но Фердинанд превратно истолковал ее движение, решив, что она обиделась. И сразу сердитый голос сменился тихим голоском робкого мальчика:

— Нет, разумеется... мне будет очень приятно... я только подумал, что если...

Он бормочет, запинается, смотрит на нее как провинившийся ребенок, словно моля о прощении. И она понимает его лепет, понимает, что этот суровый, страстный человек хочет, чтобы она приехала, но стесняется, не смеет просить ее об этом.

Ею овладевает чувство материнской теплоты и жалости, потребность утешить каким-нибудь словом, жестом, не оскорбив его гордости. Ей хочется погладить его по голове и сказать: «Глупенький!» — но она боится обидеть его, ведь он такой ранимый. И в замешательстве она говорит:

— Как ни жаль, а мне пора на поезд.

— Вам... вам действительно жаль? — спрашивает он, в ожидании глядя на нее.

Но во всем его облике уже чувствуется беспомощность, отчаяние покинутого, она уже видит, как он будет стоять на перроне один, с тоской смотря вслед поезду, увозящему ее, один-одинешенек в этом городе, на всем свете, и она чувствует, что он всей душой привязался к ней. Кристина в смятении. Чутье безошибочно подсказывает ей, что она нужна ему, нужна как женщина и как человек, что она опять желанна, и притом гораздо сильнее, чем когда-либо прежде, жизнь снова обрела для нее смысл, наконец-то. До чего же чудесно, когда тебя любят!

Внезапно в ней вспыхнуло ответное чувство. Этот порыв возник молниеносно, опередив мысль. Вдруг, разом. Она подошла к нему и сказала как бы в раздумье (хотя подсознательно все уже было решено):

— Собственно... я могу еще побыть с вами и уехать утренним поездом, в пять тридцать, я успею на свою ненаглядную почту.

Она даже не подозревала, что глаза могут так мгновенно загореться. Словно в темной комнате вспыхнула спичка, так засветилось и ожило его лицо. Он понял, все понял прозорливым чувством. Осмелев, он берет ее под руку.

— Да,— говорит он, сияя,— останьтесь, останьтесь...

Кристина не против, что он взял ее под руку и уводит. Рука у него теплая, сильная, она дрожит от радости, и эта дрожь передается Кристине. Она не спрашивает, куда они идут, зачем спрашивать, ей теперь все равно, она решилась. Она отдала свою волю, сама, и наслаждалась ощущением радостной покорности. В ней все расслаблено, будто выключено — воля, мысли, она не рассуждает, любит ли этого человека, с которым едва познакомилась, хочет ли его как мужчину, она лишь наслаждается полным отрешением от собственной воли и неосознанностью чувства.

Ее не заботит, что будет впереди, она только ощущает руку, которая ее ведет, отдается этой руке бездумно, словно щепка, несомая потоком, которая на бурных перекатах испытывает головокружительную радость падения. Иногда Кристина зажмуривается, чтобы полнее проникнуться этим чувством, когда ты безвольна и желанна.

Но вот еще один напряженный момент. Остановившись, Фердинанд смущенно говорит:

— Я с большим удовольствием пригласил бы вас к себе, но... это невозможно... я живу не один... там проходная комната... может, пойдем в какой-нибудь отель... не в тот, где вы вчера... в другой...

— Хорошо,— соглашается она не задумываясь.

Слово «отель» вызывает у нее не страх, а какое-то радужное видение. Будто в тумане всплывает сверкающая комната, блестящая мебель, оглушительная тишина ночи и могучее дыхание Энгадина.

— Хорошо,— повторяет она мечтательно.

Они идут дальше. Улочки становятся все у́же, Фердинанд не очень уверенно вглядывается в дома. Наконец он останавливается у какого-то задремавшего в полумраке здания со светящейся вывеской. Кристина послушно входит вместе с ним в подъезд, словно в темное ущелье.

Они вступают в коридор, освещенный — вероятно, с умыслом — одной-единственной тусклой лампочкой. Навстречу из-за стеклянной двери выходит портье, неопрятного вида, без пиджака. Он перешептывается с Фердинандом, будто договаривается о какой-то запретной сделке. Что-то тихо звякает — деньги или ключ. Кристина тем временем ждет в полутемном коридоре, уставившись в облезлую стену, невыразимо разочарованная этой убогой дырой. И невольно — она об этом и не думает — ей вспоминается холл того, другого отеля, зеркальные стекла, потоки света, богатство и комфорт.

— Девятый номер,— трубно объявил портье и столь же громогласно, будто хотел, чтобы его слышали во всем доме, добавил: — На втором этаже.

Фердинанд подходит к Кристине, та умоляюще смотрит на него.

— А нельзя...— Она не знает, что сказать еще.

Но он видит в ее глазах отвращение и желание убежать.

— Нет, они все такие... другого не знаю... не знаю.

Он поднимается с ней по ступенькам, крепко держа ее под руку. Кристина чувствует, что у нее подгибаются колени, она еле переставляет ноги.

Дверь в номер распахнута. Там стоит неряшливая служанка с заспанным лицом.

— Минутку, сейчас принесу свежие полотенца.

Они все-таки входят, спешно прикрывая за собой дверь. Узкая прямоугольная конура с одним окном, единственный стул, вешалка, умывальник и еще, как бы нахально демонстрируя, что она здесь единственно важный предмет меблировки,— широкая постеленная кровать. С невыразимым бесстыдством подчеркивая свою целесообразность, она заполняет почти все помещение. Ее нельзя не заметить, нельзя избежать, она неминуема. Воздух спертый, пахнет табачным дымом, скверным мылом и еще какой-то кислятиной. Кристина не-

вольно сжимает губы, чтобы не вдыхать эту затхлость. Боясь, что от омерзения упадет в обморок, она делает шаг к окну, распахивает створки и с жадностью, словно отравленная газом, глотает свежую ночную прохладу.

Тихий стук в дверь. Кристина вздрагивает. Входит служанка и кладет чистые полотенца на умывальник. Заметив, что окно в освещенной комнате открыто, она с некоторой опаской предупреждает:

— Прошу тогда опустить шторы.— И вежливо выходит.

Кристина по-прежнему смотрит в окно. Слово «тогда» задело ее — так вот для чего заходят сюда, в эти вонючие трущобы, вот для чего. И у нее мелькает страшная мысль: а вдруг он подумал, что она тоже пришла ради этого, только ради этого.

Хотя ему и не видно ее лица, вся ее сжавшаяся фигура, вздрагивающие плечи говорят о том, что́ она сейчас переживает. Он подходит к ней и молча, боясь каким-нибудь словом обидеть, нежно проводит ладонью по ее руке от плеча до холодных дрожащих пальцев. Кристина чувствует, что он хочет ее успокоить.

— Извините,— говорит она, не оборачиваясь,— у меня вдруг закружилась голова. Сейчас пройдет. Только отдышусь немного... это оттого, что...

Она чуть было не сказала: оттого, что я впервые в таком доме, в такой комнате, но прикусила язык — зачем ему это знать. Закрыв окно, она оборачивается и приказывает:

— Погасите свет.

Он поворачивает выключатель, наступает ночь, стирая очертания всех предметов. Самое страшное исчезло, постель уже не бросается так нагло в глаза, а лишь смутно белеет в пространстве. Но страх остается. Тишина неожиданно наполняется звуками: смех, вздохи, скрип, шорохи, чуть слышный топот босых ног и журчание воды. Кристина чувствует, что вокруг вершится распутство, что дом предназначен исключительно для спаривания. Страх легким ознобом постепенно пронизал все ее тело; сначала дрожь пробежала по коже, потом захватила суставы и обездвижила их и вот сейчас, должно быть, уже подбирается к мозгу, к сердцу, ибо она ощущает, что ни о чем не в силах больше думать, ничего больше не чувствует, все ей безразлично, бессмысленно и чуждо, даже человек, который дышит рядом с ней, и тот кажется чужим. К счастью, он деликатен и не торопит ее, он только бережно усаживает ее на край постели и садится сам. Оба сидят молча, не раздеваясь, он лишь нежно поглаживает край ее рукава и пальцы. Он терпеливо ждет, пока у нее не пройдет страх, не растает сковавший ее лед отчуждения. Его смирение и покорность трогают Кристину. И когда он наконец обнимает ее, она не сопротивляется.

Но его горячее, страстное объятие не сумело полностью вытеснить ее брезгливый ужас. Слишком глубоко он засел. Что-то в ней не оттаивает, что-то не поддается опьянению, сопротивляется, даже когда он снял с нее одежду, она ощутила не только его обнаженное, сильное, жаркое тело, но и прикосновение влажной гостиничной простыни, словно мокрой губки. Даже отдаваясь его ласкам, она не может забыть жалкого, убогого пристанища, которое оскверняет их. Нервы ее натянуты, и, когда он привлекает ее к себе, она испытывает желание убежать — не от него, не от пылающего страстью мужчины, а из этого дома, где люди за деньги спариваются, как животные,— скорее, скорее, следующий, следующий,— где бедные продают себя как почтовые марки, как газеты, которые потом выбрасываются. Она задыхается в этом спертом, влажном воздухе, пропитанном запахами кожи, дыхания и похоти множества людей. И ей стыдно, но не потому, что она отдается, а потому, что это торжество происходит здесь, где все противно и позорно. Она больше не выдержи-

вает нервного напряжения. Горечь и разочарование разряжаются внезапным стоном, заглушенным плачем. Всхлипывая, она прижимается к лежащему рядом Фердинанду. Он чувствует себя виноватым и, чтобы успокоить ее, гладит по плечу, не осмеливаясь произнести ни слова. Кристина видит его растерянность.

— Не обращай на меня внимания,— говорит она,— просто я немного расклеилась, сейчас пройдет, это потому... что...— и, помолчав, добавляет: — Не упрекай себя, ты тут ни при чем.

Он молчит, он понимает все. Понимает ее разочарование, понимает отчаяние, сковавшее ее душу и тело. Но ему стыдно признаться, что он не искал отеля получше и не взял лучшего номера потому, что у него было с собой не более восьми шиллингов, и он даже думал отдать портье в залог свое кольцо, если бы комната стоила дороже. Но он не может и не хочет говорить о деньгах и потому предпочитает молчать; он ждет, ждет терпеливо и смиренно, пока она успокоится.

До обостренного слуха Кристины все время доносятся всевозможные звуки — слева и справа, сверху и снизу, из коридора — шаги, смех, кашель, стоны. Рядом, за стеной, вероятно, подвыпивший клиент, он то и дело горланит, слышатся шлепки по голому телу и грубовато-игривый женский смех. Это невыносимо, и оттого что единственно близкий ей человек продолжает молчать, эти звуки становятся громче.

Не выдержав, она толкает его:

— Пожалуйста, говори! Расскажи что-нибудь. Не могу больше слушать этого за стеной, господи, как здесь омерзительно. Какой ужасный дом, просто жуть берет, ну, пожалуйста, говори что-нибудь, рассказывай, чтобы я этого не... чтобы слышала только тебя... Господи, какой ужас!

— Да,— он глубоко вздохнул,— ужас, мне стыдно, что я привел тебя сюда. Не надо было этого делать... но я сам не знал.

Он нежно гладит ее тело, ей становится теплее, уютнее, но дрожь не проходит. Кристина мучается, старается унять ее, побороть чувство брезгливости от сырой постели, от похотливой болтовни за стеной, от всего мерзкого дома, но ничего не получается. Озноб волнами пробегает по телу.

— Понимаю, как тебе должно быть противно,— говорит Фердинанд,— сам однажды пережил такое... когда в первый раз был с женщиной... это не забывается. До армии я еще не знал женщин, ну а на фронте сразу попал в плен... Все потешались надо мной, твой зять тоже, называли девицей, не знаю — со злости или от отчаяния,— но мне все время об этом говорили. Да ни о чем другом они не могли разговаривать, день и ночь только о бабах, как это было с одной, как с другой, как с третьей, и каждый рассказывал про это сто раз, все уже наизусть знали. Картинки показывали, а то и рисовали всякую похабщину, как арестанты в тюрьме на стенах малюют. Конечно, слушать было противно, но ведь мне исполнилось уже девятнадцать, ведь об этом думаешь, к этому тянет. Потом началась революция, нас отвезли еще глубже в Сибирь, твой зять уже уехал, а нас гоняли туда-сюда как стадо баранов... И вот однажды вечером ко мне подсел солдат... Он, собственно, охранял нас, но куда там убежишь?.. Вообще-то Сергей — его так звали — хорошо к нам относился, заботливый был... как сейчас вижу его лицо: широкие скулы, нос картошкой, большой рот, добродушная улыбка... О чем я начал?.. Да, так вот однажды вечером он подсел ко мне и по-дружески спрашивает, давно ли у меня не было женщины... Я, конечно, постеснялся сказать: «Еще ни разу»... Любой мужчина стыдится в этом признаться (женщина тоже, подумала она), ну и ответил: «Года два». «Боже мой»,— говорит он и даже рот разинул с испугу... Придвинулся ближе и потрепал меня по плечу: «Бедняга ты, бедняга... так и заболеть недолго...»

Треплет меня по плечу, а сам думает, напряженно думает, даже лицом потемнел, видно, тяжкая для него работа — думать. Наконец говорит: «Погоди, браток, я устрою, найду тебе бабу. В деревне их много, солдатки, вдовы, свожу тебя к одной вечерком. Знаю, сбежать ты не сбежишь». Я не сказал ему ни да, ни нет, особого желания не было... ну кого он мог найти, какую-нибудь простую грубую крестьянку... да вот только хотелось человеческого тепла, чтобы тебя кто-то приласкал... одиночество до того уже измучило... Понимаешь ли ты это?

— Да,— вздохнула она,— понимаю.

— И в самом деле, вечером он пришел к нашему бараку. Тихо свистнул, как мы условились, я вышел. В темноте рядом с ним стояла женщина, низенькая, плотная, на голове цветной платок, волосы сальные. «Вот он,— говорит ей Сергей,— нравится?» Женщина пристально посмотрела на меня чуть раскосыми глазами и сказала: «Да». Мы пошли втроем, Сергей немного проводил нас. «Далеко же вы затащили его, беднягу,— сказала она Сергею.— И ни одной женщины, все время среди мужиков, ох, ох...» Голос у нее был теплый, грудной, приятно было слушать. Я понимал, что она позвала меня к себе из жалости, а не по любви. «Мужа моего убили,— сказала она потом,— ростом был под потолок, сильный, как молодой медведь. Не пил, ни разу руки на меня не поднял, лучше его во всей деревне не было. Живу теперь одна с детишками да со свекровью, не пожалел нас господь бог». Подошли к ее дому... крытая соломой изба с крохотными окошками. Она взяла меня за руку, и мы вошли. Глаза заслезились, духота, жара, как в котельной. Она потянула меня дальше, постель была на печке, туда мне предстояло залезть. Вдруг что-то шевельнулось, я вздрогнул. «Это дети»,— успокоила она. Только теперь я услыхал, что здесь дышат несколько человек. Потом раздался кашель, и я опять вздрогнул. «Это бабушка,— объяснила она,— хворая, грудью чахнет». Не знаю, сколько человек тут было: пять или шесть, в общем от их присутствия и от жуткой духоты я словно окаменел. Я чувствовал, что не смогу обнять женщину, когда тут же в комнате дети, старуха-мать — ее или мужа, ну просто не смогу. Она, не поняв, отчего я медлю, стала передо мной на коленки, стащила с меня башмаки, затем френч и все гладила, гладила меня как ребенка, так ласково... потом медленно, но со страстью притянула меня к себе. Груди у нее были мягкие, теплые и пышные, как свежие булки... губы очень нежные, она тихо целовала меня и так покорно прижималась... Очень трогательная женщина, мне было с ней хорошо, я был ей благодарен, но все время прислушивался, был настороже — то ребенок повернулся во сне, то старуха застонала... когда едва начало светать, я ушел... Я страшно боялся увидеть глаза больной старухи, детей... для нее было вполне естественно, что мужчина лежал с женщиной, а я... я больше не мог и ушел. Она проводила меня к воротам, смирная как овечка, милыми движениями изобразила, что отныне она моя, завела еще в хлев, надоила молока, дала хлеба и курительную трубку, возможно оставшуюся от мужа, а потом спросила, нет, вернее, покорно и почтительно попросила: «Придешь сегодня вечером, а?..» Но я больше не пришел, не мог себя превозмочь, перед глазами все время была душная изба, дети, старуха, тараканы, бегающие по полу... А ведь я был благодарен ей, даже теперь думаю о ней с каким-то нежным чувством... вспоминаю, как она доила корову, как дала мне хлеба, как отдала свое тело... Сознаю, я обидел ее тем, что не пришел... А другие... другие этого не поняли... Все мне завидовали, такие они были несчастные, заброшенные, что даже в этом завидовали. Каждый день я собирался пойти к ней, и всякий раз...

— Господи, ну что там еще! — воскликнула Кристина, рывком села и прислушалась.

«Ничего»,— хотел было сказать он, но тоже насторожился. Где-то

за стеной вдруг раздались громкие голоса, шум, началась суматоха, кто-то кричал, кто-то смеялся, кто-то приказывал. Что-то случилось.

— Подожди,— Фердинанд спрыгнул с кровати. Мгновенно одевшись, подошел к двери и прислушался. — Сейчас узнаю, что́ там.

Что-то случилось. Подобно тому, как человек со стоном и криком просыпается в испуге от кошмарного сна, так и в тихо урчавшем пока что гостиничном притоне вдруг раздались глухие раскаты и началось непонятное клокотание. Шум, беготня по лестнице, дребезжание окон, телефонные звонки, топот в коридорах. Громкие разговоры, крики, требовательный стук в дверь и резкие голоса, явно не принадлежавшие клиентам этого дома, твердые шаги, не похожие на шлепание босых ног. Что-то случилось. Взвизгнула женщина, шумно заспорили мужчины, что-то опрокинулось, наверное стул, на улице тарахтела автомашина. Весь дом взбудоражен. Наверху кто-то пробежал по комнате, за стеной подвыпивший клиент что-то испуганно говорит своей приятельнице, справа и слева двигают стулья, скребут ключом в замке, весь дом гудит от подвала до чердака, каждая ячейка этого человеческого улья.

Фердинанд возвращается от двери. Он побледнел, нервничает, у рта обозначились две глубокие складки.

— Ну что? — спрашивает Кристина, все еще сидя в кровати.

Когда он включает свет, она испуганно прикрывается одеялом.

— Ничего,— цедит он сквозь зубы. — Патруль, очередная проверка отеля.

— Кто?

— Полиция!

— К нам тоже зайдут?

— Вероятно. Ты не бойся.

— Нам что-нибудь будет за это?.. За то, что я с тобой?..

— Нет, не бойся. Документы у меня с собой, у портье я записал свою фамилию, не волнуйся, я все улажу. В мужском общежитии в Фаворитене, где я жил, такие проверки бывали, обычная формальность... Правда... — лицо его помрачнело,— эти формальности всегда касаются только нас. Только нашего брата они поднимают среди ночи, только за нами гоняются как собаки... Но ты не бойся, я все улажу... а сейчас оденься, пожалуй...

— Потуши свет.

Она все еще стесняется его. Руки у нее будто свинцовые, ей стоит немалых усилий натянуть на себя белье и платье. В изнеможении она опять садится на постель. С первой же секунды в этом ужасном доме чувство страха не покидало ее, и вот теперь оно стало паническим.

На первом этаже продолжают стучаться в двери. Слышно, как там ходят от комнаты к комнате. И каждый стук отдается ударом в перепуганном сердце Кристины. Фердинанд подсаживается к ней, гладит ее руки.

— Я виноват, прости. Я должен был предвидеть, но... я не знал ничего другого, а мне хотелось... мне так хотелось побыть с тобой. Прости.

Он гладит ее руки, по-прежнему холодные и дрожащие.

— Не бойся,— успокаивает он,— тебе ничего не сделают. А если... хоть один из проклятых псов обнаглеет, я им покажу. Со мной у них не выйдет, не для того я четыре года валялся в грязи, чтобы позволить каким-то ночным сторожам в мундирах измываться над собой, нет уж, они у меня попляшут.

— Не надо! — испугалась Кристина, увидев, как он нащупывает револьвер в кармане. — Умоляю тебя, не горячись! Если ты хоть не-

множко любишь меня, веди себя спокойно, лучше я... — Она не договаривает.

Теперь слышно, как шаги поднимаются по лестнице. Кажется, будто совсем рядом. Их комната третья, в первую уже стучат. Оба затаили дыхание, сквозь тонкую дверь слышен каждый звук. С первой комнатой разделались быстро, вот и вторая. Тук-тук-тук, трижды по дереву, потом распахивается дверь и чей-то пьяный голос кричит:

— Вам больше делать нечего, как приставать к порядочным людям по ночам? Ловили бы лучше бандитов!

— Ваши документы! — звучит в ответ строгий бас. Затем, чуть тише, что-то добавляет.

— Моя невеста, да-да, невеста,— громко и с вызовом говорит пьяный голос,— могу доказать. Мы уже два года встречаемся.

По-видимому, этого достаточно, дверь с шумом захлопывается.

Сейчас их черед. От соседнего порога четыре-пять шагов. Вот они: топ, топ, топ... У Кристины замерло сердце. Стучат. Фердинанд спокойно идет навстречу полицейскому инспектору, который тактично стоит в дверях. У него круглое, вполне добродушное лицо с кокетливыми усиками, только вот воротник мундира, наверное, ему давит, и приятное в общем-то лицо побагровело. Нетрудно представить себе, как он выглядит в штатском костюме или без пиджака, как приглашает на танец, качнув чуть захмелевшей головой... Но сейчас он, нахмурив брови, спрашивает:

— Документы при вас?

Фердинанд останавливается перед ним.

— Вот. Если угодно, могу предъявить и военные, они всегда при мне, мы, фронтовики, привыкли, что к нам из-за всякой чепухи придираются.

Инспектор, не обращая внимания на резкий тон, сличает удостоверение с регистрационным бланком, потом мельком оглядывает Кристину, которая, отвернувшись, сидит на стуле, будто на скамье подсудимых. Уже мягче инспектор спрашивает:

— Вы знаете даму лично... то есть... давно знакомы с ней? — Он явно хочет проявить снисходительность.

— Да,— отвечает Фердинанд.

Козырнув, инспектор поворачивается к двери. Взглянув на Кристину, униженную, вырученную лишь его словом, Фердинанд в ярости делает шаг к полицейскому.

— Позвольте спросить... вот такие ночные налеты устраивают также в отеле «Бристоль» и других отелях на Ринге или только здесь?

Инспектор, с подчеркнуто служебной миной, пренебрежительно отвечает:

— Я не обязан давать вам справки, я лишь исполняю приказ. Скажите спасибо, что я не очень придираюсь, ведь может оказаться, что данные о вашей даме в регистрационном бланке не столь уж,— он подчеркнул это слово,— основательны.

Фердинанд сжимает кулаки, его душит злоба, он прячет руки за спиной, чтобы не ударить по физиономии посланца государства; однако инспектор, судя по всему, привык к подобным вспышкам и, не удостоив его взглядом, спокойно закрывает за собой дверь. Разъяренный Фердинанд даже не сразу вспоминает о Кристине, которая не сидит, а скорее лежит бездыханным трупом на стуле. Он ласково гладит ее по плечу.

— Видишь, он даже не спросил твоей фамилии... Обычная формальность... вот только этими формальностями они отравляют жизнь и доводят людей до отчаяния. Неделю назад я читал, что... да, вспомнил... одна девушка выбросилась из окна, испугалась, что ее отведут в полицию, будут проверять на венерические заболевания... сообщат матери... И она предпочла броситься с третьего этажа... Я прочитал об этом в газете, две строчки, всего две строчки... Действительно,

мелкое происшествие, мы ведь люди неизбалованные... по крайней мере похоронят в отдельной могиле, а не в общей, как прежде... да, дело привычное... в день умирает десяток тысяч, чего уж там один человек, тем более такой, как мы, с которыми все дозволено. Да, в хороших отелях государство щелкает каблуками и держит детективов, только чтобы у дам не украли драгоценности, там никто не выслеживает ночью так называемого гражданина... А меня стесняться нечего.

Кристина еще ниже опускает голову. Ей вдруг вспомнились слова немочки из Мангейма: «... ночью тут только и ходят из номера в номер». И еще вспомнилось: белоснежные широкие постели и утренний свет, двери, которые закрываются легко и бесшумно, будто резиновые, мягкие ковры и ваза с цветами у кровати. Конечно, там все могло быть красиво, хорошо и легко, а здесь...

Ее передергивает от омерзения. Фердинанд, не зная, чем помочь, бессмысленно повторяет:

— Ну успокойся, успокойся. Все прошло.

Но застывшее тело не перестает вздрагивать под его ладонью. Что-то в ней оборвалось, нервы не выдержали чрезмерного напряжения и трепещут, как телеграфные провода на ветру. Она не слушает его, она только прислушивается к стуку, который продолжается от дверей к дверям, от человека к человеку.

Теперь они на верхнем этаже. Стук внезапно усиливается. Все громче и громче повторяется: «Откройте! Именем закона!» Наступает короткая пауза, Кристина и Фердинанд напряженно слушают. Опять барабанят в дверь, но уже не костяшками пальцев, а кулаками. «Откройте! Откройте!» — повелительно рявкает голос. Судя по всему, там отказываются подчиняться. Раздается свисток, топот множества ног вверх по лестнице, и — четыре, шесть, восемь кулаков начинают молотить по двери: «Немедленно откройте!» Затем следуют оглушительные удары, треск дерева и — женский крик, панический, душераздирающий, пронзивший весь дом насквозь. Грохочут упавшие стулья, кто-то с кем-то борется, шмякаются на пол тела, будто мешки с камнями, женский крик переходит в глухой вой.

Кристина и Фердинанд переживают все так, словно это происходит с ними самими. Рассвирепевший мужчина борется там с полицейскими, полуодетую женщину схватили за руку заученным приемом, и она, извиваясь, кричит: «Не пойду, не пойду!» — кричит, как затравленный зверек. Звенит разбитое стекло, наверное, выдавили окно в схватке. А теперь вдвоем или втроем тащат ее, волокут по полу... через все стены слышно, как она барахтается и как они пыхтят. И вот — ее тащат по коридору, по лестнице, все тише, все подавленнее звучат вопли перепуганной жертвы: «Не пойду, не пойду! Пустите! На помощь!» — пока совсем не замирают внизу. Заводится мотор автомашины. Всё. Птичка в клетке.

Стало тихо, гораздо тише, чем раньше. Страх тучей окутал весь дом. Фердинанд, подняв Кристину со стула, целует ее в холодный лоб. Она лежит в его объятиях вялая, неподвижная, словно утопленница. Он целует ее в губы, но они сухие, бесчувственные. Он сажает ее на постель, она валится навзничь, бессильная, опустошенная. Он гладит ее по голове. Наконец она открывает глаза.

— Пойдем! — шепчет она. — Уведи меня отсюда, больше не могу, я не выдержу здесь больше ни секунды. — И внезапно, в приступе отчаяния, бросается перед ним на колени.— Уйдем, прошу тебя, уйдем из этого проклятого дома.

— Деточка, но куда... только начало четвертого, до поезда еще два с половиной часа. Куда мы пойдем, лучше отдохни немного.

— Нет, нет. — Она бросает безумный, полный отвращения взгляд на смятую постель. — Прочь, прочь отсюда! И больше никогда... вот так... никогда!

Внизу, у конторки портье, полицейский делал какие-то пометки на регистрационных бланках. Подняв глаза, он кольнул быстрым зорким взглядом спустившуюся по лестнице парочку. Кристина покачнулась, Фердинанд поддержал ее, но полицейский опять склонился над бумагами. И в тот миг, когда Кристина, выйдя на улицу, почуяла свободу, она вздохнула с таким наслаждением, будто ей еще раз подарили жизнь.

До утра еще долго. Но фонари, кажется, уже устали гореть. Все, кажется, устало: переулки — от своей пустоты, дома — от погруженности во мрак, магазины — от запертости, а несколько блуждающих фигур устали нести самих себя. Тяжелой рысью, опустив головы, лошади везут к рынку длинные крестьянские повозки с овощами; встречного прохожего они обдают на миг влажным терпким запахом; потом по брусчатке громыхают молочные фургоны, дребезжа оцинкованными бидонами, и снова все тихо, серо и мрачно. У редких прохожих — подручных пекарей, уборщиков каналов и еще каких-то рабочих — невыспавшиеся, сердитые лица, похожие на серые маски; глядя на них, Кристина и Фердинанд остро ощущают это предрассветное настроение — взаимную неприязнь сонного города и спешащих на работу людей. Молча шагают они в темноте к вокзалу. Там, в приюте для бесприютных, можно посидеть и отдохнуть.

В зале ожидания они присаживаются в углу. Вокруг на скамьях спят мужчины, женщины, обложившись сумками, пакетами свертками, да и сами спящие напоминают смятые пакеты, заброшенные какими-то судьбами в пустоту. Снаружи время от времени слышится пыхтение, лязганье, стоны: это перегоняют локомотивы, пробуют пар в котлах, сцепляют вагоны.

— Ну что ты все об этом думаешь,— говорит Фердинанд.— Забудь, в следующий раз постараюсь, чтобы такого не было. Вижу, что обиделась, но ведь моей вины тут нет.

— Да, конечно,— говорит она, глядя перед собой,— вина не твоя. Но чья же? Почему это всегда случается с нами, ведь мы никому не сделали ничего плохого... Стоит только ступить шаг, как на тебя накидываются... Никогда я многого не требовала от жизни, один раз поехала в отпуск, хотела отдохнуть неделю-другую как люди, весело и легко, и вот беда с матерью... И один раз...— Она умолкла.

— Деточка, будь же разумной, ну что особенного стряслось... кого-то искали, проверяли документы, это же чистая случайность.

— Да, конечно. Всего лишь случайность. Но то, что произошло... тебе этого не понять, нет, Фердинанд, тебе не понять, для этого надо родиться женщиной. Ты не представляешь, что́ думает об этом женщина... ведь всякая девушка, даже девочка, еще ничего не понимая, мечтает, что когда-нибудь это произойдет: она останется наедине с мужчиной, которого любит... Все об этом думают... и ни одна не знает, не может вообразить, как это будет, сколько бы ни рассказывали ей подруги. Но каждая девушка, каждая женщина представляет себе это как праздник... как что-то красивое... самое красивое в жизни... Как что-то, не могу точно сказать... ну что-то, для чего, собственно, и существуешь, что придает смысл жизни... Годы, годы мечтаешь об этом, рисуешь себе, нет, не рисуешь, тут ничего не придумаешь, немыслимо, можно только мечтать как о чем-то прекрасном, грезить — знаешь, так смутно, неясно... и вот... и вот теперь... ужас, мерзость... Нет, когда все рушится, это невообразимо, невозможно... ведь если все осквернили, замарали, этого уже ничем больше не поправить, никогда....

Он гладит ее руку, но Кристина, словно не замечая его, оцепенело смотрит на грязный пол.

— Подумать только, что *это* зависит исключительно от денег, от гнусных, презренных денег. Две-три банкноты — и можно было

бы уехать за город на машине... Куда-нибудь, где за тобой никто не следит, где мы одни, свободны... Ах, как это было бы чудесно, полное приволье, блаженство... Да и ты бы чувствовал себя иначе, ничего бы тебя не смущало, не тяготило... Но мы как бездомные собаки — вынуждены забираться в чужой сарай, откуда нас выгоняют плеткой... Господи, если б я знала, что все получится так ужасно...— Но, увидев его лицо, она быстро добавила: — Нет, нет, ты не виноват, просто я не могу избавиться от ужаса, он еще сидит во мне... Теперь ты понимаешь, почему у меня так мерзко на душе. Дай мне немного времени, это пройдет...

— Но ты приедешь... приедешь еще?

Тревога, прозвучавшая в его вопросе, была ей приятна как первый теплый отклик.

— Да,— говорит она.— Приеду, не сомневайся. В следующее воскресенье, только... Ну ты сам знаешь... только об этом прошу...

— Да,— вздыхает он,— понимаю, понимаю.

Она уехала. Фердинанд поплелся в буфет и выпил две рюмки водки. Пересохшую глотку обожгло как огнем. Он снова обрел способность двигаться и вышел на улицу. Шагая все быстрее и быстрее, он энергично размахивал руками, будто сражался с невидимым противником. Прохожие удивленно оглядывались на него. На стройке тоже обратили внимание, что обычно скромный и сдержанный десятник был в тот день груб с подчиненными и раздражался по всякому поводу. Кристина сидит на почте, как и прежде, молчаливая, подавленная, выжидающая. И вспоминают они друг о друге не с любовью и страстью, а с некой жалостью и сочувствием. Не так, как думают о возлюбленном, а как о товарище по несчастью.

После той первой встречи Кристина каждое воскресенье ездит в Вену. Это ее единственный выходной день, летний отпуск уже использован. Они хорошо понимают друг друга. Слишком усталые, слишком разочарованные, чтобы воспылать страстной, всепоглощающей и преисполненной надежды любовью, оба уже счастливы тем, что нашли, кому можно довериться. Всю неделю они копят на это воскресенье. Копят деньги, ибо этот единственный день хотят провести вместе, отказавшись от вечной экономии, зайти в ресторан, в кафе, в кино, не скупясь особенно на траты, не подсчитывая каждый шиллинг. И всю неделю они сберегают слова и чувства, обдумывают, что расскажут друг другу, зная и радуясь заранее, что будут выслушаны с искренним сочувствием и пониманием. После долгих лишений уже одно это значит для них очень много, и этого маленького счастья они ждут, отсчитывая с нетерпением понедельник, вторник, среду и еще нетерпеливее четверг, пятницу и субботу. Между собой они соблюдают некоторую дистанцию. Они не произносят известных слов, которые обычно легко слетают с уст влюбленных, не говорят о свадьбе и о том, что навеки будут вместе,— все это так нереально и далеко, да, собственно, еще и не началось как следует. Приезжает она обычно около девяти; ночевать с субботы на воскресенье в Вене она не хочет, для одной номер в гостинице слишком дорого стоит, а вдвоем боится — еще не забылись те ужасные часы. Он встречает ее, они ходят по улицам, сидят на скамейках в парке, ездят на электричке за город, обедают, бродят по лесу. Им не надоедает смотреть друг на друга. Они счастливы прогуляться вдвоем по лужайке, счастливы самыми простыми вещами в жизни, которые принадлежат даже беднейшим из бедных,— голубым осенним небом и золотистым солнцем, букетиками цветов и свободным праздничным днем. Это для них уже много, и каждый раз они ожидают следующего воскресенья с радостью и долготерпением людей, умудренных жизнью и непритязательных.

В последнее воскресенье октября осень, утомившись от радушия к людям, задула сильным ветром и собрала на небе тучи. Дождь зарядил с самого утра, и они вдруг почувствовали себя лишними в мире. Нельзя же целый день слоняться по улицам в плаще и без зонтика; нет смысла, да и обидно сидеть в переполненных кафе, где при посторонних и не поговоришь, где лишь украдкой коснешься друг друга коленями под столиком, где мучительно ощущаешь, как уходит время, драгоценное время.

Оба знают, чего им недостает. До смешного малого: крохотной комнатушки, каких-нибудь трех метров уединенности, четырех стен, которые принадлежали бы им сегодня. Они сознают, как бессмысленно двум молодым телам, жаждущим друг друга, весь день таскаться в мокрой одежде по городу или сидеть в переполненном помещении, а еще раз купить на ночь такую комнатушку они не рискуют. Проще всего Фердинанду было бы снять комнату для их свиданий. Но он получает лишь сто семьдесят шиллингов, а живет у старушки в смежной с ее комнатой каморке, от которой нельзя отказаться. В ту пору, когда он был безработным, добрая хозяйка, поверив ему в долг, не брала с него ни за жилье, ни за стол; он должен ей еще двести шиллингов, выплачивает ежемесячно и раньше чем через три месяца не расплатится. Обо всем этом он Кристине не говорит, даже ей, близкому человеку, он стесняется признаться в своей бедности и долгах. Кристина догадывается, что, вероятно, какие-то денежные обстоятельства мешают ему съехать оттуда и снять другую комнату. Она охотно предложила бы ему денег, но боится оскорбить его мужское самолюбие и потому не заикается об этом.

Так они и сидят безутешно в прокуренных залах, поглядывая в окна, не кончился ли дождь. Как никогда еще, оба чувствуют безграничную власть денег, могучих, когда они есть, и еще более могучих, когда их нет, чувствуют божественность свободы, которую деньги могут дать, и сатанинское коварство, с каким они вынуждают отказаться от этой свободы. Ожесточение охватывает обоих, когда в утренних сумерках они глядят на светящиеся окна, где за золотистыми гардинами сотни тысяч мужчин, и у каждого есть кров и желанная женщина, а они, бесприютные, должны бесцельно бродить под дождем — так жестоко в природе лишь море, в котором можно умереть от жажды.

В городе множество комнат, светлых, теплых, с мягкими кроватями, полное уединение и тишина, здесь десятки, сотни тысяч таких комнат, наверное, не счесть, сколько из них пустует, и только у них одних нет ничего, даже уголка, где можно хоть на секунду прижаться друг к другу в поцелуе, ничего, чтобы утолить иссушающую жажду и остынуть от бессмысленной злости на мир; ничего им не остается, кроме как обманывать себя, что вечно так продолжаться не может, и вот — оба начинают лгать. В кафе, читая объявления, он делает себе какие-то пометки и сообщает ей, между прочим, что у него блестящие шансы на великолепное место: друг-однополчанин обещал устроить его в секретариат большой строительной фирмы, получать он будет там столько, что сможет учиться дальше и стать наконец архитектором. Кристина в свою очередь рассказывает — и это не ложь,— что подала в почт-дирекцию прошение о переводе в Вену, а дядя, к которому она ходила, обещал помощь — у него там большие связи. Через неделю-другую придет ответ, наверняка благоприятный. Но Кристина умолчала о том, как дядя встретил ее на самом деле. Однажды вечером в половине девятого она подошла к дому, где он жил; судя по шуму, доносившемуся из открытых окон его квартиры, семья была в сборе, и Кристина уверенно позвонила. Через некоторое время в переднюю вышел несколько раздраженный дядя: жаль, что она пришла сегодня, когда тетя и кузины в отъезде (Кристина видела на вешалке их пальто и поняла, что это неправда),

а он пригласил к ужину двух друзей, поэтому принять ее не может, но если у нее есть какая-нибудь просьба... Она изложила просьбу, дядя выслушал, сказал: «Да, да, конечно»,— и она ясно почувствовала: он боится, что племянница попросит денег, и хочет поскорее отделаться от нее. Обо всем этом Кристина не стала рассказывать Фердинанду, к чему лишать надежды человека, который и без того пал духом. Не сказала она ему и про то, что купила лотерейный билет, от которого, как все бедняки, ждет чуда. Ей легче было солгать, что она написала тете — вдруг та поможет ей найти здесь приличное место или пригласит к себе в Америку, тогда он поедет вместе с ней и наверняка хорошо устроится, там нужны энергичные деловые люди. Фердинанд слушает и не верит, так же как не верит ему она. Пустые разговоры, радость словно смыло дождем, взгляд затемнен помрачневшим небом, ясна обоим лишь полная безвыходность. Порой они заговаривают о рождестве, о национальном празднике, у нее два свободных дня, можно куда-нибудь съездить, но это еще когда будет — в конце ноября и в конце декабря, еще ждать и ждать, долго, без всякой надежды.

Они обманывают себя словами, но в глубине души не обманываются, оба понимают, как изнурительно сидеть в шумном помещении среди людей, когда хочется быть наедине, тихо сочинять друг другу небылицы, когда душа и тело жаждут правды и полной близости.

— В следующее воскресенье наверняка будет хорошо,— говорит она,— не может же вечно лить дождь.

— Да,— отвечает он,— конечно, будет хорошо.

Но радости они не чувствуют: надвигается зима, враг бесприютных, так что лучше не будет. С воскресенья на воскресенье оба надеются на чудо, но чуда не происходит, они лишь по-прежнему гуляют, обедают и разговаривают, и эти свидания постепенно превращаются из удовольствия в муку. Иной раз они ссорятся, правда, сознавая, что это не от досады друг на друга, а от злости на свою нелепую участь, и им делается стыдно; всю неделю они радостно предвкушают новую встречу, а расставаясь, еще острее ощущают, что в их жизни что-то неправильно и противно здравому смыслу. Бедность почти совсем остудила в них чувственный пыл, но неприязни между ними нет, хотя порой они едва лишь терпят друг друга.

Хмурый ноябрьский день тускло светится за плохо протертыми окнами почтовой конторы, Кристина у стола подсчитывает расходы. Жалованья хватает еле-еле, с тех пор как она каждое воскресенье стала ездить в Вену; поезд, кафе, трамвай, обед, разные мелочи — вот и набегает. Порвался зонтик, перчатку потеряла, наконец — она все-таки женщина — купила новую блузку и пару изящных туфель. В итоге недочет небольшой, всего лишь двенадцать шиллингов, и хотя они с избытком покрываются оставшимися швейцарскими франками, тем не менее возникает вопрос: удастся ли продолжать ежевоскресные свидания, не прося аванса и не залезая в долги. Инстинктом, унаследованным от трех поколений бережливых предков, она боится и того и другого. Но где же тогда выход? В прошлую встречу, два дня назад, был такой ужасный дождь и ветер, они почти все время сидели в кафе и стояли под навесами, даже укрывались в церкви, она вернулась промокшая, страшно усталая и огорченная. Фердинанд был каким-то необычайно растерянным, то ли у него неприятности на работе, то ли еще что, держался неласково, чуть ли не грубо. Был замкнут, неразговорчив, и ходили они молча, словно поссорившись. Что его так расстроило? Обиделся, что она не в силах превозмочь отвращения и еще раз пойти с ним в такой же омерзительный отель, или причина была в погоде, в надоевшем до отчаяния блуждании из одного кафе в другое, в проклятой бесприютности, лишающей их встречи всякого смысла и радости? Что-то в их отно-

шениях, она чувствует, начинает угасать: не дружба, не товарищество, нет, но какая-то сила в них обоих почти одновременно ослабевает,— они больше не решаются обманывать друг друга надеждами. Сначала они воображали, что тем самым помогут друг другу, поддержат друг в друге уверенность, что можно найти выход из тупика бедности, но теперь они в это больше не верят, а зима с ее промозглой сыростью надвигается как беспощадный враг.

Кристина не знает, где еще взять надежду. В левом ящике ее стола лежит напечатанное на машинке письмо, оно пришло вчера из почт-дирекции Вены:

«В ответ на Ваше прошение от 17.9.1926 мы вынуждены, к сожалению, сообщить, что перевести Вас в почтовый округ Вены в настоящее время не представляется возможным, так как согласно постановлению министерства (номер, дата) увеличение должностных мест в венских почтовых отделениях не предусмотрено и в данный момент вакансий нет».

Иного она не ждала. Возможно, дядя ходатайствовал за нее, возможно, забыл — во всяком случае он единственный мог ей помочь, больше некому. Значит, придется оставаться здесь год, пять лет, а чего доброго, и всю жизнь. Как бестолково устроен мир.

Все еще с карандашом в руке, она раздумывает, сказать ли об этом Фердинанду. Странно, он ни разу не спросил, как обстоит с ее прошением, скорее всего не верил, что из этого что-нибудь выйдет. Нет, лучше не говорить, он и так поймет, если она смолчит. Только лишнее огорчение для него. Нет смысла. Теперь ни в чем нет больше смысла, ни в чем.

Скрипнула дверь. Кристина распрямляет спину и наводит на столе порядок; это у нее получается уже как бы механически, когда кто-нибудь входит и надо от грез переключиться на работу. Но что-то ей сейчас показалось странным: дверь открывается не так, как обычно, когда входят крестьяне,— те распахивают ее, как дверь в сарай, и с треском захлопывают за собой. В этот раз она открывается осторожно, робко и очень медленно, будто от легкого ветерка, только чуть поскрипывают петли. Кристина с невольным любопытством поднимает глаза и вздрагивает от испуга. За стеклянной перегородкой стоит человек, которого она меньше всего ожидала здесь увидеть,— Фердинанд.

Кристина перепугалась не на шутку. Фердинанд не раз предлагал, чтобы она не моталась все время в Вену, лучше он будет приезжать сюда. Но она всегда возражала, стесняясь, наверное, предстать перед ним в этой убогой конторе и в самодельном рабочем халате, короче, из-за женского тщеславия и стыдливости. Вероятно, опасалась она и болтовни деревенских кумушек; что скажут хозяйка дома и соседка, если увидят ее с каким-то незнакомцем из Вены в лесу, а Фукталер, тот просто обидится. И вот он все же приехал, это не к добру.

— Удивляешься, не ожидала? — Это должно было прозвучать весело, но в горле что-то мешает, и получается хрипловато.

— Что?.. Что случилось? — спрашивает она в страхе.

— Ничего. А что должно случиться? Просто выпал свободный день, и я подумал: съезжу-ка разок. Ты не рада?

— Да, да,— лепечет она,— конечно.

Он оглядывает помещение.

— Значит, это твое царство. Гостиная в Шёнбрунне красивее и шикарнее, но зато ты здесь одна и над тобой нет повелителя. А это уже немало!

Не отвечая, она думает только об одном: что ему надо?

— У тебя сейчас, кажется, обеденный перерыв? Я подумал: может, прогуляемся немного и поговорим?

Кристина смотрит на часы. Без четверти двенадцать.

— Еще нет, но скоро... Только вот... по-моему... будет лучше, если мы выйдем отсюда не вместе. Ты не представляешь, какой здесь народ; если увидят меня с кем-то, тут же пойдут расспросы, лавочник, бабы — все подряд начнут приставать: с кем это я, да откуда он... а врать я не люблю. Лучше ступай вперед, иди сразу направо по Церковной улице, дойдешь до холма, а оттуда по дорожке наверх, нет, не заблудишься, к церкви святого Михаила, она на горе. Возле леска стоит большое распятие, его сразу видно, как выйдешь из деревни, а перед ним скамейки, садись и жди меня. В полдень там никого нет, все обедают. Ну и... никто внимания не обратит на постороннего, там бывают только богомольцы. Жди, я приду вслед за тобой минут через пять, у нас будет время до двух часов.

— Ладно,— говорит он.— Найду. Пока.

Он наполовину прикрывает за собой дверь. Резкий, лаконичный тон его ответов еще звучит у Кристины в ушах. Что-то случилось. Без причины он бы не приехал, у него же рабочий день. Да и поездка стоит денег... Шесть шиллингов сюда, шесть обратно. Наверняка есть причина.

Она опускает стекло, руки дрожат, с трудом поворачивают ключ, запирая дверь. Ноги как свинцовые.

— Куда ж это собралась? — любопытствует идущая с поля крестьянка Хубер, видя, как почтовая барышня в обеденное время направляется к лесу, чего за ней раньше не примечалось.

— Гулять,— отвечает она.

За каждый шаг надо оправдываться, ни на секунду с тебя не спускают глаз. Подгоняемая тревогой, она идет все быстрее и под конец почти бежит. Фердинанд сидит на каменной скамье. Над ним распростертый Христос, в руки вколочены гвозди, голова в терновом венце с трагической покорностью свешивается набок. Силуэт Фердинанда на скамье под высоченным распятием кажется частью печальной скульптуры. Угрюмо склоненная на грудь голова и вся фигура словно окаменели в сосредоточенном, упорнейшем раздумье. Палка в его руке глубоко вонзилась в землю. Не услышав сначала ее шагов, он затем выпрямляется, выдергивает палку и, повернувшись, смотрит на Кристину. Без любопытства, без радости, без ласки в глазах.

— А-а, пришла,— говорит он.— Садись, здесь никого нет.

— Ну что, что случилось, скажи? — спрашивает она.

— Ничего.— Он смотрит прямо перед собой.— А что должно случиться?

— Не мучай меня. Я же по тебе вижу. Что-то наверняка случилось, раз ты сегодня свободен.

— Свободен... пожалуй, ты права. Я действительно свободен.

— Но почему... Ведь тебя не уволили?

Он желчно смеется:

— Уволили? Нет. Увольнением это, пожалуй, не назовешь. Это лишь конец стройки.

— То есть как конец, что это значит, почему конец?

— Конец — это конец. Наша фирма разорилась, подрядчик исчез. Теперь его называют мошенником, аферистом, а еще позавчера перед ним лебезили. Я уже в субботу кое-что заметил: он долго названивал в разные места по телефону, пока не привезли жалованье для рабочих; нам выплатили только половину — ошибка, мол, в расчетах, сказал доверенный фирмы, выписали в банке меньше, чем надо, в понедельник доплатят. Ну а в понедельник ни гроша не привезли, и во вторник тоже, и в среду... Сегодня все прикрыли, подрядчик сбежал, стройка временно прекращена, и вот можно хоть раз позволить себе роскошь — прогуляться.

Она неподвижно смотрит на него. Больше всего ее пугает, что он говорит об этом так спокойно и насмешливо.

— Но ведь в таком случае тебе обязаны по закону выплатить компенсацию?

— Да, кажется, в законах что-то похожее есть, ладно, поглядим. Пока им нечем платить даже за почтовые марки, от долгосрочного кредита остались рожки да ножки, пишущие машинки и те отданы в залог. Мы-то, конечно, можем подождать, время у нас есть.

— Что же ты собираешься делать?

Он молча выковыривает палкой из земли мелкие камешки и неторопливо, один за другим, сгребает их в кучу. Кристине становится страшно.

— Ну говори же... что теперь будешь делать?

— Что буду делать? — Опять этот странный короткий смешок.— Ну что в таких случаях делают. Обращусь к своему банковскому счету, буду жить на «сбережения». Правда, еще не знаю как. Потом, через полтора месяца, будет, вероятно, дозволено воспользоваться благодатным установлением, именуемым пособием по безработице. Попытаюсь существовать на это, как существуют триста тысяч других в нашем благословенном придунайском государстве. А если доблестная попытка кончится неудачей, придется подыхать.

— Чушь.— Его хладнокровие бесит Кристину.— Зачем принимать все так близко к сердцу. Тебе не найти места?.. Да такой человек, как ты, всегда устроится, сто мест взамен одного найдет.

Неожиданно вспылив, он бьет палкой по земле.

— А я не желаю больше устраиваться! Сыт по горло! Само это слово приводит меня в бешенство, уже одиннадцать лет меня устраивают и пристраивают, и всё на разные места, но ни разу я не попал на такое, которое *устроило* бы меня самого. Четыре года на бойне, а потом бог знает где еще. И всегда я исполнял чужую волю, никогда не действовал по своей собственной, всегда ждал свистка: вон! Хватит! На другое место! Начинать заново, каждый раз сначала. Все, больше не могу. Не хочу, надоело.

Она порывается остановить его, но он продолжает:

— Не могу больше, Кристина, клянусь тебе, не могу. Лучше подохнуть, чем снова в посредническую контору и снова часами, как нищий, стоять в очереди за одной бумажкой, за другой. А после таскаться вверх и вниз по этажам, писать письма, на которые никто не ответит, и рассылать предложения, которые по утрам выгребают из мусорных баков. Нет, мне больше не выдержать этой собачьей жизни: топчешься в приемной, пока тебя не соизволят впустить к какому-нибудь мелкому чинуше; и вот он важно оглядывает тебя с этакой заученной, холодной, равнодушной улыбкой, чтобы ты сразу понял: вас, мол, таких сотни, скажите спасибо, что вас вообще слушают. Потом с замиранием сердца — это повторяется каждый раз — ждешь, а он небрежно листает твои бумаги с таким видом, будто плевать на них хотел, и наконец изрекает: «Буду иметь вас в виду, загляните завтра». Заглядываешь и завтра и послезавтра — все без толку; в конце концов куда-то тебя ставят и опять выставляют. Нет, мне этого больше не вынести. Я многое выдержал: в рваных ботинках семь часов топал по русским проселкам пил воду из луж, тащил на горбу три пулемета, попрошайничал в плену, закапывал трупы. Я чистил сапоги всей роте, продавал похабные фотографии только ради жратвы, я все делал и все выдерживал, так как верил, что когда-нибудь это кончится, когда-нибудь найду себе место, одолею первую ступеньку, вторую. Но нашего брата все время сшибают. Я сейчас до того дошел, что скорее убью, пристрелю кого-либо, чем стану у него попрошайничать. Нет у меня больше сил шататься по приемным и выстаивать на бирже труда. Мне уже тридцать, не могу больше.

Она дотрагивается до его плеча. Ей бесконечно жалко его, и она не хочет, чтобы он это почувствовал. Но Фердинанд сейчас, словно окаменев, погруженный в собственные переживания, вовсе и не замечает Кристины.

— Ну вот, теперь ты знаешь все, но не думай, что я приехал плакаться. Жалости мне не надо. Побереги ее для других, кому-нибудь пригодится. Мне уж ничего не поможет. Я пришел проститься с тобой. Наши встречи не имеют больше смысла. Вводить тебя в расходы я себе не позволю, у меня еще есть гордость. Лучше разойтись по-хорошему и не взваливать друг на друга свои заботы. Вот что я хотел тебе сказать. И еще — поблагодарить за все...

— Фердинанд! — Она в отчаянии обнимает его, прижимается со всей силой.— Фердинанд, Фердинанд,— только и повторяет она, не находя другого слова, охваченная безумным страхом.

— Ну скажи честно, какой смысл? Разве тебе самой не горько, когда мы топаем по грязным улицам, торчим в кафе и, не находя выхода, врем друг другу? Сколько еще может так продолжаться, чего нам ждать? Мне тридцать, но с каждым месяцем я чувствую, что постарел еще на год. Я не видел мир, жил только мечтой, верил, что придет наконец мой час и жизнь начнется. Но теперь знаю: ничего больше не придет, ничего хорошего. Я выдохся, мне уж не подняться. С таким связываться не стоит... Твоя сестра это сразу почуяла и встала между мной и Францем, чтобы я его не трогал и не увлекал. И тебя я только увлеку, и зря. Так что давай кончим по-хорошему, по-человечески.

— Да, но... как же ты будешь дальше?

Фердинанд молча, сосредоточенно ковыряет палкой землю. Взглянув вниз, Кристина цепенеет от страшной догадки. Он пробуравил в земле дырку и завороженно смотрит на нее, будто собрался туда провалиться. Кристина все поняла.

— Неужели ты...

— Да,— спокойно отвечает он.— Это единственно разумный выход. Начинать опять сначала у меня нет охоты, но подвести черту я еще в силах. Я знавал четверых, которые это сделали. Одно мгновение... Видел их лица. После. Добрые, довольные, ясные. Это не трудно. Легче, чем так жить.

Она по-прежнему обнимает его, но вдруг ее руки слабеют и опускаются.

— Тебе непонятно? — спрашивает он, спокойно глядя на нее.— Ты всегда была со мной откровенна.

Помолчав, она признается:

— Часто я думала о том же. Только боялась высказать себе все четко и ясно, как ты. Ты прав, жить так дальше нет смысла.

Он с сомнением смотрит на нее и спрашивает тоном, в котором слышится отчаяние и какой-то соблазн:

— Ты решилась бы?..

— Да, с тобой.— Она произносит это совершенно спокойно и твердо, словно речь идет о прогулке.— Одной мне не хватит мужества, не знаю... не задумывалась о том, как это делается, иначе давно бы, наверное, сделала.

— Ты со мной...— блаженно бормочет он и берет ее руки.

— Да,— по-прежнему спокойно отвечает она,— когда захочешь, но вместе. Не хочу больше тебя обманывать. Перевод в Вену не разрешили, а здесь, в деревне, я пропаду. Так лучше сразу, чем медленно. А в Америку я не писала. Они мне не помогут, ну пришлют десять — двадцать долларов — что это даст? Лучше уж сразу, чем мучиться, ты прав!

Он долго разглядывает ее. Никогда еще он не смотрел на нее с такой нежностью. Жесткие черты его лица разгладились, суровые глаза светятся ласковой улыбкой.

— Мне и в голову не приходило, что ты... согласишься сопровождать меня в такую даль. Теперь мне вдвое легче, ведь я за тебя тревожился.

Они сидят, взявшись за руки. Глядя на них, можно подумать, что это любовная парочка, только что обручились и взошли по тропинке сюда, чтобы скрепить помолвку перед распятием. Никогда они не чувствовали себя так беззаботно и так уверенно. И впервые у них появилась уверенность друг в друге и в будущем. Они долго сидят, сплетя руки, глаза в глаза, и лица у них добрые, довольные и ясные. Потом она тихо спрашивает:

— А как ты это... сделаешь?

Он достает из заднего кармана револьвер. Гладкий ствол блестит в лучах ноябрьского солнца. Оружие кажется ей совсем не страшным.

— В висок,— говорит он.— Не бойся, рука у меня твердая, не дрогнет... Потом себя в сердце. Это армейский револьвер самого крупного калибра, вполне надежный. Раньше чем в деревне услышат два выстрела, все будет кончено. Бояться не надо.

Она без всякого волнения, с деловитым любопытством рассматривает револьвер. Потом переводит взгляд на возвышающийся в нескольких метрах от скамейки огромный крест из темного дерева, на котором распятый Христос мучился три дня.

— Не здесь,— поспешно говорит она.— Не здесь и не сейчас. Понимаешь...— Она смотрит на него и нежно сжимает его пальцы.— Прежде я хочу еще раз побыть с тобой... по-настоящему, без страха, без всяких ужасов... Целую ночь... нам надо, наверное, еще многое сказать друг другу... напоследок... то, чего в жизни обычно никогда не говорят... Хочу побыть с тобой, целую ночь с тобой... А утром пусть нас найдут.

— Хорошо,— соглашается он.— Ты права, надо взять лучшее от жизни, прежде чем покончить с ней. Прости, об этом я не подумал.

Опять они сидят молча. Легкий ветерок овевает их. Даже чуть пригревает солнце. На душе у них хорошо и поразительно безмятежно. Но тут с колокольни доносятся три удара. Кристина спохватывается:

— Без четверти два!

Фердинанд звонко смеется:

— Вот видишь, каковы мы. У тебя хватает храбрости умереть, но опоздать на службу боишься. Как же глубоко засело в нас рабство. В самом деле, пора освободиться от всей этой чепухи. Неужели ты собираешься идти туда?

— Да,— говорит она.— Так лучше. Хочу все привести в порядок. Глупо, но... понимаешь, мне будет легче, если я все приберу, надо еще письма написать. К тому же... если я буду сидеть там до шести часов, меня никто не хватится. А вечером поедем в Кремс, или в Санкт-Пёльтен, или в Вену. У меня есть еще деньги на приличный номер и ужин, поживем разок так, как хочется... только пусть все будет хорошо, красиво... а завтра утром, когда нас найдут, нам уже будет безразлично... В шесть часов зайди за мной, теперь мне все равно, пусть смотрят, пусть говорят и думают что угодно. В шесть я запру дверь и освобожусь от всего, от всех... стану по-настоящему свободна... мы оба станем свободны.

Он не спускает с нее глаз, ее неожиданная стойкость нравится ему.

— Ладно,— говорит он.— Приду к шести. А пока погуляю, погляжу еще раз на мир. До свидания.

Весело и проворно она сбегает по дорожке и внизу оборачивается. Он стоит наверху, глядя ей вслед, потом вынимает носовой платок и машет.

— До свидания! До свидания!

Кристина вошла в контору. Неожиданно все стало легко. Без всякой враждебности встречают ее письменный стол, конторка, стул, весы, телефон и груды бумаг. Они теперь не издеваются и не злорадствуют втихомолку: «Тысячу раз, тысячу раз, тысячу раз», ибо она знает, что дверь открыта, один шаг — и перед ней свобода.

Она вдруг обрела удивительный покой, тот светлый покой, которым дышит луг, когда на него спускаются первые вечерние тени. Все у нее получается легко, словно играючи. Она пишет несколько прощальных писем — сестре, почтовому ведомству, Фуксталеру — и сама удивляется, какой у нее каллиграфический почерк, как ровно ложатся строчки и точно одинаковы пробелы между словами. Так же чисто и аккуратно, как в домашних заданиях, которые она писала в школьные годы, не вникая в смысл. Одновременно она обслуживает посетителей, ей сдают письма, посылки, вносят деньги, заказывают телефонные разговоры. И каждого она обслуживает необычайно старательно и вежливо. У нее появилось неосознанное желание оставить о себе этим чужим, посторонним людям — Томасу, крестьянке Хубер, помощнику лесничего, ученику из мелочной лавки, жене мясника — приятное воспоминание, это ее последняя маленькая дань женскому тщеславию. Она непринужденно улыбается, когда ей говорят: «До свидания», и отвечает еще сердечнее: «До свидания!», потому что все в ней дышит уже другим воздухом, воздухом избавления.

Потом она доделывает невыполненную работу, подсчитывает задолженности, выписывает счета, сортирует. Никогда еще на ее столе не было такого порядка, она даже стерла чернильные пятна и поправила висевший криво календарь — ее преемнице не придется жаловаться. Никому не придется жаловаться теперь, когда она счастлива. Наводя порядок в своей жизни, она и здесь должна все упорядочить.

Увлекшись работой, она забыла о времени и была немало удивлена, когда на пороге появился Фердинанд.

— Уже шесть? Господи, а я и не заметила. Еще минут десять — двадцать, и я готова, понимаешь, хочется все оставить так, чтобы ни к чему не придрались. Мне только подвести баланс, подсчитать кассу, и я в твоем распоряжении.

Он говорит, что подождет на улице.

— Нет, нет, посиди здесь, я опущу жалюзи. А если кто и увидит, что мы вышли отсюда вместе, теперь это неважно, завтра они больше удивятся.

— Завтра,— улыбается он.— Я рад, что завтра не будет. По крайней мере для нас... Чудесно прогулялся, небо, краски, лес... гм, а он был неплохим архитектором, милый боженька, немного старомодным, но все-таки лучше, чем мог бы стать я.

Она впускает его в священную служебную зону за стеклянной перегородкой, куда ни разу не ступал ни один посторонний.

— Стула предложить тебе не могу, наша республика не настолько щедра, садись на подоконник и покури, через десять минут я разделаюсь,— она облегченно вздыхает,— разделаюсь со всем.

Кристина быстро суммирует цифры, колонку за колонкой. Потом достает из несгораемого шкафа черную сумку, похожую на волынку, и начинает считать деньги. Она складывает их отдельными стопками — пятерки, десятки, сотенные, тысячные — и, смачивая палец о губку, с профессиональной сноровкой пересчитывает синие бумажки, помечая карандашом общее число банкнотов в каждой стопке, торопясь сверить наличность с кассовой книгой и подвести черту, последнюю, избавительную.

Неожиданно она услыхала за спиной стесненное дыхание и обернулась. Оказывается, Фердинанд слез с подоконника, тихо подошел к столу и вот — заглядывает ей через плечо.

— Ты что?

— Разреши,— сдавленным голосом говорит он,— я возьму на ми-

нуту одну бумажку. Давно не держал тысячу и вообще никогда не видел столько денег сразу.

Он осторожно, как нечто хрупкое, берет купюру, и Кристина замечает, что его рука дрожит. Что с ним? Он так странно уставился на синюю бумажку, ноздри трепещут, в глазах непонятный блеск.

— Сколько денег... У тебя здесь всегда столько?

— Конечно, сегодня даже мало, одиннадцать тысяч пятьсот семьдесят шиллингов. Но к концу квартала, когда виноградари вносят налоги или фабрика перечисляет заработную плату, набирается сорок, пятьдесят, шестьдесят тысяч, а один раз было даже восемьдесят.

Взгляд его прикован к столу. Словно испугавшись, он убирает руки за спину.

— И ты... не боишься держать здесь такую сумму?

— А чего бояться? Окна зарешечены, смотри, какие толстые прутья, на втором этаже живут Вайденхофы, рядом мелочная лавка, наверняка услышат, если кто полезет. А на ночь запираю сумку в шкаф.

— Я бы боялся.

— Ерунда, чего?

— Самого себя.

Он отвел глаза от ее недоуменного взгляда и стал ходить взад-вперед по комнате.

— Я бы не выдержал, ни одного часа, дышать бы не мог рядом с такой кучей денег. Все время считал бы: вот тысяча, бумажка как бумажка, но если я прикарманю ее, то смогу привольно жить три месяца, полгода, год и делать что хочу... а на все эти — сколько ты сказала? — одиннадцать с половиной тысяч мы смогли бы жить два-три года, посмотреть мир, пожить настоящей жизнью так, как хочется, как человеку положено жить от рождения, ничем не стесненному, не скованному. Только протянуть руку — и полная свобода... нет, я бы не выдержал, сошел с ума, все время смотреть на них, трогать, нюхать и знать, что они принадлежат этому дурацкому пугалу, государству, которое не дышит, не живет, ничего не хочет и не понимает, этому глупейшему изобретению человечества, которое измалывает людей. Я бы сошел с ума... я бы привязывал себя на ночь от соблазна взять ключ и отпереть шкаф... И ты могла спокойно жить рядом! Неужели ни разу не подумала об этом?

— Нет,— говорит она испуганно,— ни разу не думала.

— Значит, государству повезло. Негодяям всегда везет. Ну ладно, собирайся,— говорит он чуть ли не с яростью,— убери деньги. Видеть их больше не могу.

Она быстро запирает контору. Теперь и у нее вдруг задрожали руки. Оба направляются к станции. Уже стемнело, в освещенные окна видно, как люди сидят за ужином; а когда они проходят мимо последнего дома, до них доносится тихое ритмичное бормотание — вечерняя молитва. Оба шагают молча, будто идут не вдвоем. Одна и та же мысль следует за ними как тень. Они чувствуют ее в себе, вокруг себя, и когда, сворачивая с деревенской улицы, невольно ускоряют шаг, она не отстает от них.

За последними домами они внезапно оказались в полной темноте. Небо светлее земли, на его прозрачном фоне аллея прорисовывается силуэтами оголенных деревьев. Черные сучья, словно обожженные пальцы, хватают недвижный воздух. По дороге встречаются редкие прохожие и повозки, но их почти не видно, слышен только шум колес и шаги.

— Есть тут еще дорога на станцию? Какая-нибудь тропинка, где нет ни души?

— Есть,— отвечает Кристина,— вот, направо.

Ей стало немного легче оттого, что он заговорил. Можно хоть на

минуту отвлечься от мысли, которая грозной тенью преследует ее от самой конторы, неслышно, упорно, шаг за шагом.

Некоторое время Фердинанд идет молча, будто забыв о ней, даже не касается рукой. И вдруг, точно свалившийся с неба камень, звучит вопрос:

— Ты полагаешь, к концу месяца может набраться тысяч тридцать?

Она сразу поняла, о чем он думает, и, чтобы не обнаружить своего волнения, постаралась ответить твердым голосом:

— Да, пожалуй.

— А если задержать перечисления... Если ты придержишь на несколько дней налоги или чего там еще, я ведь знаю нашу Австрию, проверяют не так уж строго, сколько наберется тогда?

Она задумывается.

— Тысяч сорок наверняка. Возможно, и пятьдесят... Но зачем?..

— Сама понимаешь зачем,— отвечает он почти сурово.

Она не решается возражать. Он прав, она понимает зачем. Они молча идут дальше. Где-то рядом в пруду как сумасшедшие раскваквакались лягушки, от этой какофонии даже больно ушам. Внезапно Фердинанд останавливается:

— Кристина, нам незачем притворяться друг перед другом. Положение у нас чертовски серьезное, и мы должны быть откровенными до конца. Давай подумаем вместе спокойно и ясно.

Он закуривает сигарету. На мгновение пламя спички освещает его напряженное лицо.

— Итак, поразмыслим. Сегодня мы решили покончить с собой, или, как красиво пишется в газетах, «уйти из жизни». Это неверно. Мы вовсе не собирались уходить из жизни, ни ты, ни я. Мы лишь хотели выбраться наконец из нашего жалкого прозябания, и другого выхода не было. Не из жизни мы решили уйти, а из нашей бедности, из этой отупляющей, невыносимой, неизбежной бедности. И только. Мы были уверены, что револьвер — последний, единственный путь. Но мы ошибались. Теперь мы оба знаем, что в крайнем случае есть еще один путь, предпоследний. Вопрос теперь вот в чем: хватит ли у нас мужества ступить на этот путь и как мы его пройдем.— Он помолчал, затягиваясь сигаретой.— Нужно спокойно, по-деловому все взвесить и продумать, как арифметическую задачу... Разумеется, я не хочу вводить тебя в заблуждение. Говорю честно: второй путь потребует, вероятно, больше мужества, чем первый. Там дело просто: нажал пальцем, выстрел — все. Второй путь тяжелее, потому что куда длиннее. Тут надо напрячься не на секунду, а на недели, на месяцы и придется постоянно укрываться, прятаться. Выдержать неизвестность всегда труднее, чем определенность, кратковременный сильный страх легче долгого, нескончаемого. Необходимо заранее взвесить, хватит ли сил выдержать это напряжение и стоит ли оно того. Стоит ли быстро покончить с жизнью или еще раз попробовать все сначала. Вот мои соображения.

Он шагает дальше, Кристина машинально следует за ним. Ее ноги передвигаются сами по себе, рассудок молчит, она лишь безвольно ждет, что он скажет, ловит каждое его слово. Перепуганная насмерть, она бессильна что-либо соображать.

Фердинанд снова останавливается.

— Пойми меня правильно. Я не испытываю ни малейших нравственных угрызений перед нашим государством, чувствую себя совершенно независимым от него. Оно совершило такие чудовищные преступления перед нами, перед нашим поколением, что мы имеем право на все. Сколько бы мы ему ни вредили, все равно это будет лишь возмещением ущерба за нашу погубленную молодость. Если я краду, то кто побудил и научил меня этому, как не государство? На войне это называли реквизицией и экспроприацией, в мирном догово-

ре — регрессом. Если мошенничаем, то кому мы обязаны этим искусством? Только ему, нашему наставнику. Государство показало, как накопленные тремя поколениями деньги можно за две недели превратить в дерьмо, как ловко можно выманить у семейства принадлежавшие ему сто лет дома, луга и поля. Даже если я кого-нибудь убью, кто меня на это натаскал и вымуштровал? Шесть месяцев в казарме и годы на фронте! Клянусь богом, наш процесс против государства идет отлично, мы выиграем его во всех инстанциях, государству никогда не погасить своего огромного долга, не вернуть того, что отнято у нас. Совестливость по отношению к государству была хороша в давние времена, когда оно выступало добрым опекуном, порядочным, бережливым, корректным. Теперь же, когда оно обошлось с нами подло, каждый из нас имеет право быть подлецом. Ты понимаешь?.. У меня нет ни малейших сомнений — и у тебя их тоже не должно быть,— что мы вправе взять реванш. Я заберу наконец свою пенсию по инвалидности, которая положена мне на законном основании и в которой мне отказало высокочтимое казначейство, возьмем деньги, украденные у твоего отца и у моего, вернем себе естественные человеческие права, которые отняли у нас, живых. Клянусь тебе, моя совесть будет спокойна, ведь и государству безразлично, живы мы или подохли, и бедняков не прибавится, сколько бы мы ни взяли,— сто, тысячу или десять тысяч синих бумажек, для государства это не более ощутимо, чем для лужайки, где корова съест несколько лишних травинок. Меня это совершенно не тревожит, и если б я украл десять миллионов, то спал бы так же безмятежно, как директор банка или генерал, проигравший три десятка сражений. Я думаю лишь о нас, о нас с тобой. Нельзя только действовать безрассудно, как какой-нибудь пятнадцатилетний мальчишка-приказчик, который, стянув десять шиллингов из хозяйской кассы, промотает их через час, не зная, зачем это сделал. Для подобных экспериментов мы староваты. У нас лишь две карты в руках, ставим либо на одну, либо на другую. И выбор надо хорошенько обдумать.

Отведя душу, он идет дальше. Кристина чувствует, как напряженно работает его мозг, ей даже не по себе от его спокойных логичных рассуждений, от острого сознания его превосходства и своей покорности.

— Итак, не торопясь, шаг за шагом. Никаких скачков. Никаких надежд и фантазий. Давай рассуждать. Если мы сегодня покончим с собой, то сразу отделаемся от всего. Одно движение — и жизнь позади... вообще говоря, мысль любопытная, я всегда вспоминаю нашего учителя в гимназии, он часто повторял: единственное превосходство человека над животным состоит в том, что он может умереть, когда хочет, а не когда должен. Наверное, это единственная свобода, которой располагаешь всю жизнь,— свобода расстаться с жизнью. Но мы оба еще молоды и, собственно, толком не понимаем, с чем расстаемся. В сущности, мы хотим расстаться лишь с той жизнью, которую не приемлем, отвергаем, но ведь, возможно, есть и такая, что нам понравится. С деньгами жизнь иная, так я, по крайней мере, думаю, да и ты тоже. Но раз уж мы еще о чем-то думаем,— понимаешь, что́ я имею в виду? — значит, наш отказ от жизни преждевременен, значит, мы покушаемся на то, на что у нас нет права, другими словами, на зародыш непрожитой жизни, на какую-то новую и, вероятно, замечательную возможность. Как знать, может, благодаря деньгам из меня еще что-нибудь получится, может, во мне кое-что заложено, но еще не проявилось и погибает, как вот эта травинка, которую я сорвал, сорвал, не дав ей вырасти. Ведь что-то во мне смогло бы еще развиться, да и в тебе... Ты, например, могла бы иметь детей, могла... Кто бы знал... Удивительное именно в том, что никто не знает... Понимаешь, я хочу сказать, что... ну образ жизни, который мы вели, не стоит того, чтоб его продолжать, это жалкое прозябание от воскресенья до вос-

кресенья, от отпуска до отпуска. Но как знать, вдруг нам удастся все изменить, для этого надо только мужество, и мужества побольше, чем для мгновенной смерти. В конце концов, если дело сорвется, револьвер всегда при мне. Так ка́к ты думаешь, раз деньги, что называется, сами плывут в руки, стоит их взять?

— Да, но... куда мы с ними денемся?

— За границу. Я знаю языки, говорю по-французски, даже очень хорошо, свободно говорю по-русски, немного по-английски, остальное приложится.

— Да, но... будут же разыскивать... Тебе не кажется, что они могут найти нас?

— Не знаю, и никто не может знать этого. Возможно, даже вероятно, найдут, а возможно, и нет. Думаю, это в первую очередь зависит от нас самих: сумеем ли выдержать, будем ли действовать с умом, осторожно, все ли верно рассчитаем. Конечно, потребуется неимоверное напряжение. Спокойной жизни, видимо, не ожидается, будет вечное бегство, уход от погони. Тут я тебе ничего не могу сказать, решай сама, хватит ли у тебя мужества.

Кристина задумывается. Так трудно все вдруг обдумать.

— Одна я ни на что не решусь. Я женщина, ради самой себя я не осмелюсь — только ради другого, вместе с этим другим. Для двоих, для тебя я смогу все. Стало быть, если ты хочешь...

Он убыстряет шаг.

— Вот то-то и оно, что я не знаю, хочу ли. Ты говоришь: вдвоем тебе легче. А мне было бы легче сделать это одному. Я бы знал, чем рискую — исковерканной, пропащей жизнью,— и черт с ней. Но я боюсь увлечь с собой тебя, ведь все это задумал я, а не ты. Я не хочу ни подбивать тебя, ни втягивать, и если ты что-то решишь, то должна сделать это по своей воле, а не по моей.

За деревьями мелькают огоньки. Тропинка кончается, скоро станция.

Кристина идет будто оглушенная.

— Но... как ты собираешься все это сделать? — спрашивает она.— Не представляю, куда мы денемся, судя по газетам, всех всегда ловят. Что ты предлагаешь?

— Да я вовсе и не думал еще об этом. Ты меня переоцениваешь. Идея рождается в секунду, но только дураки спешат ее осуществить. Потому их всегда и ловят. Есть два вида правонарушений — или преступлений, как обычно говорят,— одни совершаются в азарте, со страстью, другие расчетливо, продуманно. Азартные, пожалуй, красивее, но они-то в основном не удаются. Так поступают мелкие воришки, хватают в хозяйской кассе десятку и бегут на ипподром, надеясь на выигрыш или на то, что шеф не заметит пропажи,— все они верят в чудо. А я в чудеса не верю, я знаю, нас двое, а против нас гигантская организация, которая создавалась веками и вобрала в себя ум и опыт тысяч сыщиков; я знаю, что каждый сыщик в отдельности болван, что я в сто раз умнее и хитрее его, но за ними стоит опыт, система. Если мы — видишь, я еще говорю «мы»— все-таки решимся на это, необходимо полностью исключить любое мальчишество. Поспешишь — людей насмешишь. План операции надо продумать до мелочей, рассчитать любую возможность. Это как в математике, исчисление вероятностей. Так что давай сначала все хорошенько обдумаем, а в воскресенье приезжай в Вену, и тогда уж решим. Не сегодня.

Фердинанд останавливается. Его голос вдруг опять звучит звонко, по-детски чисто, что так нравится Кристине.

— Вот ведь странное дело. Днем, когда ты пошла в контору, я отправился гулять. Глядел на мир и думал: вижу его в последний раз. Светлый, солнечный, полный горячей жизни, прекрасный мир — вот он, и вот я — довольно молодой, еще живой, здоровый. Подвел я итоги и спросил себя: а что ты, собственно, сделал в жизни? Ответ был

горьким. Грустно, что сам я, в сущности, ничего не сделал и не придумал. В школе за меня думали учителя, учили тому, что считали нужным. На войне каждый шаг делал по команде, в плену была только безумная мечта: скорей бы на свободу! — и мучительная бездеятельность. А после я все время вкалывал на других, без цели, без смысла, только ради куска хлеба и чтоб заплатить за воздух, которым дышишь. И вот теперь я впервые буду целых три дня, до воскресенья, думать о том, что касается только меня, меня и тебя; признаться, я даже рад. Знаешь, хочется сконструировать все так, как строят мост, где каждый болт, каждая заклепка должны быть на своем месте и ошибка на миллиметр может нарушить законы статики. Хочется построить все на годы. Понимаю, ответственность большая, но впервые в жизни я отвечаю за себя и за тебя. Справимся мы или нет, будет видно, но уже то, что есть идея и надо ее продумать, предусмотреть все возможные последствия и комбинации, доставляет мне такое удовольствие, о котором я и не мечтал. Хорошо, что я приехал к тебе сегодня.

Станция совсем близко уже, видны отдельные фонари. Они останавливаются.

— Дальше тебе не стоит идти,— говорит он.— Еще полчаса назад было все равно, увидят нас вместе или нет. А теперь никто не должен видеть тебя со мной, этого требует,— он засмеялся,— наш великий план. Никто не должен догадываться, что у тебя есть помощник, знать приметы моей персоны нежелательно. Да, Кристина, теперь нам придется учитывать все, будет нелегко, я тебе сразу сказал... Правда, с другой стороны, я еще... мы еще понятия не имеем, что такое настоящая жизнь. Я никогда не видел моря, за границей был только пленным, не знаю, что значит жить, не думая на каждом шагу: а сколько это стоит? Словом, мы никогда не были свободны. Может быть, совершив это, мы только и узнаем цену тому, что называется жизнью. Жди спокойно, не терзайся, я все разработаю до мельчайших деталей, даже в письменном виде, потом мы вместе изучим пункт за пунктом, взвесим все за и против и уж тогда примем решение. Согласна?

— Да,— твердо отвечает она.

Дни, оставшиеся до воскресенья, тянулись для Кристины невыносимо. У нее впервые появился страх перед самой собой, перед людьми, перед вещами. Отпирать по утрам шкаф с кассой, прикасаться к деньгам было для нее мукой. Кому они принадлежат — ей? государству? В целости ли они еще? Снова и снова она пересчитывает синие бумажки, но каждый раз сбивается со счета. То рука дрожит, то пропускает какую-нибудь цифру. Она утратила всякую уверенность в себе, а заодно и всякую непринужденность в поведении. Ей кажется, будто все вокруг догадываются о ее замысле, о сомнениях, подглядывают, выслеживают. Тщетно рассудок твердит: все это бред. Я же ничего не сделала. Мы ничего еще не сделали. Все в порядке, деньги в шкафу, счет сходится грош в грош, никакая ревизия не подкопается. И тем не менее она не выдерживает внимательных взглядов, вздрагивает, когда звонит телефон, ей стоит больших усилий поднести трубку к уху. А когда в пятницу утром в контору неожиданно вошел жандарм, топая сапогами, звякая штыком, у Кристины потемнело в глазах и она обеими руками вцепилась в стол, словно испугалась, что ее оторвут от него. Но жандарм, пожевывая сигару, хочет всего-навсего отправить денежный перевод, алименты одной девице, у которой от него внебрачный ребенок; он добродушно посмеивается по поводу своего долгосрочного обязательства за столь кратковременное удовольствие. Но Кристине не до смеха, цифры пляшут на бланке, который она заполняет. Лишь после того, как за ним с треском захлопывается дверь, она переводит дух

и, выдвинув ящик стола, убеждается, что деньги на месте, все тридцать две тысячи семьсот двенадцать шиллингов и сорок грошей, точно по кассовой книге. Ночью к ней подолгу не идет сон, а когда она засыпает, ей мерещатся кошмары, ибо намерение всегда кажется страшнее поступка, еще не свершившееся волнует сильнее, чем уже свершенное.

В воскресенье утром Фердинанд встречает ее на вокзале. Он пытливо всматривается в ее лицо.

— Бедняжка! Ты плохо выглядишь, совсем замученная. Небось страху натерпелась? Да, зря я тебя напугал заранее. Ничего, скоро все пройдет, сегодня мы решим — да или нет!

Она искоса взглянула на него: ясные глаза, необычно бодрый вид — и у нее полегчало на душе. Он заметил ее взгляд.

— Да, настроение у меня хорошее. Давно себя не чувствовал так прекрасно, как эти три дня. В сущности, я только сейчас понял, до чего ж здорово, когда можешь придумывать и делать что-то свое, по своему разумению, для себя. Не кусочек целого, которое ничуть тебя не трогает, а все здание, от фундамента до крыши, сам и для себя. Хотя бы и воздушный замок, который через час рухнет. Может, ты его сдунешь одним словом, а может, мы его вместе развалим. Но в любом случае работа была по мне. Было чертовски увлекательно разрабатывать план этакой кампании против полиции, государства, прессы, против сильных мира сего; поломал я себе голову, и сейчас мне охота объявить настоящую войну. В худшем случае нас победят, а мы ведь и так уже давно побежденные. Пойдем, сейчас все увидишь!

Они выходят с вокзала. Туман окутал дома серым холодом, с тусклыми лицами стоят в ожидании носильщики. Все дышит сыростью, с каждым словом изо рта вылетает струйка пара. Мир без тепла. Он берет ее под руку, чтобы перевести через улицу, и чувствует, как она вздрогнула от его прикосновения.

— Что с тобой?

— Ничего,— говорит она.— Просто мне было очень страшно в эти дни. Решила, что все наблюдают за мной, что каждый догадывается, о чем я думаю. Понимаю, это глупые страхи, но мне казалось, что все написано у меня на лице, что вся деревня уже знает. На станции встретила помощника лесничего, он спросил: «Чего это вы собрались в Вену?» — и я так смутилась, что он захохотал. А я обрадовалась: пусть лучше об этом думает, чем о другом... Скажи, Фердинанд,— она внезапно прижалась к нему,— неужели так будет всегда потом... после того, как мы это сделаем? Я уже чувствую, что не выдержу. У меня не хватит сил все время жить в страхе, бояться каждого, не спать, ожидая стука в дверь... Скажи, так не будет продолжаться вечно?

— Нет,— отвечает он,— думаю, что нет. Это страхи временные, пока ты живешь здесь, прежней жизнью. Как только ты окажешься в другом мире, в другой одежде, с другой фамилией, то сразу забудешь, какой была... Сама же рассказывала, как однажды стала совсем другой. Опасность только вот в чем: если ты сделаешь то, что мы задумали, с нечистой совестью. Если ты чувствуешь, что поступаешь несправедливо, обкрадывая самого главного грабителя, то есть государство, тогда, конечно, дело плохо, тогда я воздержусь. Что до меня, то я считаю себя абсолютно правым. Я знаю, что со мной обошлись несправедливо, и рискую головой за мое собственное дело, а не за дохлую идею вроде реставрации Габсбургов, или за Соединенные штаты Европы, или еще за какое-нибудь политическое устройство, на которое мне начхать... Однако у нас ничего пока не решено, мы пока только играем с идеей, а в игре унывать нельзя. Выше голову, я же знаю, ты умеешь быть храброй.

Кристина глубоко вздыхает.

— Ты прав, кое-что, пожалуй, смогу выдержать, я ведь понимаю, что терять нам нечего. В жизни мне пришлось немало вынести, но вот что трудно, так это неизвестность. А после того как все будет сделано, можешь на меня наверняка рассчитывать. Куда мы идем?— спросила она.

— Странная штука,— улыбнулся он.— Составить план было совсем нетрудно, и я с удовольствием прикидывал разные варианты, как и куда мы скроемся, кажется, учел все детали. Рассчитал чуть ли не каждый шаг в нашей жизни, когда у нас будут деньги, и это тоже было просто, но вот одного я не сумел: найти комнату, где бы мы могли сейчас спокойно все обсудить. Я лишний раз убедился, что гораздо легче прожить десять лет с деньгами, чем один-единственный день без них, да, да, Кристина,— он почти с гордостью улыбнулся ей,— найти четыре стены, в которых нас никто бы не слышал и не видел, оказалось сложнее всей нашей авантюры. Ехать за город — холодно, в гостинице могут подслушать, да и тебе там будет опять неспокойно; в ресторане, если пусто, ты все время на виду у официантов, в парке сейчас тоже не посидишь, вот видишь, Кристина, как трудно, не имея денег, уединиться в городе с миллионным населением. Чего я только не придумывал, была даже абсурдная идея подняться на колокольню собора святого Стефана, в такую погоду там ни души... В конце концов я подъехал к знакомому сторожу, который присматривает за нашей обанкротившейся стройкой. Дежурит он в дощатой будке с чугунной печкой, есть стол и, кажется, один стул. Сочинил историю, будто мне надо повидать одну знатную польскую даму, с которой я познакомился на войне, сейчас она с мужем живет в отеле «Захер», ее здесь многие знают, и потому ей неловко показываться со мной на улице. Представляешь, как был изумлен этот дурень! И он, разумеется, счел за честь оказать мне услугу. Мы с ним давно знакомы, раза два я выручал его. Он сказал, что оставит мне на всякий случай свое удостоверение, положит в условленное место ключ и с утра затопит печку. Комфорта там нет, но ради лучшей жизни стоит часа на два забраться в эту конуру. Мы будем одни, никто нас не увидит и не услышит.

Строительная площадка на окраине Флоридсдорфа была безлюдна, заброшенное кирпичное здание тупо глазело сотнями пустых оконных проемов. Бочки с гудроном, тачки, груды кирпича и кучи цемента в диком беспорядке лежали на мокрой земле; казалось, какое-то стихийное бедствие прервало рабочую суету и здесь воцарилась неестественная для стройки тишина.

Ключ был на месте, туман надежно скрывал их от посторонних взглядов. Фердинанд отпер будку — печка в самом деле горит, тепло, приятно пахнет свежим деревом. Он закрыл за собой дверь и подбросил в печку несколько поленьев.

— Если кто войдет, я успею кинуть бумаги в огонь. Не бойся, ничего не случится, да и некому сюда заходить, никто нас не услышит.

Кристина растерянно оглядывается, все здесь кажется ей неправдоподобным, единственно реальное — Фердинанд. Он вынимает из кармана несколько сложенных листов бумаги и разворачивает их.

— Сядь, пожалуйста, Кристина, и слушай хорошенько. Это план всей операции, я тщательно разработал его, раз пять переписал, думаю, теперь он вполне ясен. Прошу тебя, прочитай самым внимательным образом, пункт за пунктом, если возникнут сомнения или вопросы, запиши на полях, потом обсудим. Дело очень серьезное, импровизация исключена. Но сначала поговорим о том, что в плане не записано. О тебе и обо мне. Мы совершаем это дело вместе и, сле-

довательно, будем виновны одинаково, хотя боюсь, что по закону прямой виновницей считаешься ты. Ты ответственна как должностное лицо, разыскивать и преследовать будут тебя; тебя будут считать преступницей твоя родня и все прочие, и пока нас не схватят, обо мне, как зачинщике и сообщнике, никто знать не будет. Так что твоя ставка больше моей. У тебя есть должность, которая обеспечивает тебе средства к жизни и пенсию, у меня нет ничего. Стало быть, я рискую гораздо меньше перед законом и... как бы это выразиться... и перед богом. Наши доли участия неравны. Ты подвергаешься большей опасности, и мой долг предупредить тебя об этом.— Он замечает, что она опустила глаза.— Я обязан сказать это со всей суровостью, не буду утаивать от тебя опасностей и впредь. Во-первых, то, что ты сделаешь, что мы сделаем, непоправимо. Пути назад нет. Даже если мы с этими деньгами наживем миллионы и в пятикратном размере возместим ущерб, тебе не вернуться обратно и никто тебя не простит. Мы навсегда изгнаны из рядов благонадежных граждан, нам всю жизнь будет грозить опасность. Это ты должна помнить. И как бы мы ни были осторожны, случай, непредвиденный, непредсказуемый случай всегда может вырвать нас из пленительной беспечности, бросить в тюрьму и заклеймить, что называется, позором. Гарантии при таком риске не существует, мы не застрахованы ни здесь, ни там, за границей, ни сегодня, ни завтра, никогда. Ты должна смотреть этому в лицо, как дуэлянт смотрит на пистолет противника. Он может промазать, может попасть, но ты под прицелом.

Умолкнув, он пытается поймать ее взгляд. Глаза Кристины опущены, но Фердинанд замечает, что ее рука, лежащая на столе, не дрожит.

— Итак, повторяю: я не хочу зря тебя обнадеживать. Не могу дать никаких гарантий ни тебе, ни себе. Если мы вместе пойдем на риск, это не значит, что мы будем связаны пожизненно. Мы идем на это дело ради свободной жизни и, кто знает, может, однажды захотим освободиться друг от друга. Возможно, даже вскоре. Ручаться за себя не могу, я себя не знаю, и тем более не знаю, каким стану, когда вдохну свободу. Что-то во мне сидит и не дает покоя, угомонюсь я или, может, еще больше взбунтуюсь, не берусь предсказывать. Мы пока не так уж хорошо знаем друг друга, ну сколько мы бывали вместе — полдня, день, и было бы самообманом утверждать, что мы можем и хотим вечно жить бок о бок. Могу тебе лишь обещать, что буду хорошим товарищем, то есть никогда тебя не предам и никогда не попытаюсь принуждать к тому, чего ты сама не захочешь. Пожелаешь уйти от меня — удерживать не буду. Но и я не обещаю, что останусь с тобой. Ничего не могу обещать: ни того, что нас ждет удача, ни того, что ты будешь потом счастливой и беззаботной, ни того, что мы не расстанемся, ничего. Как видишь, я тебя не уговариваю, наоборот, предостерегаю, ибо твое положение невыгоднее, ты главная преступница, а кроме того, женщина. Ты рискуешь многим, страшно многим, и мне не хочется тебя подстрекать... Прочти, пожалуйста, план, обдумай и решай, но помни: решение должно быть окончательным и бесповоротным.— Он кладет перед ней листки.— Когда будешь читать, отнесись ко всему с крайним недоверием, с чрезвычайной настороженностью, как если бы кто-то предлагал тебе скверное дело и опасный контракт. Я выйду, погляжу на стройку, чтобы своим присутствием не оказывать на тебя давления.

Он поднимается и, не оглянувшись на нее, выходит. Перед Кристиной лежат листки канцелярского формата, исписанные аккуратным почерком и сложенные вдвое. Выждав, когда успокоится заколотившееся вдруг сердце, она приступает к чтению.

Рукопись напоминает деловую бумагу прошлого века. Названия глав подчеркнуты красным карандашом.

I. Проведение операции.

II. Заметание следов.

III. Поведение за границей и дальнейшие планы.

IV. Поведение в случае неудачи или разоблачения.

V. Заключение.

Каждая глава разделена на пункты — а, б, в и т. д.

I. Проведение операции.

а) Срок исполнения. Проводить операцию следует только накануне воскресенья или какого-нибудь праздника. Это задержит обнаружение недостачи минимум на сутки и даст необходимый выигрыш во времени для бегства. Поскольку контора закрывается в шесть часов, есть возможность еще успеть на ночной экспресс, следующий во Францию или в Швейцарию. Самый удобный месяц — ноябрь. Во-первых, рано темнеет, во-вторых, в ноябре наименьший поток пассажиров на железных дорогах и можно почти наверняка ожидать, что ночью, проезжая по территории Австрии, мы будем в купе одни; таким образом маловероятно, что окажутся свидетели, которые сообщат о встрече с нами, узнав из газетных сообщений о наших приметах. Особенно благоприятный срок — десятое ноября, канун национального праздника (почта не работает), так как в этом случае мы прибываем за границу в будний день, что позволит нам, не привлекая особого внимания, сразу же приобрести необходимые вещи для маскировки. Надо постараться (под благовидным предлогом) затянуть сдачу поступившей наличности в банк, чтобы к этой дате набралась как можно бóльшая сумма.

б) Отъезд. Выезжаем, разумеется, врозь. Билеты берем поэтапно на короткие перегоны: до Линца, от Линца до Инсбрука или до границы и от границы до Цюриха. Желательно, чтобы ты приобрела билет до Линца за несколько дней, или лучше его куплю я, чтобы кассир на твоей станции, который тебя, несомненно, знает, не смог сообщить об истинном маршруте. Другие меры по запутыванию и заметанию следов см. в главе II. Я сажусь на поезд в Вене, ты в Санкт-Пёльтене, во время пути по Австрии друг с другом не разговариваем. Это важно вот почему: никто не должен знать или догадываться, что у тебя есть сообщник; ведь розыск будет направлен только по следам женщины с твоей фамилией и твоими приметами, а не по следам супружеской пары, в качестве которой мы появимся за границей. Ни проводники, ни другие железнодорожные служащие в Австрии не должны и заподозрить, что мы едем вместе. Наш общий паспорт мы предъявим только пограничному контролю.

в) Документы. Вернее всего было бы, конечно, запастись фальшивыми паспортами вдобавок к настоящим. Но у нас нет времени. Это мы попытаемся сделать потом, за границей. Разумеется, фамилия Хофленер ни при каком контроле фигурировать не должна; я же, как лицо с незапятнанной репутацией, могу повсюду указывать свою настоящую фамилию. В моем паспорте я сделаю небольшие исправления, чтобы можно было вписать твое имя и вклеить фотокарточку. Резиновую печать изготовлю сам. Кроме того, могу изменить первую букву своей фамилии Барнер на В (уже пробовал начерно), так что получится «Варнер». Этим паспортом мы будем пользоваться как муж и жена до тех пор, пока где-нибудь в портовом городе не достанем фальшивые документы. Через два-три года, если еще хватит денег, сделать это будет нетрудно.

г) Деньги. В оставшиеся дни надо по возможности собрать наиболее крупные банкноты (по тысяче, по десять тысяч). В поезде распределишь их в разные места: в чемодан, в сумку и часть зашьешь в шляпу. Этого вполне достаточно, учитывая, что таможенный до-

смотр на границе сейчас проводится поверхностно. Несколько купюр я обменяю на вокзалах в Цюрихе и Базеле, чтобы во Францию мы приехали уже с иностранной валютой и не обратили там на себя внимания обменом крупной суммы в австрийских шиллингах.

д) Куда бежать сначала. Я предлагаю Париж. Его преимущества: во-первых, доберемся мы туда легко, без пересадки, за шестнадцать часов до обнаружения недостачи и, пожалуй, за сутки до публикации о розыске, так что будет время приобрести все необходимое снаряжение для полной маскировки (она касается только тебя). Я свободно говорю по-французски, поэтому нам незачем останавливаться в специальных отелях для иностранцев, поселимся скромно в какой-нибудь пригородной гостинице. Во-вторых, в Париже огромное количество приезжих, и уследить за каждым практически невозможно; регистрация и прописка, как мне рассказывали друзья, ведутся небрежно, не то что в Германии, где домохозяева, да и вся нация любопытны от природы и склонны к пунктуальности. Кроме того, немецкие газеты, вероятно, сообщат о краже на австрийской почте подробнее, чем французские. А пока они об этом напечатают, мы успеем уехать из Парижа (см. главу III).

II. Заметание следов.

Самое главное — затруднить полиции розыск, направив ее по ложным следам; каждый неправильный след затормозит поиски, и тогда через несколько дней о приметах забудут и в Австрии, а особенно за границей. Значит, с самого начала важно представить себе возможные действия властей и предпринять контрмеры.

Полиция, как обычно, поведет расследование в трех направлениях: а) тщательный обыск в конторе и дома, б) опрос всех знакомых, в) поиски других лиц, причастных к краже. Таким образом, недостаточно только уничтожить все бумаги дома, надо еще принять меры, чтобы запутать поиски, увести их на ложный путь. Сюда относятся:

а) паспортные визы. При любом деликте полиция немедленно запрашивает все консульства, не была ли в последние дни выдана виза соответствующему лицу (в данном случае — Хофленер). Так как я испрашиваю французскую визу не для паспорта «Х», а для себя (см. главу V) и пока что нахожусь вне подозрений, то можно обойтись без всякой визы для паспорта «Х». Но поскольку мы хотим направить поиск следов на восток, то для твоего паспорта понадобится румынская виза. Тем самым розыск будет, в первую очередь, сосредоточен в направлении Румынии и вообще Балкан.

б) Для подкрепления этой версии было бы неплохо накануне национального праздника отправить телеграмму некоему Бранко Ризичу, Бухарест, вокзал — до востребования: «Приеду завтра после полудня со всем багажом, встречай». Полиция наверняка станет проверять все отправленные в последние дни с твоей почты телеграммы, все телефонные вызовы и сразу же наткнется на эту крайне подозрительную депешу, из которой ясно, кто твой соучастник и куда ты сбежала.

в) Чтобы еще усилить это важное для нас заблуждение, я напишу тебе измененным почерком длинное письмо, которое ты порвешь на мелкие клочки и выбросишь в корзину. Полицейский, несомненно, покопается в ней и склеит клочки. Тем самым подтвердится ложный след.

г) Накануне отъезда невзначай поинтересуйся в станционной кассе, можно ли купить прямой билет до Бухареста и сколько он стоит. Вне всякого сомнения, кассир заявит об этом как свидетель, что нам опять-таки на руку.

д) Чтобы полностью исключить как сообщника мою персону, чьей супругой ты будешь официально в наших странствиях, необходима еще одна мелочь: насколько мне известно, никто не видел нас

вместе и никто, кроме твоего зятя, вообще не знает, что мы знакомы. Чтобы сбить его с толку, я сегодня же зайду к нему и попрощаюсь. Скажу, что наконец-то нашел подходящее место в Германии и уезжаю туда. С квартирной хозяйкой я полностью расплачусь и покажу ей какую-нибудь телеграмму. Учитывая, что я исчез за неделю до операции, всякое наше сообщничество в этом деле исключается.

III. Поведение за границей и дальнейшие планы.

Окончательно решим на месте, а пока несколько общих соображений.

а) Внешний вид. В одежде, манерах и поведении мы не должны отличаться от людей из средних слоев общества, так как они практически не привлекают к себе внимания. Выглядеть не слишком элегантно и не слишком бедно. Я буду выдавать себя за представителя социальной прослойки, которую менее всего можно заподозрить в денежных аферах: буду играть роль художника. Куплю в Париже этюдник, складной стул, холст, палитру, так что, где бы мы ни появились, моя профессия ни у кого не вызовет сомнений. А во Франции, в ее романтических уголках, круглый год бродят тысячи художников. Никого это не удивляет, и с самого начала они вызывают к себе известную симпатию как люди своеобразные и безвредные.

б) Соответственной должна быть и наша одежда. Бархатная или холщовая куртка, легкий намек на профессию художника, в остальном же полная неприметность. Ты, как помощница, будешь носить фотоаппарат и кассеты. Таких людей не расспрашивают, откуда они, чем занимаются, никого не удивляет, что они залезают в самые отдаленные уголки и что среди них попадаются иностранцы.

в) Наше общение с тобой. Разговаривать друг с другом, только когда поблизости никого нет,— это чрезвычайно важно. Во всяком случае, никто не должен слышать, что мы разговариваем по-немецки. Можно общаться на людях старым школьным кодом, например: бе-КРИС-бе-ТИ-бе-НА или ка-ФЕР-ка-ДИ-ка-НАНД и тому подобное, окружающие не поймут ни слова и сочтут его загадочным иностранным языком. В гостиницах желательно снимать угловые номера или такие, где соседям ничего не слышно.

г) Частая смена жилья. Местопребывание желательно менять чаще, так как по истечении определенного срока власти могут потребовать от нас уплаты налогов или предъявить какие-либо еще формальные требования; пусть это и не связано с нашим делом, но тем не менее может вызвать осложнения. Неделя-две, в маленьких городках до месяца — за такой срок никто не успеет познакомиться с нами поближе, в том числе гостиничный персонал.

д) Деньги. Деньги носить при себе до тех пор, пока не арендуем в каком-нибудь банке сейф для хранения (в первое время это опасно). Разумеется, держать их все не в бумажнике, не в сумке, а зашить в одежду, в шляпы, в обувь, чтобы при непредвиденном обыске или несчастном случае не обнаружилась подозрительно крупная сумма в австрийской валюте. Обменивать деньги надо постепенно и осмотрительно, причем только в центрах — Париже, Монте-Карло, Ницце, но никак не в маленьких городах.

е) По возможности избегать знакомств, хотя бы на первых порах, пока не обзаведемся новыми документами (это нетрудно сделать в портовых городах) и не уедем из Франции в Германию или любую другую страну.

ж) Намечать цели и строить сейчас планы на будущее мне кажется излишним. По предварительным подсчетам, взятой суммы при скромном образе жизни хватит лет на пять, за это время решится дальнейшее. Поначалу необходимы чрезвычайная осторожность, постоянный строжайший самоконтроль, максимальная незаметность; через полгода всякие объявления о розыске забудутся и мы обретем

неограниченную свободу передвижения. Тогда и начнем совершенствоваться в языках, систематически тренироваться в изменении почерка и преодолевать в себе неуверенность и ощущение чужеродности. При случае стоит научиться какому-нибудь делу, что позволит переменить образ жизни и заняться другой деятельностью.

IV. Поведение в случае неудачи или разоблачения.

В таком рискованном деле необходимо с самого начала учитывать вероятность неудачи. В какой момент и с какой стороны придет опасность, заранее рассчитать нельзя, решение надо будет каждый раз принимать в зависимости от ситуации. Вот основные принципы, которых следует придерживаться.

а) Если из-за какой-нибудь случайности или ошибки мы потеряем друг друга в пути, разлучимся на новом месте, то каждый из нас немедленно возвращается туда, где мы ночевали в последний раз; там либо ждем на вокзале, либо извещаем друг друга о встрече открыткой на главный почтамт этого города.

б) Учитывая возможность провала, преследования и ареста, мы должны быть всегда готовы осуществить наше прежнее решение. С револьвером я не расстанусь (днем в кармане, ночью у изголовья). Тебе я достану яд, цианистый калий, который будешь носить в пудренице. Это постоянное чувство готовности придаст нам силы. Я, во всяком случае, не пойду за решетку.

Если же одного из нас арестуют в отсутствие другого, то другой должен немедленно бежать. Было бы грубейшей ошибкой, поддавшись ложной сентиментальности, явиться с повинной, чтобы разделить судьбу товарища, потому что на каждом в отдельности лежит меньшая вина и ему будет легче отговориться на предварительном следствии. К тому же у оставшегося на свободе есть возможность оказать помощь: замести следы, передать весточку, в крайнем случае помочь при побеге. Было бы безумием добровольно отказываться от свободы, ради которой все это и делалось. Для самоубийства время всегда найдется.

V. Заключение.

Мы идем на это, рискуя головой, чтобы свободно жить, хотя бы некоторое время. В понятие «свободы» входит также свобода человеческих отношений. Если по каким-либо внутренним или внешним причинам одному из нас совместная жизнь станет в тягость, он, естественно, вправе уйти. Каждый из нас идет на этот риск добровольно, без принуждения со стороны другого, каждый в ответе только перед самим собой и потому не может в чем-либо и когда-либо упрекать другого. Как мы с первой минуты делим деньги, чтобы каждому быть свободным, точно так же мы делим ответственность и опасность — каждый за себя.

Вся наша будущая жизнь будет строиться на сознании, что мы не совершили ничего несправедливого по отношению к государству и друг к другу,— мы лишь сделали то, что в нашем положении было единственно правильным и естественным. Отважиться на подобный риск против своей совести было бы безрассудством. Только если каждый из нас по зрелом размышлении, самостоятельно придет к убеждению, что путь этот единственный и правильный, только тогда мы вправе и должны вступить на него.

Отложив последний листок, Кристина поднимает глаза. Фердинанд уже вернулся и закурил сигарету.

— Прочти еще раз,— предлагает он и после того, как она прочитала вторично, спрашивает: — Все ясно и понятно?

— Да.

— Может, чего не хватает?

— Нет, мне кажется, ты обо всем подумал.

— Обо всем? Нет,— он улыбнулся,— кое-что забыл.

— Что?

— Гм, если б я знал. В любом плане всегда чего-то не хватает. В каждом преступлении какой-нибудь шов да лопнет, только заранее не знаешь какой. Каждый преступник, каким бы хитроумным он ни был, почти всегда допускает маленькую ошибочку. Скажем, все документы уничтожит, а паспорт оставит; предусмотрит все препятствия, а самое очевидное, само собой разумеющееся, не заметит. Каждый всегда что-нибудь забывает. Вероятно, я тоже забыл подумать о самом важном.

В ее голосе звучит изумление:

— Так ты думаешь, что... что это не удастся?

— Не знаю. Знаю только, что будет очень трудно. То, другое, было бы легче. Почти неизбежно тебя ждет неудача, когда восстанешь против своей судьбы, своего собственного закона — я имею в виду не юридические параграфы, не конституцию и не полицейских. С этими можно справиться. Но в каждом из нас заложен свой внутренний закон: один идет в гору, другой — вниз, кому суждено преуспеть, тот преуспевает, кому упасть, тот падает. Мне до сих пор ничего не удавалось, тебе тоже. Возможно, даже вероятно, что нам суждено погибнуть. Признаться честно, я не верю, что когда-нибудь стану вполне счастливым, может быть, я для этого и не гожусь. Я не мечтаю о далеких днях, когда, убеленный сединой, в уютной вилле буду дожидаться праведного конца, нет, я заглядываю вперед лишь на месяц, на год-два, которые мы решили взять в долг у револьвера.

Она устремляет на него спокойный взгляд.

— Благодарю тебя, Фердинанд, за откровенность. Если бы ты говорил с увлечением, я бы не поверила тебе. Я тоже не думаю, что нам повезет надолго. Меня всегда сшибали по пути. Быть может, то, что мы намерены делать, напрасно и не имеет смысла. Но не сделать этого и жить по-прежнему было бы еще бессмысленнее. Ничего лучшего я не вижу. Итак, можешь на меня рассчитывать.

Он смотрит на нее светло, но без радости.

— Бесповоротно?

— Да.

— Значит, десятого, в среду, в шесть часов?

Выдержав его взгляд, она протягивает ему руку.

— Да.

■

БУНИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (род. в 1920 г.)

Советский переводчик с немецкого. Печатается с 1956 г. В его переводах изданы роман Стефана Цвейга «Нетерпение сердца», роман «Крестьяне, бонзы и бомбы» и повесть «У нас дома в далекие времена» Ханса Фаллады, а также многие произведения современных писателей Австрии, ГДР и ФРГ.

Критика

ВЛ. ГАКОВ

НОЧЬ, КОТОРАЯ НЕ НАСТУПИЛА

Тема фашизма в англоязычной фантастике вчера и сегодня

Есть в литературе темы, которые родились вместе с нею самой и будут жить, пока не прекратится в человеке потребность писать и читать написанное. Но рядом с темами вечными в нашем столетии возникли и новые — им меньше века, хотя жизнь предстоит, судя по всему, долгая. К ним относится и тема антифашистская. Раз появившись, подарив миру творения Томаса Манна, Фейхтвангера, Уэллса, Эренбурга, Симонова, она не исчезнет до тех пор, пока не сотрется в памяти человечества ужас пережитого.

«Раковая опухоль XX века» по сей день художественно исследуется под различными углами зрения — фашизм как идеология, психология, политическая практика... Как война, наконец. Сорок лет залечили раны, но обжигающую память не приглушили; отодвинутая десятилетиями, война из нашего временно́го далека видится, может быть, даже контрастнее: с особой ясностью осознаешь в 1985 году, что было поставлено цивилизацией на кон и что спасено в 1945-м.

«Коричневые» и сегодня поднимают голову, обычно прибегая к стыдливой мимикрии, а подчас и нагло, в открытую. И, наблюдая нынешнюю «реанимацию» фашизма в ряде западных стран, поражаешься тому, сколь современно и правдоподобно читаются сегодня иные книги, вышедшие десятилетия назад и казавшиеся тогда чистой фантастикой.

Некоторые из них изрядно забыты. Иногда мелькнет в монографии или обзоре несколько самых известных имен, названий, но только как события единичные, в отрыве от традиции, которая тем не менее насчитывает не один десяток произведений, сохранивших злободневность по сей день.

Речь в этих заметках пойдет об эволюции темы фашизма в западной, преимущественно англоязычной фантастике[1].

Тема в основном осталась незамеченной современниками (а позже и историками литературы). Странный жанр, как правило, невысокий литературный уровень (об исключениях мы скажем ниже) плюс «преждевременность» появления на свет — вот обстоятельства, вероятно обусловившие этот факт. Между тем редкая соци-

[1] Под этим удобным обобщающим термином будем везде понимать и собственно жанр science fiction (примерно соответствующий нашему «научная фантастика»), и социальную антиутопию, и фантастический памфлет. Оговорим также, что мы сознательно ограничиваем анализ только этими жанрами, не касаясь других произведений антифашистской прозы, поэзии, драматургии и эссеистики, которые уже тогда создавались прогрессивными писателями многих стран мира. (Здесь и далее прим. автора статьи.)

ВЛ. ГАКОВ (род. в 1951 г.)

Советский критик, литературовед, специалист по научно-фантастической литературе. Автор книг «Виток спирали» (М., 1980), «Четыре путешествия на машине времени» (М., 1983) и обзорных статей в периодике.

альная прозорливость авторов этих книг не может не обратить на себя внимание. Пусть многие из этих произведений не назовешь «страницами» истории литературы XX века — как яркие *иллюстрации* к ней они безусловно представляют интерес.

Произведениям антифашистской фантастики тех лет не дано было произвести переворот в умах, оказать решающее воздействие на ход битвы с фашизмом. Но разве может кто-либо точно сказать, что решало исход боя на войне — количество и оснащение дивизий или моральные качества солдата? А книги, о которых пойдет речь, свой скромный солдатский долг выполнили с честью. Как дозорные, они протрубили тревогу, как пограничники — успели выстрелить по врагу.

1. История будущая

Впрочем, первые сигналы тревоги были одиночными, и к ним мало кто прислушивался.

Через год после заключения Версальского мира, например, в США вышел роман Мило Хастингса «Город вечной ночи» (1920). В книге описано далекое будущее: Германия развязывает новую мировую войну и вновь ее проигрывает. Однако под Берлином успевают построить подземную крепость, где ничему не научившиеся стратеги продолжают лелеять надежды на всепланетную образцовую прусскую казарму. К счастью, в подземный город проникает тайный агент союзников, и в финале Германия капитулирует окончательно.

Этот «антик» интересен как прообраз не только решения антифашистской темы в современной фантастике, но и целого направления в нынешней западной литературе — социальной антиутопии. За традиционным сюжетом в духе «сценариев будущей войны» (особый «поджанр», сформировавшийся в конце XIX века) легко угадывается и схема будущих знаменитых антиутопий. Например, задолго до Олдоса Хаксли («Прекрасный новый мир», 1932) безвестный американский автор догадался о таких далеко идущих планах идеологов «нового порядка», как биологическое выведение каст — правителей, воинов, рабов,— об угрозе тогда еще фантастической, а ныне обретшей вполне «благопристойный» облик бихевиористских теорий модификации поведения. Последователи Б. Ф. Скиннера болезненно реагируют на обвинения в «интеллектуальном фашизме». Однако среди тех, кто беспристрастно свидетельствует против них, и те давние писатели, которые распознали опасность использования достижений генетики, биологии, психологии для создания «идеально функционирующего» общества, когда ни термина «бихевиоризм» еще не было, ни о глобальных амбициях нацизма никто всерьез не задумывался.

Что же касается планов первоочередных — разгром всех прогрессивных сил внутри страны, создание тоталитарного нацистского государства и военная агрессия,— эти устремления фашизма в середине 30-х годов проницательный художник не увидеть просто не мог: первое и второе уже осуществилось в Италии и Германии, третье неотвратимо вызревало на глазах. В канун мировой войны к этой теме обратились и такие ведущие мастера литературы того времени, как Карел Чапек и Синклер Льюис.

О «Войне с саламандрами» (1936) Чапека и вышедшем годом раньше романе-памфлете Льюиса «У нас это невозможно» написано много. Нас эти крупнейшие произведения социальной фантастики интересуют здесь только с точки зрения темы военной агрессии фашизма и социального конформизма, питающего эту агрессию изнутри.

По обстоятельности и широте охвата социального феномена фашизма книга Чапека уникальна. Писатель не только вскрыл глубинные пласты идеологии нацизма, но и точно указал ее ближайшие конкретно-политические «воплощения». Роман создавался в годы, когда, как горько заметил в одной из статей сам Чапек, «на Опернплаце в Берлине уже убрали пепел костров, на которых сжигали книги. Догорели произведения поэтов и ученых: социализм, пацифизм, свобода мысли были брошены в огонь, словно таким образом их можно сжить со света»[1]. Выдуманные им саламандры никого в заблуждение не ввели. Хотя образ этот неоднозначный, непростой, марширующие пресмыкающиеся вызывали слишком ясные аналогии, оставалось только дорисовать в воображении шлемы с рожками и выкинутую в приветствии переднюю конечность. Воинственная серость, «среднесть» бессловесных винтиков-исполнителей— такова одна из определяющих характеристик саламандр в романе. Таким уже был тогда фашизм в жизни.

Впрочем, совершенно необоснованно сводить фашизм к серости, конформизму, мещанству; это только дрожжи, на которых он всходит, когда примешиваются факторы социально-политические. Мещанин может стать фашистом, когда в его сознании забрезжит смутная идея общности с себе подобными и уже сообща укрепляется агрессивность по отношению ко всем «иным». Иллюзии мирового господства и бесконтрольности власти, теория расового превосходства, национализм и «голос крови», ностальгия по сильной личности — все это соединяется в котле, где варится фашизм.

Процесс превращения фашизма в агрессивную силу, направленную вовне, требует внешней же и «подкормки». В романе показан фашизм снаружи — в тесной связи с теми, кто заботливо высевал смертоносную бактерию на питательном бульоне озлобленного немецкого мещанства, а когда процесс вышел из-под контроля, трусливо попытался «умиротворить» агрессора, бросив ему на съедение союзника послабее,— как в сказках умиротворяют злого дракона, отдавая ему в жертву прекрасных девушек. «Пусть саламандры, лишь бы не марксисты!» — прозвучало из уст одного из второстепенных персонажей романа. А менее чем через два года родину писателя-антифашиста продали Гитлеру в Мюнхене.

[1] Цит. по кн.: С. Никольский. Карел Чапек — фантаст и сатирик. М., «Наука», 1973, с. 210.

Памфлет Синклера Льюиса рожден в совершенно иной обстановке, об этом прямо говорит вызывающее название книги. Чапек, пусть в сугубо фантастической форме, писал о вещах, для европейского читателя тогда уже понятных, известных — американский писатель заведомо шокировал сограждан. Когда представляешь себе читателя-американца той поры, так и слышится голлевское: «Но что страннее, что непонятнее всего, это то, как авторы могут брать подобные сюжеты. Признаюсь, это уж совсем непостижимо. это точно... нет, нет, совсем не понимаю. Во-первых, пользы отечеству решительно никакой; во-вторых... но и во-вторых тоже нет пользы».

Фашизм в демократической Америке? Нелепость, клевета, фантастика какая-то! Многие персонажи Льюиса твердят заученное: «У нас это невозможно»,— а вокруг льется кровь и рушатся демократические устои. Превращенная доморощенными «сверхчеловеками» в свалку, разобщенная и задавленная террором страна, в которой живут лишь подонки и надломленные, а те, кто не сломлен, прячутся, убиты, замучены в концлагерях... Все, решительно все оказалось возможным в Америке.

Еще заметнее это спустя полвека. Истина, глаголемая одним из героев романа и современниками С. Льюиса воспринятая как нонсенс,— Америка буквально создана для фашизма — с особой остротой воспринимается жителями страны именно сейчас.

Своим социальным прогнозом, впрочем, писатель поразил разве что соотечественников — на Европейском континенте уже успели познакомиться с погромами и концлагерями — непременными атрибутами «корпоративного государства», которым соблазнял американского обывателя сенатор-демагог Уиндрип. Но вот в чем истинное художественное предвидение С. Льюиса — так это в изображении *фашизма изнутри:* молчаливого соглашательства тех, кто опускает глаза долу перед наглой поступью «сверхчеловеков»...

Разглядел писатель и неотвратимо надвигающуюся войну. Когда к власти приходит фашизм, она неизбежна (будь то буржуазно-демократическая Америка или совсем уж фантастическое подводное сообщество саламандр), фашизму без войны не обойтись.

Предощущением войны пронизана вся антифашистская фантастика 1930-х годов. Еще в памфлете Герберта Уэллса «Самовластье мистера Парэма» (1930) некий фюрер на английский лад разгоняет парламент и в союзе с другими диктаторами Европы ввергает континент в кровопролитнейшую бойню. Война вовсю идет в романе Чапека, у Льюиса фашиствующие путчисты только собираются напасть на соседнюю Мексику — но очевидно, что аппетит разыграется во время еды... А вот чем может такая война закончиться, уже тогда рассказал малоизвестный английский автор, под псевдонимом Мюррей Константин опубликовавший в 1937 году роман «Ночь свастики».

Действие отнесено на несколько столетий в будущее, когда на планете воцарился лелеемый нацистами «тысячелетний рейх». Европой, как своим поместьем, управляют немцы, Америка и Австралия отданы на откуп японцам. Ни о каком человеческом достоинстве в этом мире и не слыхивали, социальная структура по сути сведена к тем же кастам — правителей, солдат, рабов. а в женщинах видят лишь средство воспроизводства каст. Теперь инквизиция безжалостно выкорчевывает малейшие ростки ереси именем Адольфа Гитлера, который объявлен новым Спасителем.

Лишь после окончания войны, когда мир узнал о сверхсекретных планах гитлеризма, удалось оценить в полной мере интуицию автора романа. В 1937 году все описанное приняли за «чистую фантастику». Да и не до фантастики стало, события разворачивались слишком стремительно. В год выхода романа кресло премьер-министра Англии занял Чемберлен. Годом позже состоялся мюнхенский сговор. Еще через год в Европе заполыхала война... Фантастику предупреждающую сменила фантастика сражающаяся. Битва с фашизмом продолжалась, фантасты вели ее на своей территории (воображаемое будущее) и только им знакомым оружием.

В военные 1940-е главным полигоном для испытания этого оружия стали американские научно-фантастические журналы[1]. Конечно, тема не была в них магистральной в ту пору, когда для большинства американцев, для любителей фантастики в особенности, война оставалась чем-то далеким, почти нереальным. К тому же в делах, связанных с Европой, многие редакторы хранили молчаливый нейтралитет. Так, в ответ на энергичные письма в журнал «Уандер сториз» с требованием прекратить публикацию немецких фантастов, процветающих при Гитлере, редактор невозмутимо отвечал, что, дескать, «политика — не наше дело». Тем не менее на страницах этих журналов проблема фашизма обсуждалась довольно широко, в исторической перспективе. Развитая интуиция, постоянная нацеленность в будущее плюс свидетельства очевидцев-иммигрантов давали возможность молодым американским фантастам если не достичь художественных высот, то по крайней мере высказаться о фашизме ясно и недвусмысленно.

И только после нападения на Пёрл-Харбор, когда всемирный характер войны ощутили и американцы, на страницы журналов хлынул поток антифашистских произведений. Один из ведущих фантастов США. а тогда дебютант, Роберт Хайнлайн в рассказе «Неудовлетворительное решение» (1941) описал... управляемое радиоактивное облако, насланное союзниками на Германию! Этим же годом датирован и один из первых рассказов Альфреда Бестера — «Вероятностный человек». По проселочным дорогам (асфальтовые давно поросли бурьяном) обезлюдевшего, скатившегося в варварство континента рыскают банды грабителей-ландскнехтов, именующих себя «свастами». Стоило человеку XX века, попавшему в этот неприветливый мир, вытащить записную книжку, как

[1] Нам доводилось уже подробно писать об этом социокультурном феномене в очерке «Побег из детства» (сб. «Мир приключений» М., 1983).

одетые в доспехи потомки эсэсовцев схватились за мечи (как схватились бы за «шмайссеры» во времена, когда был написан рассказ): «Эта свинья, выходит, из *читателей!* У него в руках *книга!*»

Перед самым завершением войны, когда выяснилось, что определенные круги на Западе пытались за спиной Советского Союза вступить в сепаратные переговоры с Гитлером, вышел роман-предостережение Эрвина Лесснера «Победа-фантом» (1944), в котором Германия добивается легкого перемирия с западными союзниками, чтобы спустя 20 лет развязать — и выиграть! — новую мировую войну.

Подобные прогнозы фантастики, как известно, не сбылись. К счастью для Европы и всего человечества.

2. История альтернативная

Обратимся теперь к особому методу фантастической литературы — построению «альтернативной», или «параллельной» истории человеческой цивилизации. В чем-то альтернативные истории сродни математическому методу доказательства от противного, а в отдельных случаях по своему воздействию напоминают лечение шокотерапией (которое применять, однако, следует с умом).

В современной западной фантастике метод этот используется по-разному: остроумный сюжетный ход, эпатаж в стиле «черного юмора», тенденциозное «переписывание» истории, философские размышления над ее ходом и парадоксами, социальный эксперимент... Диапазон, как видим, обширный. И оценивать результат нужно с точки зрения поставленной автором задачи, а не атрибутики. Ограничение писателя-фантаста в выборе инструментария приходит в столкновение с самой спецификой жанра — на то и фантастика, чтобы фантазировать! Но вот регламентации социальные, нравственные — *зачем, с какой целью фантазировать?* — в оценке таких произведений имеют решающее значение.

Авторы-фантасты вольны только в выборе начальных условий своего мысленного эксперимента, в дальнейшем же жестко детерминированы законами общественных наук, «инвариантной» логикой истории.

А начальные условия задаются просто: что было бы, если бы... Если бы Александр Македонский не умер столь внезапно в расцвете сил... Если бы шторм не разметал по морю корабли испанской Армады... Если бы Гражданскую войну в США выиграли южане... Наконец, то самое «если», которое имеет непосредственное отношение к теме этих заметок,— жутко звучащее «что было бы, если бы вторую мировую войну выиграли фашисты?».

Критическую экскурсию по послевоенной англоязычной фантастике[1], разрабатывающей метод альтернативной истории применительно к социальному феномену фашизма, мы попробуем провести одновременно в двух направлениях: в реальном историческом времени — из прошлого в настоящее; и в условном пространстве — «слева направо», от прогрессивных антифашистских произведений к откровенно реакционным, что соответствует — увы — действительному положению вещей.

В месяцы, предшествовавшие празднованию 40-летия Победы над фашизмом, консервативное правительство Великобритании, как известно, предприняло все возможное, чтобы принизить в сознании рядовых англичан историческое значение (и для их родины тоже) этой даты. Однако тем, кто разглагольствовал о нежелательности «ворошения» прошлого, об исторической будто бы несправедливости в оценке Гитлера, не мешало бы поворошить прошлое собственной литературы. И вспомнить, к примеру, роман «Звук охотничьего рога» (1952) Джона Уолла, выпустившего свой единственный роман под странно звучащим псевдонимом Сарбан.

Герой романа, пленный английский моряк-резервист, во время побега из немецкого лагеря внезапно «проваливается» в будущее, где победил нацизм. Территория бывшей Англии превращена в охотничий заповедник, которым заправляет Главный лесничий рейха барон фон Хакельберг. Под его опекой прибывшие с континента отдыхающие приятно проводят время. Одетые в костюмы оперных вагнеровских персонажей, эти зигфриды и лоэнгрины устраивают ночные охоты — оргии; бароном заботливо приготовлена и «дичь» — живые люди.

Наука и техника в этом мире не преданы забвению. В непролазной чаще скрыты хитроумные электронные приборы, в ходу все новейшие достижения медицины и фармакопеи, а успехи генной инженерии позволили вывести даже особый тип полукошек-полуженщин, охота на которых еще больше возбуждает гостей барона. Техника нужна, чтобы держать в повиновении покоренные народы,— но она тщательно замаскирована, как скрыты были в свое время от глаз рядового бюргера со свастикой на рукаве секретные лаборатории в Пенемюнде[1]. И потомки этих бюргеров рядятся в доспехи, а то и в медвежьи шкуры не потому, что нет «цивильных» костюмов; охотникам хочется так реализовать потаенные желания, выпустить на волю дикие инстинкты — вполне в духе нацистской мифологии!

В романе Сарбана цепко схвачено и выделено то, что отличает фашизм от других, в политическом отношении не менее реакционных идеологических течений: его поистине зоологическую ненависть к культуре, знаниям, его принципиальную ставку на иррационализм и невежество.

[1] Кстати, у истоков метода альтернативной истории мы встретим не только фантастов. В 1931 году в Англии вышел сборник статей «Если, или История переписанная», среди авторов которого значатся имена Гилберта Кита Честертона, Андре Моруа и Уинстона Черчилля.

[1] Стоит напомнить, что идеология нацизма была вызывающе антинаучна, недоверие и презрение к интеллигенту в рядового фашиста вбивалось накрепко. Но в прагматических целях ученых терпели, хотя работа их не афишировалась в той вакханалии мистики и обскурантизма (астрология, «космогоническая теория Вечного Льда», восточный оккультизм), которая характеризовала атмосферу, царившую в верхушке третьего рейха.

Вернемся в этой связи в историю реальную, в первые десятилетия XX века.

Необразованные обыватели, лавочники и люмпен-пролетарии, составлявшие основу партии национал-социалистов в Германии, дорвавшись до власти, первым делом бросились напяливать на себя сверкающие доспехи героев северной мифологии (тем самым как бы компенсируя исторически сложившийся комплекс культурной неполноценности). В убогом сознании недоучек словно в пестром калейдоскопе смешались осколки разнородных идей и идеек: антропософия Рудольфа Штайнера, геополитика, звериный расизм и ненависть к инородцам, реакционная шовинистическая фантастика, перемешанный с мистическими идеями индуизма северный эпос, интерпретированный в определенных целях Ницше и превратно услышанный Вагнер... Все это причудливым образом соединилось (как и во всех последующих «инкарнациях» фашизма) в эрзац-культуру, в извращенное самосознание озлобленной посредственности. Ведь и нынешний, слегка модифицированный фашизм не перестает уповать прежде всего на прошлое, взывает к теням героических предков и полагается на зов крови; мистифицируя последователей, зовет назад — в леса, к первобытной дикости инстинкта, подальше от ненавистных «химер XX века»: объективного знания, многонациональной общечеловеческой культуры, гуманизма и прогресса.

Сегодня мы все это успели изучить и хорошо усвоить. Во времена, когда был написан «Звук охотничьего рога», автору помогала лишь интуиция художника. Он не анализировал явление, но он удачно нашел обобщающий символический образ: ночной лес, призывный звук рога и высвеченные отблесками факелов жуткие фигуры облаченных в древние доспехи «штурмовиков», охотящихся на людей. Английский писатель создал яркий и эмоциональный портрет Фашиста Торжествующего, правящего бал на головешках цивилизации.

Роман одного из ведущих американских фантастов Филиппа Дика «Человек в Высоком замке» (1962) — не в пример рассудочнее. Там, где искренне испуганный Сарбан пытается воздействовать на читателя эмоционально, Дик тонко и зло иронизирует.

Ирония эта далеко не безобидна и для нынешних американцев, тех, кто спит и видит превращение Японии в «непотопляемый авианосец» США. Ибо в романе описана Америка, разделенная на зоны оккупации: западная находится под управлением японцев, восточной «заведуют» немцы, а центральная сохраняет относительный нейтралитет. Немцы, кстати, разрабатывают «окончательное решение африканского вопроса», исподтишка готовясь и к ядерному нападению на бывшего союзника, Японию. Страшных сцен, подобных ночной охоте на людей, в романе Дика нет, его вариант оккупации производит впечатление более, что ли, «цивилизованного». В Сан-Франциско появились педальные экипажи с рикшами-белыми, чайные автоматы и лавки, где туристы-японцы покупают заведомо поддельные раритеты американской культуры. Все это описано зло и остроумно и подталкивает к выводу даже еще более тяжелому, чем тот, что сделал в свое время Льюис (Америка создана для фашизма). Оказывается, американская почва, как никакая другая,— подлинный «чернозем» для коллаборационизма, молчаливой покорности захватчикам, лишь бы они не мешали коммерции (с точки зрения многих американцев из романа Дика японская оккупация служит... экономическому и культурному взаимообогащению обеих наций!). Но в отличие от Льюиса и Сарбана Дик ограничивается лишь вялой констатацией, ничего не противопоставляя этой страшной фантазии.

У Льюиса интеллигент Джессэп все-таки нашел себя в борьбе против фашизма, герой Дика, запершись в доме-крепости (это и есть Высокий замок), способен лишь... написать фантастический роман об альтернативной истории, где в 1945 году война закончилась поражением гитлеровской «оси»! При желании такое парадоксальное решение можно истолковать как авторское moralité, оправдание позиции невмешательства. Обилие философских абстракций и запутанный сюжет романа, скрывающие здесь гражданскую позицию писателя, дают вполне весомые основания к такому прочтению.

Роман Дика весьма характерен для эволюции антифашистской темы в послевоенной англоязычной фантастике. Собственно, частицу «анти» можно теперь со спокойной совестью снять: беря за основу метод альтернативной истории, современный автор все более склоняется к объективистски бесстрастному центру, а то и к правой границе спектра. Когда антифашистский пафос сменяет холодная игра — а там недалеко и до болезненного желания пощекотать нервы читателю шокирующим поворотом «горячей» темы! — от такой фантастики начинает отдавать кощунством.

Роман «Железная мечта» (1972) Нормана Спинрэда — следующий логический шаг в условно обозначенном нами движении «слева направо». Автор — радикал, представитель «новой волны» в американской фантастике, выходец из молодежной контркультуры 60-х годов. Поэтому стихийный протест, частичная критика существующего буржуазного миропорядка переплетены в его творчестве с «левачеством» и идейной эклектикой. А зачастую и с тем, что можно назвать нравственным дальтонизмом.

В ряде критических работ роман Спинрэда снабжен эпитетом «антифашистский», однако это, конечно же, не так. Увлечение сюжетным конструированием, болезненная склонность к психоаналитической трактовке феномена фашизма, как и анархистское обличение *всякой* власти — сводят на нет претензии автора на «идейное разоблачение» гитлеризма.

Спинрэд несомненно позаимствовал у Дика прием «романа в романе», только все еще переусложнил до предела. Сюжет книги Спинрэда — это одновременно и сюжет внутреннего произведения, воображаемого фантастического (правильнее сказать, написанного в жанре heroic fantasy — ге-

роической фантастики[1]) романа «Бог свастики», автором коего значится... Адольф Гитлер! Как следует из альтернативной истории, неудавшийся фюрер немецкого народа в 1919 году эмигрировал в США, где не без успеха подвизался на ниве фантастики (он опубликовал еще два романа с характерными названиями — «Раса господ» и «Завтра — весь мир»).

Очевидно, своими сатирическими стрелами Спинрэд метил в две цели: в фашизм как своего рода крайнее выражение социально-политических фантазий и в авторов героической фантастики, все более склоняющихся к прямой апологетике фашизма. Но представление о Гитлере всего лишь как о некоем чудном фантазере, одержимом маниакальной идеей и движимом единственно внутренними психопатологическими комплексами, не позволяет согласиться с теми критиками, которые называют роман антифашистским.

К тому же неуместными представляются попытки Спинрэда вышучивать фашизм в духе «черного юмора». Шокирован был и рецензент одного из научно-фантастических журналов, написавший: «Все-таки не верится, что мы уже доросли до шуточек насчет Дахау и Освенцима»[2].

Но то *болезнь* неразличения цветов. Другие произведения свидетельствуют, что их авторы *сознательно* надели черные очки или очки с искажающими линзами. Таков, например, бестселлер англичанина Лена Дейтона «СС — Великобритания» (1978)[3], сюжет его разыгрывается в Англии 1940 года, оккупированной гитлеровцами.

Основу романа составляет расследование таинственного убийства, проводимое сотрудником Скотланд-Ярда под руководством шефов-гестаповцев. Попутно выясняется, что английское Сопротивление и гиммлеровская контрразведка независимо друг от друга охотятся за физиками-ядерщиками, вплотную подошедшими к тайне атомной бомбы. Но это суть внешние перипетии, главная же идеологическая «изюминка» припрятана в деталях, как бы невзначай разбросанных по тексту.

Фальшивые нотки ощутимы с первых же страниц. Мирная оккупация Британии совершенно не напоминает картин, нарисованных, скажем, в свое время Сарбаном. Были, правда, и эксцессы (расстрелян Черчилль, король под стражей, лагеря военнопленных, комендантский час), но в общем жить можно! Скотланд-Ярд занят своим делом, высшее лондонское общество так же собирается на традиционные «пятичасовые чаи» обсудить последние новости, торговцев-евреев, правда, поприжали, но чистокровным британцам ничто не угрожает. Более того, они во всем продолжают оставаться британцами до мозга костей: у Сопротивления (состоящего, кстати, преимущественно из аристократии и оставшихся не у дел военных) единственная задача — вызволить и переправить в Соединенные Штаты короля и членов королевской фамилии.

За одной ложью тянется другая. В союз с подпольем неожиданно вступают высшие чины оккупационного военного командования. Недовольная засильем конкурентов-эсэсовцев, армия надеется, что грандиозный провал последних (бегство короля) сделает вермахт единовластным правителем Британии. Со времен окончания второй мировой войны буржуазные историографы усиленно муссируют тему противопоставления вермахта и войск СС, возлагая всю вину за злодеяния гитлеровцев на эсэсовцев. Достаточно было запустить старую ложь в фантастический роман, и она словно обрела второе дыхание.

Но и это не все. Идеологическая *сверхзадача* романа Дейтона раскрывается в серии вовсе уж эпизодических реплик, из которых следует, что в военно-политическом союзе с оккупантами-фашистами выступает... СССР! Автор старательно разбросал по тексту слово «социализм» — с приставкой «национал» и без оной, внедряя в сознание читателей мысль об идеологической близости двух противников (!) Великобритании. Учитывая время выхода романа, иных слов, кроме как *сознательная подлость*, не подберешь.

Дейтон, конечно же, не первый и не последний, кто повторяет инсинуации сорокалетней давности. Но показательна в данном случае предусмотрительность, с которой ложь преподносится. Сверхсильная доза яда может вызвать резкую реакцию отторжения со стороны организма — и слишком наглая ложь может тотчас оттолкнуть читателя. Поэтому автор преподносит свои «откровения» в мельчайших, «гомеопатических» дозах. Оговорки об идейном родстве гитлеровской Германии и СССР формально — лишь фон сюжета, связанного с попытками фашистской Германии заполучить секрет атомного оружия.

Атомное оружие мы помянули не случайно. Так рассудила история, что в этом году вместе с праздником Победы над фашизмом отмечался еще один, более тревожный юбилей — вот уже сорок лет человечество живет под атомным дамокловым мечом. В том же 45-м оно вступило в новую эру, столкнулось с новым врагом, который может вообще положить конец отсчету эр на календаре человеческой истории. И как в этой связи не вспомнить свежий пример альтернативной истории — роман Альфреда Коппела «Пылающая гора» (1983), снабженный подзаголовком «Роман о вторжении в Японию».

После того как в июле 1945-го из-за атмосферной «электромагнитной бури» были сорваны испытания американской атомной бомбы в пустыне Аламогордо, началась кровопролитнейшая битва за Японию. Автор — в годы войны пилот ВВС США — привлек богатейший документальный материал, личные свидетельства участников тихоокеанской кампании, и воображаемое вторжение, битва за каждый дюйм япон-

---

[1] Чрезвычайно популярное ответвление западной фантастики в большинстве своем относится к коммерческой бульварной литературе, описывающей приключения в «варварских» странах в невообразимые «варварские» же времена. Фигура дикаря-воина является для этого жанра определяющей, причем акцент сделан на воспевании агрессивности, иррационализма и ницшеанского «сверхчеловека».

[2] «Amazing Science Fiction», August, 1973, p. 47.

[3] Подробнее о Л. Дейтоне см. статью И. Млечиной в «ИЛ», 1985, № 5.

ской земли описаны весьма впечатляюще. Настолько, что после чтения этой сработанной под «реалистическую прозу» книги у простодушного читателя не останется сомнений в моральном оправдании атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Дело представлено так, будто предотвратить колоссальные потери американцев могло только пресловутое «атомное решение». И конечно, ни слова о вкладе Советской Армии в разгром сухопутных военных сил Японии.

Итак, казалось бы, достигнут правый край спектра. Есть, однако, кандидаты и еще правее, например, некто Брайн Ламли, о романе которого «Психомех» (1984) рецензент американского журнала «Фэнтези ревью» сказал: «Вы встретитесь с умирающим германским промышленником, одержимым идеей перевоплощения душ; с сумасшедшим ученым, бывшим нацистом, который пытается обратить невротиков в духовный авангард четвертого (!) рейха; с детским лепетом по поводу парапсихологии, психозов и психиатрии; с различными формами оккультизма; с террористами из ИРА (Ирландской революционной армии.— В. Г.); с откровенным сексом; с грубыми сценами насилия (вроде «нескончаемой оргии изнасилования» на стр. 157) и даже с псом-психопатом! Единственная оригинальность книги в том, что все это смешано в кучу и названо романом» [1]. Соперничать с Ламли может разве что Фредерик Маллэли автор вышедшего еще в 1976 году романа «Гитлер победил». В той альтернативной истории, которую издательство не снабдило жанроуказующим ярлычком, фюрер-триумфатор провозглашал себя... папой римским! Далее уж действительно некуда.

Безответственные исторические «экзерсисы», закамуфлированные под фантастику, вызывают недоумение даже у кичащихся своей «объективностью» американских критиков. Профессор университета штата Аризона Пол Картер, завершая обзор альтернативных историй в фантастике анализом романа Маллэли, патетически вопрошает: «Зачем? Кому нужно было извлекать на свет этого дьявола нашей недавней истории? Мне кажется, что кошмарный в своей основе акт освящения Гитлера служит как раз последним указанием: настало время похоронить этот фантастический призрак раз и навсегда» [2].

Подобных призывов — похоронить, забыть — в американской критике предостаточно. Однако задумаемся вот над чем. Сделанные будто бы с самыми благородными намерениями призывы забыть — ради душевного спокойствия — о преступлениях нацистов не содержат ли в то же время скрытого предложения *простить* фашизм? За давностью лет. А кроме того, высказывание Картера можно понять и так: Гитлер и гитлеризм ныне — лишь реалии фантастической литературы, следовательно, образы и сами в какой-то мере фантастические.

[1] «Fantasy Review», August, 1984, N 70, p. 15.

[2] Paul A. Carter. The Creation of Tomorrow, NY, Columbia University Press, 1977, p. 138.

Между тем «фантастично» как раз последнее утверждение. Угроза фашизма не устранена — и не в каких-то там альтернативных историях, а в истории нашей, сегодняшней. Единственно данной.

3. История реальная

Косвенное свидетельство тому — появление бестселлеров типа «СС — Великобритания». Спекулируя на памяти народов, не забывших ужасов коричневой чумы, ловкие авторы сенсационных поделок если и не дают в своих произведениях зеленую улицу нацистской идеологии, то по крайней мере никак не опровергают их. А подчас (учитывая рост неонацизма и реваншизма) научную фантастику на Западе используют и для *прямой* пропаганды человеконенавистнических идей. В подобной жанровой упаковке они выглядят как бы облагороженными.

В 70-е годы из ФРГ в США перекочевала серия книжек о похождениях героя-супермена Перри Родана, которого австрийский публицист Роберт Юнг без обиняков назвал «Гитлером планетарной эпохи». Конечно, бурная издательская деятельность, связанная с этим детищем целой «авторской команды» (не только книги, но и специальные журналы, комиксы, настольные игры, сувениры и т. п.), к собственно художественной литературе никакого отношения не имела, но зато нашла живой отклик у школьников, которые не стеснялись писать в сочинениях: «Хочу быть как Перри: править миром!» [1]

Серия о Перри Родане в последнее время превратилась почти исключительно в *американский* феномен. Успех ее на книжном рынке США, перенасыщенном собственной макулатурой, трудно объяснить случайностью, совершенно очевидно, что тут не обошлось без «большой политики» (тем более что герой по происхождению стопроцентный янки, офицер военно-космических сил Соединенных Штатов!).

Американец-фашист. Закономерный поворот темы заставляет вновь вспомнить Синклера Льюиса и его открытие полувековой давности. В наши дни это никакая не фантастика, и шокирующий заголовок романа Льюиса ныне почитают за благо не высмеивать и даже не опровергать, а попросту замалчивать: уж больно режет слух. Впрочем, и к теме «фашисты в Америке» подходят по-разному.

Например, в романе «Парни из Бразилии» (1976) Айры Левина (автора нашумевшего «сатанинского» романа «Ребенок Розмари») они чувствуют себя как дома в Южной Америке: местные диктаторы с особой гордостью создавали для бежавших из Европы гитлеровцев своего рода рейх в миниатюре. Менгеле, Клаус Барбье и даже, по слухам, «наци номер два» Мартин Борман, скрывающиеся в колониях нацистов,— это реальность наших дней. Автор романа добавляет лишь самую малую толику фантастики: мечтающие о реванше недобитки-эсэсовцы с помощью клонирова-

[1] Нам доводилось писать об этом подробнее в соавторстве с Э. Симоном в журнале «Литературное обозрение» (№ 11—12, 1979) в статье «В непараллельных мирах».

ния[1] начинают тайно выпускать в мир... точные генетические «копии» бесноватого фюрера.

Замысел жутковатый (тем более что на наших глазах клонирование из чистой фантастики превращается в реально достижимую научную задачу, однако результат ассоциируется скорее с книгами Спинрэда и Дейтона, нежели с романом Сарбана. Бестселлер Левина изготовлен по известному рецепту, напоминающему рекомендации поваренной книги: мясо, гарнир, немного острой приправы, соль и перец по вкусу. Что в переводе на литературную «меру» означает приблизительно следующее: детективный боевик (thriller), в качестве гарнира немного «политики», секс и насилие по вкусу.

В последнее время «тема Гитлера» котируется на западном книжном рынке как особо пикантная специя, которой недурно сдабривать и любовную мелодраму, и военный роман, и детектив. И фантастику.

Вот два «свежеиспеченных» примера. Американская писательница Катрин Курц в романе «Ночь ламм» (1983) строит очередной вариант альтернативной истории, на этот раз добавив к детективу мистику. Оказывается, после Дюнкерка и начала бомбардировок английских городов асами Геринга британская разведка получила неопровержимые доказательства того, что Гитлер практикует... черную магию! К счастью, в аппарате разведслужб нашелся англичанин — специалист по белой магии, ему-то и выпала роль спасителя сограждан от угрозы вторжения. А в вышедшем годом раньше романе Джерри Юлсмена «Эллеандер Морнинг» героиня, живущая в еще одном параллельном мире, где Германия *не* развязывала второй мировой войны, получает в наследство от бабушки странную книгу — «Историю второй мировой войны» в серии альбомов «Тайм Лайф». С фотографиями. Выясняется, что бабушка героини в 1913 году убила в Вене одного безвестного художника-неудачника, Адольфа Гитлера.

Вот так: магические заклинания, путешествия в прошлое... И словно не существовало в *реальной* истории человечества силы, которая смогла одолеть фашизм.

К счастью, можно отыскать в современной американской фантастике и другие примеры. Тем более что открытие Синклера Льюиса — *в Америке это возможно* — современным писателям есть чем подтвердить.

«...В детстве я очень любил смотреть на пожарных. А потом пришел Гитлер, и я узнал, что в Европе начали жечь книги. Тогда у меня и родился замысел написать роман о будущем, в котором пожарные заняты как раз тем, что сжигают книги». Роман «451° по Фаренгейту» самого известного писателя-фантаста Америки Рэя Брэдбери написан в середине 50-х годов, и сюжет его, несомненно, был навеян воспоминаниями о кострах в Нюрнберге и Мюнхене. И хотя пожарные из отряда «Саламандра» (невольное совпадение с романом Чапека?) ни разу не названы в романе Брэдбери *фашистами*, что-то заставляет забыть их золоченые брандмейстерские шлемы и вспомнить другие, военные, с рожками; а пламя от подожженной огнеметами крамольной литературы напоминает костры, зажженные обычными просмоленными факелами на ночных улицах германских городов.

Будущая Америка смыкается у Брэдбери с фашистской Германией прошлого на общей ненависти к культуре, знанию, гуманизму. Им обоим, этим обществам, писатель-гуманист выносит не подлежащий обжалованию приговор. Закономерная гибель американского города в финале романа — города пожарных и «говорящих стен», Электронного Пса и разъедающего всеобщего безразличия — это яркое и бескомпромиссное решение американским писателем «темы фашизма» (позже Брэдбери напишет фантастический рассказ «Душка Адольф», не оставляющий сомнений в его гражданской позиции).

А у другого видного американского писателя (начинавшего, кстати, тоже с фантастики), Курта Воннегута, свой личный счет к фашизму. Бывший военнопленный, он пережил в канун окончания войны жестокую и бессмысленную бомбардировку Дрездена американской авиацией. Писатель и до романа «Бойня № 5» обращался к теме фашизма в реалистическом романе «Матушка-ночь», и в сатирической «Колыбели для кошки», но славу ему принесла именно «Бойня»; в ней причудливо сплелись научная фантастика, личное воспоминание о последних днях войны, прозрачные ассоциации с войной вьетнамской, которая в 1969 году, когда вышла книга, была «темой номер один» в Америке.

Формально Воннегут не говорил в этой книге впрямую о германском фашизме и Гитлере. Но зато о смертоубийственной бойне, затеянной «сверхчеловеками», взявшими за право решать судьбу других народов, в романе сказано ясно и недвусмысленно. И даже у такого в общем аполитичного автора «романов ужасов», как Стивен Кинг, в лучших книгах звучит антифашистская тема. Так образ рвущегося в президентское кресло маньяка, самого настоящего американского фашиста, в романе «Мертвая зона» (с которым нашего читателя познакомила «Иностранная литература» в № 1 — 3 за 1984 год) еще раз воскрешает в памяти (мы не сравниваем, разумеется, художественный уровень этих книг) роман Синклера Льюиса полувековой давности.

В Америке это возможно. Фашизм жив, даже процветает — потому-то прогрессивные американские фантасты не собираются вешать ружье на стену. Их мало: увы, в сегодняшней Америке отдают дань памяти эсэсовцев, посещая их кладбища. Но все же есть надежда, что холодным ремесленным поделкам, сдобренным для привлечения читателей «антифашистским» соусом, будут противопоставлены книги-бойцы. Бой за будущее должен быть продолжен. Чтобы не проникли туда метастазы уродливой раковой опухоли фашизма и не опустилась над грядущим ночь, которой не будет конца.

[1] Биологический процесс выращивания из одной клетки генетически идентичных особей. В фантастике «клоны» заменили собой традиционных «двойников» ранней романтической литературы.

К СТОЛЕТИЮ ЭДУАРДА ВЭНСА ПАЛМЕРА

БЕСПОКОЙНЫЙ СВЕТ ИСКУССТВА

Предисловие и перевод с английского О. ЗЕРНЕЦКОЙ

Имя Эдуарда Вэнса Палмера (1885—1959) знакомо каждому австралийцу. Он еще при жизни стал классиком, возглавив вместе с Катариной Сусанной Причард плеяду австралийских писателей, которым принадлежит слава создателей реалистического социального романа пятого континента. Вклад в национальную литературу самого Палмера не ограничивается шестнадцатью романами. Из них «Пролив», 1930, «Семья Суэйн», 1934,— единственный, однако один из лучших романов писателя, переведенный на русский (1971) и украинский (1978) языки — и квинслендская трилогия («Голконда», 1948, «Время сева», 1957, «Выдающийся деятель», 1959) изучаются в школах и университетах Австралии. Не менее самобытно он проявил себя и как поэт, драматург, литературовед и критик.

Начиная с 1940 года Палмер два раза в месяц по воскресеньям выступал по национальному радио в программе «Новые книги, которые стоит прочесть». Его статьи, выступления по радио носили ярко выраженный демократический характер, формировали эстетический вкус австралийцев. Его оценкам доверяли. Товарищи по перу называли его «чемпионом справедливости».

Много сил писатель отдал развитию культуры Австралии, сплочению рядов прогрессивных деятелей литературы и искусства. В 1934 году он — среди организаторов Лиги (позднее — товарищества) австралийских писателей.

Когда над Европой нависла тень фашизма, В. Палмер одним из первых в Австралии становится в ряды антифашистов, участвует в организации их съезда в Мельбурне (1934); в самых различных аудиториях звучат его пламенные речи о положении в республиканской Испании, об угрозе фашизма в мировом масштабе. В годы гитлеровского нашествия на СССР Палмер выступает по радио и в прессе с речами и статьями о творчестве Л. Толстого, М. Шолохова, Н. Тихонова. В послевоенное время писатель — в рядах активных борцов за мир. Мужественно преодолевая травлю австралийских «ультра» — приверженцев «холодной войны», Палмер едет на всемирную ассамблею мира в Хельсинки (1955). Здесь он знакомится с А. Фадеевым и В. Василевской, проникается к ним искренней симпатией. После поездки в Хельсинки двери дома Палмера гостеприимно распахиваются для первой делегации Союза советских писателей. До конца жизни Палмер внимательно следит за развитием литературы СССР.

Надо сказать, что интерес Палмера к нашей стране и литературе зародился еще в юношеские годы, когда он открыл для себя Тургенева, Л. Толстого, Чехова, Горького. В 1905 году восторженной статьей приветствовал он появление русского «Буревестника». В 1907 году Палмер едет из Лондона в Австралию через Россию, чтобы увидеться и поговорить со Львом Толстым. Только робость, охватившая начинающего австралийского писателя в Туле, не позволила ему проделать путь до Ясной Поляны.

Особое место в художественном мире В. Палмера занимал Чехов. Палмер горячо любил его, всю жизнь учился у Чехова мастерству и человечности, неустанно пропагандировал его произведения в Австралии. В далекие 30-е годы Палмер помог осуществить постановку «Трех сестер» и «Вишневого сада» в Мельбурне, следуя советам К. С. Станиславского («Моя жизнь в искусстве»). В 1954 году, в дни 50-летней годовщины со дня смерти А. П. Чехова, Палмер выступил перед студентами факультета русского языка и литературы Мельбурнского университета с беседой «Чехов и англоязычный мир». Она была затем напечатана в журнале «Миэйнджин». Рассказ о том, как

Чехов пришел в англоязычный мир и — покорил его, служит раскрытию главной мысли Палмера о гуманистической сути творчества Чехова-реалиста, помогает увидеть высокую нравственность его искусства и жизни. Ниже публикуются отрывки из этой статьи. В ней В. Палмер делает попытку осмыслить отдельные аспекты влияния творчества Чехова на англоязычных писателей.

...Рассказы, в которых раскрылся полный юмора и нежности Чехов, с его естественным и непредвзятым взглядом на жизнь, Чехов, остро осознающий всю ее сложность и многообразие, оказали огромное влияние прежде всего на тех, кто только начинал писать. Они стали, к примеру, главным источником вдохновения для очень одаренной молодой писательницы Кэтрин Мэнсфилд, которая с присущей ей свежестью восприятия и изяществом стиля оставила весьма заметный след в развитии английского рассказа. И я не был очень удивлен, когда понял, что трогательный рассказ «Мертвые» Дж. Джойса, названный Т. С. Элиотом одним из самых крупных явлений этого жанра в наши дни, также обнаруживает чеховское влияние.

...Трудно даже передать сегодняшним читателям, какое впечатление произвели на нас, в то время молодых писателей, первые переводы Чехова на английский язык. Рядом с нами оказался человек, умевший легчайшим прикосновением пера открыть новую сущность в знакомых предметах и явлениях. Мы были взволнованы его искренностью, отсутствием какой-либо позы, умением в самом неприметном увидеть значительное. Нас поражало спокойствие, с которым Чехов исследовал жизнь. Он не бил себя кулаком в грудь, чтобы убедить в своей силе, не верил в человеческую добродетель больше, чем мог доказать, он не делал вид, что обладает вселенской мудростью, и все же мы чувствовали: перед нами — один из величайших писателей нашего времени. Он был тем, кто помогал людям в познании неведомых ранее истин жизни.

Для нас Чехов открыл целые пространства духовного мира человека, показал, как беспокойным светом искусства может быть озарена внутренняя жизнь совершенно заурядных людей...

У Чехова была задушевность Лоусона, но — гораздо больший диапазон чувств и жизненного опыта. И его внешняя беспристрастность и спокойствие противостояли проповедуемому Киплингом и его последователями культу силы, который обязательно сочетался с сентиментальностью.

Наше преклонение перед искусством Чехова — с виду простым, но, в сущности, весьма утонченным — еще более возросло, когда в 1921 году появился перевод его записных книжек, осуществленный С. С.Котелянским и Л. Вулфом. Чехов заносил туда размышления о литературе и жизни, и человек, раскрывшийся в них перед читателем, оказался именно таким скромным, остроумным, любящим, какого мы интуитивно представляли себе, судя по его творчеству. Однажды в письме к Суворину он упомянул, что собирается написать рассказ о сыне лавочника, который по капле выдавливал из себя раба. Именно к этому в течение всей своей жизни стремился и сам Чехов. И, конечно же, он не имел в виду изживание в себе некоего раболепия. Для Чехова это значило прежде всего освобождение от внутренних пут — ложных отношений, унаследованных табу, не имевших для него никакого значения; от привычки признавать ценности, которые не лежали в основе его взглядов; от любой духовной лжи. И он достиг цельности, душевного равновесия и зрелости — как человек и как мастер слова. Его понимание жизни не зависело от случайных настроений, оно словно бы питалось из некоего источника, неподвластное бурям непостоянства.

Он был убежден, что художник — и эта мысль проходит во всех его заметках и письмах — должен быть цельным человеком, взрослым, а не подростком, во всей полноте используя в своей работе то, что пережито умом и сердцем...

Находились критики, которые поговаривали, что чеховское отношение к жизни было равнодушием, скрывающимся под маской улыбки, что сами люди не очень-то много для него значили, будучи всего лишь предметом для иронической комедии. Какой циничный восторг, говорили критики, испытывает он, показывая крушение человеческих надежд! Как неотвратимо каждая дорога в его рассказах ведет к разочарованию! Как он неизменно подчеркивает, что природа безразлична к человеческой борьбе!

Но это — ложная трактовка взглядов Чехова, и возникает она частично оттого, что критиков вводит в заблуждение кажущаяся легкость чеховской манеры письма, лишенное сентиментальности отношение к повседневным событиям. Действительно, писатель часто подчеркивает равнодушие природы к человеческим трагедиям: река продолжает течь, не обращая внимания на тело, лежащее в ее иле; сосновый бор шепчет что-то самому себе во время трагического расставания влюбленных, так же как он шептал веками до этого,— но выводы, которые делает Чехов из этого равнодушия природы, совершенно противоположны выводам названных выше критиков. Писатель как бы говорит: конечно, звезды могут смотреть на землю равнодушно, но это не значит, что и человек лишен человеческих чувств. Да, человек отличается от неживого мира своим живым сердцем. Важен характер, как важны и выражения сочувствия, привязанности, любви. Однако все это говорится писателем не прямо, ибо не таков путь искусства, но мысль эта лежит в основе чеховского творчества, особенно в его повестях, таких, скажем, как «Палата № 6».

Если бы нужно было ответить подобного рода критикам, которые обвиняли Чехова в бесчеловечной отчужденности, лучшим опровержением их домыслов могла бы служить вся его жизнь.

◆

Отклики, встречи, впечатления

М. ИЛЬИНСКИЙ

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

В жизни вьетнамского народа нынешний 1985 год особый. Он наполнен знаменательными датами, которые отмечают с героическим Вьетнамом все прогрессивные люди земли. 55-летие Коммунистической партии Вьетнама, 95-летие со дня рождения верного марксиста-ленинца, первого президента Вьетнама Хо Ши Мина, 35-летие дипломатических отношений между СССР и Вьетнамом, 10-летие освобождения Южного Вьетнама, 40-летие Августовской революции и провозглашения 2 сентября 1945 года Демократической Республики Вьетнам — первого государства рабочих и крестьян в Индокитае и во всей Юго-Восточной Азии.

Летом этого года в связи с юбилейными датами братской страны у нас с успехом прошли Дни культуры Вьетнама. В СССР приехали многие видные деятели искусства и литературы СРВ, среди них были и мои давние друзья — генеральный секретарь Союза писателей Вьетнама Нгуен Динь Тхи и крупнейший поэт Юго-Восточной Азии Суан Зиеу.

После вечера вьетнамской поэзии в ЦДЛ мы собрались в уютной гостиной и вспоминали о друзьях, которых теперь не было с нами: одни — далеко в Ханое, другие — как говорят вьетнамцы, «навечно покинули берега реки жизни и вернулись...». Об известных советских писателях — П. Антокольском, Л. Соболеве, К. Симонове, М. Луконине, — об авторе первого советского фильма, посвященного сражающемуся Вьетнаму, Р. Кармене, о журналисте и поэте А. Тер-Григоряне еще долго будут звучать добрые слова в разных уголках вьетнамской земли, там, где они бывали, там, где о них с любовью рассказывают вьетнамские коллеги по перу, там, где читают их книги.

Столь же тепло и благодарно вспоминают и в Советском Союзе о вьетнамских писателях и поэтах То Хыу, Нгуен Туане, Нгуен Ван Бонге, То Хоае, Нгуен Нгоке, Нгуен Динь Тхи Суан Зиеу.

Нгуен Динь Тхи и Суан Зиеу сидят сейчас передо мной. Смотрю на них и думаю о том, сколь длинный, нелегкий, но озаренный светом незаурядного таланта путь прошли эти два больших человека. Густая проседь времени пробралась в непокорную шевелюру Нгуен Динь Тхи. Груз лет пал и на плечи Суан Зиеу. Он протягивает мне одну из последних своих книг: она вышла в Париже тиражом всего 400 экземпляров. Сборник издан так, что факсимильный отпечаток каждого стихотворения, написанного рукой автора и сопровожденного рисунком одного из известных вьетнамских художников, представляет собой отдельную страницу: ее можно вынуть и подарить подобно памятной открытке. Вспоминаю, сколько прекрасных вечеров мы провели с Суан Зиеу на ханойском корпункте газеты «Известия», в комнате № 112 гостиницы «Тхонгнят» («Единство»), по-старому «Метрополь». Она была выбрана для литературной работы по совету Суан Зиеу и другого старейшего вьетнамского писателя, Нгуен Туана, не случайно. «Над этим номером витает дух словесности»,— утверждали они, потому что именно здесь заканчивал «Тихого американца» Грэм Грин, работала французская писательница Мадлен Риффо, австралиец Уилфред Берчетт...

Вьетнамские литераторы помогли мне тогда полюбить их родину, страну мужественных, гордых и честных людей, ее покрытые вековыми джунглями базальтовые горы, хребты, перевалы, плато, изумрудно-зеленые долины, могучие реки и водопады, золотые дюны у океанских берегов.

Беспощадно быстро пролетело время. Позади годы, прожитые во Вьетнаме, но каждая новая встреча с этой удивительной страной оставляет глубокий след в сердце.

1966 год. Тогда я стал свидетелем первых налетов американской авиации на Ханой. Во времена американской агрессии шел партизанскими тропами Южного Вьет-

нама, ночевал в подземельях, стоял на берегу реки Бенхай, что более двадцати лет словно ножом разрубала по 17-й параллели тело Вьетнама. Мне довелось одним из первых иностранных журналистов побывать в многострадальной общине Сонгми, где палачи под командой американского лейтенанта Колли совершили чудовищные преступления. Не изгладить в памяти показания тех, кому чудом удалось выжить. Сонгми встала в один ряд с Хатынью, Лидице и Орадуром.

Трудно перечислить злодеяния империалистических агрессоров во Вьетнаме. Это и сотни миллионов тонн бомб и снарядов, обрушенных на города и селения; это и 100 тысяч тонн химических отравляющих веществ, распыленных над страной; это и полтора миллиона убитых, которых оплакивают матери, отцы, дети. Но, превозмогая огромные трудности и лишения, Вьетнам выстоял и победил. Я видел, каким счастьем светились лица вьетнамцев, когда пришла Победа — 30 апреля 1975 года освобожден Сайгон! А 2 июля 1976 года Вьетнам стал единым от Каобанга на Севере до мыса Камау на Юге! Родилась Социалистическая Республика Вьетнам.

«Происки сил империализма и международной реакции против СРВ,— говорил Нгуен Динь Тхи — не прекратились и после победы. Но народ дает отпор врагам, уверенно строит социалистическое общество, решает важные задачи экономического развития, поставленные V съездом Коммунистической партии Вьетнама. А возможно это лишь благодаря всесторонней поддержке и помощи Советского Союза, других братских стран социализма. Каждый вьетнамский гражданин бережно хранит в памяти слова Хо Ши Мина,— продолжал Нгуен Динь Тхи.— «когда пьешь воду, помни об источнике». Братские отношения между нашими странами, у истоков которых стояли Владимир Ильич Ленин и Хо Ши Мин, подобны могучему дереву, у которого глубокие корни...

Сколько исторических событий на протяжении одной человеческой жизни,— размышлял Нгуен Динь Тхи.— Мог ли я думать в 1943 году, еще юношей вступая в созданную Коммунистической партией подпольную Ассоциацию культуры за спасение родины, что буду всю жизнь связан с революционной и национально-освободительной борьбой моего народа, дойду с ним до победы, буду участвовать во встречах самых известных писателей планеты, которые проходят на земле Страны Советов, на земле Ленина?»

Между тем именно так сложилась судьба Нгуен Динь Тхи — судьба коммуниста, гражданина, литератора. И недаром ему принадлежат строки:

Наши годы как зерна риса,
что из горсти Революции
развеяны по ветру...

(Перев. М. Павловой)

Август 1945-го, Победу революции, Нгуен Динь Тхи встретил молодым человеком 21 года и уже закаленным политическим бойцом. Не случайно партия вьетнамских коммунистов доверила ему в первом правительстве пост заместителя министра по делам просвещения и молодежи, а также возложила обязанность руководить работой Ассоциации культуры за спасение родины, которая сыграла важную роль в мобилизации народных масс на войну Сопротивления французским колонизаторам, активно способствовала формированию нового человека, его революционных идеалов. Он был избран депутатом Национального собрания.

А когда в декабре 1946-го французский экспедиционный корпус атаковал Ханой, Нгуен Динь Тхи — батальонный комиссар Столичного полка — сражался на баррикадах, что поднялись на Шелковой улице. Покидая город на Красной реке, вместе с другими защитниками столицы он дал клятву вернуться и освободить столицу. В тот тяжелый год у 2500 бойцов полка было лишь 1500 исправных винтовок. Но герои сдержали слово. Случилось это лишь через долгих восемь лет войны, 10 октября 1954 года. А за Тхи в кругу друзей навечно закрепилась кличка Комиссар.

Солдаты Народной армии входили в Ханой с популярной «Антифашистской песней» Автором музыки и текста ее был Нгуен Динь Тхи, уже известный в стране публицист, очеркист, поэт[1]. В ходе боев, длительных переходов в горах и на равнине он собрал богатый фактический материал, который лег в основу его первой повести о войне Сопротивления — «Вперед, в атаку!».

Наделенный природным юмором, наблюдательный, исключительно точный в выборе слова, Нгуен Динь Тхи многое сделал для развития современного вьетнамского языка. Некоторые его «находки» теперь стали общепринятыми. Например, у кого бы вы ни спросили в Ханое, что представлял собой «вьетнамский автобус на двух колесах» времен первой войны Сопротивления, любой, даже ребенок, рассмеется и скажет: «Это наши героические народные носильщики, которые на плечах доставляли боеприпасы, оружие, продовольствие». А назвал их «вьетнамским автобусом, вездеходом и скалолазом» Нгуен Динь Тхи, писатель-солдат, прошагавший с ними не одну сотню километров. Тхи словно и сейчас видит, как «шевелятся листья маскировки, плывут бамбуковые корзины, длинный штурмовой мостик важно покачивается на плечах двух носильщиков. С ними идет усталый политрук Шан. Пустой рукав его гимнастерки заправлен за старый брезентовый пояс...»

Книга эта, «Вперед, в атаку!», была задумана лет за пять до победной битвы на северо-западе Вьетнама, под Дьенбьенфу. Но в ней ясно звучит убежденность: победа придет, бойцы добудут ее любой ценой, жертвуя жизнью, совершая тяжелейшие рейды в тылу врага, штурмуя, казалось бы, неприступные крепости и доты. С этой мыслью был написан в январе 1950 года и

[1] «ИЛ» печатала стихи Нгуен Динь Тхи (1975, № 9), его рассказы (1980, № 9); Нгуен Динь Тхи участвовал в анкете «ИЛ» «Ответственность таланта» (1982, № 9), предварил вступлением публикацию романа Нгуен Минь Тяу «Выжженная земля» (1982, № 12); читатели имели возможность также познакомиться с его выступлением на Софийской встрече писателей 1982 года (1983, № 5). (Здесь и далее прим. ред.)

очерк «Форт Нахан сметен с лица земли», и позднее рассказ «Ротный», и многие другие произведения. В них переплетаются человеческие судьбы, сталкиваются порой противоречивые образы, но единая цель связывает их — победа.

Дорогой ценой заплатил за нее Вьетнам. Два года спустя после победы, в 1956-м, Нгуен Динь Тхи издает сборник стихов, объединив их мужественным словом «Солдат». Его солдат — это и боец Столичного полка, и крестьянин, и рабочий, и учитель, и старушка-мать, отправляющая сына на фронт.

В последующие мирные годы писатель продолжает рассказывать о минувшей войне. Произведения на военно-патриотическую тему были необходимы молодой республике, подвергавшейся нападкам со стороны империалистических и неоколониалистских кругов, окопавшихся ниже 17-й параллели, в Южном Вьетнаме. По мере усиления там американского влияния, во второй половине 50-х — начале 60-х годов, волна военных политических и идеологических диверсий против вьетнамских патриотов на Севере и Юге страны нарастала. И слово писателя вновь сражалось, вновь поднимало на борьбу. Вспомним его строки:

Наши глаза людские глядят куда?
Наши шаги людские ведут куда?

Ночью и днем, ночью и днем
Южный Вьетнам зовет.

(Перев. Л. Эйдлина)

В те годы в ДРВ буквально зачитывали до дыр его сборник рассказов военных лет «На берегу реки Ло» (1957). Книга была преисполнена революционного духа, оптимизма, веры в справедливость. Это было высокогражданственное произведение.

О второй войне Сопротивления, теперь уже против империалистов США, рассказывают повести Нгуен Динь Тхи: «В огне» (1966), посвященная боевым будням зенитного полка, и «Линия фронта пересекает небо» (1967) о летчиках-истребителях,— переведенные во многих странах мира. Характерно, что в военной прозе Нгуен Динь Тхи особое место уделяет детям, тем, кого любит искренне, всей большой и доброй душой. «Это им,— говорит писатель,— принадлежит будущее мира. И потому им необходим мир, а не войны, какое бы обличье — обычное, термоядерное или «звездное» — они ни принимали. Народам нужен только мир, в условиях которого нет предела развитию человеческого гения. Долг писателя сделать все от него зависящее, чтобы мир отстоять, чтобы нести знамя свободы и независимости народам».

Нгуен Динь Тхи высоко несет это знамя. Большую известность во Вьетнаме и за рубежом приобрела его дилогия «Рушатся берега», первый том которой вышел в 1962 году, а второй — семь лет спустя, в разгар американской агрессии. Помню, мы сидели тогда в здании Союза писателей Вьетнама, пили зеленый чай из Футхо, который Тхи обычно заваривал сам, и Тхи подарил мне эту книгу. Он говорил о раздумьях, если хотите, принципах, точках отсчета, на которых стремился построить роман. Я слушал его и вдруг неожиданно почувствовал, как бы увидел то, что еще не нашло словесного выражения, но уже обрело основное этическое, смысловое звучание. Это было страстное стремление автора и его героев к утверждению и развитию национального самосознания. И не это ли составляет единство и является постоянной связующей нитью во всех работах Нгуен Динь Тхи? Национальное самосознание, патриотизм, жизнеутверждающая сила и подлинный интернационализм стали теми столпами, на которых зиждется творчество этого большого мастера вьетнамской словесности.

В последние годы писатель все больше обращается к драматургии. «У вьетнамского театра,— говорит он,— большое будущее. Но нам не хватает пока пьес, выполненных на должном художественном уровне. Все, как известно, приходит со временем,— улыбается писатель и добавляет: — И при приложении максимума труда».

В 1978—1979 годах Тхи создал две пьесы на исторические средневековые сюжеты: «Бамбуковая роща» и «Нгуен Чай в Донгкуане» (древнее название Ханоя). Особенно сильной мне представляется пьеса о Нгуен Чае, великом вьетнамском философе, энциклопедисте, поэте, военачальнике и государственном деятеле. В этой пьесе ясно звучит мысль о том, что патриотизм, национальное самосознание не могут быть поколеблены иностранным засильем, тюремными оковами. Пьеса «Нгуен Чай в Донгкуане» — своеобразная поэма мужества, верности родной земле. Но, пожалуй, самой большой творческой удачей его в жанре драматургии стала недавно написанная пьеса «Видения» — поэтичная притча о торжестве жизни над смертью, силе человеческого духа, любви к родине, к людям. Сейчас завершен ее русский перевод. Пьесу готовит к постановке один из драматических театров венгерской столицы. В середине 70-х годов во Вьетнаме вышла отдельной книгой пьеса Нгуен Динь Тхи «Хоа и Нган» (имена героинь), рассказывающая о мужестве вьетнамских женщин, сражающихся с захватчиками.

Писательскую организацию Вьетнама Нгуен Динь Тхи возглавляет вот уже почти три десятилетия. Он много путешествует, представляет литераторов СРВ на международных конференциях, семинарах, симпозиумах. И, конечно, часто бывает в Советском Союзе, пишет о нашей стране. Его «Песнь о Черном море» (1955) словно перекличка времен, будто крепкое рукопожатие бойцов революции. Это рассказ о том, как в 1919-м на одном из кораблей французской эскадры, посланной к берегам истекающей кровью Советской России, взметнулся красный флаг. Его поднял молодой моряк Тон Дык Тханг (после Хо Ши Мина ставший вторым президентом демократического Вьетнама). В литературоведческих работах Нгуен Динь Тхи часто обращается к русской и советской классике.

«Советская литература Великой Отечественной войны,—говорил Нгуен Динь Тхи,— произведения Шолохова, Симонова, Эренбурга, Твардовского и многих других ведущих советских писателей и поэтов служат для меня своеобразным эталоном партийности, патриотизма, социалистического ин-

тернационализма. Эта литература учит нас, помогает преодолевать многочисленные трудности на пути построения основ социалистического общества во Вьетнаме».

Я видел, как Нгуен Динь Тхи готовился к встрече с советскими литераторами в ЦДЛ. Он то перечитывал любимые стихи, то расхаживал по номеру в гостинице, то глубоко погружался в кресло и включал телевизор, словно желая окунуться в гомон городских улиц, нежную зелень парков, полей, лесов... Он готовился к встрече с Россией, ее поэтами, певцами. Они тоже готовились встретиться с сыном Вьетнама Нгуен Динь Тхи. И встреча их была овеяна дружеским теплом и общей любовью к поэзии.

Другой мой собеседник, крупнейший вьетнамский поэт старшего поколения (он родился в 1917 году), Нго Суан Зиеу[1]— один из тех, о ком говорят: «В одно прекрасное утро он проснулся известным». Поэтическое счастье рано улыбнулось Суан Зиеу. Уже первый сборник «Поэзия поэзии» (иногда эту книгу называют «Стихи, стихи»), вышедший в 1938 году, принес ему широкую известность. В последние десятилетия много сил он посвятил работе над переводами произведений о В. И. Ленине. Его перу принадлежит например, перевод поэмы Маяковского «Владимир Ильич Ленин». Приезжая в Советский Союз, он неизменно посещает ленинские места Этими поездками навеяны и его стихотворение «Шалаш Ильича» и одна из статей, написанная специально для «Известий» в канун XXVI съезда КПСС, и, конечно, эти строки:

И вдруг в воображении моем
Возник просторный светлый дом,
Увенчанный полощущимся алым
стягом
И Ленин в нем,
шагающий стремительно.
Весь мир он озарял
Великой мысли светом...[2]

Ныне, в преддверии XXVII съезда КПСС, Суан Зиеу готовит к изданию новую серию стихотворений, посвященных Советскому Союзу.

«Для вьетнамского народа,— говорил Суан Зиеу,— имя Ленина, родина Ленина — это алое знамя, победно развевающееся на высокой мачте исполинского корабля социализма, это свет и созидание, это — сила, движущая историю.

Президент Хо Ши Мин называл ленинизм «солнцем, озарившим наш путь к окончательной победе», и подчеркивал, что влияние Октябрьской революции и В. И. Ленина было для вьетнамских революционеров «подобно воде и пище для изможденного жаждой и голодом путника».

Я счастлив, что написал однажды такие строки,— прибавил Суан Зиеу: — «Бамбук, бамбук, ты любишь, ты любишь березку, березку одну.. »

А вот статья Суан Зиеу, оригинал которой я обнаружил в своем архиве. Она была посвящена 1 Мая — празднику Международной солидарности трудящихся.

«Я знаю, что в далекой и всегда близкой моему сердцу Москве Первомай — это начало цветения садов. Я видел, как распускались ландыши в день Первомая в Париже, но знаю, что самые прекрасные ландыши — в Подмосковье. Как-то Илья Эренбург прислал мне первомайскую открытку, на которой были изображены подснежники. Они навсегда остались в моей памяти. Нежные, словно живые, со звездочками снежинок на лепестках. Эти цветы пробились сквозь снег И я почему-то сравнил подснежники, эти предвестники весны, с революцией, которой, чтобы победить, надобно было пройти через многие трудности.

Блестящие достижения родины Великого Октября,— писал Суан Зиеу,— стали опорой для всех народов, борющихся за национальное и социальное освобождение. И многие мои поэтические работы создавались под глубоким впечатлением от свершений советских людей во всех областях экономики, науки и культуры.

Я живу воспоминаниями о моих поездках в СССР. Я помню нежные цветы грушевых садов в молдавском колхозе имени Кирова. Я говорю «здравствуй» соснам на морских берегах Латвии, которые называю соснами Яниса Райниса, восхищаясь его прекрасными поэмами».

Во время последнего визита в СССР Суан Зиеу подарил мне еще одну свою книгу — «Два крыла моего Вьетнама». 72 поэмы. «Знаешь,— сказал он,— на этот раз более половины поэм.. о любви. Время войн позади...»

Поэт любви. Так назвали Суан Зиеу еще в 30-х годах. Пожалуй, не было ни тогда, ни сейчас ни одной школьницы во Вьетнаме, которая бы не носила в портфеле сборник стихов Суан Зиеу или не переписала любимые строки в тетрадь-дневник.

«Дворец моей поэзии стоял на фундаменте земных чувств, но в этом дворце еще царила неуверенность перед быстротекущим временем»,— считает теперь Суан Зиеу, хотя помнит и любит многие стихотворения тех лет.

Я бы солнечный луч погасил,
если б мог.
Чтобы краски не блекли,
не меркли закаты,
Если б мог,
я поймал бы в силки ветерок,
Чтоб крылатый
не смел уносить ароматы[1].

Несмотря на то что известность пришла к Суан Зиеу рано, жизнь не обещала быть легкой. В годы второй мировой войны поэту пришлось перепробовать множество профессий: он считал своим долгом поставить на ноги младших сестер, посылал деньги верному другу детства Хюи Кану, чтобы тот мог закончить учебу. И, конечно, он писал и писал стихи. При этом поэт не только «дарил благоуханья ветру» — крепло его политическое сознание. Он начинал переосмысливать окружающую действительность, его раздумья проникались идеалами освобождения народа и обновления мира. А победившая Августовская революция наполнила «паруса его поэзии мощным ветром и направила корабль его чувств

[1] «ИЛ» публиковала стихи Суан Зиеу в 1962, № 8; 1968, № 9; 1973, № 5. В № 1 за 1956 год напечатан отклик Суан Зиеу на обращение М. Шолохова к писателям мира.

[2] Перевод автора статьи.

[1] Это и последующие стихотворения Суан Зиеу даются в переводах А. Ревича.

и мыслей вместе с народом по пути великих свершений». Так сказал почти сорок лет спустя сам Суан Зиеу, когда мы встретились в его доме на улице Дьенбьенфу. Впрочем, «в его» доме — не совсем точно сказано. Здесь живет и вся семья Хюи Кана, ныне одного из крупнейших поэтов Вьетнама, чьи стихи входят во все антологии вьетнамской поэзии. Младшего сына Хюи Кана, племянника Суан Зиеу, зовут Ха Ву. Он родился в день, когда советский гражданин Юрий Гагарин впервые в истории человечества поднялся в космос. Ха — Ханой, Ву — космос. Так и вышел в жизнь малыш Ха Ву — «ханойский космос». Теперь он взрослый и хочет стать летчиком, а потом, возможно, и космонавтом. Он с восторгом читает стихи Суан Зиеу о верности сердец:

Любимый, взяв из чаши рис,
не забывай меня,
Одежду теплую надев,
не забывай меня.

У них всегда всё вместе, у этих двух семей. И такая верность сердец, душевное родство в едином доме — прекрасны.

Итак, революция наполнила мощным ветром паруса его поэтического корабля. В 1945-м выходит книга Суан Зиеу «Национальный флаг», в 1946-м — поэма «Совет рек и гор». В этой работе, сохраняя романтический строй чувств, он провел историческое сравнение: в первом Национальном собрании первого в Юго-Восточной Азии государства рабочих и крестьян он, отсчитав почти семь веков назад, увидел сходство со всенародным вечем, созванным в 1285 году и сыгравшим важнейшую роль в тогдашней борьбе Вьетнама против иноземных захватчиков. Поэтическое равнение «через века» может показаться спорным, но поэма совпала по времени с началом войны, развязанной колонизаторами, и служила призывом к решительному сопротивлению, к всенародной борьбе.

Долгие годы войны. Поэт отдает народу все силы, сражается с врагом своим пером, стихами, издает в освобожденных районах книги «Под золотой звездой», «Свет», «Мать и дитя». Их герои — бойцы Народной армии, идущие по дорогам войны, партизаны, не дающие покоя врагу в сельской местности, крестьяне и рабочие — весь борющийся народ.

Вьетнам победил, но по вине империалистов страна расколота на Север и Юг. И боль звучит в стихах поэта:

Распилены массивы гор,
Их склоны в рваных ранах ям,
В агонии лежат поля,
Разрубленные пополам.

Суан Зиеу, как все истинные патриоты Вьетнама, верит, что день воссоединения Родины придет, но знает, что во имя этого предстоит долгая и трудная борьба.

Мы за стежком кладем стежок,
Поскольку мы игла и нить,
Сшиваем жизнь по лоскутку,
Чтоб времена соединить.

Тема Юга была одной из главных в творчестве поэта в период с 1956 по 1964 год. В прошлом он много лет прожил в южной части страны, ему близки ее природа, люди. Он любит их. Он верен им. Верностью, любовью и боевым духом вдохновлены три книги Суан Зиеу: «Личное и общее», (1960), «Мыс Камау, взявшись за руки» (1962), «Красный сгусток в сердце» (1964).

Однажды в 1967-м Суан Зиеу вернулся из поездки в район города Винь особенно взволнованным Мы проговорили с ним тогда до позднего вечера. Перед уходом он сказал: «У глаз, какими бы они ни были, помимо природного цвета есть еще два — голубой и черный. Голубой — это любовь, радость, счастье. Черный — это ненависть, гнев. Я столько лет писал, взирая на мир голубыми глазами. Ты помнишь эти строки?

Раскрыты крылья наших душ
во весь размах.
Надул их ветер,
но они летят и сами.
О лучшем хочется мечтать,
парить в мечтах
Так высоко,
как можно плыть под небесами».

Я помнил эти стихи. Я знал, что у Суан Зиеу добрый, исключительно добрый глаз. Но в тот день видел его суровым, решительным, даже яростным, и понял, что он думает о чем-то очень серьезном, выходящем за пределы простых человеческих отношений. И не ошибся.

«Теперь, когда враг посягает на нашу землю,— продолжал поэт,— я гляжу на заокеанских пришельцев черным глазом.

Люди ложились в лощину
и в придорожный кювет,
Над переправами в небе вспыхивал
яростный свет.
Вихрями шли самолеты,
небо тонуло в пыли,
Пули свистели,
а в лодках женщины стоя гребли».

Оказалось, что Суан Зиеу работал на горе Куйет, рядом с виньской электростанцией, где собирал материал для газетного очерка (все поэты и писатели Вьетнама в военные годы работали как журналисты). Неожиданно начался налет. Комсомолец-зенитчик прикрыл Суан Зиеу грудью и был тяжело ранен. Он спас поэту жизнь. Когда Суан Зиеу пришел в госпиталь навестить бойца, юноша, перенесший тяжелую операцию, сказал: «Я сделал бы это еще много раз. До тех пор, пока жив. Ваши стихи мощнее тысяч зениток. Они не только стреляют по врагу, они воспевают жизнь, вселяют веру в победу. Они для нас вместили и зернышко риса, что принесет крестьянский урожай, и снаряд, выпущенный по американскому самолету, и горечь утрат, и радость встреч с родным домом. Так бейте сильнее врага своими стихами! И за меня тоже».

На следующее утро юноша скончался.

Плоть я от плоти твоей,
мой терпеливый народ,
кровь наша разом струится,
разом струится наш пот.

Поэт, писатель, журналист Суан Зиеу гневно обличает империализм, международный терроризм, геноцид, варварские преступления милитаристов на нашей планете. Когда Вашингтон поднял шумную клеветническую кампанию против Советского Союза и Вьетнама, обвиняя их в том, что они якобы применяют отравляющие

газы в Афганистане, Лаосе и Кампучии, Суан Зиеу прислал письмо из Парижа, где читал тогда лекции о вьетнамской литературе. «Империалисты нас пытаются ложно обвинять в том, в чем повинны сами,— писал Суан Зиеу.— Ведь это мы, вьетнамцы, наша земля, наши леса, наши поля страдали от американского химического оружия. Ложь и позор! Я прочел французским студентам стихи, написанные еще во время войны. Надеюсь, они оставили след в умах французской молодежи.

Враг чужеземный! Он губит леса,
и деревья золою становятся серой!
Враг чужеземный решил все леса
уничтожить дотла.
Газами он отравляет страну
заражает смертельной чумой и холерой
. . . . . .
Тело сжигает губительный яд,
Гибнут стволы-великаны,
Чернеет в земле полусгнивший батат.
Гнутся к земле, погибают бананы».

Поэт-патриот, поэт-интернационалист Суан Зиеу ведет и большую переводческую работу. Он подарил вьетнамскому читателю шекспировские сонеты, главы из «Евгения Онегина» и, конечно, переводы стихов многих советских поэтов. Недавно подготовил к печати сборник «Стихи всего мира сражаются вместе с Вьетнамом».

Его стихи тоже воюют. Сражаются за счастье не только Вьетнама, но и других народов. Голос Суан Зиеу звучал суровым обвинением, когда разразилась чилийская трагедия, когда войска ЮАР вторглись в Анголу, когда израильская военщина бесчинствовала в Ливане, устраивая варварские расправы в Сабре и Шатиле, когда США совершили агрессию против Гренады. Его голос звучит и теперь, когда американский империализм готовит вторжение в Никарагуа.

«Поэт не может оставаться равнодушным, когда и над чужим домом нависает беда, когда зло и насилие вершат свое черное дело». Это убеждение, облеченное в слова поэтом Суан Зиеу, носит в своем сердце каждый вьетнамский литератор. Гражданин страны, изведавшей силу дружеской помощи братских народов и в тяжкую годину испытаний, и в дни трудного восстановления народной экономики, он не может не быть интернационалистом до мозга костей. Вьетнамец, многажды защищавший Родину с отчаянной решимостью умереть, но не отдать ее врагу, он не может не быть беззаветным патриотом. Эти два качества одухотворяют и сегодняшнюю социалистическую литературу Вьетнама, которая свято чтит национальные традиции и освещает народу путь в светлое будущее.

◆

Трибуна переводчика

В этом номере мы знакомим читателей с размышлениями известного советского переводчика С. Апта о том, в чем видится ему суть переводческого труда, каковы, по его мнению, «компоненты», способные сделать перевод явлением отечественной литературы, какой перевод можно назвать истинно современным. Возможно, выступление С. Апта вызовет у его коллег желание включиться в обсуждение затронутых проблем — журнал будет рад предоставить и им свою «Трибуну переводчика».

С. АПТ

ВРЕМЯ И ПЕРЕВОДЧИК

Какие только вопросы, какие темы не затрагиваются в книгах, статьях, печатных и устных дискуссиях, посвященных искусству художественного перевода! Обобщающие теоретические труды, разборы конкретных переводов, противоречивые мнения о способах передачи иноязычного просторечия или так называемого свободного стиха.

Да что там просторечие, что там свободный стих! Есть темы поуже и позамысловатее. Например, сравнение разных переводов либретто моцартовских опер (итальянский текст «Дон Жуана» переводился на немецкий язык не менее шестидесяти, «Свадьба Фигаро» — не менее двадцати раз). Или специфические трудности перевода одной современной западноевропейской повести (речь идет о «Потерянной чести Катарины Блюм» Бёля) на китайский язык. Или опыт коллективного перевода, когда, как то было при подготовке немецкой антологии нидерландской лирики, окончательная редакция стихов вырабатывается участниками работы сообща,— как уже это делается технически, сказать не могу.

От информации рябит в глазах и кружится голова.

Какая богатая библиотека образовалась уже из продукции — позволю себе так выразиться с учетом и скептически-иронического смысла нижеследующего слова — болельщиков перевода. Сколько в мире книг с подлинником на левой, а переводом на правой странице, сколько с приложениями, где петитом даны другие стихотворные переводы, которые по той или иной причине не попали в основной текст! В этом, образно говоря, музее книги много замечательных экспонатов, но, как всякий богатый и почтенный музей, он иногда очень походит на собрание диковинок, на выставку курьезов, кунсткамеру, в нем нет-нет да появляется та гротескность, та причудливость и чрезмерность, благодаря которой шарж часто передает характер человека гораздо точнее и выразительнее, чем фотография. Вот, например, экспонат-шарж — «Макс и Мориц» Вильгельма Буша, изданный не так давно в ФРГ к стопятидесятилетию со дня рождения автора на шести языках: за немецким оригиналом следует каждый раз английская, французская, испанская, итальянская и, что, на мой взгляд, очень показательно, латинская версия. Латинская! На этом языке сегодня никто не говорит, а уж тот, кто знает латынь, почти наверняка в состоянии прочесть «Макса и Морица» если не в подлиннике, то по-английски или по-французски. Парадоксальный факт перевода с живого языка на мертвый показывает в данном случае (ведь перед нами не учебное пособие) практическую беззаботность переводчика. Упоенный самим занятием, он отдается игре ума, пусть более трудной, более элитарной, чем ребусы, шарады или кроссворды, но по сути своей, по самодовлеющей, отвлеченной бесцельности точ-

АПТ СОЛОМОН КОНСТАНТИНОВИЧ (род. в 1921 г.)

Советский переводчик, литературовед. В его переводе издавались трагедии Эсхила, романы «Иосиф и его братья» Томаса Манна, «Степной волк» («ИЛ», 1977, № 4, 5) и «Игра в бисер» Г. Гессе, «Человек без свойств» Р. Музиля, пьесы Б. Брехта и др. произведения. Автор книг «Томас Манн» (М., 1972, в серии «ЖЗЛ»), «Над страницами Томаса Манна» (1980).

но такой же. Сегодняшние диспуты теоретиков перевода часто напоминают мне этого латиниста-энтузиаста. Конечно, в бескорыстии игры есть своя радость, свое благородство, и не мне, переводчику, бросать камень в одержимого словом. Но этот пример наглядно показывает одну характерную черту литературы, посвященной искусству перевода и дебатам о нем: речь тут и поныне идет прежде всего о том, как переводить, а вопрос что переводить или не задается вообще, или задается между прочим, выносится за скобки, словно ответ на него ясен всем и обсуждения не требует.

Между тем вопрос «что?» сегодня важен, как, может быть, никогда раньше.

Сравнительно недавно в «Иностранной литературе» были напечатаны отрывки из дневника венгерского поэта Миклоша Радноти, расстрелянного фашистами в 1944 году. В его записях, сделанных в черные годы хортистско-гитлеровского владычества, часто упоминается работа над переводами. В свободные от трудовой повинности дни и часы Радноти и его товарищи по перу переводили лирических западноевропейских поэтов прошлого. В этом была, конечно, какая-то отдушина, был какой-то выход из бесчеловечной реальности в отвлеченный гуманный мир. Но, зная о трагическом конце Радноти, я и преклоняюсь перед его самозабвенной преданностью литературе и в то же время с горечью думаю о том, что, когда он переводил своих древних римлян, очень витиеватых порой Проперция и Тибулла (причем, и они смущали тупую и ханжескую хортистскую цензуру), и менее древнего Вордсворта (на «англичан», впрочем, тоже цензура смотрела косо), уже существовал великий роман двадцатого века «По ком звонит колокол», и это произведение, которого Радноти, наверное, не знал, могло бы сказать ему нечто гораздо более насущное о мире, в котором он жил, нечто гораздо более важное о драме, в которую его вовлекло время, чем то способны были поведать Вордсворт, Тибулл и Проперций, сыновья других времен и эпох.

Не буду всуе распространяться об угрозе, нависшей над всей нашей планетой. Исключительность сегодняшней ситуации ни для кого не секрет. Одни чувствуют ее кожей, другие признают умом, а люди все-таки продолжают жить и делать свои привычные дела. Но многих, я думаю, атомная угроза, накладывающая тень на наш каждодневный труд, заставляет взглянуть на свой труд какими-то другими глазами, переоценить ценности. Литераторам, и в их числе переводчикам, по самому роду их умственной работы нельзя не быть среди этих многих. Новые произведения, игнорирующие новизну и альтернативность нынешней ситуации, кажутся мне устаревшими, засохшими на корню. В том числе и новые переводы. Не надо понимать это упрощенно, я вовсе не ратую ни за плоские сочинения, которые самой своей темой просят редактора провести их по графе «борьба за мир», ни за, упаси боже, патетические декламации. Я хочу сказать, что искусство, которое и всегда-то занято только трудным и добрым, несет в наше время дополнительную тяжесть: оно адресовано человечеству, будущее которого поставлено под вопрос.

Для переводчика в этих условиях невиданно важное значение имеет выбор объекта работы.

Томас Манн сформулировал однажды очень простую и ясную мысль о том, что понятие «интересное» исторично. Рекомендуя читателям роман Музиля «Человек без свойств», он писал, что «это не роман в привычном смысле слова, не обычный роман с настоящей интригой и сквозным действием, когда тебе любопытно, как получит Ганс Грету и получит ли он ее. Но можно ли еще,— продолжал Томас Манн,— вообще читать «обычные» романы, я хочу сказать: романы, которые только «романы»? Да ведь это уже невозможно! Понятие интересности давно находится в состоянии революции, нет ничего скучнее, чем «интересное».

Точно так же нет сегодня ничего скучнее, чем оторванная от конкретной поэтики конкретных произведений дискуссия о чисто технических проблемах перевода, о воспроизведении, например, иноязычных ругательств, формул вежливого обращения или свободного стиха, если в этой дискуссии — а так оно сплошь да рядом случается — самые далекие друг от друга авторы, самые неравноценные произведения сваливаются в одну кучу, как в некоторых заграничных универмагах предметы одежды в отделе унифицированных цен. Скучнее этого разве что наукообразная теоретическая статья, в сотый раз пережевывающая такие антитезы, как «точность — верность», «буквализм — вольность», в пятидесятый раз цитирующая итальянскую поговорку «traduttore — traditore» или слова Гёте о сходстве перевода с красивой, но неверной или верной, но некрасивой женщиной и завершающаяся чрезвычайно содержательным выводом, великим открытием, что переводить надо хорошо и не надо плохо.

Еще пятьдесят, еще сорок и тридцать лет назад подобные вещи казались новыми, интересными и злободневными.

Книга Корнея Чуковского «Высокое искусство», вышедшая под этим заглавием впервые в 1941 году, перед самым началом войны, а потом, с дополнениями, переиздававшаяся в 60-е годы, родилась из статьи которая увидела свет в 1919 году в брошюре-пособии для переводчиков основанного Горьким издательства «Всемирная литература» Чуковский первый громко заговорил о приемах и тайнах этого мастерства, о подвохах, подстерегающих переводчика в самых неожиданных и невинных, казалось бы, местах подлинника, заговорил о том, что перевод — это искусство. Он говорил как человек посвященный как популяризатор знания, добытого собственным опытом, но при этом так, как только и приличествует говорить об искусстве — без догматической назидательности, с подкупающей увлеченностью, с достойной долей сомнения в полной своей правоте, с обаятельной готовностью выслушать и другое мнение.

Тогда такая глубина, такой тон разговора о переводе были новостью. Но главное,

сам разговор был очень ко времени. С легкой руки Горького переводческое дело в России поднималось на новую ступень, приобретало размах, переставало быть в первую очередь литературным заработком, появлялись первые современные шедевры этого искусства в прозе, высшие достижения становились ориентирами, складывались критерии, возникала та питательная среда, которая могла рождать мастеров. И мастера рождались. Иноязычная литература, заслуживающая перевода, виделась огромным, без края и конца океаном, и затеянный Чуковским разговор шумел над этим океаном как ветер, поймав который переводчик волен был, казалось, направить свой вышедший на поиски сокровищ корабль в любом направлении, ибо сокровища, казалось, были везде.

А сегодня, если уж держаться этой навигационной, с позволения сказать, метафоры, мне слышится не шум ветра технологических дискуссий над манящим простором, а пушкинский вопрос: «Куда ж нам плыть?» Что же произошло?

Чуковский писал: «...так называемые обыватели чрезвычайно любят такие рецензии, где изобличаются лишь отдельные промахи, сделанные тем или иным переводчиком. Они уверены, что этими промахами — более или менее случайными — измеряется вся ценность перевода, тогда как на самом-то деле... горе не в отдельных ошибках, а в целом комплексе отсебятин, которые своей совокупностью изменяют стиль оригинала». Понятие «обыватель» тоже исторично. Это прозвучит еретически, и в этом будет, конечно, доля преувеличения, но я осмелюсь сказать, что сегодня рецензия, самым тщательным, самым убедительным образом разбирающая *только* «комплекс отсебятин», *только* стилистическое несоответствие или, наоборот, соответствие перевода оригиналу, но не касающаяся его, оригинала, идейного содержания, доставит удовольствие опять-таки лишь так называемому обывателю, человеку, уверенному, что ценность перевода измеряется исключительно соотношением находок и потерь. Выше я употребил применительно к переводческому искусству слово «болельщик». Оно, пожалуй, будет в данном случае точнее, чем «обыватель». Болельщики хорошо знают правила игры, у них есть свои фавориты, но сами они обычно не играют, они занимаются разными другими делами, игра для них — развлекательное зрелище или, если сами поигрывают,— хобби, им неведом тот стимул, тот нерв, который либо чувствует, либо не чувствует в себе вышедший на поле настоящий игрок.

Между временем, когда складывалась книга Чуковского, и нашими днями произошли помимо глобальных сдвигов события более узкого значения, но для русского переводческого дела существеннейшие. За это время чуть ли не вся мировая классика была переведена на русский язык. Достаточно посмотреть только на переводные тома «Библиотеки всемирной литературы», чтобы получить представление о масштабе сделанного. А есть еще серия античной литературы, серия мировой драматургии, всяческие другие серии и собрания сочинений. Ничего этого ни пятьдесят, ни сорок, ни даже тридцать лет назад не было. За это время состоялось и множество всяких конференций, дискуссий, симпозиумов, семинаров и вышли десятки очерков, исследований и статей, посвященных переводческому искусству. Вырос общий уровень всей переводческой работы, создалась атмосфера, которую по аналогии с музыкальной грамотностью можно назвать атмосферой переводческой грамотности. Но все эти отрадные, что и говорить, перемены обернулись, как всегда бывает в жизни, новыми, неожиданными проблемами. Оказалось, во-первых, что самое значительное и долговечное из литературы прошлого переведено и что в мире не бесконечно много, а, честно сказать, просто мало очень хороших, выдерживающих проверку временем книг. И переводчикам приходится поэтому довольно часто соревноваться не столько с оригиналом, сколько с прежними переводами этого же оригинала. Во-вторых, оказалось, что всякое теоретизирование вокруг перевода неизбежно сводится к простейшей истине: «чтобы приблизиться к подлиннику, надо отойти от подлинника», что всякое такое теоретизирование — скучная тавтология, что гораздо полезнее конкретно разбирать конкретные переводы. Но при общей переводческой грамотности чисто технологические разборы тоже, оказалось, получаются очень похожими друг на друга и интересны только самим критикуемым и еще разве что ищущим доступного развлечения болельщикам.

«Непреложная заповедь для мастеров перевода,— писал в своей книге Чуковский,— перелагай не всякого иноземного автора, какой случайно попадется тебе на глаза или будет навязан тебе торопливым (это, я думаю, эвфемизм.— *С. А.)* редактором, а только того, в которого ты жарко влюблен, который близок тебе по биению сердца, в которого ты хотел бы влюбить соотечественников». Золотые слова! Но сказаны они между прочим и лишь на 225-й странице, и выраженное ими требование звучит во всей книге только один раз, только здесь. Зато уже в самом начале есть пространное — и справедливое — рассуждение о том, что от одного слова зависит подчас не только судьба перевода, но и творческая судьба самого переводчика.

Подчас — да, зависит. Но всегда, и прежде, до вышеописанного сдвига в переводческом деле, и подавно сегодня, судьба перевода и творческая судьба переводчика зависела и зависит в первую очередь от того, что он выбрал для перевода. Все до единого слова в переводе могут быть наилучшими, самыми точными, самыми уместными, самыми подходящими по ассоциациям и по звучанию, а перевод этот радует только редактора, которому иначе пришлось бы еще «дотягивать» его, но не становится событием для читателей — кто не знает таких случаев?

Есть распространенный тип анкет-интервью: просят назвать любимого литературного героя, любимое мужское или любимое женское имя или качество, пять книг, которые вы взяли бы с собой на необитаемый остров, и т. п. Мне пришлось однажды отвечать на два вопроса: какие

десять книг из всей мировой литературы я перевел бы на русский язык, если бы переводил со всех языков, и какие десять русских книг выбрал бы для перевода на немецкий. В этом маниловском с виду занятии есть, оказывается, свой смысл, оно заставляет человека отдать себе отчет в том, что же волнует его, установить какие-то объективные ориентиры для анализа своих пристрастий. Когда я в обоих случаях пожелал ограничить свои перечни произведениями двадцатого века, я уже совершил некий отбор, некий выбор. Замечу, что я имел, да и в этой статье имею в виду только «суровую прозу» — кстати, сегодня, по-моему, особенно актуально замечание Пушкина, что проза требует прежде всего мыслей и мыслей.

Верно, переводить следует только тех авторов, в которых ты, по выражению Чуковского, «влюблен», а лучше, мне кажется, сказать — которыми восхищаешься. Но восхищаешься, опять-таки верно, так, что тебе хочется заразить своим восхищением соотечественников. Это второе условие очень важно, из него следуют существеннейшие для переводчика выводы.

Чем может восхититься сегодня культурный и серьезный читатель — ему ведь, не правда ли, и только ему, мысленно адресует любой честный литератор свою работу? Восхититься он способен, естественно, тем произведением, которое отвечает его духовным запросам, имея прямое или косвенное отношение к волнующей его ситуации — личной, общественной, мировой. Чем критичнее ситуация, в которой он находится, чем больше зависит от нее его дальнейшая жизнь, тем меньшее число произведений может не то что восхитить его, а просто заинтересовать, занять, вызвать охоту читать их. Когда человек находится в центре семейной драмы, когда он лежит в больнице, когда решается судьба его многолетней работы, тронуть и *восхитить* его может только та книга, которая даст ему какой-то *новый*, неведомый раньше взгляд на его трудные обстоятельства. Конечно, есть мировая классика, глубокие, «вечнозеленые» произведения, в которых каждый раз находишь какие-то достоинства, не замеченные тобой раньше. Но сильнее всего человека восхищает незнакомое, новое и при этом появившееся на земле одновременно или почти одновременно с ним самим: в любом восхищении всегда есть доля удивления существующим вот сейчас миром. Поэтому, мне кажется, переводчику надо быть для людей своего языка первооткрывателем книг в самом прямом смысле, открывать им прежде всего то, чего они вообще не читали, и уж во вторую очередь «недоданные» прежними переводчиками нюансы. Бывает, что по той или иной причине издательства заказывают новые переводы произведений уже переводившихся и известных читателю. Мне лично в таких случаях очень не хватает в работе важного стимула — волнующего ожидания часа, когда родится новая для русских читателей книга. А в итоге бурной издательской деятельности последних тридцати лет такую книгу может дать скорее всего та литература, которая создана и создается нашими современниками, ибо она изучена меньше, чем литература прошлого, и в еще меньшей мере переведена.

Таким образом, мое предпочтение двадцатому веку объясняется, вероятно, общей и объективной причиной — актуальностью поднимаемых его литературой вопросов, но также и причиной субъективной и личной — потребностью поделиться собственным восхищением с пребывавшими в неведении соотечественниками. Как бы то ни было, сознание, что переводишь что-то впервые, есть, по-моему, главный источник переводческого вдохновения. Речь идет, повторяю, о прозе, но в какой-то мере это относится и к переводам стихов.

За что я ратую? За то, чтобы не устареватъ, не мириться с рутиной переводческого процесса, которая, воцаряясь на разных его этапах, начинается с пассивности переводчика при определении предстоящей ему работы, с его готовности подчиниться самому неудачному и косному издательскому плану, а кончается словесными штампами, вялостью стиля, склеротической нечуткостью к новому в языке и в поэтике. За то, чтобы впервые переведенная книга не казалась анахронизмом ни по содержанию, ни по форме (одно от другого, впрочем, неотделимо).

Анахронизмы бывают простые, сразу заметные, легко объяснимые. Когда, например, читаешь зарубежные статьи Бунина 1935 — 1936 годов, то и дело встречаешь словечки и обороты, которых у нас в те же годы в подобном публицистическом контексте никто не употребил бы. Он пишет по поводу Нобелевской церемонии «*раздача* премий» (у нас сказали бы «вручение премии»), «пожалует его величество», «соблаговолите пройти». Он обращается к редактору словами «милостивый государь» и пишет «арестный дом», «пароход, перевозящий *путешественников* по Боденскому озеру» (у нас сказали бы «пассажиров»), «позвольте изложить на *столбцах* Вашей газеты» и т. д. и т. п. Немало устаревших выражений есть и в бунинских статьях этого же периода о Чехове, о Толстом. Но там они не так бросаются в глаза, а иногда кажутся единственно уместными: ведь о Толстом и о Чехове вспоминает их современник, их знакомый! В первом случае сразу чувствуется оторванность Бунина от стихии родного языка, который он так глубоко знал, во втором ее совершенно не ощущаешь.

Такого рода анахронизмы и в переводах устранить довольно легко. Гораздо труднее распознать несоответствие эпохе, когда оно заключено не в отдельном слове или обороте, а в применении к литературе двадцатого века поэтических норм девятнадцатого. Поэтика точно так же, как и «интересность», исторична.

Помню, как восхищался лет сорок назад один из моих любимейших учителей не помню уж чьим переводом заглавия книги Карлейля «Past and Present», вышедшей в первой половине прошлого века,— «Теперь и прежде». Он одинаково хвалил этот заголовок за естественность русского звучания и за ритмическую близость (всего один лишний слог в начале, и тот безударный) к английскому подлиннику, совершенно не смущаясь, в чем, наверно, был прав, ни

тем, что понятия «прошлое» и «настоящее» выражены по-русски иными, чем по-английски, частями речи, ни тем, что они даны в переводе в обратном порядке. Ритмическое соответствие и благозвучие остаются, конечно, важными достоинствами и перевода современной прозы, но слово в ней несет, как правило, такую большую, не снившуюся девятнадцатому веку метафорическую нагрузку, так разнообразно обыгрывается, так неожиданно «отзывается» в тексте снова и снова, что благозвучие, ритмическое соответствие и даже синтаксическая легкость далеко не всегда могут быть сегодня той целью, ради которой стоит менять порядок понятий, искать более привычные синонимы, то есть жертвовать определенным подтекстом, тем более что прозрачности, спокойной ровности слога обычно нет в помине и в оригинале, это теперь обычно не те добродетели, которыми он дорожит.

Примеры из статей Бунина легко поймет любой. Но легко ли переводчику, всю жизнь занимавшемуся, скажем, античной прозой, прозой эпохи Возрождения или западноевропейским классическим романом XIX века, стрешиться от критериев поэтического, целую систему которых он добыл собственным опытом, трудясь над текстами и внимая теоретикам переводческого искусства? Он сразу заметит лексический и синтаксический анахронизм в переводе, но всегда ли поймет, всегда ли сумеет передать на родном языке столь свойственное современной прозе умышленное нагромождение таких анахронизмов и его художественный смысл? Легко ли объяснить коллеге, предлагающему как-нибудь изменить заглавие «Человек без свойств», чтобы избежать неприятного сочетания «з — с», например, назвать роман Музиля в переводе «Ничем не примечательный человек» или «Человек без особых примет»,— легко ли объяснить ему, что так делать нельзя, что слово «свойство» непременно, несмотря ни на какие противопоказания, должно стоять в заголовке?

Впрочем, не только практика, но и, так сказать, теоретическое понимание отношения перевода к оригиналу, переводчика к автору пока не учитывает принципиального отличия нынешней ситуации от совсем недавней, когда мировая классика еще не была переведена и издана в таком, как это случилось, объеме, когда угроза жизни на земле была не так ощутима и настоящим событием для читателей мог еще стать более полный, чем до той поры, переводной Бальзак или Диккенс.

Вот опять цитаты из книги Корнея Чуковского: «...нередко бывает так, что переводчик только о том и заботится, как бы вернее, правдивее передать на родном языке произведения того или иного писателя, которого он даже (по-своему!) любит, но пропасть, лежащая между их эстетическими, политическими и моральными взглядами, фатально заставляет переводчика, вопреки его субъективным намерениям, далеко отступать от оригинального текста». В качестве примера Чуковский ссылается на переводчиков Аветика Исаакяна, подчинивших образность этого армянского поэта образности русской народнической лирики. А немного ниже: «Но разве история литературы не знает таких переводов, которые отличаются величайшей близостью к подлиннику, хотя духовный облик переводчика далеко не во всем совпадает с духовным обликом переводимого автора? Сколько есть на свете великих писателей, которые восхищают нас своей гениальностью, но бесконечно далеки и от нашей психологии, и от наших идей! Неужели мы оставим без перевода Ксенофонта, Фукидида, Петрарку, Апулея, Чосера, Боккаччо, Бена Джонсона лишь потому, что многими своими чертами их мировоззрение чуждо нам — и даже враждебно? Конечно, нет. Переводы эти вполне в нашей власти, но они несказанно трудны и требуют от переводчика не только таланта, не только чутья, но и отречения от собственных интеллектуальных и психических навыков».

Примеры Чуковского вполне годятся для подтверждения моей мысли. Отвлечемся от того, что Исаакян — лирик, а речь идет вообще-то только о переводе прозы, и от прихотливости открывающегося Ксенофонтом перечня гениальных писателей. Важно сейчас не это, а то, что Исаакяна переводили его современники, что, напротив, всех писателей, названных в списке «Ксенофонт — Бен Джонсон», отделяют от нас — «неужели *мы* (курсив мой.— *С. А.)* оставим без перевода?» — века и тысячелетия. Да, в трех случаях из семи именно тысячелетия! Пропасть, лежащая между их и нашими «эстетическими, политическими и моральными взглядами», вырыта временем, и она-то, эта сама собой разумеющаяся историческая пропасть, меняет все дело, задает переводчику совсем иную задачу, совсем иное отношение к переводимому автору, чем тогда, когда такой пропасти нет. В случае Ксенофонта или Бена Джонсона переводчик чувствует себя в такой же степени культуртрегером, литературоведом, историком, археологом, если угодно, он преследует эстетические цели, боюсь, не в большей мере, чем чисто просветительские, потому что художественные вкусы ушедших эпох могут удивить, умилить, обрадовать его современников, но никак не могут быть разделены ими до конца.

Ксенофонт и Бен Джонсон далеко, XIX век нам несравненно ближе, понятнее, еще живут на земле, дай им бог здоровья, люди, родившиеся в нем, наш современник способен еще прослезиться над Диккенсом или Бальзаком, нисколько не смущаясь различием между их и своими «эстетическими, политическими и моральными взглядами», и нынешнему переводчику такое различие тоже не мешает радостно трудиться над ними без «отречения от собственных интеллектуальных и психических навыков». Это уже классика, художественные сокровища, проверенные и выдержавшие проверку временем.

Но «эстетические, политические и моральные взгляды» художника — это некая идейная целостность, которую особенно отчетливо чувствуют его современники и которая в конечном счете определяет место писателя в противоборстве гуманного и антигуманного. И когда дело касается современника, это место часто стоит под вопросом, отбор временем еще не сделан, мне-

ния расходятся, отражая «эстетические, политические и моральные взгляды» читателей, их собственную позицию в упомянутом противоборстве. Как же может переводчик — а он высокопоставленный представитель начинающего свой отбор времени,— как может он, живя на грешной земле и дыша ее тревожным воздухом, «влюбиться», «восхититься», «загореться» или как там еще это назвать, видя в произведении иноязычного современника нечто идейно чуждое, а тем паче враждебное себе? Каким надо быть переводчику мазохистом или циничным дельцом, чтобы ради такого объекта «отречься от собственных интеллектуальных и психических навыков»?

Чуковский отмечал исторические изменения в уровне переводческой техники, рост, так сказать, цивилизованности перевода по сравнению с XIX веком, когда Каролина Павлова преспокойно превращала в шотландской балладе Джока в Яшу, а переводчик романа аббата Прево знаменитую Манон Леско — в Машу. «Утешительно знать,— писал Чуковский,— что ни «Маши», ни «Яши» *нынче* (курсив мой.— *С. А.*) уже не допустит в свой текст ни один переводчик».

Да, таких несообразностей никто уже в свой текст не допустит. Но сегодня более актуальным, чем техника, чем цивилизованность перевода (о переводческой беспомощности и бесталанности я сейчас не говорю, это может быть еще чьей-нибудь темой), мне кажется вопрос о культурности переводчика, о культурности не культуртрегерской, а социальной, не терпящей отстранения от эпохи, в которую живешь. Кстати сказать, при таком отстранении у него не может быть и настоящей поэтической культуры, которая всегда соответствует идущему, а не ушедшему веку.

Какие выводы можно сделать из всех этих соображений? Надо знать и не упускать из поля зрения современную литературу того языка, с которого переводишь. Прозаический перевод может сегодня стать событием для читателей только в том случае, если он открывает им какое-то новое, еще незнакомое, значительное по содержанию и форме произведение или нового большого писателя. Таким событием были, например, книги Хемингуэя, Гессе, Фолкнера, Кафки, Кобо Абэ, Гарсиа Маркеса... Все это авторы XX века, и путь русского читателя к ним лежал не через историю литературы, не через учебники, справочники и лекции (иные имена еще не успели там утвердиться), а через переводчиков, которые «загорались» и хотели поделиться с другими своим огнем. Так «зажечься» нельзя ни Апулеем, ни Беном Джонсоном, ни, да простят меня, даже Шекспиром или Гёте, потому что их — при всех недочетах прежних переводов — уже нельзя «открыть», как нельзя сегодня открыть Америку. Их не может сегодня «открыть» читателю даже новый *стихотворный* перевод, и, сопоставляя несоизмеримые вещи только по признаку новизны, осмелюсь сказать, что Шекспира и Гёте Пастернак не «открыл», а грузинских поэтов своего века — «открыл». Что же говорить о новом *прозаическом* переводе давно известного? Можно ли «зажечься» этой задачей так же, как первопроходческой, и так же «зажечь» читателя ее исполнением? Положа руку на сердце — нельзя.

Когда-то в редакциях довольно часто можно было услышать выражение «дамское рукоделье». Так в шутку, вовсе не бросая тень на женщин-переводчиц вообще, среди которых были и есть замечательные мастера, называли переводы, кишевшие словесными штампами, старомодными оборотами, избитыми синтаксическими конструкциями, переводы, от которых веяло — не неграмотностью, нет («дамское» как-никак), а скукой и ограниченностью. Теперь это выражение забылось, оно уже не бьет в цель, стилистическая пошлость и доморощенность перевода принимает теперь какой-то другой вид, не соответствующий образу вяжущей или корпящей над пяльцами дамы. Для характеристики сегодняшней пошлости стиля нужна какая-то другая, боюсь, более грубая метафора.

Но поскольку главная черта «дамского рукоделья» — это оторванность от времени, ограниченность, способность идти только уже проторенными, утоптанными тропами, это выражение часто приходит мне на ум, когда я вижу сделанный в наши дни перевод книги, далекой от наших дней, поверхностной, чисто развлекательной, мелкой. Это все равно «дамское рукоделье», даже если подлинник тоже родился в наши дни и перевод, как таковой, вполне пристоен. Литературный критик может не быть переводчиком, но ущербность переводчика, который не несет в себе неординарного критического потенциала, ощущаешь сегодня с особенной остротой.

В мадридском музее Прадо картины Веласкеса и Гойи занимают целые залы. Это великие художники, в произведениях которых современному зрителю открываются самостоятельные миры, соприкасающиеся с его, зрителя, миром, с веком нынешним тысячами самых разнообразных сторон. Но картина, рожденная нашей эпохой, являющая ее трагический лик и взывающая именно к сегодняшней человечности, «Гернику» Пикассо, занимает одна целый зал, даже не зал, а как бы отдельный дом, коридоры которого увешаны эскизами к ней. Конечно, Пикассо — великий художник, такие гиганты, как он, как Веласкес, как Гойя, рождаются, может быть, раз в сто лет. Но речь идет сейчас не о ранге дарований и не о посмертной почести, оказанной Пикассо его избавившейся от фашистского гнета родиной. Меня взволновали и восхитили особое, чуткое внимание к современному по содержанию и по форме искусству, интерес и уважение к нему, широта культуры, социальная отзывчивость, сказавшиеся в этой удивительной по смелости экспозиции.

Больше критического внимания, больше интереса к новому, меньше пассивного исполнительства, меньше готовности довольствоваться старым, канонизированным временем материалом или материалом хоть и новым, но второсортным, опусами, висящими над Летой на тонкой ниточке конъюнктуры,— вот чего, по-моему, надо сегодня пожелать нашему переводческому делу.

◆

ШКОЛА В КРИЗИСЕ: НУЖЕН ЕЩЕ ОДИН СПУТНИК?

В середине 80-х годов виднейшие социологи, педагоги, психологи, философы и публицисты Соединенных Штатов во весь голос говорят, если не сказать кричат, о кризисе системы образования в США — будь то начального, среднего или высшего. До какой степени оправдана их тревога?

Заметим, что среди американских специалистов по образованию имеются люди, постоянно твердящие о его «кризисе». Как правило, за этим скрываются те или иные цеховые, «клановые» и даже узколичные цели: получение дополнительных субсидий, пропаганда того или иного метода обучения и так далее. Нелишне также напомнить, что в США нет какой-либо единой системы образования: оно распадается на множество «массовых» (федеральных, штатных, коммунальных) и частных школ, не связанных сколько-нибудь обязательными для всех программами и методами. При этом сеть частных школ в последние десятилетия быстро расширяется и охватывает подготовку детей от дошкольного до студенческого возраста; там положение от кризиса далеко, свидетельством чему — выпуск большого числа прекрасно подготовленных абитуриентов. Да и «массовое» американское образование в зависимости от местных условий (штатного законодательства, выделяемых ассигнований и т. д.) весьма различается по уровню преподавания, что не позволяет оценивать его категорически однозначно.

И все-таки симптомы кризиса, испытываемого «педагогическим сообществом» самой развитой в мире капиталистической страны, налицо. Прислушаемся к высказываниям ряда видных ее представителей, выражающих достаточно широкий спектр позиций, оценок и мнений.

На одном полюсе находятся горячие сторонники срочных реформ: отчаявшись как-либо повлиять на школьную рутину, самодовольный педагогический истеблишмент и жесткую бюджетную политику Вашингтона, реформисты мечтают о появлении некоего непредсказуемого фактора, способного резко драматизировать ситуацию в глазах общественности и правительства.

«Что нам нужно — так это еще один спутник!»

В этих приводимых американской газетой «Интернэшнл геральд трибюн» словах Эрнеста Л. Бойера, в прошлом главы Комиссии по делам народного просвещения, звучит не только горькая ирония, но и ностальгия по тем временам, когда первый искусственный спутник Земли, запущенный СССР на орбиту 4 октября 1957 года, уязвил национальное самолюбие американцев и, обнаружив перед всем миром их отставание в освоении космоса, послужил катализатором самой стремительной и самой крупной в истории США школьной реформы. Цель ее была, правда, сугубо прикладной: в кратчайший срок резко повысить объем и качество обучения физико-математическим дисциплинам.

Проведенная весьма энергично, реформа эта за какие-нибудь десять лет принесла очевидные плоды — в пример обычно приводят полет космического корабля «Аполлон» с высадкой астронавтов на Луне и благополучным возвращением их на Землю.

Однако в самой американской школе период короткого подъема был к тому времени уже позади. Ажиотаж, вызванный стремлением «догнать русских в космосе», давно улегся; затянувшаяся война в Индокитае пожирала все большую долю государственного бюджета; престиж учительской профессии, не поддерживаемый более ни прессой, ни ростом реальной заработной платы, шел на убыль; а студенческие волнения, движение хиппи, лозунги контркультуры и внутренняя неудовлетворенность молодежи, отвергавшей идеалы и ценности технократического общества и свойственный ему дух сциентизма, подрывали авторитет науки, рационального зна-

ния и всякого обучения вообще. Как показывает статистика, число школьников, пожелавших пройти в старших классах курс естественных и точных наук, сократилось с 60% в 1960 году до 48% в 1977-м, и только половина из них, оканчивая школу, получала по этим предметам оценку выше удовлетворительной. На протяжении же 70-х годов по ним наблюдался неуклонный спад успеваемости, особенно среди старшеклассников, что частично объяснялось нехваткой квалифицированных преподавателей, предпочитавших более высокооплачиваемую и престижную работу в исследовательских институтах и промышленности. В целом же большинство наблюдателей связывает это с общим снижением уровня знаний и в гуманитарных науках.

Тот факт, что с начала 80-х годов все большее число студентов американских вузов стремится изучать «практически полезные» (но отнюдь не фундаментальные) дисциплины вроде компьютерного программирования, финансового дела и управления деловыми предприятиями, еще не свидетельствует о реабилитации знания и говорит скорее о потребительском, чем творческом к нему отношении.

Согласно отчету Комиссии по совершенствованию системы образования, опубликованному в 1981 году в форме «Открытого письма к американцам»,

«...устои образования в нашем обществе размываются ныне накатывающейся на нас волной посредственности, которая угрожает будущему нашей страны и народа».

Отчет и основанные на нем предложения вызвали множество разноречивых откликов в специальной и широкой печати и породили горячую дискуссию, не утихающую и по сей день. Хотя общие ссылки на понижение успеваемости, снижение числа старшеклассников, изучающих фундаментальные науки, и на узкопрактицистскую ориентацию выпускников сами по себе о кризисе образования еще не свидетельствуют, они дают повод для критического пересмотра и переоценки опыта недавнего прошлого американской школы. Так причины «торжества посредственности» все чаще усматриваются ныне в чересчур поспешной и легкомысленной замене традиционного академического подхода к обучению множеством непроверенных «новаторских» методов, вошедших в моду с середины 60-х годов. По словам Дианы Рэвич, автора книги «Тяжелый крестовый поход: образование в Америке, 1945—1980»,

«...по всей стране школы экспериментировали с новыми курсами и новыми методами, дабы идти наравне с передовыми веяниями. Сообщалось о переходе все большего числа школ на непрерывно обновляющиеся программы... Общим для них было: привязка занятий к основным сферам человеческой деятельности вместо традиционных школьных предметов, изучаемых лишь постольку, поскольку они могли принести пользу в повседневных ситуациях; упор на функциональные ценности, а не на «книжное» или абстрактное знание и т. д.»

Немалую роль сыграл также взрыв экстремистских настроений, охвативших широкие круги студенчества. Волнения среди университетской молодежи, восстающей против тирании «системы», быстро отозвались эхом и в средней школе. Как вспоминает на страницах журнала «Дис уорлд» президент Американской федерации учителей Альберт Шенкер (сам бывший учитель),

«...десятилетние подростки, следуя примеру своих старших братьев и сестер в колледжах, торжественно заявляли, что они тоже имеют право сами определять свою академическую судьбу. Они требовали — и добивались — радикальных перемен в общей политике образования. Стандартный учебный план с фиксированным числом обязательных предметов был отменен, и более «мягкие» планы с целым рядом свободно выбираемых факультативов стали обычным явлением во множестве школ. Ученики сами предлагали содержание курсов типа «Как совершить восхождение по Древу Познания», которые все чаще вытесняли из школьной программы английский язык, математику, историю и другие науки. Требования на выпускных экзаменах снижались, высокие академические стандарты отбрасывались, домашние задания стали чем-то вроде редких видов, находящихся под угрозой исчезновения,— и успеваемость падала повсюду и неуклонно. В итоге воздействие студенческой революции привело школу в полное смятение и подорвало общественную и государственную поддержку всей системы начального и среднего образования».

Это, конечно, крайне наивная и явно несостоятельная попытка свалить вину за сложившуюся ситуацию на разрушительное явление контркультуры и отбившуюся от рук молодежь. Джей Д. Скрибнер, декан педагогического колледжа университета Темпл в Филадельфии, начинает свою статью в бюллетене «Скул бизнес афферс» более самокритичным признанием:

«Переживаемый нами кризис образования проистекает из провала наших усилий обеспечить каждый класс компетентными, хорошо подготовленными, проникнутыми чувством социального долга и достойно оплачиваемыми учителями, неспособности гарантировать каждому ребенку и каждому юноше возможность учиться с раннего детства до трудоспособного возраста независимо от расы, места проживания или экономического статуса, неспособности предоставить каждому взрослому возможность обучаться на протяжении всей жизни».

Скрибнер уверен, что провалов этих удалось бы избежать при наличии стабильной финансовой поддержки со стороны местных общин и правительства. Однако при более детальном рассмотрении проблема выглядит не столь просто. Становится очевидным, что радикализм минувшего десятилетия и связанные с ним эксцессы «либерализации» обучения породили вполне естественную реакцию со стороны «фундаменталистов» и что пропагандируемое ими движение «назад к основам» пользуется растущей симпатией широкой публики и

приобретает все больше сторонников среди администраторов и преподавателей как средней, так и высшей школы. Одновременно утрачивает популярность принцип эгалитарности, то есть равных возможностей для всех, до недавних пор исповедовавшийся — пусть часто на словах и из конъюнктурных соображений — большинством учебных заведений США. Обзор сообщений по этой теме, собранных в специальном выпуске «Интернэшнл геральд трибюн», выявляет тенденцию ужесточения требований во время приемных экзаменов в ряде американских университетов, что, разумеется, не может не привести (и уже приводит) к далеко идущим последствиям и за их пределами. Наряду с этим вступают в игру и демографические факторы.

«Из-за спада рождаемости число восемнадцатилетних юношей и девушек, желающих получить высшее образование, упадет к концу 80-х на 25%,— указывает Эдвард Б. Фиск.— Исходя из того, что вытекающие отсюда трудности могут быть преодолены лишь высоким уровнем подготовки будущих специалистов, университеты и колледжи стремятся заблаговременно сокращать общее количество учащихся в своих стенах, уделять усиленное внимание совершенствованию преподавания и предоставлять основную часть стипендий не наиболее нуждающимся, но тем, кто добивается максимальных академических успехов. Поскольку степень взаимозависимости между показателями умственного развития и социально-экономическим статусом, как правило, остается высокой, неудивительно, что подавляющее большинство таких «достойных» и «ненуждающихся» стипендиатов составляют студенты из среднего или даже высшего среднего класса».

С описанной перспективой не хотят мириться те, кто на протяжении долгих лет вели неустанную битву за преодоление классовых, имущественных и расовых барьеров в американском образовании. Добившись на этом пути определенных завоеваний они продолжают разоблачать факты той же самой сегрегации, проводимой уже под маской чисто «объективного» отбора наиболее способных.

Опираясь на данные проведенного под его руководством обследования большого количества начальных и средних школ США, Джон Гудлэд констатирует: распространенное психологическое тестирование и подразделение учеников на группы разного уровня развития умственных способностей и продвинутости в английском языке, математике, обществоведении и естественных науках с очевидностью ведут к неодинаковому распределению и усвоению знаний. Ущерб при этом неизменно терпят бедные и занимающие низкий социальный статус.

«Мы установили отчетливые различия в качестве преподавания в группах разных уровней с неизменным креном в пользу высших. Педагоги, ведущие классы высшего уровня, сообщали, что дают ученикам задачи, требующие большей познавательной активности... Преподаватели использовали более разнообразные способы обучения, излагали материал более ярко и проявляли больший энтузиазм в работе».

Гудлэд оспаривает широко распространенное мнение о том, что как наименее, так и наиболее способные и развитые ученики проявляют худшую успеваемость при совместном обучении. По его наблюдениям, все обстоит как раз наоборот.

«Нет убедительных доказательств того, что учащиеся с высоким уровнем развития снижают успеваемость при переводе в смешанные классы. Зато чувство поражения, невезения и собственной неполноценности, характеризующее недостаточно развитых учеников в группах низшего уровня, начинает возникать у них уже с первых дней пребывания в школе. С каждым месяцем таким детям становится все труднее дотянуться до вышележащего уровня. Дети из бедных семей составляют непропорционально большее число в низших группах, организуемых для отстающих по чтению и математике».

Кризис доступа к знаниям вызывает растущую тревогу и у тех прагматиков, которых заботит проблема подготовки квалифицированных кадров, необходимых стране для общего технологического перевооружения. Оно становится ныне вопросом жизни и смерти как в глобально-стратегическом плане, так и в конкурентной борьбе США с такими могучими соперниками, как Япония, ФРГ и страны Европейского экономического сообщества. Известно, например, что «микропроцессорная революция» совершается не одной лишь элитой экспертов-программистов и руководителей высшего ранга. Компьютеризация финансов, транспорта, промышленности, торговли и повседневного быта уже очень скоро потребует умения эффективно обращаться с разнообразными счетно-решающими и электронно-информационными приборами буквально от каждого работника в любой области управления, производства, распределения и услуг; в конечном счете речь идет о новой культуре взаимодействия человека с окружающей его техносредой, находящейся в процессе непрерывного и всеускоряющегося изменения. Готова ли американская школа справиться с задачей формирования такой культуры у своих учеников?

В статье «Школы могут помочь борьбе с технологической безграмотностью» профессор Ричард Херш из Орегонского университета призывает в связи с этим пересмотреть сложившиеся взгляды на цели и задачи обучения вообще и привести их в соответствие с новыми явлениями в сфере экономики

«Школы, подобно мостам и дорогам, составляют часть экономической инфраструктуры Соединенных Штатов. Но они рушатся под непомерным весом наших разнообразных ожиданий, конфликтующих требований и плохого планирования. Упадок их особенно тревожен прежде всего потому, что наша экономическая и социальная система становится все более зависимой от высокоразвитой технологии, с которой могут справляться лишь технологически грамотные выпускники первоклассных школ... Отсюда растущая нужда в системе образования, способной производить и поддер-

живать все большее количество выпускников, не только хорошо осведомленных в своем деле, но и предрасположенных к постоянному обучению».

Как же добиться и того и другого?

Прагматики, вполне обоснованно подчеркивающие первоочередность соответствующего финансово-материального обеспечения сети публичных школ, не слишком вникают в столь же важные, однако неизмеримо более сложные и почти не исследованные вопросы педагогической психологии, касающиеся как процесса усвоения знаний, так и мотивации самого стремления их приобретать. Намечающийся возврат к традиционно-консервативному духу и строгостям старой школы, заметный, в частности, в рекомендациях уже упомянутого отчета Комиссии по совершенствованию системы образования, сам по себе вряд ли принесет здесь желаемый эффект.

Доктор Бенджамин Спок, всемирно известный врач-педиатр, детский психолог, педагог и общественный деятель, автор книги «Ребенок и уход за ним», переиздающейся десятками миллионов экземпляров вот уже почти сорок лет подряд, призывает не забывать об идеях Джона Дьюи, пионера американской школы «прогрессивного обучения», незаслуженно дискредитированной издержками «либерализации» в 60-х годах.

Свою статью, опубликованную в журнале «Атлантик» в порядке участия в текущей дискуссии, Спок начинает с обсуждения проблем мотивации:

«Существуют две противоречивые точки зрения на учебно-воспитательный процесс. Первая, так называемая «авторитарная», проповедующая принуждение, основана на утверждении, что все дети по своей природе ленивы и безответственны. Только угроза наказания может заставить их добросовестно относиться к учебе. Сторонники второго, «прогрессивного», или «демократического», подхода считают, что дети, воспитывающиеся в атмосфере доверия и уважения, хотят во всем следовать примеру своих родителей; их отличает целеустремленность, большая тяга к знаниям, сознательное и ответственное отношение к делу».

Спок вовсе не агитирует за полное «раскрепощение» ученика, вольного делать все, что ему заблагорассудится, в расчете на спонтанную «самореализацию» его личности. Напротив, именно при «демократическом» подходе детям особенно нужен опытный и авторитетный наставник, который исподволь руководит деятельностью ребенка, давая пищу его любознательности и поисковым импульсам.

«Дети рождаются любопытными, и им всегда хочется удовлетворить свое любопытство. Отсутствие последнего говорит о том, что какой-то фактор в жизни ребенка оказал отрицательное влияние на его психику...

Комиссия рекомендует увеличить объем домашних заданий, хотя, как оказалось, выполнение традиционных домашних заданий, скучных и однообразных, не ведет к овладению прочными знаниями. Между тем есть и другие виды домашних заданий, резко отличающихся от традиционного. Такова работа в библиотеке или научная внеклассная работа, тема которой выбирается и разрабатывается самим учащимся. Приобщение к работе с книгой и другими источниками помогает ученику формировать самостоятельность мышления, воспитывает уверенность в себе и становится частью его натуры. Подобный метод обучения способствует развитию этих качеств и во время занятий в классе».

Разумеется, Спок не сообщает здесь ничего оригинального, он просто апеллирует к здравому смыслу, нередко утрачиваемому как в порыве увлечения новомодными «передовыми» методами, так и в слепом отстаивании обветшавших и уже изживших себя старых форм.

«В некоторых школах и в особенности в университетах пренебрежительно относятся к таким практическим предметам, как вождение автомобиля, машинопись, электроника и человеческие взаимоотношения в коллективе. Сторонники такого подхода считают, что практические предметы лишь «загрязняют» академическую атмосферу; утверждают, что самой ценной частью человеческого тела служит голова и потому необходимо развивать только умственные способности. Вероятно, они забывают о том, что высокие темпы развития современной техники способствуют постепенному исчезновению граней между умственным и физическим трудом. К сожалению, гуманитарные отделения, включающие филологический и исторический факультеты, а также факультеты экономики, социологии, психологии и антропологии, имевшие некогда преобладающее влияние в университетах, начали терять свою популярность».

Спок имеет здесь в виду уже упоминавшуюся нами и все более характерную для американского студенчества 80-х годов тенденцию воспринимать образование прежде всего как гарантию получения хорошей работы, достижения успехов в сфере бизнеса, быстрого продвижения по должностной лестнице и т. д. Такого рода утилитаристскому подходу к знанию, как правило, сопутствует такое же «инструментальное» отношение к окружающим, при котором все другие люди рассматриваются не как суверенные личности, но лишь как орудие или средство достижения той или иной цели. Практика показывает, что этот путь неизбежно заканчивается тупиком. Любая совместная деятельность при подобных обстоятельствах становится все менее продуктивной; между ее участниками, не стремящимися ко взаимопомощи и не владеющими способами разрядки естественно возрастающей напряженности, назревают все более тяжелые конфликты, нередко переходящие в открытые столкновения. Избежать этого, по мнению Спока, можно с помощью ориентации учащихся на ценности и опыт не раздробленной, но целостной культуры, выразителем которой служит литература, живопись, музыка и другие искусства.

«Студенты предпочитают курсы технических и прикладных наук и делового управления, необходимые для их будущих

профессий. Однако по мере бурного наступления научно-технической революции, охватывающей все сферы современной жизни, мир человека становится все более специализированным и ограниченным, поэтому потребность в преподавании гуманитарных предметов неизбежно возрастает. Будущие технократы не должны забывать, что они, как и все люди, созданы из плоти и крови и им необходимо уметь уживаться с себе подобными».

Гуманитарные предметы, по Споку, признаны не столько «украшать» жизнь, сколько интенсифицировать буквально каждое из ее проявлений, независимо от того, в какой области специализируется человек и какую должность он занимает.

«Свежая струя в общеобразовательной и профессиональной подготовке помогает рабочему видеть свои ошибки, повышать уровень квалификации, изобретать новые методы производства, лучше понимать психологию людей, с которыми ему приходится вступать в производственные и деловые контакты, выявлять в них самое лучшее. Не следует поэтому проводить резкое разграничение между техническими, гуманитарными и точными науками.. Необходимо стимулировать интерес учащихся, твердо решивших работать с компьютерами или заниматься дизайном одежды, к изучению гуманитарных и точных наук, тесно связанных с их будущей профессией... По окончании школы учащиеся должны овладеть определенным уровнем знаний по математике, физике химии, физиологии, психологии и эстетике иметь представление о прошлом, благодаря изучению истории и литературы уметь выражать свои мысли устно и письменно Следует также соединить общее образование с художественным, вводя в учебную программу музыку, живопись, скульптуру, керамику и приобщая учащихся к драматическому искусству, дабы они могли ощутить в себе волнение творческого процесса».

Что можно сказать по поводу этих предложений? Рекомендации Спока, не будучи подчинены какой-либо одной четко определенной доктрине и отражая моральную позицию, чаяния и установки либерально-демократического крыла американской интеллигенции, суммируют бесспорно положительные элементы из опыта передовой педагогики XX века. Отрадно и то, что подчас эти предложения удивительно тесно перекликаются с идеями, принципами и методами, впервые выдвинутыми и подробно разработанными в теоретических исследованиях и конкретной практике таких выдающихся советских психологов, философов и педагогов, как Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Э. В. Ильенков, Д. Б. Эльконин и В. В. Давыдов, чьи труды давно уже получили всемирное признание и чрезвычайно пристально изучаются ныне в Соединенных Штатах. Однако совсем иное дело — реальное их воплощение в тех условиях, о которых столь красноречиво повествуют участники кратко очерченной нами, но далеко еще не завершенной дискуссии. Впрочем, к каким бы теоретически правильным выводам она ни привела, решающее слово останется за теми, кто распоряжается финансовыми и другими ресурсами, без которых любая самая совершенная и многообещающая программа школьных реформ останется лишь благим пожеланием. Цитированный ранее Джей Д. Скрибнер, приводя то место из «Открытого письма» комиссии, где наступление «волны посредственности» в американском образовании сравнивается с «актом войны», язвительно спрашивает:

«Хотел бы я знать, понимают ли это президент Рейган и Пентагон, отпускающие еще больше денег на ракеты МХ и говорящие о «триллионных» военных бюджетах?»

Соединенные Штаты, считает Скрибнер, действительно подвергаются страшной опасности и рискуют очень многим, не будучи готовы должным образом отразить угрожающую им «волну посредственности». Поэтому он заключает свою статью призывом:

«Давайте сделаем образование частью национального бюджета на оборону страны...»

Будет ли этот призыв услышан и найдутся ли в Соединенных Штатах способные и желающие ему последовать — покажет время.

Л. Б. ПЕРЕВЕРЗЕВ

◆

Публицистика

БОРИС ПИЛЯЦКИН

ЛЕГЕНДАРНАЯ ПТИЦА ЗИМБАБВЕ

Приглашение к путешествию

Древнегреческому историку Плинию Старшему принадлежат слова: «Из Африки всегда приходит что-нибудь новое». Это «что-нибудь» обернулось в наше время очистительным ураганом освобождения почти всего африканского континента от колониальных оков.

Среди новых молодых государств, взявших свою судьбу в собственные руки,— Республика Зимбабве, расположенная на юге Африки. Она граничит с Замбией, Мозамбиком, Ботсваной и ЮАР. Площадь Зимбабве — 360,6 тысячи квадратных километров, население — 7,8 миллиона человек (на 1983 год).

Семьдесят семь процентов населения республики принадлежат к народу шона, в который входят этнические группы каранга, зезуру, маньика, корекоре, розви и ндау. Девятнадцать процентов общей численности населения — это народ ндебеле и родственная ему этническая группа каланга. Остальные четыре процента — этнические группы тонга, венда, шангаан.

Страна, завоеванная англичанами в 1890 году, с 1923 года в течение тридцати лет имела статус британской самоуправляющейся колонии Южная Родезия. В 1953—1963 годах вместе с Северной Родезией и Ньясалендом была включена в сколоченную Лондоном Федерацию Родезии и Ньясаленда. Под ударами африканского национально-освободительного движения федерация распалась. В 1964 году Северная Родезия стала Замбией, Ньясаленд — Малави. Что касается Южной Родезии, то в апреле того же года крайне правая партия расистского толка — Родезийский фронт — поставила там во главе страны Яна Смита. В ноябре 1965 года он провозгласил «независимость» от Англии, а затем объявил Родезию республикой.

Жестокий гнет, расовое неравенство, полицейские репрессии не оставили миллионам африканцев иного выбора, кроме вооруженной борьбы. В конце апреля 1966 года группа из семи патриотов была окружена около города Чинхойи (тогда Синоя) численно превосходящими их во много раз и хорошо вооруженными родезийскими солдатами и полицейскими. Все семеро героев погибли в неравном бою. Но из перьой искры разгорелось пламя вооруженной национально-освободительной борьбы. С 1972 года партизанские действия приняли систематический характер антиколониальной войны, которая охватила всю страну.

С целью объединения усилий в борьбе за независимость в 1976 году был создан Патриотический фронт, в состав которого вошли Африканский национальный союз Зимбабве (ЗАНУ) и Союз африканского народа Зимбабве (ЗАПУ). Чтобы оттянуть развязку и сбить накал освободительного движения, Смит и его западные опекуны прибегли в 1979 году к политическому трюку «преобразования» Родезии в Зимбабве — Родезию, у руля которой наряду со Смитом были поставлены прислужники колонизаторов. Однако марионеточное правительство просуществовало недолго.

В соответствии с решением лондонской конференции об урегулировании родезийской проблемы (сентябрь—декабрь 1979 года) состоялись первые за всю историю Родезии свободные парламентские выборы. Победу на них одержала партия ЗАНУ во главе с Робертом Мугабе, выступившая на выборах самостоятельно под названием Африканский национальный союз Зимбабве — Патриотический фронт (ЗАНУ-ПФ).

ПИЛЯЦКИН БОРИС АРНОЛЬДОВИЧ (род. в 1930 г.)

Советский журналист-международник. Автор книг: «Оборотни джунглей» (1966), «Африка... Африка? Африка!» (1976), «Под небом Африки» (1982) и др. Лауреат премии Союза журналистов СССР.

18 апреля 1980 года последняя британская колония на африканском континенте Южная Родезия была провозглашена Республикой Зимбабве.

Эти краткие сведения помогут лучше ориентироваться во время путешествия по стране легендарной птицы Зимбабве, в которое приглашает читателя автор.

ДЕНЬ ПОСЛЕДНИЙ, ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

На одной из центральных улиц мозамбикской столицы Мапуту, прочертившей весь город — от окраинных тростниковых лачуг до бетонного модерна делового центра, спряталось за зеленью деревьев двухэтажное здание, построенное в традиционном колониальном стиле. В этом здании, где разместилось посольство Великобритании в Мозамбике, прежде находилось британское консульство.

Декабрьским вечером 1899 года сюда постучал, озираясь по сторонам, розовощекий молодой человек. Его долго не хотели впускать, но потом, разобравшись, что к чему, укрыли в консульстве на несколько часов. Той же ночью с соблюдением величайшей конспирации таинственного посетителя переправили из Лоренсу-Маркиша — так тогда именовался город Мапуту — пароходом в Дурбан.

Дело в том, что молодой человек был журналистом, освещавшим перипетии англо-бурской войны, которая шла между Англией и потомками голландских поселенцев. Во время одной из стычек он оказался в плену у буров, но бежал и на товарном поезде перебрался через границу в португальское владение Мозамбик.

Об этом эпизоде напоминает серая мраморная доска, прикрепленная к боковой стене дома. А фамилия репортера — Уинстон Черчилль — связана не только с англо-бурской войной, но и с историей Британской колониальной империи.

«Я не намерен председательствовать при ее ликвидации»,— заметил однажды Черчилль. Полное крушение империи произошло уже после его смерти. Но дом на шумной улице, названной после провозглашения независимости Мозамбика улицей Ленина, эту империю пережил.

Именно туда апрельским днем 1980 года я пришел за визой в Южную Родезию — последнюю британскую колонию на африканском континенте, которой предстояло стать Республикой Зимбабве.

Пассажир без визы

Шли последние дни государства, почти девять десятилетий носившего ненавистное африканцам имя Родса. Всеобщие выборы, состоявшиеся в феврале 1980 года в соответствии с решением конференции в Ланкастер-хаус в Лондоне, принесли победу партии ЗАНУ-ПФ. Английский губернатор лорд Соумс уже упаковывал чемоданы, а старший сержант британского королевского полка Джон О'Доннел репетировал церемонию спуска «Юнион Джека»— британского флага.

Но, уходя, англичане вовсе не собирались говорить «Добро пожаловать!» всем желающим попасть на торжества по случаю рождения нового государства Африки.

— Советским журналистам нечего делать в Родезии[1],— упирая на последнее слово, выговаривал мне долговязый посольский чиновник, и не думавший скрывать раздражение и злобу.

— Но ведь фактически вы уже не хозяева в Зимбабве,— парировал я,— и процедура выдачи визы английским посольством — формальность, которая потеряет юридическую силу меньше чем через неделю.

Дипломат посмотрел на меня рыбьими глазами, и вдруг его прорвало:

— О, если бы Он был жив сегодня,— и указательный палец протянулся из окна кабинета в сторону мемориальной доски,— этого никогда не произошло бы.

Поднявшись из-за стола и щелкнув каблуками, джентльмен в цивильном костюме, но с явной военной выправкой дал понять, что аудиенция корреспонденту советской газеты «Известия» закончена.

Что было делать?

За годы работы в Мозамбике я регулярно передавал в редакцию информационные заметки о смелых действиях партизан Патриотического фронта, видел лагеря зимбабвийских беженцев, сожженные напалмом во время воздушных налетов карателей, не раз беседовал с теми, кто осуществлял политическое и военное руководство освободительной борьбой, и с рядовыми членами партии в увешанных плакатами, прокуренных, тесных и всегда людных комнатах представительства ЗАНУ на площади Мозамбикских женщин в Мапуту.

И вот теперь из-за отказа упрямого чиновника с колониальным мышлением и имперскими замашками остаться — пусть и не по своей воле — сторонним наблюдателем исторического для Зимбабве и всей Африки события?!

Ни за что! Тогда же у массивной железной ограды английского посольства пришло решение — преодолеть визовый заслон и наперекор запрету отправиться в Солсбери, где уже началась подготовка к празднику провозглашения независимости.

Никогда не забуду облачного нежаркого дня 13 апреля, когда самолет мозамбикской национальной авиакомпании ЛАМ, только начавшей осваивать новую воздушную трассу, после полуторачасового полета опустился на бетонное поле и из окна иллюминатора я увидел на фронтоне аэровокзала крупные буквы, слагавшиеся в слово «Солсбери».

[1] Это было общеупотребительное название страны, хотя в официальных документах она именовалась «Южная Родезия».

Чувство захлестнувшего меня волнения обострилось желанием ничего не пропустить, полнее впитать даже самые мелкие детали, сохранить в памяти эти первые минуты встречи со страной, еще не остывшей от бушевавшего несколько лет военного пожара, страной, которая была так близко и так далеко от Мозамбика и которую сейчас отделяли от прибывших пассажиров лишь несколько шагов.

Протягивая паспорт иммиграционному служащему в безукоризненно белой рубашке с черными погончиками, в шортах и неизменных гетрах, я постарался по возможности придать лицу беззаботное выражение и как ни в чем не бывало справился о погоде.

— Погода у нас дождливая,— сухо ответил чиновник.— А вот в вашем паспорте я что-то не вижу въездной визы.

— Неужели?— бодро выдохнул я, одновременно протягивая толстяку пачку глянцевых открыток с изображением подмосковных пейзажей.— Ах, да, разве вы не получили телекс из Мапуту о том, что корреспонденту «Известий» виза должна быть выдана в аэропорту?

Иммиграционный служащий, простоявший, видимо, не один год у стойки и поднаторевший в такого рода вещах, конечно же, раскусил нехитрый маневр. Но вместо того чтобы немедля дать мне от ворот поворот, он на мгновение задумался и неожиданно заискивающе спросил:

— Как вы думаете, сэр, это надолго?

— Навсегда!— с искренней убежденностью ответил я.

— Да,— вздохнул чиновник,— начинаются новые времена...

В его словах сквозил откровенный страх.

Мечи на орала

Сопровождаемый эскортом конных гвардейцев и мотоциклистов, медленно движется пузатый «роллс-ройс», в котором нет никого, кроме шофера. В этом лимузине должен проследовать на стадион «Руфаро» представитель английской короны принц Чарльз, чтобы объявить об окончании английского господства. В преддверии торжественного события и устроена репетиция церемониального проезда...

Из здания с башенными часами — Милтон-билдинг, где долгие годы находился офис Яна Смита и несколько месяцев восседал в премьерском кресле епископ Абель Музорева, выносят и грузят в автомашины какие-то ящики — имущество так называемого центрального оперативного командования, руководившего борьбой с партизанами.

Около подъездов гостиниц, универсальных магазинов, ресторанов специальные охранники проверяют у входящих содержимое свертков, дамских сумочек, портфелей. Настенные плакаты, расклеенные повсюду, взывают: «Если вы увидите подозрительный предмет, немедленно обращайтесь к ближайшему полицейскому. Это может быть замаскированное взрывное устройство».

Сразу же за столичной окраиной большой щит на обочине шоссейной дороги предупреждает: «После 14 часов 30 минут проезд на автомашинах не рекомендуется». Неподалеку другой указатель: «Пункт сбора». В таких пунктах формировались и отправлялись с вооруженным конвоем автокараваны, так как из-за военных действий вся сельская местность по существу находилась на положении «фронтовой зоны».

Я видел последний такой конвой. Он сопровождал колонну машин из Солсбери (ныне Хараре) в город Форт-Виктория (ныне Масвинго) на юге страны.

Впереди колонны двигалось какое-то чудище грязно-зеленого цвета, ощерившееся выпуклыми бронированными боками. Потом я узнал, что это и есть «гиена»— броневик, производившийся родезийской военной промышленностью с целью защиты от партизанских мин. Для транспортировки солдат служили так называемые крокодилы. Существовали и другие подобные конструкции — «леопард», «носорог», «куду».

Представители африканской фауны и не подозревают, что когда-то фигурировали в оперативных сводках военного командования.

Длившаяся семь долгих лет война ввела в повседневный лексикон целый словарь жаргонных словечек. Наиболее употребительными были два: «бегуны» и «террс»— сокращенное от «террористы». «Бегунами» называли тех, кто эмигрировал из страны, не веря клятвенным уверениям Яна Смита, что «Родезия никогда не капитулирует». Что касается другого жаргонного словечка, «террс», то так родезийская пропаганда именовала бойцов ЗАНУ и ЗАПУ.

В первый же день приезда в Солсбери я отправился в один из центральных кинотеатров, где крутили старый американский боевик. Никакой памяти о себе он не оставил. Но вот документальную ленту, которую показали «на закуску», запомнил хорошо.

Называлась она «Тсанга — лагерь для выздоравливающих». Речь шла об офицерах и солдатах родезийской армии, поправлявшихся после ранений, полученных в боях с партизанами. В документальную хронику были вмонтированы и игровые эпизоды, столь же беспомощные в художественном отношении, сколь и лживые по существу: в них изображались «подвиги» родезийских коммандос и «зверства» так называемых террс.

А выйдя на улицу, зрители могли видеть, как эти самые «террористы» мирно и весело гуляют по городу, который готовится к торжествам по случаю провозглашения независимости. Повсюду появились изображения красного задорного петуха джонгве — эмблемы партии ЗАНУ-ПФ, ленты и цветы, арки, обрамленные гирляндами сверкающих лампочек. Самая главная арка была воздвигнута на полпути между аэропортом и городом. Надпись на ней — «Добро пожаловать в Солсбери, солнечную столицу Зимбабве!»— полностью

соответствовала духу гостеприимства и доброжелательности, который ощущался и в деловых контактах, и во время мимолетных встреч с незнакомыми людьми.

Записи, оставшиеся в блокноте, могут дать представление о настроениях тех, кто еще недавно относился к привилегированному меньшинству (белая община — весьма пестрая в национальном отношении: помимо англичан здесь осели выходцы из Южной Африки, Италии, Франции, Греции, Португалии).

Служащая дешевого пансиона «Казамиа»:

— Когда прежде я работала в гостинице в городе Форт-Виктория, то знала, что по ночам с кухни выносили еду партизанам, скрывавшимся в буше. Я понимала, что они борются за страну, которая должна принадлежать им. Хорошо, что война окончена.

Владелец бакалейной лавки на Стэнли-авеню:

— Я никогда не симпатизировал Смиту как политику и не голосовал за его партию. Я считаю, что надо быть лояльным по отношению к существующей власти. Мысль уехать из страны мне не приходила в голову и раньше, а тем более сейчас, после заверений правительства о всеобщем примирении. Впрочем, поживем — увидим.

Отставной военный с тремя ленточками наград на кителе:

— Во время второй мировой войны мы сражались вместе с Россией, по одну сторону — я воевал в армии союзников в Италии. Рад, что мы больше не враги. Вы коммунист? О, у вас совсем не страшный вид.

Девушка-регулировщица на оживленном перекрестке:

— Наконец-то кончились все эти мобилизации и извещения о раненых и убитых. Скажите, трудно выучить ваш язык? А правда ли, сэр, что на Черном море так же тепло, как у нас в Африке?

Целая гамма эмоций — откровенного облегчения, настороженности, обывательской всеядности, выжидательного любопытства — психологически объяснялась тем, что страна находилась на переломе истории. Но порвать с прошлым, отказаться от него для определенной части белой общины было не так просто. Ведь с ним связывалось слишком многое: уклад жизни, воспитание, взгляд на окружающий мир.

Помню свое удивление, когда около бензоколонки на шоссейной развилке я увидел поблескивающий сталью кольт за поясом у коренастого мужчины, расстегнувшего спортивную куртку, чтобы достать из кармана клетчатой рубахи талоны на бензин. При мне в респектабельном, похожем на средневековый замок отеле «Леопард-рок» на востоке страны молодая пара заполняла гостиничные формуляры. Получив ключ от номера, парень извлек из дорожной сумки портупею с пистолетом и небрежным жестом протянул портье на хранение.

Привыкнув в конце концов к подобным сценам, я все же однажды не удержался и спросил морщинистого старика, пившего пиво в придорожном ресторанчике:

— Зачем вам оружие?

— Как зачем?— В его голосе прозвучало неподдельное изумление.— Для самозащиты.

И он накрыл тяжелой ладонью лежавший перед ним на столике парабеллум.

Случайный знакомый, отрекомендовавшийся фермером Йоханом ван Стаденом, прочел мне целую лекцию на тему о необходимости чувствовать себя сильнее любого африканца, а узнав, что я советский журналист, незамедлительно, будто и ждал такого случая, выпалил:

— Россия — агент Уолл-стрита.

Он еще долго толковал о «заговоре мирового масонства», жертвой которого стала Родезия, после чего наступит черед Намибии и ЮАР, и завершил монолог мрачными пророчествами в отношении таких, как он, «простых фермеров».

Из дальнейшей беседы выяснилось, что «простой фермер»— собственник трех тысяч гектаров земли, занят выращиванием племенного скота и держит наемных рабочих.

— Я никому не доверяю,— заговорщически прохрипел старик на прощание, и его жилистая рука еще крепче сжала парабеллум.

Но, конечно, далеко не все думали так, как этот плантатор-расист.

В городке Виктория-Фолс, пограничном с Замбией, я познакомился со служащим таможни Питером Никольсом, ведавшим прохождением грузов по мосту через Замбези, соединяющему два государства. Он расспрашивал меня о Москве, я его — о жизни в этом уголке Африки. Поговорили и разошлись, и я думал, что больше мы не встретимся. Но на следующий день в гостиничном номере раздался звонок.

— Мистер Борис,— прокричала трубка, делая ударение в моем имени на первом слоге,— это ваш вчерашний знакомый. Я сейчас на работе и не могу отлучиться. Поэтому очень прошу, чтобы вы подошли ко мне на мост. О'кей?

Недоумевая, зачем я мог понадобиться любезному чиновнику, разыскавшему меня в гостинице, я направился к мосту. Он уже ждал меня.

— Я все думал о нашей встрече, сэр,— начал он свой рассказ.— Вы первый советский человек, которого я вижу и с которым поговорил по душам. Этот разговор помог мне многое понять. Я знал, что Россия на стороне партизан Зимбабве. Нам внушали, что она — злейший враг. Но, слава богу, мир пришел на эту землю, и старая Родезия вместе с кошмарами военных действий окончила свое существование. Во время одного из партизанских обстрелов около моего дома разорвалась мина. По счастью, никто из нашей семьи не пострадал. Я поднял тогда валявшийся в траве стабилизатор от мины и вот недавно приделал к нему стеклянный

верх. Знаете, есть такое выражение: «Перекуем мечи на орала».

И он протянул мне кубок из темно-зеленого бутылочного стекла, закрепленного на хвостовой части мины.

Когда годы спустя я рассказываю друзьям о последних днях колониальной Родезии, которые довелось увидеть, то среди наиболее примечательных называю эпизод на пограничном мосту через Замбези и показываю полученный в подарок кубок — один из самых необычных сувениров, привезенных из Африки.

«Руфаро» — значит «счастье»

В Солсбери все уже готово к торжествам на стадионе «Руфаро». Этот стадион в африканском пригороде столицы, до того ничем не примечательный, стал сразу знаменитым. Его название (на языке шона «руфаро» значит «счастье») словно специально было запрограммировано для исторического момента провозглашения независимости республики.

Задолго до полуночи в направлении стадиона потянулись вереницы автомашин, нескончаемые толпы людей с флагами, транспарантами, цветами.

На трибунах, вмещающих сорок тысяч человек, кажется, яблоку негде упасть. Мужчины, женщины, дети — многие в национальных одеждах — смеются, оживленно разговаривают, подхватывают песни, спонтанно возникающие в разных частях стадиона. Где-то там внизу старается превзойти самого себя в синкопических джазовых ритмах оркестр, и, перекрывая многоголосый шум и рокот, голос распорядителя в динамиках дает кому-то последние наставления перед началом церемонии.

Незаметно сгущается темнота, и прожекторы заливают зеленое поле ярким, слепящим светом. Лучи выхватывают то одну, то другую группу людей, снова возвращаясь к тому месту стадиона, где у края поля сооружен прямоугольный шатер, перед которым на флагштоке лениво свисает британский флаг.

Стрелка часов приближается к двенадцати. Такова никем не писанная, но ставшая традиционной процедура спуска колониального и подъема национального флага нового государства. То, что происходит на рубеже смены суток, как бы символизирует окончание колониальной ночи и наступление рассвета свободной жизни.

На местах, отведенных для иностранных делегаций,— президенты, премьер-министры, руководящие деятели из ста с лишним стран мира. Среди них и советская делегация.

На специальный помост поднимаются премьер-министр Роберт Мугабе и президент Канаан Банана. По рядам проносится шквал аплодисментов. Последним в чопорном и громоздком, под стать архаике Британской империи «роллс-ройсе» на поле стадиона въезжает принц Уэльский Чарльз.

Я смотрю на часы, чтобы зафиксировать незабываемый момент: 23 часа 58 минут. С высокого флагштока медленно, словно нехотя, сползает английский флаг. Старший сержант британского королевского полка складывает его и несет на вытянутых руках в сторону — в темень.

18 апреля, 00 часов 01 минута. Командующий Африканской национальной освободительной армией Зимбабве (ЗАНЛА) подходит к флагштоку и поднимает многоцветный стяг с золотой птицей, напоминающей орла-рыболова. Такие существа из мыльного камня возвышались на пьедесталах в государстве Великое Зимбабве, построенном народом шона несколько столетий назад. Сегодня изображение легендарной птицы стало символом национального возрождения.

Аплодисменты, возгласы тысяч людей, бой барабанов, грохот салюта — все сливается в плещущую через край своей эмоциональной силой симфонию человеческой радости и счастья.

С днем рождения, Республика Зимбабве — пятидесятое по счету суверенное государство Африки!

ЧТО ВИДНО С ХОЛМА ХАРАРЕ

Во вторую годовщину провозглашения независимости Солсбери был переименован в Хараре. Переименование зимбабвийской столицы и возвращение африканских названий другим городам — не только корректировка истории, принимавшей в колониальной Родезии в расчет лишь «миссию белого человека». Это прежде всего акт политического значения, которым новое, независимое государство Африки подтвердило бесповоротность происходящих перемен.

Новые времена — новые символы

Откуда произошло название «Хараре»? До сих пор на этот счет существуют разные точки зрения.

Когда-то, гласит одна из легенд, на холме жил знаменитый колдун, который всегда бодрствовал. Простые смертные говорили про него: «Ха-а-раре» (он не спит).

От сотрудника национального архива Доусона Мунджери я услышал другое объяснение:

— Холм, или иначе — копе, как говорят в Южной Африке, облюбовал для своего клана вождь Нехарава, владевший землями на южном берегу Мутьизамбизи (это название переводится как «река, где пугается зебра»). В одной из междоусобных схваток он был убит. Правителем стал Секе, которого в свою очередь одолели соперничавшие с ним вожди Хвата и Чивеше. Но в памяти людской копе остался как «чикомо Нехарава» (гора Нехарава). Со временем Нехарава трансформировалось в Хараре, а Мутьизамбизи в Макабуси.

Близка к этой версии, хотя и отличается от нее, гипотеза профессора африканских языков столичного университета Джорджа Кахари. Хараре, считает

он, произошло от Зхараре. Жил-был вождь с таким именем. Он имел обыкновение подниматься на холм, который местные жители стали называть «чикомо Зхараре» (гора Зхараре). Зимбабвийскому писателю Вамбе даже удалось разыскать людей, носивших фамилию Зхараре и утверждавших, что они потомки того самого вождя, который занимал видное место в иерархии розви.

Кстати, имена вождей или названия местности, где они обитали, дали происхождение и другим населенным пунктам Зимбабве. Среди них города Кадома, Чинхойи, Марондера.

Когда жил и умер Зхараре, где находится его могила? Еще предстоит дать ответы на многие вопросы, чтобы окончательно объяснить происхождение названия зимбабвийской столицы, так же как вернуть из забвения и другие подлинно африканские имена, поскольку «цивилизаторы» корежили их, упрощая и подгоняя под английское произношение. Иногда названия, связанные с национальной историей Зимбабве, заменялись на придуманные европейские или южноафриканские, как, например, Энкелдоорн.

Узнав, что я отправляюсь по шоссе А-4 на юг, знакомый журналист посоветовал:

— По пути обязательно остановитесь в Чивху и загляните в придорожный ресторанчик, где была провозглашена «Республика Энкелдоорн». Ее выдавали за курьез. А на самом деле... Впрочем, разберетесь сами.

Через два с половиной часа появился новенький указатель: «Чивху». В ресторане было пусто. Я выбрал столик на террасе, и ко мне с меню в руках подошел сам хозяин — средних лет человек с баками и шкиперской бородкой. Пока на кухне жарился знаменитый зимбабвийский стейк, мы беседовали о всякой всячине, и, естественно, разговор зашел о «государстве» фермеров-южноафриканцев. Вот какую историю я узнал.

В первые годы колонизации страны некий Хендрик Беккер, родом из Кейптауна, приобрел у «Бритиш Саут Африка компани» несколько сот гектаров земли. Вокруг росли акации с колючками, и, не утруждая фантазию, Беккер назвал местность Энкелдоорн, что на языке африкаанс означает «одинокая колючка». Разумеется, африканцев никто спрашивать не стал.

Постепенно рядом с фермой Беккера появились другие. Все они принадлежали выходцам из Южной Африки. Излюбленным местом, где проводили время преуспевающие землевладельцы, был пивной бар. Именно там кому-то из них однажды пришла в голову мысль провозгласить Энкелдоорн республикой, а бар — ее столицей.

Грамоту об учреждении «Республики Энкелдоорн» повесили в рамке на видном месте. Каждому посетителю выдавали «въездную визу», разумеется, после нескольких кружек выпитого пива, а в качестве сувенира предлагали купить галстук «Энкелдоорн» с изображением акации.

После обеда я заглянул в бар. Хозяин хмуро сообщил мне, что собирается снять, как он выразился, «реликвию прошлого», так как теперь настали новые времена.

Времена действительно изменились. Это раньше можно было изображать затею хмельных потомков буров безобидной игрой. В действительности у нее имелась вполне определенная политическая подкладка. Сохранявшие в Родезии южноафриканское гражданство фермеры даже среди других «полноправных» родезийцев считали себя элитой, белой костью, всячески стремясь подчеркнуть свою обособленность и исключительность. Никто из этих людей, конечно же, даже на мгновение не задумывался о том, что они расположились на чужой земле в стране, незаконно отнятой у коренного населения.

Ныне нет больше Энкелдоорна, есть Чивху, получивший африканское название в числе тридцати двух других городов Зимбабве, переименованных декретом правительства.

Дело это, однако, не простое, дорогостоящее, и к тому же оно требует времени. Пока еще в разных уголках страны можно увидеть уличные таблички, вывески отелей и клубов, носящие имена тех, кто завоевывал эту землю для английской короны, а потом правил на ней, растаптывая национальные корни и подавляя самобытность народа. Но с каждым годом подобных анахронизмов становится меньше.

Постепенно убирают и памятники, которые олицетворяли колониальное угнетение. Июньским днем я стоял на столичной авеню имени Джеймсона, ныне имени Саморы Машела, где долгие годы на прямоугольном постаменте надменно возвышался Родс, и наблюдал за тем, как его свергают с пьедестала в буквальном смысле слова.

Кран, подцепивший статую, медленно перенес «груз» в поджидавший рядом грузовик, а ликующий люд, собравшийся неподалеку, пел, танцевал и аплодировал. Человек тридцать, перебравшись через борта в кузов грузовика, принялись колотить бронзового идола.

Ненадолго пережил столичного Родса провинциальный Родс из Булавайо. Его снесли спустя две недели вместе с памятником Чарлзу Коглэну — первому премьер-министру Южной Родезии. Известный английский скульптор Джон Твид изваял обоих в бронзе, с расчетом на века.

Правда, ниспровержение колониальных символов пришлось по душе отнюдь не всем.

Муниципальный совет Булавайо, в котором на первых порах еще заседали вчерашние хозяева, постарался избежать огласки и распорядился произвести работы ночью. Однако благодаря телевидению о предстоящем событии стало широко известно, и толпа, состоявшая из трехсот с лишним человек, от-

реагировала на «исчезновение» Родса не менее бурно, чем это было в Хараре.

Бывая в Национальном музее в Булавайо, после осмотра экспозиции я неизменно огибал круглое здание с тыльной стороны. Там, в тени деревьев, как бы прячась от тех, кого он всю жизнь презирал и кому принес порабощение, плесневеет под дождями и солнцем никому уже не страшный бронзово-зеленый Родс.

Любопытна история еще одного колониального монумента, который был установлен в Солсбери неподалеку от Музея естественной истории имени королевы Виктории.

Скульптурная композиция, известная как «сгусток энергии», изображала Родса в образе... Аполлона, скачущего на коне, который норовит встать на дыбы. Эта прозрачная аллегория была своеобразной иллюстрацией к словам, сказанным в пятидесятых годах одним из премьеров Федерации Родезии и Ньясаленда Годфри Хаггинсом.

— Белая и черная раса,— говорил он,— должны сотрудничать наподобие всадника и лошади, причем белый, конечно, в седле, черный — у него под сапогом.

Первоначально «Аполлон» красовался в главном административном центре Северной Родезии — Лусаке. В 1964 году, когда эта страна стала Республикой Замбией, компания «Англо-Американ корпорейшн», подарившая памятник, вывезла его в Южную Родезию. И вот теперь «ветер перемен» докатился сюда и окончательно выбил всадника из седла...

Помню, вскоре после этого в разделе «Письма читателей» столичная газета «Геральд» опубликовала несколько откликов, один из которых был подписан «Родезиец». Джентльмен, пожелавший остаться неизвестным и демонстративно подчеркнувший свою приверженность прошлому, негодовал по поводу того, что правительство «уничтожает культурные ценности».

На одной из пресс-конференций министр информации республики так ответил подобным критикам:

— Все, что имеет подлинную историческую ценность для Зимбабве, будет сохранено. Но монументам, олицетворяющим колониальный захват и лишение африканцев их государственности, не место в независимой республике. Эти монументы заменят новыми символами. Таково стремление народа, отражающее сегодняшнюю реальность. А она заключается в том, что колониализм сокрушен и начато создание общества, где не должно быть эксплуатации человека человеком.

После провозглашения независимости все колониальные праздники были отменены. Вместо них в календаре Зимбабве появились совсем иные памятные даты: День независимости — 18 апреля и Дни героев — 11 и 12 августа.

Героям навечно салютует устремленный в небо обелиск, поднявшийся на холме около Хараре. У подножия обелиска покоятся останки Герберта Читепо, Джосиа Тонгогары, Джейсона Мойо, Джорджа Силундики и других выдающихся борцов за свободу. Здесь всегда живые цветы.

Сквозь сито будней

«Памбери, не Зимбабве!» («Вперед, Зимбабве!»)— под этим лозунгом сражались партизаны. Сегодня он стал девизом осуществления широких преобразований, конечная цель которых, как провозгласила партия ЗАНУ-ПФ,— построение общества на социалистических началах.

Установление минимума заработной платы промышленным рабочим и лицам, занятым в сфере домашнего обслуживания, бесплатная медицинская помощь для низкооплачиваемой категории населения, введение бесплатного всеобщего обучения в начальной школе, создание сельскохозяйственных кооперативов — несомненные достижения республики. Народ одобряет и поддерживает проводимые реформы. Но их со страхом и раздражением встречают те, кто и в новом Зимбабве хотел бы по-прежнему оставаться в категории привилегированного меньшинства.

Со словом «товарищ», которое произносят дикторы телевидения и радио, они почти смирились и абстрактно высказываются за «гуманистические идеалы». Но когда дело доходит до конкретного, скажем, получения больничной койки или посещения школы их собственными детьми, эти люди категорически против того, чтобы ставить знак равенства между белыми и чернокожими.

— Понимаете,— говорил мне глава маклерской фирмы по купле-продаже недвижимости Майкл Смисдорф,— вдруг я оказываюсь в той же самой палате, что и мой садовник. Ведь он абсолютно нецивилизованный. Это для меня неприемлемо.

Смисдорф — вовсе не злодей в колонизаторском шлеме, каких порой по старинке рисуют карикатуристы. Себя он числит в интеллигентах-консерваторах и даже не забывает упомянуть, что у него в конторе работает смышленая девушка-африканка. Но находиться, хоть и вынужденно, в обществе садовника — никогда! В таком духе его воспитали, и к такому образу жизни он привык. Теперь надо отвыкать, перестраиваться — или уезжать.

Уезжают многие врачи, инженеры, учителя. Власти никого не задерживают. Существует запрет лишь на вывоз наличных зимбабвийских долларов сверх установленного предела. Кстати говоря, финансовые ограничения были введены еще до независимости. Таким путем Смит старался удержать «голосовавших ногами». В те времена оставшиеся одобряли эту меру и кричали о патриотизме. Ныне они делают вид, будто речь идет о каком-то неслыханном посягательстве на «гражданские права».

В один из последних приездов в Хараре я позвонил по телефону в маклер-

скую контору Смисдорфа, и вежливый голос ответил:

— Мистер Смисдорф переехал в ЮАР.

Молчали домашние телефоны и некоторых других знакомцев — менеджера банка, врача-терапевта, хозяина фирмы по прокату автомобилей.

Но существует и «движение» обратного рода. Возвращаются бывшие жители Родезии европейского происхождения, считающие себя зимбабвийцами, а Зимбабве — своей родиной.

С одним из них, тридцатидвухлетним Нейлом Хьюлетом, я познакомился на его ферме около города Масвинго. Во время войны вместе с женой и двумя детьми он покинул дом, где родился и вырос, и отправился за океан. Когда в Америке семья узнала из газет о предстоящем провозглашении независимости Зимбабве, то тотчас же начала собираться на родину.

— В своих ожиданиях мы не обманулись,— сказал Нейл Хьюлет.— Я все больше убеждаюсь в том, что вне зависимости от цвета кожи каждый у нас в стране имеет будущее и возможности для приложения своих рук и способностей.

Одна из общественных сфер, где перемены в буквальном смысле слова налицо,— африканизация кадров. Ныне в министерствах, банках, различных конторах видишь все больше африканских лиц, да и сам Хараре обрел новый облик: ведь прежде посетителями кафе и кинотеатров, гуляющими в парках были только белые.

В Родезии последних лет не существовало официально освященных законодательством расовых запретов — скамеек в парках с надписями «только для белых», «только для черных», раздельных кинотеатров и автобусов. Но дискриминация африканского большинства являлась сутью существовавшего режима.

Предполагалось, что статус-кво сохранится если не навсегда, то во всяком случае в течение жизни многих и многих поколений. «Правления африканского большинства в этой стране не будет по крайней мере в ближайшую тысячу лет»,— самоуверенно провозглашал кредо белых господ премьер-министр Ян Смит.

В книге «Короткая тысяча лет», которая стала бестселлером в Зимбабве, журналист Поль Мооркрафт, можно сказать, «проанатомировал» родезийское колониальное общество. Он показал, что табачного плантатора Смита возвели на пьедестал именно те, кому «навечно» был обещан модус существования, выражавшийся в Родезии формулой: 3—2—1. Трое слуг — две машины — один бассейн.

Прошло несколько лет, и во время поездки в Соединенные Штаты и Англию Смит, так и не смирившийся с переменами, вновь публично повторил, что для него никогда не будет существовать слово «Зимбабве», а только «Родезия».

Та Родезия, которую его кумир Сесиль Родс задумал как Эльдорадо белого человека.

...Зимбабвийскую столицу, раскинувшуюся на площади 536 квадратных километров, называют городом цветущих деревьев.

Действительно, не только весной, на которую по календарю Южного полушария приходится три месяца — сентябрь, октябрь, ноябрь, но и круглый год здесь соревнуются друг с другом, будто на карнавале, бесконечные краски цветений. Всегда подернутые дымкой джакаранды устилают мостовые нежно-фиолетовыми лепестками, гордо поднимают вверх оранжевые кроны пылающие акации. Вьются изгороди из красных, желтых, белых, алых бугенвиллей, и зеленеют квадраты и прямоугольники парков и скверов.

Всего несколько шагов в сторону от шумной пробензиненной Секонд-стрит — и попадаешь в оазис тишины, прохлады и покоя. Посредине сквера бьет фонтан. На скамейках — влюбленные пары, школьники, пенсионеры. За сто без малого лет деревья разрослись так, что посыпанные песком дорожки кажутся тропинками в густом лесу.

Дорожки эти с «секретом». Один из местных журналистов обратил мое внимание на их крестообразное расположение. Что за узор под ногами? Оказывается, по колониальному заказу архитекторы распланировали сквер, в точности повторив рисунок британского флага. Эта символика была призвана служить как бы подтверждением того, что власть Англии на этой земле — вечная и неизменная.

Даже после того, как 11 ноября 1965 года Смит и его единомышленники провозгласили Родезию «независимой» от британской короны и у них возникла «семейная ссора» с Англией, дорожки не тронули. Но каждый год 11 ноября на медном флагштоке у входа в сквер вместо «Юнион Джека» поднималось бело-зеленое с гербом посредине родезийское полотнище.

Около сквера, носившего имя Родса, в день «независимости» собиралась толпа его духовных наследников, клявшихся отстоять «белую Родезию». Во время очередного сборища в сквере посадили цветы, привезенные из Муизенберга, близ Кейптауна: там находится коттедж Родса, в котором тот умер.

Сегодня лишь потемневшая бронзовая табличка на гранитной пирамиде, служащей основанием для флагштока, напоминает о том, с чего началось завоевание Зимбабве.

НЕ ЗОЛУШКА, А ПРИНЦЕССА

От древнего, почти слепого старика крестьянина, сидевшего перед хижиной в час, когда солнце за холмами окрасило небо в пурпур заката, услышал я эту притчу. Мудр и прост смысл, который вложил в нее народ.

Однажды великий бог Мвари решил раздать все щедроты природы. Одним достался скот, другим леса, третьим го-

ры. А тому, кто предстал перед богом последним,— лишь голая земля. Но именно он стал вождем племени, потому что засеял землю, собрал урожай и разделил его между другими людьми, которые были голодны...

Земля — источник власти и силы, кормилица, начало всех начал. Именно этот дар бога Мвари и отняли прежде всего у африканцев колонисты.

Мы дети твои, земля!

Захватчики не утруждали себя аргументами. Считалось само собой разумеющимся, что черным земля не нужна — все равно они не умеют как следует с ней обращаться. Вот что было, например, написано в туристском справочнике «Родезия вкратце», изданном министерством информации в 1968 году: «До прихода европейцев туземное население на территории Родезии влачило жалкое существование, собирая лишь небольшие урожаи».

Колониальное высокомерие этого утверждения под стать искажению исторической истины, которая позволяет говорить о том, что народы, населявшие междуречье Замбези и Лимпопо, были искусными земледельцами и скотоводами.

Этому способствовали климатические факторы. Занимающее большую часть современного Зимбабве плато Матабеле — своеобразный оазис в Южной Африке. Его высота от девятисот метров до полутора километров над уровнем моря. Средняя месячная температура не превышает здесь, как правило, двадцати пяти градусов, а после дождей, дающих в год шестьсот — тысячу миллиметров осадков, зеленая трава вымахивает по пояс, одеваются в новый убор и деревья.

Апофеоз пиршества природы — цветение мусасы. Эти деревья встречаются в Замбии, Малави, северо-восточной части южноафриканской провинции Трансвааль. Но их родина — Зимбабве, где стволы мусасы в метр диаметром достигают тридцатиметровой высоты.

Каждый год, в сентябре, когда из почек появляются новые листочки, обширные пространства, занимаемые мусасой, окрашиваются в ярко-розовые, красные и желтовато-коричневые тона. Для земледельцев это издавна было сигналом — пришла пора весеннего сева.

Обитатели междуречья Замбези и Лимпопо, жившие по законам предков, конечно же, не ведали о премудростях агротехники. Но земли было вдоволь, и она щедро отзывалась на крестьянский труд.

Один из первых белых поселенцев, посетивший в 1893 году владения вождя Машангомби, оставил такое свидетельство: «Дорога пролегала среди посевов кукурузы, сорго, батата, арахиса, а на болотистых местах виднелись рисовые террасы». Другой колонист был в восторге от превосходных овощей и фруктов, которые выращивали шона.

С появлением «колонны пионеров» Родса начался земельный грабеж, который продолжался ровно столько времени, сколько существовала Родезия.

К моменту провозглашения независимости примерно половина всех пахотных земель страны (около пятнадцати миллионов гектаров), самых лучших и плодородных, оказалась в руках всего пяти тысяч белых фермеров. А сотни тысяч коренных жителей были вытеснены в засушливые, бесплодные и перенаселенные резервации, именовавшиеся «племенными землями».

Правда, вместо слова «грабеж» употреблялись эвфемизмы — «перераспределение земельных площадей», «поощрение товарного сельскохозяйственного производства». Но суть от этого не менялась: узаконенное сверху планомерное и массовое насилие лишало африканцев корней, которые связывали их с прошлым, родных очагов и средств к существованию.

По всей стране, главным образом в окраинных районах и в стороне от дорог, «нарезали» сто шестьдесят семь резерваций, весьма походивших на южноафриканские бантустаны. Управляла ими созданная властями специальная «Корпорация развития племенных земель» (ТИЛКОР).

В действительности же функция ТИЛКОР заключалась вовсе не в развитии, а в превращении племенных земель в замкнутые районы, где африканцы рождались, старели и умирали, не «смешиваясь» с белыми. Не менее важным было и то, что ТИЛКОР поставляла дешевую рабочую силу для сельского хозяйства и промышленности, которую резервации поглощали, как только та становилась по тем или иным причинам избыточной.

Когда в 1930 году в Южной Родезии вошел в силу закон о так называемом пропорциональном распределении земли, означавший административную перекройку карты по цвету кожи, «белой зоной» была объявлена и Восточная Ньянга, где еще в XVII веке в горном районе на границе с Мозамбиком поселилось небольшое племя тангвена.

Свыше двадцати трех тысяч гектаров земель в Восточной Ньянге скупила компания «Гаереси рэнч». И хотя хижины тангвена по-прежнему лепились к горным склонам и их не трогали, юридически считалось, что племя самовольно заняло «чужую» территорию.

В начале 1964 года лидер партии Родезийский фронт Ян Смит стал премьер-министром. Считая, что гайки расовой сегрегации разболтались и это угрожает «христианской цивилизации», Смит и его единомышленники принялись наводить «порядок» так, как они это понимали. Первой жертвой начавшихся репрессий стали тангвена. Их вождь Рекаи Тавангена получил письменное предписание покинуть район Ньяфару-Гаереси и переселиться в резервацию для черных.

Подобно удару молнии поразила эта весть тех, кто не знал никакой другой земли, кроме Восточной Ньянги. Могли ли они уйти отсюда, оставив на произ-

вол судьбы духов льва, в которых, согласно их верованиям, воплотились умершие отцы, деды и прадеды?! Духи льва разгневаются, говорили между собой тангвена, потому что они всегда должны витать над той землей, которую дал им Мвари.

Долго совещались старейшины, пока не пришли к общему решению: никуда не двигаться, а вождю Тавангене подать жалобу в Верховный суд. Это была неслыханная дерзость в государстве, где законы специально писались для того, чтобы африканцы беспрекословно подчинялись белым господам. О сенсационном деле узнали за границей. В газетах замелькали фотографии вождя и «строптивых» крестьян, мужественно бросивших вызов расистскому режиму.

Что сыграло роль — протесты международной общественности или бесспорность прав тангвена на свою землю? Может быть, и то и другое, но произошло невероятное. Верховный суд оказался вынужденным согласиться с тем, что для их выселения нет оснований.

Смит был в бешенстве: суд пошел на поводу у этих безграмотных крестьян, что ж, тем хуже для суда! А с тангвена он все равно расправится. Правда, пришлось ждать целых четыре года, пока улегся шум.

В 1968 году в Восточную Ньянгу прибыли солдаты и бульдозеры. У офицера, руководившего карательной операцией, имелись четкие инструкции: хижины разрушить, посевы сжечь, скот отобрать. Приказ был выполнен в точности. Однако горцы все равно не покорились. В середине семидесятых годов по только им ведомым тропам через перевалы они ушли на территорию соседнего Мозамбика.

Работая в Мапуту, я не раз посещал устроенные в буше лагеря, где нашли приют тысячи зимбабвийских беженцев. Это были старики, женщины и дети (мужчины записались добровольцами в партизаны) разных народностей, в том числе тангвена.

Изгнанники поневоле, все эти люди остро ощущали разлуку с родиной. Но мне показалось, что в глазах тангвена была особенная печаль. Их земля находилась совсем близко. Если дул западный ветер, по ночам сюда, в мозамбикский буш, иногда доносились отзвуки боев, которые партизаны вели в горах с родезийской армией.

— Это рычат духи льва,— произнес в темноте старик.

В его голосе я уловил не только нотки грусти, но и веру в то, что проснувшаяся земля не потерпит обидчиков и примет обратно своих истинных детей.

Как трудно ждать в изгнании! Не все дожили до того радостного дня, когда пришла весть, что войны больше нет. Страна готовилась к провозглашению независимости, и тангвена потянулись по тем же горным тропам обратно.

Одним из первых декретов правительство Зимбабве отменило незаконную экспроприацию земель у тангвена. Неотложных дел в ту пору было много, и официальная церемония состоялась не сразу. Но о маленькой этнической группе не забыли. В 1983 году из Хараре прибыл министр местного самоуправления, передавший документы на владение землей семидесятилетнему вождю.

Так завершилась многолетняя эпопея изгнания и возвращения к родным очагам. А когда несколько лет спустя Рекаи Тавангена умер, он был похоронен с почестями на харарском холме славы рядом с другими видными деятелями национально-освободительного движения. Его стойкость и верность своей земле не забыты народом.

Мотыга рядом с компьютером

— Вторая чимуренга[1] была войной за землю.

Эти слова я услышал от сельскохозяйственного рабочего Элиаса Ньямондоро, с которым познакомился километрах в сорока от Хараре. Я ехал на ферму «Кинтайр истэйт» и, чтобы не плутать, решил спросить дорогу. Стоявший у обочины высокий африканец увидел, что машина затормозила, и сам подошел, почтительно сняв головной убор, который весьма условно можно было назвать соломенной шляпой. В тот день я так и не попал на ферму, но зато узнал, какие драматические коллизии рождает земельная проблема в Зимбабве.

Требование возвращения и справедливого перераспределения захваченных колонизаторами земель было одним из важнейших и наиболее популярных лозунгов в период борьбы за свободу.

Англичане, в 1979 году организовавшие в лондонском Ланкастер-хаус переговоры между представителями Патриотического фронта и деятелями агонизировавшего родезийского режима, безусловно, это учитывали. Полностью воспрепятствовать тому, чтобы зимбабвийский народ вернул себе незаконно отнятое, они не могли, но постарались максимально затруднить и затянуть решение земельной проблемы.

Многоопытные британские мастера политических компромиссов добились включения в конституцию Республики Зимбабве условия о том, что изъятие земель у белых фермеров допускается лишь за денежную компенсацию, причем объектом такого изъятия могут быть только пустующие или «недоиспользованные» земли.

Излишне говорить, каким бременем это легло на бюджет страны, экономика которой длительное время не функционировала нормально из-за военных действий. Но, считая проблему неотложной, правительство без промедления приступило к выкупу земли, чтобы наделить ею в первую очередь ветеранов национально-освободительной борьбы, бежен-

[1] «Чимуренга» на языке шона означает «освобождение». Первой чимуренгой называли антиколониальное восстание зимбабвийцев в конце прошлого века. Вторая чимуренга — национально-освободительная борьба, завершившаяся провозглашением независимости страны в 1980 году.

цев, возвратившихся к пепелищам, самых неимущих.

За пять лет, прошедших после провозглашения независимости, выкуплено четыреста тысяч гектаров, на которых расселено около тридцати тысяч семей. Большего, к сожалению, пока сделать не удалось, хотя время торопит.

На общинных землях, как теперь называются бывшие племенные, все еще живет свыше семисот тысяч человек. Обследования показали, что истощение почв приняло там катастрофический характер. Для их восстановления потребуются годы, если это вообще возможно.

...После демобилизации Элиас Ньямондоро не поехал в родную деревню, которая затерялась в саванне к югу от озера Кариба на общинных землях Манджоло, а устроился сельскохозяйственным рабочим неподалеку от столицы. Думал скопить немного денег, чтобы предстать перед невестой не с пустыми руками.

Во сне он видел свадьбу, их новую хижину и чувствовал себя счастливым. Но каждый раз и хижина, и невеста, и свадебные гости исчезали, будто проваливались сквозь землю. А из нее, раздуваясь, как ствол баобаба, начинала расти физиономия хозяина. Элиас просыпался в тесной конуре без окон еще до рассвета и шел доить чужих коров.

Однажды хозяин, состоявший в Клубе любителей скаковых лошадей Машоналенда и игравший по субботам в тотализатор на столичном ипподроме «Бородейл», проиграл крупную сумму. Вернувшись, он собрал у задней двери своего дома наемных рабочих и, глядя куда-то поверх их голов воспаленными рыбьими глазами, объявил, что дает им всем расчет.

Что было делать? Через дорогу за проволочной изгородью Элиас давно уже приметил пустовавший участок, поросший сорняками. Конечно, вскапывать чужую землю, даже если эта земля соскучилась по мотыге, незаконно. Но, с другой стороны, им некуда было податься.

— Вторая чимуренга была войной за землю,— повторяет он, видимо, полюбившиеся ему слова.

Его товарищи, обступившие нас кружком, согласно кивают головой. На участке, который они заняли явочным порядком и обрабатывают вот уже второй сезон, поставлено несколько десятков хижин из глины и тростника.

Заезжего гостя угощают пористой белой массой с приправой из овощей. В разных странах Африки эту немудреную крестьянскую пищу, напоминающую по вкусу мамалыгу, называют поразному. Ганцы говорят «кенке». Мозамбикцы — «ншима», малавийцы — «нсима». Для зимбабвийских крестьян она «садза».

Готовят садзу из мапиры — злака вроде нашего проса, только помельче. Сначала толкут зерно в ступе, потом варят на воде, пока пресная каша не разварится. Ее можно есть и так, а если хозяйка изобретательная — приготовит лепешки или даже пирог.

Садза — пища и на обед, и на ужин (утром африканский крестьянин обычно не завтракает). И так изо дня в день. Курица считается деликатесом. Мясо едят по особым праздникам.

Конечно, в буше другое дело. Если повезет с охотой, на всю округу будет разноситься дурманящий запах зажаренного на костре мяса антилопы или кабана. А здесь, под столицей, где каждый клочок земли обнесен колышками и огорожен колючей проволокой, какая уж тут охота... Спасибо, что вода рядом — на участке вырыт колодец, но вот хворост приходится приносить издалека.

Согласно африканским традициям, вода, как и заготовка топлива,— дело женское. Зрелище женщин, и молодых, и старых, и девочек-подростков, и совсем еще крох, водрузивших на курчавые головки бидоны, банки, бутылки с водой и несущих огромные охапки хвороста,— обычное для сельской местности в Африке.

Кажется, все это делается легко, почти играючи. И только приглядевшись повнимательнее, замечаешь большие бусины пота, стекающие по лицу деревенской мадонны, и понимаешь, каких физических усилий стоит идти вот так по солнцепеку с тяжелой ношей на голове.

На земле, где обосновались Элиас и другие бывшие сельскохозяйственные рабочие, женщин нет — все живут бобылями. И землю обрабатывают, и готовят, и хворост приносят сами. Но не жалуются. Хорошо еще, что никто их не трогает.

О том, что тысячи людей по всей стране самовольно занимают пустующие участки, пишут газеты, знают об этом в министерстве земель, расселения и сельского развития.

— У нас осталось от колониальной эпохи еще много мин замедленного действия, ох как много,— сказал мне сотрудник этого министерства, занимающегося решением судеб «перекати-поле», подобных Элиасу и его друзьям.

Я переночевал в пустом фермерском доме, где ничего не тронуто, все оставлено как было. А утром пожал натруженные руки новым знакомым и пожелал им успеха. Они дружно проводили меня до первой развилки, где надо было свернуть к «Кинтайр истэйт», которую я разыскивал.

Вскоре это название, выложенное белыми камешками на зеленом склоне холма, своеобразной визитной карточкой подтвердило, что ферма уже близко. Сразу чувствовалось, что дело в хозяйстве поставлено на широкую ногу. Огороженные неизменными проволочными барьерами, по обеим сторонам дороги тянулись соевые и кукурузные поля. Над ними неутомимыми каруселькамч вращались поливальные установки.

Управляющего фермой Джозефа Калмейра я застал около загона, за которым паслись откормленные коровы голландской молочной породы «фриз-

ланд». Я начал с извинения, что приехал на день позже, и объяснил причину.

— Ничего,— ухмыльнулся управляющий,— слыхал об этих робингудах, копающихся в земле. Вот осмотрите нашу ферму и сами скажите, сможет ли страна прожить без нас. Но прежде чем мы пойдем в контору, обратите внимание на оранжевые ошейники с номерами. Как видите, у каждой коровы свой номер.

Судя по всему, животные привыкли к этим «украшениям», которые имели самое непосредственное отношение к электронно-вычислительной системе, установленной в конторе. Мозг системы, небольшой компьютер, занимал место на высокой подставке, словно восседал на троне. Рядом с ним вмонтированный в стену кондиционер жужжал приглушенно-тихо, как будто понимая, что не он здесь главное техническое чудо.

Суть устройства, которое, как цирковой маг, демонстрировал мне Калмейр, в том, что, когда, проголодавшись, корова протягивает шею к автоматическому раздатчику пищи («дрессировка» длится два месяца), немедленно срабатывает закодированный сигнал. Он посылается компьютеру намагниченным номером коровьего ошейника. В ответ умная машина дает «разрешение» на открытие дверцы механической кормушки, откуда корова получает научно составленный и запрограммированный рацион кормов.

Таких компьютеров, по словам управляющего, в мире немного. «Кинтайр истэйт» заплатила за свой тридцать тысяч долларов и не осталась в накладе: система быстро окупилась.

Компьютером заинтересовались другие крупные фермеры. Калмейр охотно дал им лондонские координаты корпорации, которая их производит.

— Но ведь эти фермеры для «Кинтайр истэйт»— конкуренты.

— Чепуха! Зимбабве — страна большая, каждому хватит места, чтобы делать свой бизнес...

Современный коммерческий сектор, как называют принадлежащие частным лицам товарные механизированные фермы, дает основную часть сельскохозяйственной продукции республики. Изменить эту структуру сегодня — значит подорвать экономику, вызвать серьезные трудности с продовольствием и сырьем, увеличить безработицу.

Поэтому правительство решает задачу иначе. Курс взят на преодоление существующего разрыва между немногочисленной прослойкой белых фермеров и основной крестьянской массой путем вовлечения африканских тружеников в сельскохозяйственные кооперативы.

Число кооперативных хозяйств в Зимбабве непрерывно растет и к началу 1985 года составило тысячу триста восемьдесят. Но дело не только в количестве. Мелкие производители-единоличники видят, что сообща работать лучше. Сложившись, можно купить и семена, и трактор, и удобрения. А разве под силу это крестьянину-одиночке, не знающему, как свести концы с концами?!

О кооперативе «Симукай» я прочитал в газете «Вэнгард», которую издает организация производственно-сбытовых кооперативов Зимбабве, объединяющая свыше семидесяти хозяйств. В нем состоит восемьдесят человек, по преимуществу бывших участников национально-освободительной борьбы. Получив кредит у государства, они приобрели четыре тысячи гектаров заброшенных земель, сельскохозяйственный инвентарь и строительные материалы.

— Выращиваем кукурузу и подсолнечник, а также овощи: помидоры, огурцы, капусту,— рассказал мне член совета кооператива Роберт Нколоми.— Арендовали грузовик, договорились с оптовой фирмой в Хараре и отправляем туда продукцию. Естественно, часть оставляем для собственного потребления. И денежные доходы, и собранный урожай специальные учетчики распределяют в зависимости от того, кто сколько наработал в поле.

Эти люди знают, что с неба садза сама не упадет. Сейчас для них главное — повысить производительность труда, чтобы можно было конкурировать на рынке с коммерческими фермами. Не все сельские жители верят в такую возможность. В «Симукай» частенько приходят окрестные бедняки — приглядываются, расспрашивают, размышляют, вступать ли в кооператив или еще повременить.

— Это хорошо,— заключил наш разговор Нколоми.— Кооператив — сообщество добровольное, и стать его членом нужно по убеждению. Мы надеемся, что наш пример укажет дорогу другим.

Уже в Хараре я узнал про такой примечательный факт: несмотря на многолетнюю засуху и организационные трудности, ни один из кооперативов, созданных в республике, не распался.

Значит, правда на стороне Нколоми и его товарищей, убежденных в преимуществах социалистических принципов коллективизма и распределения по труду.

Дело — табак

Картосхема, которой меня снабдили в министерстве сельского хозяйства Зимбабве, вся испещрена символическими значками: черные зебу обозначают мясное животноводство, белые коровы — молочное. Продолговатые початки указывают районы выращивания кукурузы, а веселые кружки с зубчиками — подсолнечника. Свои условные значки есть для хлопчатника, сои, кофе, чая, пшеницы. И конечно же, табака.

Табак был одной из первых культур, которые колонисты начали возделывать на своих фермах. Климат плато оказался весьма благоприятным для его вегетационного периода, и вскоре о табаке пошла слава как о «золотом листе». Он приносил фермерам огромные доходы и стал ведущей статьей родезийского экспорта. В 1964 году был собран ре-

кордный урожай — сто тридцать шесть миллионов килограммов.

Знаменитый на весь мир табачный аукцион в Солсбери работал в ту пору с полной нагрузкой. Но сохранить этот уровень производства не удалось. Вовсе не потому, что истощились почвы или завелись сельскохозяйственные вредители. Дело было в другом.

После того как белые экстремисты во главе с Яном Смитом провозгласили в 1965 году «независимость» страны, Организация Объединенных Наций приняла решение о международных экономических санкциях в отношении Родезии. Перед лицом вполне реальной блокады необходимо было принять меры для самообеспечения продовольствием и переориентации ряда отраслей сельского хозяйства.

Половина всего объема сельскохозяйственного производства приходилась на табаководство. Поэтому фермерам предложили сократить посевные площади, на которых возделывался табак, и перейти на другие культуры, в частности на пшеницу и хлопчатник. В результате урожай табака 1969 года едва превысил пятьдесят миллионов килограммов.

Хотя западные компании и фирмы постоянно нарушали санкции, заключать торговые сделки приходилось, воровато прячась и прибегая к услугам южноафриканских посредников и подставных лиц. В те времена табачные аукционы засекречивались как строжайшая государственная тайна. О них ничего не писали газеты, и от публики тщательно скрывалось время и место их проведения.

Первый после долгого перерыва легальный аукцион состоялся за несколько дней до провозглашения независимости Республики Зимбабве — в апреле 1980 года. Учитывая торжественность момента, его открыл министр сельского хозяйства. На этом аукционе было продано две с половиной тысячи килограммов табака — совсем немного по масштабам табачных торгов, какие происходили когда-то. Но на сей раз их значение определялось вовсе не количеством.

Молодая республика заявила о себе как крупнейшем в мире производителе табака и о готовности расширить коммерческие связи с другими странами мира.

Когда я позвонил в дирекцию аукциона по телефону 760801 и попросил разрешения приехать, на другом конце провода ответили: «Никаких проблем, мы вас ждем».

Отыскать похожее на пакгауз здание в столичном промышленном районе Копе не составило труда. Меня принял директор-распорядитель аукциона Мэнсел Эдвардс. Для начала он прочел краткую лекцию о табаке, которая высветила новый, совершенно иной смысл известного выражения «дело — табак».

Да, табак — дело, и дело серьезное. Оно требует не только большого труда и терпения, но и умения ориентироваться в изменчивой конъюнктуре мировых цен.

Высаживают табак в сентябре, а с ноября по март собирают урожай. В Зимбабве возделывают главным образом виргинский сорт, имеющий множество разновидностей. Глядя на форму листьев, знаток сразу определит спецификацию будущей продукции. Одна разновидность хороша для сигарет, другая отвечает кондиции трубочного табака, третья — нюхательного и т. д.

После сбора табачного листа на плантации его сушат. Естественная сушка происходит прямо под открытым небом или в специально приспособленных сараях, продуваемых ветром. Искусственная дороже, но зато ее можно регулировать, уменьшая или увеличивая подогрев.

Высушенные листья сортируют и упаковывают в кипы. В каждой — от тридцати пяти до ста пятнадцати килограммов табака. С марта по октябрь ежедневно (кроме суббот и воскресений, когда аукцион закрыт) продается в среднем семь тысяч тюков на сумму девятьсот тысяч зимбабвийских долларов.

Восемнадцать процентов всего табака, поступающего на мировой рынок,— зимбабвийского происхождения. Республика впереди таких «китов», как Бразилия и Индия, а по отношению экспорта к той части продукции, которая потребляется внутри страны,— абсолютный мировой чемпион: на ее собственные нужды идет всего четыре процента выращиваемого табака, в то время как в других государствах доля внутреннего потребления выше в десять раз.

В первый же год независимого существования табак принес Зимбабве двести пятьдесят миллионов долларов. Правительство намерено восстановить эту ведущую отрасль экономики. Учитывая, что количество крупных табачных ферм сократилось с двух с половиной тысяч до тысячи трехсот, сейчас стимулируется выращивание табака мелкими и средними африканскими производителями.

Сделав этот экскурс в премудрости табачного бизнеса, директор-распорядитель повел меня в святая святых храма табака — аукционный зал. Он напоминал крытый рынок, где царствовал лишь один устоявшийся, въевшийся во все поры запах. В действительности табачные листья, которые были разложены на длинных деревянных столах-прилавках, отличались и формой, и цветом, и даже запахом, имеющим множество нюансов. Но постигнуть это дано лишь посвященным. Ими и были группы людей, быстро передвигавшиеся вдоль рядов.

Главное действующее лицо такой группы — аукционист. Остальные — покупатели, представляющие различные зарубежные фирмы. Проходя, вернее, почти пробегая мимо очередной порции образцов, маклер с пулеметной скоростью выстреливает все необходимые сведения о них и называет цену. Клиенты, что называется, с ходу решают, брать ли товар. Разговор идет на языке жестов. И здесь аукционист демон-

стрирует класс своей работы. Вот на какое-то мгновение покупатель поднял руку и тут же опустил ее. Это означает, что он согласен уплатить запрашиваемую цену. Аукционист обязан не только подметить сделанный ему знак, но и успеть занести пометку в большой блокнот, который висит у него на груди.

Непостижимо, если учесть, что на операцию по продаже тюка строжайший регламент аукциона отводит всего... семь секунд.

— Как становятся аукционистом? — спрашиваю у директора-распорядителя.

В ответ он загадочно улыбается:

— Нет ни одного учебного заведения, где бы готовили людей этой редкой и необычной профессии. Как и в каждом деле, необходим талант. Впрочем, пути никому не заказаны. Каждый может потренироваться дома в произнесении скороговорок и прийти к нам на пробу. А вдруг это будущая звезда хараpского аукциона?

Желтая полоса на флаге

Деловой центр Хараре — это бронза парадных подъездов, причудливый мрамор облицовки, стеклянные пирамиды этажей и, конечно же, массивные вывески банков, корпораций и фирм, разместившихся в «своем кругу».

Разглядываешь космополитический модерн, читаешь названия вроде «Катанга-хаус», «Танганьика-хаус» и получаешь наглядное представление о географии по-имперски.

Конкистадоры Родса, захватившие междуречье Замбези и Лимпопо, тешили себя иллюзиями, что под ногами у них несметные богатства мифического Офира. Золото действительно нашли, но второго Клондайка не получилось. Зато в недрах страны оказалось много полезных ископаемых, значение которых определилось научно-технической революцией XX столетия.

Асбест, руды хрома, меди, никеля, лития, бериллия, железа, каменный уголь сделали горнодобывающую отрасль основой промышленности. Марку Зимбабве можно увидеть на комбайнах и железнодорожных вагонах, металлических контейнерах и радиоприемниках, велосипедах и моторах для автомобилей.

Казалось бы, это свидетельство высокого потенциала национальной индустрии. Но предприятия, выпускающие разнообразную продукцию, принадлежат не Зимбабве, а «Англо-Американ корпорейшн», «Лонро», «Рио-Тинто» и другим иностранным монополиям, давно и прочно внедрившимся в экономику страны.

Активы, которыми они располагают, оцениваются в три с лишним миллиарда американских долларов. Сегодня это не только деньги. Это и возможность воздействия на хозяйственную жизнь, чтобы всячески замедлить, а если удастся, вовсе сорвать ее перевод на некапиталистические рельсы.

Как и в земельном вопросе, правительство, намечая планы развития, действует взвешенно и осмотрительно. На одной из пресс-конференций, проходившей в студии телевидения, сидевшие рядом со мной американские и английские корреспонденты буквально атаковали премьер-министра Р. Мугабе вопросами насчет «угрозы национализации».

Я записал тогда ответ главы правительства.

— Графика национализации не существует, и при соблюдении законов частные компании и фирмы могут участвовать в процессе национальной реконструкции, — сказал он. — Мы сознаем, что у нас пока еще превалирует капитализм, но намерены изменить такое положение. Этого нельзя добиться в короткий срок. Однако правительство не пожалеет усилий для достижения поставленной цели.

Выбор республики в пользу социализма получил закрепление в итоговых документах II съезда партии ЗАНУ-ПФ, состоявшегося в августе 1984 года. Подчеркнув роль партии как руководящего политического авангарда зимбабвийского народа, Устав ЗАНУ-ПФ так определил задачу на будущее: создать государство, основанное на принципах марксизма-ленинизма.

Уже после съезда в Хараре вышла книга президента Зимбабве К. Бананы «Философия надежды», предисловие к которой написал премьер-министр страны Р. Мугабе. В этом предисловии капитализм и социализм рассматриваются сквозь призму философских категорий морали и нравственности.

В колониально-расистской Родезии капитализм с присущими ему социальным неравенством и эгоизмом лишал широкие массы возможности распоряжаться природными богатствами страны, насаждал индивидуализм, чуждый психологии и традициям зимбабвийцев. В отличие от капитализма, социализм зиждется на совершенно иных условиях. Для нас он привлекателен тем, подчеркивает Р. Мугабе, что утверждает право народа на владение национальными ресурсами и средствами производства, использует принципы подлинного равенства и гуманизма. Достигнуть этого можно, лишь ликвидировав капиталистическую систему.

А она огрызается, вставляет новой власти палки в колеса, саботирует проводимую африканизацию кадров.

Как это происходит на практике?

До независимости всячески поощрялось рекрутирование зарубежных специалистов. Это делалось для увеличения численности белой общины. И вот, получив от зимбабвийских властей предписание об африканизации кадров, частные компании, как по команде, спешно принялись выписывать себе для работы иностранцев. На пути «наносной пены», как метко выразилась столичная газета «Геральд», пришлось поставить законодательный заслон.

Но противники независимого Зимбабве не сложили оружия. Действуя по принципу «не мытьем, так катаньем», владельцы некоторых предприятий начали натравливать друг на друга представи-

телей различных этнических групп: демонстративно назначать на должности, требующие особой подготовки, людей без всякой квалификации, чтобы таким путем дискредитировать саму идею африканизации. Дошло до того, что в промышленном поясе Булавайо сотрудники газеты «Санди ньюс» обнаружили в некоторых местах издевательские надписи: «Только для европейцев», «Только для африканцев».

Отрезвляющим душем для тех, кто никак не может расстаться с расистскими стереотипами, явился закон о производственных отношениях, принятый в начале 1985 года. Согласно этому закону, дискриминация по цвету кожи, а также вероисповеданию и полу при приеме на работу считается уголовно наказуемым преступлением.

Государственный сектор неуклонно укрепляет свои позиции. Поставлен под контроль важнейший участок экономики — сбыт добываемых в республике полезных ископаемых. Этим занимается Корпорация развития горнорудной промышленности, которая способствует расширению участия государства в частных компаниях.

Например, правительство откупило у «Англо-Американ корпорейшн» сорок процентов акций угледобывающего предприятия «Хванге коллиери». Зимбабвийская «Корпорация развития» взяла в свои руки управление другим горнорудным концерном — «Мессина груп оф Саут Африка». Его южноафриканские хозяева толковали о «нерентабельности» предприятий и шахт и на этом основании производили увольнения рабочих. В действительности свертывание производства было откровенным саботажем. А что касается «убытков», то администрация попросту фальсифицировала финансовые отчеты, скрывая от государства получаемые прибыли, которые переводились в ЮАР.

Чтобы вершить тайные дела, иностранные корпорации предпочитают держать двери своих офисов в Африке плотно закрытыми. Ни в коем случае неугодная информация не должна просочиться наружу и получить огласку.

В ботсванской столице Габороне представитель «Де Бирс Ботсвана майнинг компани», под вывеской которой действует крупнейшая в капиталистическом мире алмазодобывающая корпорация ЮАР, целую неделю изучал мою просьбу о посещении шахты «Джваненг», а потом отказал без объяснения причины.

Однажды я заглянул в офис «Лонро» на Юнион-авеню в Хараре. Мне хотелось осмотреть принадлежащую компании золотоносную шахту, металлические конструкции которой хорошо видны из окна автомобиля, когда едешь по шоссе Хараре — Масвинго. Чиновник «Лонро», как и его коллега в Габороне, выдавил вежливую улыбку и развел руками, что означало примерно следующее:

— Весьма сожалею, но придется ограничиться изучением наших рекламных проспектов...

Все же я побывал на месте золотодобычи, и сие от «Лонро» уже никак не зависело. Это была экскурсия в прошлое, оставившее на зимбабвийской земле «зарубки» в виде опустевших штолен, которых насчитывается не менее тысячи.

Когда колонизация Зимбабве еще только начиналась, вокруг участков, распродававшихся созданной Родсом «Бритиш Саут Африка компани», вовсю кипели страсти «золотой лихорадки». Она сплетала в общий клубок лихие удачи, хитроумные комбинации и рухнувшие иллюзии. Напоминание о последних — в красноречивых названиях шахт, которые дали им владельцы: «Никакой надежды», «С меня хватит», «Надули».

Свыше полутораста шахт находятся в горном районе на востоке страны у границы с Мозамбиком. Они концентрируются вокруг города Мутаре. На языке маньика, живущих по обе стороны границы, слово «мутаре» означает «металл». Золотоносный песок, который задолго до европейцев просеивали здесь африканцы несколько столетий назад, становился крупицами драгоценного металла, оживавшего в руках ремесленников средневековых государственных образований — Великого Зимбабве и Мономотапы.

Из современного Мутаре, уютно устроившегося в чаше среди гор, еду в поселок Пенхалонга. Собственно говоря, никакого поселка нет, а есть несколько полуразвалившихся старомодных домишек и заколоченные витрины лавок на единственной улице.

Глядя на это сонное оцепенение, не можешь отрешиться от чувства, будто перед тобой декорация к фильму из жизни начала века. Фильм давно отсняли, режиссер вместе с оператором и артистами уехал, а декорацию забыли разобрать.

Когда-то концессия, полученная португальским аристократом графом Пенхалонга, считалась одной из самых многообещающих «золотых жил». Однако при тогдашних полукустарных методах (даже откачка воды составляла проблему) добычу золота зачастую прекращали до того, как шахта была полностью выработана.

Правда, Родезия знала период, когда старые штольни решили расконсервировать. После введения международных экономических санкций ООН она особенно нуждалась в золоте для тайных импортных сделок, и департамент шахт опубликовал список золотоносных участков с предложением к представителям белой общины «вспомнить старое». Родезийские газеты того времени на все лады расхваливали «патриотов», помогающих родине в трудный час.

Из пустынного поселка Пенхалонга дорога уползает в горы. На границе с Мозамбиком, обозначенной аркой, полустершаяся табличка напоминает, что именно в этом месте в 1891 году Сесиль Родс впервые ступил на землю страны, которую, как золотой самородок, преподнес королеве Виктории для украшения британской короны.

Украденная у своего народа, эта страна почти век оставалась Золушкой в собственном доме, и блеск ее богатств сиял другим. Они расхищали их, наживались на них, а пресытившись, безжалостно выкидывали прочь, как Пенхалонгу...

Сегодня зимбабвийцы начинают брать минеральные ресурсы на всеобщий учет. Зашла речь и о том, чтобы дать второе рождение старым шахтам, которые еще смогут послужить народу.

На государственном флаге Республики Зимбабве желтый цвет, символизирующий богатства недр, не случайно соседствует с красным, напоминающим о крови, пролитой в вооруженной борьбе за свободу.

Н'АНГА ВЫЗЫВАЕТ ДУХОВ

Напротив фешенебельного отеля «Мономотапа» в центре Хараре расположились на тротуаре молодые ребята. Как только к подъезду подкатывает запыленный дальней дорогой автобус с туристами и расторопные портье в коричневой униформе начинают выгружать чемоданы, ребята срываются с места и спешат к приезжим.

— Купите шахматы.

— Такого бегемота вы больше нигде не сыщете.

— Взгляните на этого крокодила... Отдам совсем недорого.

В руках у неунывающих коробейников — фигурки животных и целые композиции, в которых фантазия резчиков сдерживается разве лишь рациональным отношением к туристскому спросу. Стоит ли особенно стараться, если этим иностранцам все равно можно всучить скороспелые поделки из мыльного камня. Обрабатывается он легко, полируется и выглядит вполне солидно...

Скульпторы-самоучки в разных странах Африки давно усвоили закон коммерции, согласно которому спрос рождает предложение. Какими-то неведомыми и невидимыми путями этот закон и вывел на поверхность нивелированное под вкусы и потребности заезжей публики искусство, которое выплескивается на улицы африканских городов и поджидает путешественников у обочин шоссейных дорог, где на лотках или прямо под открытым небом выставляют товар умельцы.

Фантазия из камня

Есть, конечно, и настоящие мастера. Для таких самородков резьба по дереву или камню, которая постигается с детства и органична натуре африканца с его врожденными чувствами ритмики и пластичности, не просто ремесло.

Это потребность души и сердца. Своей магической силой талант затрагивает другие души и сердца, превращает мертвую материю в одушевленную, раздвигает границы мира, окружающего человека.

Так работают зимбабвийские скульпторы братья Такавира. Внешне они совершенно разные. Джон Такавира — широкой кости, с брюшком и лысиной, этакий добродушный увалень. Бернард — подтянуто-элегантный, сдержанный, как бы погруженный в себя.

— У нас и манера творчества разная,— говорит Джон, протягивая большую пухлую ладонь.— Видите, она расслабленная и мягкая. А сейчас?

Как по волшебству, ладонь на глазах становится тяжелой, свинцово-окаменевшей.

Мой собеседник доволен произведенным эффектом.

— Так и мы с младшим братом — антиподы. У него в скульптурах преобладают резкие, контрастные линии. В моих работах они более мягкие, плавные. Почему? Наверное, так по-разному чувствуют и воспринимают материал руки. Они — главное для мастера. Человек может остаться без ног, лишиться зрения и слуха, но покуда у него есть руки, он способен отличить чешую змеи от кожи женщины. Господь тоже действовал руками,— продолжает скульптор-философ и лукаво подмигивает.— Насколько я помню, в священном писании сказано, что он сотворил человека из праха земного. Ну а мы с братом обходимся серпентином.

— Не путайте его с мторолитом,— замечает Бернард, протягивая мне камешек изумрудного цвета.

Как я узнал, этот минерал нашли в 1967 году около городка Мторошанга (ныне Муторашанга). Отсюда и его название. Мторолит — единственный из группы колчеданов благодаря присутствию в нем хрома имеет, подобно изумруду, естественную зеленую окраску. Но из-за своей твердости он плохо поддается обработке. И все-таки зимбабвийские ремесленники научились делать из него серьги, кольца и другие украшения.

Если месторождение мторолита в Зимбабве — одно-единственное, то серпентин встречается довольно часто. Заготовки братья делают в родной деревне Чивеше, в ста километрах от Хараре. Скульптор всегда должен рубить камень сам, считают они. После этого можно приступать к ваянию. Конечно, необходимо вдохновение. Без этого холодный темно-зеленый серпентин не станет ни человеческим лицом, ни абстрактной скульптурой.

Могут возразить: а как же композиции, созданные самой природой без участия человека?

В Хараре есть удивительное место — целая скульптурная галерея под открытым небом. Это так называемые балансирующие камни.

Самый известный экспонат, тиражированный глянцевыми открытками и туристскими проспектами, состоит из двух многотонных глыб. Одна из них вопреки всем законам физики лишь краешком оперлась на массивное основание другой и, как цирковой акробат, застыла в неподвижной стойке.

Гуляешь по заросшему травой полю — и перед тобой возникают то слон, то человеческая голова. Впрочем, каж-

дый волен видеть в гранитных валунах что пожелает.

Но, несмотря на схожесть с «настоящими» скульптурами, воспринимаешь это зрелище все-таки как забавный каприз природы, случайность в закономерности тех геологических процессов, которыми были сотворены харарские каменные «изваяния».

Подлинный трепет и волнение, эстетическое наслаждение от прикосновения к прекрасному может вызвать лишь скульптура, в которой бьется пульс создавшего ее мастера.

Каким чудом рождается произведение искусства, которое живет потом собственной жизнью? Братья Такавира пожимают плечами. Их самих никто специально ваянию не обучал.

В деревушке Чивеше, где жила многодетная крестьянская семья, мать подрабатывала тем, что лепила горшки. Это и были «университеты» Джона и Бернарда. О том, что они станут скульпторами-профессионалами, не думали, да и надо было зарабатывать на пропитание.

Как это часто бывает, помог случай, вернее, печальное происшествие. Джон, переселившийся с родителями на восток страны, в Иньянгу, служил в лавке. Однажды хозяин обвинил его в краже пачки сигарет и выгнал. Плача от незаслуженной обиды, Джон долго бродил по округе среди поросших зеленью холмов. Неожиданно он увидел кусок породы, привлекший его внимание.

Дома в темном углу юноша долго обрабатывал мыльный камень, пока на него не глянуло морщинистое лицо старика. Джон пошел в местную художественную галерею и показал свое первое произведение директору. Тот, не раздумывая, протянул деньги.

Глядя на старшего брата, занялся скульптурой и Бернард. С тех пор ими созданы сотни фигур и композиций. К обоим пришло признание не только в Зимбабве, но и за пределами Африки. Работы Джона Такавиры выставлялись в Лондоне, Париже, Нью-Йорке.

Разумеется, они есть в Национальной галерее Хараре. Джон считает своей лучшей вещью небольшую по размеру женскую фигуру. Но можно с ним и поспорить. Необычайно пластичны и выразительны его «Рождение человека», «Удивление», вариации сидящих, спящих, играющих бабуинов.

Джон Такавира мечтает создать монументальную скульптуру, для которой присмотрел огромную многотонную глыбу серпентина в окрестностях Чивеше.

— Как ты ее увезешь оттуда?

— Зачем сейчас думать об этом! Пусть сначала камень оживет. Так часто говорил Марига.

Я знаю, что Иорам Марига для Джона — непревзойденный авторитет. Этот скульптор-самоучка из Мутаре считается основателем целого направления искусства резьбы по камню в Восточном Зимбабве.

Его работы еще в начале семидесятых годов увидела художница Пэт Пиерс. Она сразу оценила самобытное дарование молодого человека. Но вскоре родезийские власти арестовали Пиерс по обвинению в помощи партизанам ЗАНУ и выслали из страны.

Куратор картинной галереи в Мутаре взялся было заниматься с самодеятельными скульпторами и дал им задание: скопировать вазу, которая была изображена на цветной иллюстрации в лондонском журнале. Ученики задание выполнили, но больше заниматься не пришли. Их понимание мира, основанное на африканских верованиях и традициях, инстинктивно отвергало механическое подражание западным образцам. Они хотели создавать свое, черпать сюжеты и образы из близкой и понятной им жизни народа.

Независимость дала простор не только для поиска форм самовыражения. Резчики, гончары, ткачи, мастера плетения начали искать новые формы организации самого труда, чтобы не просто зарабатывать на жизнь, но и общаться друг с другом в атмосфере творчества и взаимного контроля.

— В идеале каждая вещь должна быть подлинным произведением искусства,— сказал мне Давид Мутаса, организатор художественной студии на кооперативных началах.

Приезжая в Хараре, я непременно заглядывал в небольшое помещение, которое студия арендует у музыкального колледжа. Ровесница республики, она открылась в апреле 1980 года. Вступительный взнос определили тогда в один доллар. Столько же каждый из членов кооператива платит ежемесячно.

В стенах студии работают скульпторы, живописцы, гончары, ткачи, умельцы, плетущие корзины. Каждый сам определяет стоимость своего труда. После этого готовые изделия смотрит выборный комитет из восьми человек. Если ни у кого нет возражений, вещь отправляют в магазин.

На все, что выходит из стен студии, установлена торговая наценка в тридцать процентов. Деньги идут на оплату помещения, транспорта, ведение бухгалтерии. Но и с такой наценкой продукция мастеров народного творчества выдерживает конкуренцию частников.

У выборного комитета не только хозяйственные функции. Он является и своеобразным заслоном на пути ширпотреба, который призваны вытеснить с зимбабвийского художественного рынка эта и подобные ей мастерские.

— Споры у нас бывают такие жаркие,— смеется Мутаса,— что соседи с испугом заглядывают в окна — не случилось ли чего. Но в конце концов расходимся мирно. Хотя на душе у того, кого раскритиковали и чью работу отвергли, конечно, не сладко. По себе знаю. Внутри кипит обида, даже злость, а остынешь, задумаешься, и появляется желание немедленно взяться за работу, показать, на что ты способен.

Глядишь, через некоторое время приходит парень с такой вещью, что дух захватывает — прямо в музей. Между прочим, в Национальной галерее выстав-

лены работы и членов нашего кооператива.

О себе Мутаса скромно умалчивает, хотя ему есть чем гордиться. Он автор памятников Неханде и Кагуви, торжественно открытых в июне 1984 года около здания парламента в Хараре.

Оковы суеверий

Неханда Ньякасикана и ее сподвижник Секуру Кагуви занимают особое место в истории сопротивления зимбабвийского народа колониальному угнетению.

После того как в середине девяностых годов прошлого столетия «Бритиш Саут Африка компани» расправилась с войском вождя народа ндебеле Лобенгулы и Родс уже считал покорение междуречья Замбези и Лимпопо законченным, на территории страны вспыхнуло восстание.

Из района Мазоэ, где жила Неханда, ее огненные проповеди с призывом не покоряться захватчикам, а сражаться с ними, не боясь смерти, зазвучали на всю Родезию. Это был призыв, обращенный к зезуру и каранга, маньика и ндау, корекоре и шангаан, ндеоеле и каланга.

Люди различных племен и народностей видели в Неханде свою заступницу и с почтительным уважением называли ее Амбуйя (Бабушка). Колонизаторы же считали Неханду прорицательницей-колдуньей, гипнотизирующей толпу.

Они не были оригинальны: еще средневековые инквизиторы отправляли на костер проповедников истины, в которых якобы вселился дьявол.

В Родезии до сожжения еретиков не дошли. Но когда в 1898 году Амбуйю и Кагуви схватили и привезли в Солсбери, их зверски пытали, а потом повесили.

— В тот день,— рассказывал мне сотрудник столичного университета Нгваби Бхебе,— колонисты устраивали шумные пирушки и шли в церковь, чтобы воздать хвалу всевышнему, избавившему их от напасти. А когда эти события стали историей, их приспособили к потребностям пропаганды. В школе,— продолжал мой собеседник,— ученики должны были зубрить подробности из жизни Древнего Египта. Но в учебниках наша собственная страна, где мы родились, словно бы и не существовала. Она «начиналась» с появления европейских поселенцев. Коренных жителей изображали безликой массой дикарей, полностью находившихся во власти суеверий и предрассудков.

Бхебе подошел к полке и снял с нее книжку, по которой его когда-то учили.

— Вот как здесь написано про антиколониальное восстание народов шона и ндебеле: «Африканцы считали, что восстание произошло по приказанию духов предков. Разочарованные поражением, туземцы начали переходить в христианскую веру».

Он поставил книжку на место и долго ходил по кабинету, все не мог успокоиться:

— Послушать людей, писавших это, получается, что христианство стало для африканцев спасительной благодатью. Но разве в Зимбабве да и в других странах Африки церковь не отождествляла себя лишь с западной культурой и идеологией, рассматривая воззрения африканцев как варварское язычество? Нас обвиняли в варварстве, а сами использовали слово божье, чтобы держать людей в темноте и невежестве, как это и сегодня пытаются делать религиозные фанатики вроде апостолов Масове.

Зимбабвийские газеты много писали об этой секте в связи со смертельными случаями заболевания корью из-за отказа сектантов вакцинировать своих детей.

Кто же такой Масове? Рассказывают, что он сапожничал в городе Русапе, пока однажды не впал в транс. Ему привиделись два человека — молодой и старый, которые якобы сообщили ему, что он божий избранник и должен обращать в свою веру других. После смерти Масове, известного также под именем Баба Иохане, ему воздвигли своеобразный пантеон на холме. Туда ведут пятьсот крутых ступенек. Тот, кто поднимается по ним, видит перед собой выкрашенную в белый цвет хижину. Внутри ее находится кровать. В полутьме мерцают свечи. Они отбрасывают блики на лица одетых в белое «сестер», несущих постоянный караул и молящихся. О чем?

Оказывается, их вера запрещает членам секты обращаться к врачам и учить детей в школах. Когда многолетняя засуха и недостаток воды привели к инфекционным заболеваниям, в удаленные деревни на востоке страны, где действует секта, направились группы врачей-эпидемиологов.

Тогда старейшины секты собрали всех, кому были сделаны прививки, и велели им очиститься молитвами от «греха».

— Заметьте,— размышлял вслух Бхебе,— в Родезии секту не притесняли. В этом была своя логика. Колонизаторы прекрасно понимали, что для них апостолы типа Баба Иохане, призывавшие к смирению, куда менее опасны, чем тени умерших, которых Неханда вызывала, чтобы они помогли в освободительной борьбе. Возглавленное ею восстание, конечно же, произошло не по «приказу» духов. Оно было стихийным проявлением отчаяния и гнева. Нас лишили земли и хотели лишить обычаев и традиций, в том числе священного обычая поклонения духам усопших. Взывая к ним, Неханда пробуждала чувства патриотизма и самобытности и справедливо удостоилась бронзового монумента в свободном Зимбабве. Никто не собирается отрицать, что многие обряды давно уже стали анахронизмом,— продолжал он.— Когда-то их породило слепое поклонение потусторонним силам, чувство незащищенности перед такими явлениями природы, как землетрясение или засуха. Питательной средой для культивирования невежества и суеверий служили при колонизаторах нищета миллионов людей на племенных землях, отсутствие медицинской помощи. Не будь

этого, разве мог бы получить такое распространение институт традиционных колдунов-врачевателей?! Как, вы не посетили еще ни одного н'анги? Заболит зуб, быстро разыщете. Заодно и посмотрите, как «работает» колдун.

...И слышится рокот тамтамов

Дорога на Иньянгу — это непрерывный подъем, заставляющий автомобильный мотор натужно рычать, напрягая все свои «лошадиные» силы.

С каждым новым километром нависшие по обеим сторонам шоссе горы, прожорливо втягивающие его в свое чрево, становятся все круче. И вот перед глазами вместо акварельной нежности изумрудных склонов, давших приют кофейным и чайным плантациям, открывается панорама коричнево-серых скал, за которые цепляются облака.

Здесь проходит восточная граница Зимбабве. Горы на горизонте — это уже мозамбикская провинция Маника.

Королева горных вершин Иньянгани имеет высоту две тысячи пятьсот девяносто шесть метров. Соседние горы ниже. Но и они требуют сноровки для тех, кто хочет подобраться к ним поближе. Иньянга и протянувшиеся цепочкой к югу от нее две другие гряды — Вумба и Чиманимани — туристский рай, куда приезжают поудить форель в журчащих среди скал прозрачных ручьях, насладиться пьянящим ароматом сосновых и эвкалиптовых лесов.

Под стать пиршеству природы великолепно вписавшиеся в ее естественные интерьеры отели, напоминающие феодальные замки. Такой замок был в конце прошлого века резиденцией Родса, который владел здесь обширными земельными угодьями. Теперь это национальный парк Иньянга. На его территории, занимающей около тридцати тысяч гектаров, со времен королевства Мономотапы сохранились остатки каменных построек, искусственных террас и ирригационных сооружений. Особый интерес археологов вызывают «ямы рабов», подобных которым, пожалуй, не сыщешь нигде больше в Африке.

Представьте себе вырытую на горном склоне яму глубиной два с половиной метра и шириной около шести. Вымощенный камнем пол имеет легкий наклон для водостока. Попадали туда через лаз, имевший сверху настил из плоских камней. Вокруг ямы на холме ставились хижины. Самая большая, принадлежавшая вождю, находилась непосредственно над входом в туннель, по которому свободно мог пройти человек.

С какой целью строились эти погреба? Родс думал, что в ямах невольники ожидали отправки на побережье Индийского океана, откуда их увозили в трюмах кораблей. Позднее ученые выдвинули другие гипотезы, хотя название «ямы рабов» осталось.

По мнению некоторых археологов, стоки, которые делались в бункерах, указывают на то, что их использовали как хранилища зерна.

Вероятнее всего, считают другие, в такие ямы загоняли скот, где он был защищен темнотой от губительной мухи цеце. В пользу такого предположения говорят и сохранившиеся кое-где в туннелях деревянные столбы, служившие своеобразной сигнализацией на случай проникновения ночных похитителей в подземные загоны — матанга эпаси, как их называют маньика.

Посредине туннеля вбивался деревянный столб. Животное не могло выйти, не задев его. В свою очередь столб через пол в хижине над ямой соединялся с изголовьем примитивного ложа, на котором спал хозяин, и «подавал» знак тревоги.

Для защиты от неприятеля служили укрепления с бойницами, сложенными из грубо обтесанных камней. Я заглянул в одиу из них. Обзор через узкую щель с неровными краями оказался никудышным. Сопровождавший меня гид пояснил, что во время отражения нападения через бойницы просовывались колья с крючьями, чтобы таким путем «захватить» противника.

Последние обитатели горных склонов ушли отсюда приблизительно сто лет назад, оставив после себя не разгаданную до конца загадку каменных ям и поверья о добрых и злых духах, населяющих Мутаранданду — Суровую горную страну.

Одно из поверий связано с горой Тшиньякверембе, что переводится как «Место усталых ног».

...Однажды в деревню, которая находилась на склоне горы, забрел незнакомец. Он был стар, голоден и дрожал от холода. Никто не обогрел и не накормил старика, над ним потешались и оставили под открытым небом. Лишь одна женщина пожалела путника, догнала на горной тропинке и сунула в руку лепешку. В благодарность за это незнакомец открыл ей тайну. Он вовсе не нищий старик, а могущественный дух, посланный предками, чтобы проверить, правда ли, что жители деревни забыли о них и живут каждый сам по себе. Теперь в этом нет сомнения, и всех отступников ждет кара.

Перепуганная женщина возвратилась обратно и рассказала о том, что узнала. Однако ей не поверили. В отчаянии она пошла куда глаза глядят и бродила до захода солнца. В тот самый момент, когда краешек его скрылся за ближайшей горой, сверкнула молния и страшный удар грома будто надвое расколол землю. Женщина бросилась обратно в деревню. Ей открылась страшная картина: на том месте, где стояли дома, громоздились обрушившиеся сверху огромные валуны.

В деревнях Маньикаленда и сегодня можно услышать рассказы о грешниках, замурованных в подземном склепе. Говорят, что сырыми туманными ночами они бьют в тамтамы, напоминая о себе, а ветер разносит глухой рокот как предостережение живущим, чтобы те чтили и поминали духов предков.

Мудрые духи не оставили людей одних. Они предусмотрительно выбрали посредника, к которому люди могли обращаться за советом и помощью. Это был властелин горной вершины Саньянга, прославившийся как лекарь, якобы умевший заговаривать любой недуг. От его имени пошло название горного хребта Иньянга и поселения. Саньянга считается родоначальником всех других н'анга, живущих в стране, в том числе и официально зарегистрированных.

Короткое объявление в газете «Геральд» гласило: «В Масвинго созывается первый фестиваль ЗИНАТХЛА». Так сокращенно именуется Зимбабвийская национальная ассоциация традиционных врачевателей, в которой состоит восемь тысяч человек. Ее президент Гордон Чивундука — профессор университета Зимбабве.

— Не удивляйтесь такому совмещению должностей,— сказал он мне.— Я — убежденный сторонник широкого использования народной медицины, в том числе траволечения. Это особенно важно для стран Африки, где ощущается острая нехватка врачей и больничных коек. Если хотите,— продолжал профессор,— создание нашей ассоциации сразу же после провозглашения независимости было своеобразной реакцией на притеснение в Родезии деревенских лекарей. Но других африканцы почти не знали. Прекрасно оборудованные клиники и больницы колонизаторы строили для себя.

Сегодня расовая сегрегация отменена, и все могут одинаково пользоваться медицинской помощью. Однако должно пройти время, прежде чем исчезнет невидимый психологический барьер на пути жителя глухой деревушки в городскую больницу. В знахаря верили его отцы и деды, и он тоже верит ему, а не ученым людям в белых халатах.

Одна из главных задач ЗИНАТХЛА — провести классификацию целебных средств и составить описание методов лечения различных заболеваний, практикуемых деревенскими врачевателями. Известно, что перед родами женщине дают выпить настой из коры мусасы, чтобы облегчить боль. Толченые листья этого дерева помогают при загноении ран. Так что врачам есть чему поучиться у знахарей.

Я не стал полемизировать с профессором, особенно с его последним запальчивым утверждением. Дискуссии о роли традиционной медицины и ее взаимоотношениях с классической — дело специалистов. Но деятельность деревенских знахарей помимо чисто медицинского аспекта имеет еще социально-политический, и он не столь безобиден, как может показаться на первый взгляд.

В той же газете «Геральд» я прочитал через несколько дней, что фестиваль в Масвинго, куда съехались врачеватели со всех концов страны, отменен по требованию министерства информации. Этот фестиваль, говорилось в заявлении местного отделения партии ЗАНУ-ПФ, мог стать «источником беспорядков среди определенных слоев населения». Эти слои все еще видят в знахарях-колдунах своих покровителей, чья магическая сила распространяется на всю деятельность человека и определяет его судьбу.

Лекарство от всего

Очередь к маленькому полуразвалившемуся сараю с крышей из рифленого железа и заколоченным окном выстроилась с раннего утра. Люди пришли на прием к Бингаре Тшума, о котором мне сказали, что он самый знаменитый н'анга в окрестностях Булавайо.

Толпа перед сараем довольно быстро уменьшалась — маг работал вполне оперативно. Но к тому моменту, когда настал мой черед шагнуть в полутьму, пропитанную каким-то странным терпким запахом, я успел вдоволь наслушаться самых невероятных историй про волшебную силу колдунов.

О том, как один н'анга воскресил сраженного молнией мальчика, другой помог изгнать злого духа, мешавшего рыбакам ловить рыбу, где ее всегда водилось вдоволь, третий заговорил женщину, вдруг начавшую расти и превратившуюся в великана, четвертый спас зрение фермеру, в которого плюнула смертельным ядом черная мамба, пятый... Впрочем, так можно продолжать долго, потому что у каждого был припасен для рассказа свой особый случай.

Самое любопытное заключалось в том, что фабула многих историй, как я узнал позднее, имела под собой определенную реальную основу. Но молва, вероятнее всего при активном участии самих колдунов, придала им характер чудес, якобы творимых этими посредниками между духами и обыкновенными смертными.

В Зимбабве за сезон дождей гибнет во время гроз около десяти человек, главным образом в гористых местах на востоке. Известен случай, когда неподалеку от Мутаре в хижину, где находилось два десятка человек, попала молния и всех их убила. Никакой н'анга, конечно, им не помог. Что же касается «воскрешенного» после удара молнии мальчика, то он был лишь оглушен и вскоре пришел в себя, а местный колдун ловко использовал это, чтобы продемонстрировать свое «волшебство».

Существует в Зимбабве и женщина-гигант, имеющая рост два метра шестнадцать сантиметров. Разыскали Милдрид Матопе — так ее зовут — журналисты. С тех пор в деревушку, где она живет, приезжают любопытные поглазеть на рекордсменку.

— Моя жена даже на меня смотрит свысока,— шутит ее муж Филипп.

У них трое детей, дружная семья. Никаких неудобств от своего роста Милдрид не ощущает. До нее доходили слухи, будто ее заговорил н'анга, но она сама деревенского колдуна никогда об этом не спрашивала. Если же духи дали ей такой рост, то им виднее.

Наверное, больше всего различных рассказов существует про змей, среди которых самой опасной считается черная мамба. Она-то и заползла в автомашину

фермера Кеннета Хемпсона, направлявшегося по проселочной дороге из Булавайо в городок Нкай у реки Шангани. Дело было так. Решив передохнуть, Хемпсон остановил машину у обочины и перекусил под развесистым манговым деревом. Возвратившись к автомобилю, он, к своему ужасу, увидел, что на заднем сиденье, свернувшись клубком, пригрелась змея. Быстро захлопнув дверцу, фермер стал размышлять, что же делать дальше.

На счастье, вдали показался грузовик. Когда он приблизился, фермер сделал знак рукой, и шофер затормозил. Фермер рассказал ему о происшествии, и вдвоем они решили проверить, находится ли змея по-прежнему в машине или выползла в открытое окно.

Хемпсон приоткрыл дверь. На заднем сиденье змеи не было. Он остановился в нерешительности. В тот же момент черная мамба, перекочевавшая к ветровому стеклу, сделала стойку, и струйка яда брызнула фермеру прямо в глаза.

Финал оказался бы плачевным, если бы шофер не схватил его за руку и не бросился вместе с ним к грузовику. Там в кузове сидела его жена, кормившая грудью ребенка. Фермера положили на землю, и она выдавила грудное молоко ему на глаза. Потом, в больнице, врачи сказали Хемпсону, что эта африканская женщина спасла ему зрение.

Он так и не узнал ее имени, а она сделала то, о чем слыхала от своей матери, потому что жизнь среди африканского буша дает много навыков и знаний, неизвестных городским жителям.

Если бы помощь понадобилась ей самой, молодая женщина, конечно, пошла бы к н'анге, потому что так принято. И этому тоже учила ее мать.

...Маленький сморщенный человечек в набедренной повязке, с амулетом на груди, увидев меня, приподнялся с табуретки, на которой сидел, и, видимо, в знак приветствия издал несколько гортанных звуков. Я попробовал заговорить с ним по-английски, но он отрицательно мотнул головой и продолжал стоять в выжидательной позе.

Я положил на земляной пол бумажку в десять зимбабвийских долларов (об этой таксе меня предупредили другие посетители) и ткнул себя в живот, постаравшись одновременно изобразить на лице гримасу боли. В ответ н'анга понимающе закивал и вдруг затрясся, как в лихорадке. Закатив глаза, он минуты две бормотал нечто нечленораздельное. Спектакль прекратился так же внезапно, как и начался. Знахарь повернулся ко мне спиной и откуда-то из темноты достал бутылку из-под пива, до горлышка заполненную жидкостью. Жестами объяснив, что нужно выпить этот отвар в один присест, н'анга умиротворенно погладил себя по животу. Это, по всей вероятности, следовало истолковать в том смысле, что болезнь моя не опасна и скоро пройдет. Полученное от колдуна лекарство я отдал моим зимбабвийским друзьям, которые помогли мне удовлетворить журналистское любопытство и взглянуть на «всамделишного» колдуна.

Конечно, для настоящего знакомства со знахарем нужно пожить в деревне, познакомиться с ним и завоевать его расположение. Тогда откроется многое, невидимое человеку «с улицы».

Один из знатоков верований народа шона, в том числе ритуалов, связанных с деятельностью колдунов,— ученый-этнограф Майкл Гельфанд. Он долгое время изучал эти верования и ритуалы в центральной и северо-восточной части страны, где живут зезуру, каранга и корекоре, написав об этом книгу «Религиозные верования шона». В ней немало зарисовок с натуры — из повседневной деревенской жизни.

Когда заболевает старший сын, отец отправляется к н'анге. Выслушав просителя и пробормотав заклинания, тот делает свое заключение. Раз юноша заболел, значит, сделать так разрешил злому духу умерший дедушка. Почему? Да потому, что перестали вспоминать о нем и исполнять его желания. Чтобы вылечить больного, нужно изгнать злого духа. Этим должен заняться уже другой н'анга, специализирующийся именно в данной области.

Запасшись нюхательным табаком, крестьянин опять отправляется в путь. Если новый н'анга дар принимает, значит, он готов заняться исцелением. Но прежде колдун бросает кости — хаката. Он что-то бормочет себе под нос и начинает складывать реквизит: пузырьки, мешочки с травами, черепки.

— Необходимо спешить, иначе сын умрет,— изрекает н'анга.— Пошли.

У больного жар, он в полузабытьи. Знахарь раздевает его и моет холодной водой. Лишь после этого можно приступать к делу. Быстрыми и ловкими движениями н'анга, в руке которого острый нож, наклоняется над постелью, где лежит юноша, и делает насечки на его лбу, шее, груди, запястьях, лодыжках и на спине. По приказу знахаря пациент встает на четвереньки и нагибается так, чтобы голова его касалась пола. Н'анга накрывает больного одеялом. Теперь тот должен дышать парами снадобий. Для этого деревянную миску, в которой приготовлено кипящее зелье, просовывают под одеяло. Знахарь выжидает минут десять — пятнадцать и торжественным голосом произносит:

— Ты, злой дух, изыди из юноши и исчезни из этой комнаты. Убирайся вон.

В руках у лекаря бычий хвост, которым он похлопывает по одеялу. Одеяло снимают, и больной садится на циновку. К этому времени согревается горшок с отваром. Н'анга смачивает в отваре бычий хвост и проводит по ногам юноши. Хвостом опрыскиваются пол и стены хижины. С зельем в руках н'анга выходит на улицу и выливает его перед порогом, приговаривая:

— Злой дух, убирайся отсюда. Я не желаю, чтобы ты появлялся снова.

Священнодействие продолжается. Знахарь просит у хозяина горсть зерна и

бросает в кипящий котел. Но прежде чем больной отведает отвара, он должен крепко сжать руки. Н'анга вместе со своим пациентом выходит во двор. Юноша поворачивается лицом сначала к востоку, потом к западу, к северу и, наконец, к югу. Злой дух изгнан отовсюду и больше не появится. Но чтобы закрепить исцеление, знахарь оставляет в хижине белый порошок, который отсыпает из мешочка, и вешает на шею юноше амулет. Все почтительно кланяются, а н'анга, выполнивший свою миссию, не оглядываясь, покидает хижину.

Больной иногда действительно выздоравливает, и тогда слава о волшебном искусстве врачевателя разносится по окрестным деревням, порождая рассказы вроде тех, что я слышал в очереди к магу из Булавайо. А если нет (такое случается значительно чаще)?

Что ж, значит, так повелели духи, и кто осмелится винить в этом н'ангу? Наоборот. Это он помог попасть усопшему на небо, откуда тот будет взирать на землю вместе с другими давно переселившимися туда предками.

Н'анга нужен при жизни, но и ритуал похорон не обходится без него. Вот как описывает этот обряд Майкл Гельфанд в своей книге.

Когда умирает глава семьи, зять или другой родственник, но обязательно мужского пола, бьет в барабан — нгома. Так о печальном событии оповещают соседей. Родственники и знакомые приносят семье умершего подарки: козу, домашнюю птицу, немного денег.

Похороны происходят рано утром или после четырех часов дня. Зять просит собравшихся принести по ветке дерева. Из веток делают носилки, и процессия направляется на окраину деревни. Там уже вырыта могила. Зять и его помощники медленно опускают носилки и кладут у изголовья деревянную дощечку — ндиро. Затем грудь и ноги покойника закрывают камнями.

Каждый из присутствующих на похоронах бросает в могилу горсть земли, после чего женщины уходят. Когда мужчины остаются одни, голову и верхнюю часть тела умершего закрывают большим камнем. Могилу засыпают землей, и все расходятся.

Родственники направляются в деревню, где устраивают поминки. Мясо заколотого накануне быка едят с садзой, а зятю, кроме того, полагается отдельное блюдо — говяжий язык. На следующее утро до восхода солнца близкие покойного снова направляются к могиле. Очень важно узнать, не находился ли рядом с ней кто-то ночью. Если следы есть, значит, необходимо идти к н'анге. Без его совета не обойтись. Как заведено, колдун будет что-то бормотать, бросать кости и варить зелье, разговаривая с духами предков...

А меня еще долго преследовал терпкий запах знахарского «кабинета» в окрестностях Булавайо, напоминавший о том, как причудливо сплетаются между собой в наши дни век нынешний и век минувший.

СВИДАНИЕ С ВЕЧНОСТЬЮ

Прокаленная зноем, дремотно-оцепенелая под монотонным покровом колючей травы и низкорослых кустарников, саванна кажется безжизненной и пустынной. Но если вглядеться внимательнее, прислушаться к звенящей тишине, которой окутано погруженное в себя буро-зеленое царство, оно откроется, как волшебный «сезам».

В этом царстве явственно осознаешь, что перед тобой Африка, какой она была сотни, тысячи, а может быть, сотни тысяч лет назад. И пусть цифры воспринимаются некоей абстракцией. Свидание с вечностью духовно очищает, чудесным образом отсекает все наносное и суетное, оставляя ни с чем не сравнимое чувство слитности с природой.

Вот посреди дороги расположилась компания бабуинов. Шум мотора заставляет их забраться на ветви ближайшего дерева, откуда они подают голоса. Слышатся явные нотки нетерпения. Дескать, проезжайте поскорее и не тревожьте нас.

Да, все здесь принадлежит им, подданным заповедного царства, именуемого Хванге. Это четырнадцать тысяч шестьсот двадцать квадратных километров территории национального парка, где обитают сто семь видов млекопитающих и четыреста один вид птиц.

Для посетителей открыта треть парка. Но этого вполне достаточно, чтобы днями колесить по нему, наблюдая бесконечные и никогда не повторяющиеся сцены. Их разыгрывают не по сценарию, а подчиняясь извечным инстинктам и обстоятельствам жизни в естественных условиях саванны. Сложнейшие взаимосвязи возникают, сплетаются, распадаются без всякого воздействия и вмешательства человека. Он в Хванге сторонний наблюдатель, которому положено держаться на определенной дистанции и видеть лишь небольшую частицу великого таинства.

Но, побывав здесь хотя бы раз, будешь всегда помнить об этом.

Ритуал у ворот

Хванге Русумбами был вождем племени намбья, одной из ветвей розви. Когда в первой половине прошлого века на юго-западе нынешнего Зимбабве появились ндебеле, они подчинили себе и это племя. Его земли стали местом королевской охоты вождя ндебеле Мзиликази, а потом его сына Лобенгулы. В этих краях добыл немало слоновых бивней известный охотник Селус.

Но славу Хванге принесли не охотничьи трофеи.

«Бритиш Саут Африка компани» торопилась начать промышленное освоение захваченной территории. Нанятые ею геологи регулярно посылали отчеты о проведенных изысканиях. Один из таких изыскателей, Альберт Гизе, услышал от местных жителей, что в зарослях саванны существуют «камни, которые горят».

Так, не ведая того, африканцы навели компанию на крупнейшее угольное месторождение в Африке.

Начало нового столетия совпало с возникновением шахтерского поселка, который колонисты стали называть Уанки, переиначив африканское Хванге на европейский лад.

Терриконы, стандартные постройки, висящий в воздухе и, кажется, никогда не исчезающий запах антрацитовой пыли — все это сделало угольную столицу страны обычным горняцким городком, каких много.

Появилась у него и своя печальная статистика катастроф. Самая крупная из них произошла в июне 1972 года, когда в результате нескольких взрывов под землей погибло 427 человек.

На их место без труда навербовали других безработных африканцев, а газеты Родезии постарались сделать все, чтобы трагедия забылась как можно скорее и не омрачала имени Уанки, столь популярного у туристов.

К этому времени национальный парк Уанки был уже широко известен. В 1928 году обширные пространства саванны к югу от железнодорожной линии, связывающей Булавайо и Викторию-Фолс, до границы с тогдашним Бечуаналендом (Ботсвана) объявили охотничьим резерватом. А 27 января 1950 года он был преобразован в национальный парк.

Вся история Хванге прошла на глазах Теда Дэвисона, который более тридцати лет являлся его директором и многое сделал для того, чтобы люди могли приезжать сюда. Это уже потом я поднимался на смотровые площадки у водопоев, которые были построены по его проекту, записывал рассказы лесников о повадках гиен, слушал голоса диковинных птиц...

А тогда, в жаркий апрельский день 1980 года, свернув с шоссе, я остановился у коттеджа неподалеку от въезда в парк.

По всему чувствовалось запустение и отсутствие хозяйского глаза. Да так оно и было. Во время национально-освободительной борьбы на территории парка происходили ожесточенные стычки партизан с карателями, а в последний период из-за военных действий он был закрыт, и в буше постреливали браконьеры.

Завидев подъехавшую автомашину, ко мне вышел молодой человек в шортах и рубашке с короткими рукавами.

— Вы наш первый посетитель, сэр, после провозглашения независимости, — приветствовал он меня.— К сожалению, не могу вас наградить от имени администрации памятным сувениром: туристский магазин на замке, как и весь комплекс «Сафари лодж» Раз уж вы сделали крюк, покатайтесь по парку. Может быть, вам повезет, хотя, честно говоря, сомневаюсь. Трава, видите, какая вымахала. Разглядеть в ней даже слона нетренированным глазом непросто. Слава богу, в Зимбабве теперь установился мир, и уверен — скоро здесь отбоя не будет от туристов. Так что милости просим!

Поблагодарив, я выехал, следуя указателям, на главную дорогу. По обеим ее сторонам сплошной стеной тянулись зеленые заросли. Служащий оказался прав. Напрасно бросал я взгляды то вправо, то влево. Саванна надежно укрывала своих обитателей.

Кроме пышной растительности, я так ничего и не увидел. Но мысль о том, чтобы приехать в Хванге «по-настоящему», не покидала меня. И наконец такая возможность представилась.

На сей раз я увидел то, ради чего и предпринимают путешествие в этот удивительный мир.

Знакомство начинается с ритуала, который необходим прежде всего для безопасности самих посетителей, а также спокойствия администрации, несущей ответственность за каждого, кто переступает границу парка.

У ворот в сторожевом помещении, где приобретают билеты на право въезда, дежурный с ружьем за спиной обязательно запишет в регистрационный журнал номер вашего автомобиля, фамилию водителя и количество пассажиров. Кроме того, он выяснит, собираетесь ли вы остаться на ночлег, и если да, то в каком лагере.

При выезде повторяется та же процедура. Только на сей раз в журнале помечается день и час, когда машина миновала пост.

Все это имеет свой смысл. Ведь и в заповеднике, где животные чувствуют себя как дома, а человек находится у них в гостях, может случиться всякое. Поэтому действует целый свод строгих правил посещения национальных парков.

Въезжать в Хванге или покидать автомобильную стоянку на его территории можно не раньше чем за полчаса до рассвета. Соответственно машина с туристами должна миновать сторожевой пост или быть на лагерной стоянке самое позднее через тридцать минут после захода солнца.

Если в течение часа по истечении контрольного срока обнаружится отсутствие автомобиля, объявляется тревога и специальная группа отправляется на поиски пропавших.

Бывает, что забывшие о времени и обо всем на свете посетители вынуждены потом смущенно извиняться за беспокойство, которое они причинили, и к тому же оплачивать стоимость розысков.

Но вот необходимые формальности соблюдены, охранник в фуражке с кокардой поднимает шлагбаум и берет под козырек.

Вас принимает в свое лоно великий Хванге.

В далекие времена здесь простиралась пустыня. И поныне под травяным покровом значительной части парка скрыты пески, которые уходят на сотни метров в глубину. Лишь в одном месте они выходят на поверхность в виде расположенных параллельно дюн, покрытых густой растительностью.

Расстояние между двумя дюнами — полтора километра, не больше и не меньше. Почему такое математическое постоянство? Это неразгаданная загадка Хванге.

Слоны придут к обеду

Эспланада туристского центра «Хванге сафари лодж» — зеленая лужайка, на которой переливается бирюзой прямоугольник бассейна. Вокруг расставлены столы под пестрыми зонтиками, дающими относительную прохладу.

Те, кто находится в гостинице уже день или два и чувствует себя старожилом, растянулись в шезлонгах у бассейна. Новички, которых доставили миниавтобусы, курсирующие между парком и аэропортом, пьют через соломинки шипучий напиток рок-шанди и, не теряя времени, деловито вглядываются в туманную дымку долины.

Рассказы о слонах, появляющихся у самых стен «Хванге сафари лодж», известны далеко за пределами парка.

— Они придут к обеду,— слышу я голос молодого человека в очках, который держит на руках девочку лет пяти. Рядом с ним стройная женщина с большими, выразительными глазами. Спрашиваю, откуда они. И муж и жена охотно вступают в беседу.

Он учитель начальной школы, она медицинская сестра. Живут в небольшом местечке Мазунга, на юге страны, неподалеку от реки Лимпопо. С собой взяли младшую, трое мальчиков остались дома с родственниками.

В Хванге семья впервые. Да и вообще, кто из африканцев путешествовал раньше по стране?!

До провозглашения независимости туризм был исключительной привилегией европейских поселенцев. Как бы молчаливо предполагалось, что прекрасные гостиницы, пляжи, кемпинги, клубы любителей рыбной ловли не для чернокожих.

Свобода принесла обыкновенному зимбабвийцу новое мироощущение, вызвала в нем желание узнать собственную страну и ее достопримечательности.

Сегодня в Зимбабве никого не удивишь тем, что семья из сельского района отправилась во время отпуска в национальный парк. А ведь раньше африканцы в Хванге были такой редкостью, что Тед Дэвисон в книге «Уанки» даже зафиксировал точную дату их первого здесь появления.

В июне 1958 года в дирекцию парка позвонил охранник и сообщил, что на полпути между Главным лагерем и кемпингом «Робинс» обнаружена машина, а в ней двое африканцев.

Они въехали по одной из проселочных дорог и заплутали. Вдобавок в автомобильном баке кончился бензин. Оба потом с нескрываемым ужасом рассказывали, что, когда они сидели в машине, совсем близко от нее прошел жираф.

Африканцы имеют куда меньше познаний о животном мире, нежели европейцы, бесстрастно констатировал автор книги, добавив такую колоритную деталь: даже многие рабочие в парке никогда не видели жирафа.

Дэвисон ни словом не обмолвился о том, как стал возможен этот печальный парадокс. Тогда пришлось бы написать, что его (и множество других!) породили условия жизни в Родезии, где многие африканцы рождались, росли и старились в трущобных предместьях. Эти гетто были социальной границей, отделявшей их от «белой» Родезии.

Стоит ли удивляться, что двое заблудившихся путников испугались жирафа, если от колдунов они наверняка не раз слышали истории про «свирепого хищника, поедающего людей».

— Смотрите, жираф! — восторженно захлопала в ладоши девочка на руках у отца.

Наверное, малышка узнала животное по глянцевым рекламным плакатам, украшающим «Хванге сафари лодж». Она уже понимает, что жирафа бояться не нужно.

Тем временем появившиеся из зарослей пятнистые великаны пересекли высохшее русло реки и направились в нашу сторону. Туристы, увешанные всевозможной аппаратурой, как по команде, вскинули телевики своих фотокамер. Но жирафы не захотели позировать. Они внезапно остановились и, развернувшись, устремились обратно в саванну.

Все мы любовались грациозными животными. Когда жираф ритмично и плавно ступает своими ногами-ходулями по земле, забываешь о его размерах. А ведь он самое высокое животное на нашей планете. Рост жирафа может достигать пяти с половиной метров!

Темные влажные глаза на узкой мордочке смотрят грустно и выразительно. Кажется, что жираф хочет что-то сказать, но не может. Так оно и есть: голосовой аппарат у него развит слабо.

Есть, правда, знатоки парка, которые утверждают, что слышали, как он «разговаривает». Мне рассказывали, что самка в состоянии тревоги или голодный жирафенок издают звуки, похожие на мычание теленка.

В компенсацию за «безголосье» жираф наделен прекрасным слухом и обонянием. Большие торчащие уши улавливают звуки, недоступные слуховому аппарату человека. А для того чтобы прокормиться, служит язык почти в полметра длиной.

Жираф пользуется им столь искусно, что без труда слизывает и отправляет в рот маленькие листочки с дерева, имеющего колючки, и при этом ухитряется не наколоть язык.

В Хванге жирафы живут небольшими группами, но встречаются и крупные стада, насчитывающие до двадцати пяти особей. Детеныши, как правило, появляются на свет во время сезона дождей — с января по апрель.

Забавно видеть дерущихся самцов. Однажды я наблюдал уморительную картину. Две «каланчи» схватились и в течение получаса бодали друг друга в бока и шею. Любопытно, что ни одна из

«высоких сторон» не использовала копыта, а они — грозное оружие при самозащите. Если на жирафа нападет лев, он отбивается от хищника, нанося ему удары передними ногами.

Из-за львов, которые бродят в поисках добычи, жирафы редко отдыхают лежа. Обычно это бывает в пик летней жары, когда разморенное зноем животное ложится куда-нибудь в тень под деревом. Встает жираф, отталкиваясь от земли задними ногами, по-коровьи, и в этот момент особенно уязвим для притаившегося врага.

Есть у него и друг, вернее, спутник жизни. Зовется он волоклюй.

Существует два вида этих пернатых: красноклювые и желтоклювые. Последние встречаются в парке настолько часто, что посетители попросту не обращают на них внимания. Между тем маленькая птичка заслуживает того, чтобы быть замеченной.

Начать с того, что дневная жизнь волоклюя связана с каким-нибудь животным. Он передвигается вместе с ним, ест и даже пьет у водопоя, не отлетая далеко. С наступлением темноты волоклюи перебираются на деревья. Гнездятся они в дуплах акаций, объеденных слонами. А с раннего утра снова становятся приживалками.

Предпочитают волоклюи жирафов, но выбирают себе в «хозяева» антилоп, бородавочников, носорогов, львов и даже слонов.

Я видел слона, на туловище которого пристроился волоклюй, делавший вид, будто отдыхает. Заниматься трапезой на слоновой спине небезопасно: того и гляди, махина достанет хоботом и смахнет непрошеного гостя...

Когда неподалеку от Хараре создавался парк Маклвейн, там не было волоклюев. В качестве эксперимента решили поймать несколько десятков экземпляров в Хванге и завезти их в новый парк.

Ловили этих маленьких птичек так: над ослом протянули сетку, к которой привязали силки из прочного конского волоса. Волоклюй садился на спину животного, начинал двигаться и попадал в ловушку.

Пленников, предназначавшихся к отправке, поместили в клетки, где они вели себя спокойно — ели мух, саранчу, кусочки мяса. Управляющий «Хванге сафари лодж» Гордон Маккормак рассказывал мне, что несколько раз открывал клетку, стоявшую у него дома. Если в это время были гости, птица пристраивалась к кому-нибудь на шею и запускала клюв в волосы, делая скребущие движения.

В парке Маклвейн волоклюи поначалу нашли свои «пары». Но зебры категорически отказывались принять «на постой» жильцов-переселенцев. Они пускались вскачь, валялись по земле, кусались. В конце концов волоклюи в Маклвейне почему-то не прижились. А в Хванге эти птички чувствуют себя в родной среде. Покровители их не трогают. Наверное, привыкли...

Слоны действительно пришли в тот день к обеду, как и предсказал учитель. Все повскакали с мест и фотографировали их до тех пор, покуда семейство, в котором были и детеныши, не прошествовало мимо нас в направлении Главного лагеря.

Всем своим видом слоны как бы говорили: «Мы не какие-нибудь там капризные попрыгунчики-жирафы и готовы вам позировать. Но сейчас, извините,— дела. Если хотите увидеть нас снова, приходите к водопою Ньямандлову. Не пожалеете!»

Под небом Африки

В период дождей животные рассредоточены по парку. С наступлением сухого сезона их поведение меняется. Теперь надо думать не только о том, чтобы добыть пищу, но и о том, чтобы разыскать источники воды.

В Хванге существует несколько котловин, даже в эти месяцы частично наполненных водой, содержащей соли и известь. Они вымываются из земли, которую выносят на поверхность термиты и грызуны. Интересно, что водоемы медленно и неуклонно расширяются и углубляются. Происходит это благодаря тому, что, купаясь и вываливаясь в грязи, животные уносят на себе в саванну значительное количество земли. Слоновья порция, например, составляет за год пять тонн!

Не такая уж большая по размеру — тридцать метров в диаметре — котловина Ньямандлову по справедливости считается самой примечательной в парке. Название это, согласно преданию, дал Мзиликази, которому очертания озера показались похожими на голову слона.

Там, где когда-то стоял вождь народа ндебеле, построена крытая соломенной крышей смотровая площадка. На ее месте прежде была платформа, державшаяся на деревянных опорах. Она предназначалась для небольшой группы из четырех-пяти человек, которые должны были занять свои наблюдательные позиции до захода солнца. Ночи в саванне бывают холодными, и с собой брали одеяла.

Громко разговаривать и курить на платформе строго-настрого возбранялось. А чтобы отбить человеческий запах, жгли сухой слоновий помет: этой хитростью издавна пользуются бушмены.

Лежать под одеялом на платформе, наверное, куда романтичнее, нежели подкатить на «лендровере» к самой террасе, где сразу несколько десятков человек с комфортом располагаются около барьера, как в театральной ложе. Но тут уж ничего не поделаешь. Технический прогресс коснулся и устройства смотровых площадок вроде Ньямандлову.

Водопой «работает» почти круглосуточно. Дневные его посетители — бородавочники, антилопы куду, лошадиные и черные антилопы. Гну и канны заглядывают сюда ночью и поутру. Но боль-

ие всего шансов увидеть животных перед закатом солнца.

...Из дальних зарослей показалось большое стадо слонов. Идут они уверенно — дорога известна,— оставляя за собой высокое облако пыли.

Крокодилы, до того дремавшие в воде, на всякий случай отползли в сторону. Поскакали прочь и пугливые импалы, застенчивые зебры. А слоны, сознавая свой приоритет, даже не повели ушами: водопои тоже имеют табель о рангах.

Это вовсе не означает, что слонам некого бояться. Они необычайно чувствительны к «запаху опасности», как назвал его Дэвисон в книге «Уанки». В височной части головы у слона имеется железа, выделяющая сильно пахнущее вещество — секрет. Обычно это происходит, когда животное испугано и раздражено. Но иногда можно видеть и спокойного слона с увлажненной «физиономией».

Выделение секрета служит прежде всего средством общения слонов между собой. С его помощью можно передавать собратьям информацию о радости, недовольстве и прочих эмоциях.

Когда слон пробирается через заросли, запах секрета остается своеобразным индикатором для других слонов в течение нескольких недель. Мне рассказали в парке любопытный случай.

У впадины Данга рабочие сооружали укрытие. В это время из буша вышел слон. Он услыхал стук топоров и немедленно повернул обратно. Час спустя, когда рабочие, закончив дело, расположились на отдых, к водопою направилось семейство из семи слонов. Подойдя к тому же самому месту, откуда незадолго перед тем ретировался слон-одиночка, они повторили его маневр. Оставленный им запах наверняка послужил группе своеобразным сигналом.

Железа функционирует лишь у взрослых животных. По возрасту слонов подразделяют на пять групп.

В первую входят детеныши, целиком и полностью зависимые от матери, которая их поит и кормит. Подрастая, слоненок переходит во вторую категорию — начинает добывать себе пищу самостоятельно и пьет хоботом.

Детство заканчивается примерно к семи годам, и слон вступает в третью фазу жизни — подростковую. Половое созревание у самок и самцов наступает соответственно в двенадцать — пятнадцать лет.

Период зрелости длится до тех пор, пока слоны не утрачивают способности к размножению. Это происходит, когда слону исполнится минимум полвека, а то и все пятьдесят пять.

Наконец, последняя, пятая, категория — старость. Ее границы в значительной степени зависят от того, насколько сточились зубы. Без них животное обречено на голодную смерть. Самому старому слону, которого видели в Хванге, было за семьдесят.

Век гигантов, пожалуй, короче человеческого. Но, подобно человеку, слона подстерегают на пути всякие неожиданности. Однажды в парке пришлось пристрелить слона: бедняга сломал ногу и был обречен на неподвижность.

В другой раз слониха наступила на верхушку поваленного дерева, и нога ее защемилась между двумя сучьями. Она повалилась на бок и никак не могла освободиться из примитивного капкана, оказавшегося для нее смертельным. Обстоятельства этой трагедии восстановили, обнаружив полуразложившуюся тушу. Пройдет время, и лишь едва заметное различие в цвете травы, удобренной перегноем, обозначит то место, где она лежала.

Как правило, бивней у павшего слона нет. Охотники за слоновой костью не заставляют себя долго ждать. Если их спросить, верят ли они в легенды о том, что где-то в африканских дебрях скрыты несметные сокровища слоновой кости, добытой столетия назад, бывалые люди лишь пожмут плечами.

Они-то хорошо знают, что слоновая кость, которая долго подвергается воздействию солнца и дождей, портится и теряет свою коммерческую цену. А цена «белого золота» на мировом рынке растет из года в год.

Но это уже другая история...

Пока мы стояли на смотровой площадке Ньямандлову, огненный шар солнца опускался все ниже. Поверхность воды в последний раз вспыхнула зеркальным отражением багряного заката и погасла.

В сумерках, неумолимо преследовавших отступающий день, я послал прощальный привет слонам.

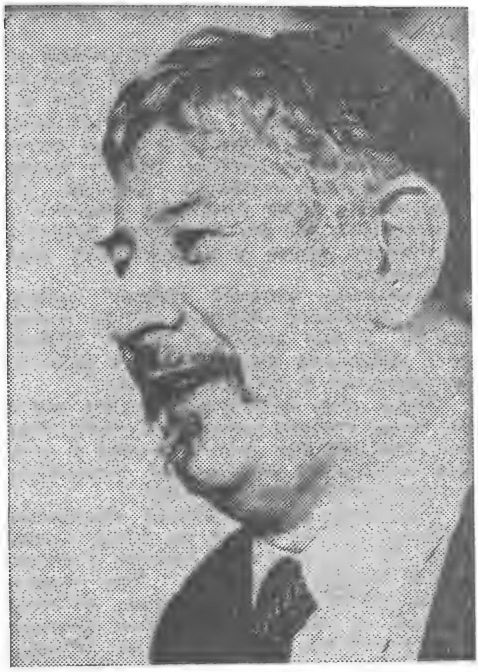
Не обращая ни на кого внимания, хозяева саванны купались, набирали в хобот воды и весело обливались, отдыхали и, наверное, вели между собой неторопливый мудрый разговор.

Оставим их.

Завтра, и послезавтра, и, хочется думать, всегда сюда будут приходить люди. И каждый раз заново, как озарение, их внезапно охватит будоражащее воображение и бестелесно ускользающее в своей прозрачной невесомости чувство соприкосновения с вечностью. А тем, кто испытал его однажды, остается грусть и благодарная память воспоминаний...

◆

Наши гости



Питер Устинов

(Великобритания)

Представлять гостя не пришлось: в редакции «Иностранной литературы» Питер Устинов не впервые. Но и в прошлый его визит в представлении нужды не было: писателя давно — и, казалось бы, в достаточной степени полно — представили его работы. Уже много лет не сходит со сцены Театра им. Моссовета пьеса «На полпути к вершине», пьесы «Фотофиниш»[1] и «Десятая Бетховена»[2] вызвали немалый интерес читателей, а роман «Крамнэгел»[3] стал для нас незаурядным сатирическим «открытием Америки». Сейчас в «Библиотеке журнала «Иностранная литература» готовится к изданию сборник рассказов Устинова. Знаем мы и Устинова-киноактера.

Но талант его неисчерпаем и проявляется в формах самых разнообразных. Питер Устинов еще и публицист, автор многих телевизионных работ, в которых дар повествования сочетается с острым оригинальным взглядом на исторические и современные проблемы, с умением непредвзято оценить неоднозначные события, отбросить стандартные и поверхностные оценки, пропагандистские клише и штампы.

[1] «Театр». 1967. № 2.
[2] «Современная драматургия», 1983, № 5.
[3] «ИЛ», 1981, № 8—10.

И сейчас гостя, который посетил редакцию уже как старый друг, с интересом расспрашивают о его новых работах: о книге «Моя Россия» и фильме, в основу которого эта книга легла.

— Да, да, снимаю по своей книге фильм. Поэтому и приехал. Где же еще снимать фильм о России, как не в самой России? География съемок обширна. Москва, Суздаль, Ленинград, Крым, Кавказ, Украина... В следующий раз — Сибирь, Дальний Восток, Находка... Большая у вас страна, и показать хочется как можно больше. Работаю с канадской телекомпанией. Я с ними уже снимал фильм о Ленинграде. Нам оказывают всестороннюю помощь советское телевидение и Министерство культуры. Чувство такое что нам открыты все двери. А работы много, очень много. Шесть часов экранного времени потребует этот фильм. Для телевидения немало, но ведь в шесть часов трудно уложить все, что хочется сказать о вашей стране. И о ее истории, и о ее культуре, и — самое главное — о людях ее сегодняшнего дня, о ее сегодняшней жизни.

Прошлое и настоящее страны связаны для меня неразрывно.

Меня часто спрашивают: «Почему «Моя Россия»? Почему не «Моя Америка», скажем?» Потому, что Россия занимает существенное место в этом мире. И не только географически. Потому, что моя Россия — это страна, сумевшая выразить себя столь многогранно, что заслуживает по меньшей мере нашего внимания. Потому, наконец, что о моей России мало что по-настоящему знают в моем мире, но многое путают и неверно представляют. А время требует строить мосты понимания, вместо того чтобы разрушать их. И я хочу — пока еще не поздно, пока не окостенели артерии, пока еще их не сковал склероз — влить в них свежую кровь понимания.

Название книге придумал издатель. Сначала оно показалось мне претенциозным, но потом я подумал: ведь для меня действительно существует моя собственная Россия. Я ее вижу не такой, какой видите вы, советские люди, и не такой, какой видят многие другие мои соотечественники. Я ее вижу по-своему. Да, это мое личное восприятие России. Но построено оно на многолетнем и глубоком знакомстве с ней, что позволяет мне, как я считаю, делать обоснованные и объективные выводы. О главном своем выводе я уже говорил не раз и скажу снова: я не боюсь России. Вот мое главное ощущение от долгого знакомства с ней. Не боюсь и не хочу, чтобы ею пугали мир. Это и несправедливо по отношению к России, и вредно для нас, да и попросту глупо.

Конечно, многое в вашей жизни у нас на Западе кажется непонятным. А непонятное рождает страх, который потом искусственно разжигается. Я же хочу помочь людям разобраться в том, что им непонятно или известно лишь поверхностно.

Когда я снимал материал для фильма в Волгограде, меня спросили русские: «Как вы относитесь к празднованию сорокалетия Победы?» Я прекрасно понимаю, что стояло за вопросом: ведь у нас многие недоуменно пожимают плечами — что это, мол, русские никак не угомонятся. Ну, была война, так давно же кончилась. Все примирились.

А у вас не могут понять этого безразличия к столь важному событию мировой истории. Поэтому мне и задали такой вопрос в Волгограде.

А Волгоград, заметьте, самое, пожалуй, подходящее место, чтобы задать такой вопрос.

И я ответил примерно так: когда мои американские друзья удивляются, что это русские то и дело поминают войну сорокалетней давности и до сих пор воздвигают памятники ее героям, я говорю им: если бы сорок лет назад захватчики, открыто объявившие своей целью стереть вас с лица земли, камня на камне не оставили от пятнадцати из пятидесяти ваших штатов и истребили около десяти процентов населения страны, вы бы сейчас намного лучше понимали русских и относились бы к той войне точно так же, как они, разве что памятников воздвигали больше и с гораздо большей помпой.

Для американцев та война была другой. И для жителей оккупированных Гитлером стран Западной Европы она тоже была другой. Да, она была для них кошмаром угнетения, унижения... Но она не была кошмаром повального уничтожения их домов и полей, кошмаром поголовного уничтожения их семей, кошмаром кровопролитных и ожесточенных четырехлетних сражений на огромном фронте, от исхода которых зависело, быть или не быть их народу.

Разность исторического опыта определяет разность оценок многих явлений сегодняшнего дня. Именно в этом я хочу помочь разобраться читателям моей книги. Война и отношение к ней сорок лет спустя — это одна из острых проблем, где сказывается разность оценок. Но с ней связаны и многие другие. Да, я не боюсь России и не хочу, чтобы ею пугали других. Но ведь пугают. Говорят, что Россия агрессивна, сверхвооружена и тому подобное. Но если вспомнить о том, какой для России была последняя война — в отличие от того, какой она была для нас,— какими мучительными были для нее войны и бесчисленные иностранные интервенции на протяжении всей истории, стоит ли удивляться, что Россия так печется о безопасности своих границ? А отсюда вытекает и следующая проблема: на Западе многие думают, что Россию можно впечатлить только демонстрацией силы, только нажимом. Но это, во-первых, ничего не даст, во-вторых, лишь ухудшит обстановку, а в-третьих, в этом вообще нет необходимости. Напротив, Западу следовало бы показать России отсутствие агрессивных намерений со своей стороны. Ведь за русскую историю намного больше русских солдат полегло в своей стране, защищая ее от иноземных захватчиков, чем за ее пределами. А кто еще из великих государств может сказать о себе это? Не надо нажима, не надо демонстрации силы. Надо показать, что мы и не боимся России, и не питаем к ней вражды, и готовы вместе работать. А работать с Россией не только нужно, но и можно. Причем хорошо работать. Я говорю это по собственному опыту.

Разумеется, ни в книге, ни в фильме я свою Россию не идеализирую. Я говорю и о ваших проблемах, да и разногласий у нас немало. У меня есть суждения, которые вы вряд ли разделили бы. Но вот что важно: в Советском Союзе, как и в любой иной стране мира, можно обрести добрых и верных друзей, спорить с ними, в чем-то соглашаться, в чем-то не соглашаться и все равно оставаться друзьями. Вот это и есть основная тема книги и фильма о моей России.

Чем меньше будет оставаться между нами непонятного, неизвестного и необсуждаемого, тем меньше будет оставаться страхов и опасений.

И надо уметь полагаться друг на друга. Вот вам хороший и очень для меня важный пример. Московский театр сатиры инсценировал опубликованный в вашем журнале мой роман «Крамнэгел». Я посмотрел спектакль только сейчас. И был искренне восхищен им. Авторы спектакля очень тонко уловили и воспроизвели атмосферу американского города, его общества, характеры его людей. Актеры игра-

ют американцев и англичан раскованно, естественно, непринужденно. И — что меня обрадовало больше всего — они поняли и передали на сцене то чувство, с которым я писал роман: чувство симпатии и любви к этим людям. Меня в свое время глубоко тронула рецензия на мой роман советского автора Владимира Николаева, где он отмечал, что в нем чувствуется любовь к людям, без которой не может быть настоящей сатиры. Вот это настроение романа и уловил очень точно театр.

А ведь на спектакль я шел не без боязни: мне говорили знакомые американцы, что на московской сцене мой роман превратился в пропаганду. Нет, я не думал, что мои советские коллеги сознательно исказят тему книги и ее звучание, но текст достаточно сложен, и, если к нему подойти поверхностно, его очень легко «пережать», превратить в карикатуру. Да и при самых лучших намерениях есть опасность не понять его ключ — нюансов очень много, я потому и писал не пьесу, а роман чтобы иметь больший простор для разъяснения этих нюансов. Сам бы я пьесу по этому роману писать не рискнул. И поэтому тем более восхищен мастерством труппы Театра сатиры, сумевшей так точно прочесть роман и так достоверно перевести его на сцену. Спектакль доставил мне огромное удовольствие, и я очень признателен театру.

И в заключение один маленький эпизод, как нельзя лучше характеризующий «мою Россию».

В Ясной Поляне мы снимали сцену фильма — диалог со Львом Толстым. (По ходу фильма я беру интервью у великих людей русской истории и даже у литературных героев.) Толстого играет великолепный актер Лев Дуров. Так вот, он ехал в машине уже в гриме. И на посту ГАИ недалеко от Тулы заглянувший в машину милиционер так и опешил: «Батюшки, Лев Толстой!» Когда мы возвращались в Москву, на этом посту нас встретила целая группа милиционеров — человек пятнадцать. Оказалось, постовой привел своих коллег взглянуть на «Толстого». Они ждали нас несколько часов и очень расстроились, узнав, что Толстой — Дуров уже проехал раньше.

Я подумал тогда: что, если бы нечто подобное случилось в другой стране?.. Ну, скажем, ехал бы по шоссе в Америке актер в гриме Твена и в машину заглянул шериф, шериф спросил бы: «Это что за «чайник»?» И, услышав в ответ: «Марк Твен», спросил бы тогда: «А это что еще за «чайник» такой — Марк Твен?»

Мне очень интересна «моя Россия» — страна, где постовой знает Толстого, а его коллегам не лень посмотреть на играющего Толстого популярного актера. И об этом тоже моя книга и мой фильм.

Запись беседы К. КАБАНОВОЙ

◆

Говорят советские издатели

Углубляя сотрудничество, расширяя круг чтения...

Со времени последней в Москве книжной выставки-ярмарки прошло два года. Те несколько осенних дней позволили заключить более ста контрактов и на экспорт и на импорт прав на перевод и издание произведений художественной литературы (без коммерческой лексики в этом разговоре, видно, не обойтись).

Сначала об экспорте. Книги советских писателей — М. Шолохова, Вс. Иванова, И. Эренбурга, К. Симонова, Б. Полевого, В. Шукшина, Н. Рубцова, Г. Маркова, А. Ананьева, Г. Бакланова, Е. Евтушенко, А. Лиханова, Э. Межелайтиса, В. Петросяна, Р. Рождественского и многих других — благодаря посредничеству издательства «Художественная литература» будут переведены и изданы в 20 странах — в братских социалистических, а также в Индии, Греции, Испании, Англии, Нидерландах...

Гордимся обращением М. А. Шолохова к болгарскому читателю, открывающим подготавливаемое в братской стране собрание сочинений. Болгарские коллеги, зная о давней дружбе издательства с великим писателем, обратились к нам с просьбой — просить его о таком вступлении. Он не отказался... «Буду рад,— писал М. А. Шолохов,— если и для новых поколений зарубежных читателей мои книги будут необходимы, будут полезны, будут приносить радость и удовлетворение от знакомства с моим народом, с моей литературой».

На этой же московской книжной ярмарке мы приобрели права на 26 произведений писателей самых разных стран Европы, Азии и Африки — советский читатель при посредничестве ИХЛ сможет расширить круг чтения.

Увы, процессу духовного общения, поощренному в Хельсинки, мешают. Лишь немногие издатели стран Западной Европы и США идут сегодня на сотрудничество с «Художественной литературой». Хочется думать, что такое положение дел — временное, что преграды,разделяющие людей и культуры разных народов, будут снесены.

Но пока во взаимоотношениях, к примеру, издателей США и ИХЛ нет никакой паритетности и взаимности. Приведем только один факт. Мы продолжаем участвовать совместно с другими издательствами в издании 45-томной «Библиотеки литературы США». В 1985—1986 годах будет издан том поэзии с произведениями великих Г. Лонгфелло и У. Уитмена, из прозы — «Подруга скорбящих» Н. Уэста, «Свидание в Самарре» и рассказы Дж. О'Хары, романы и рассказы Ф. С. Фицджеральда, а также «Уолден, или Жизнь в лесу» Г. Торо, морально-философские трактаты Р. Эмерсона. А имеет ли простой, как принято говорить, американский читатель возможность для аналогичного — целевого, систематизированного — знакомства с лучшими произведениями народов СССР за два века?..

Что касается взаимоотношений ИХЛ и издателей социалистических стран, то здесь широкое сотрудничество выражается в интенсивном обмене произведениями прозы, поэзии, публицистики, в совместных изданиях. Творческие, деловые, коммерческие связи с издательскими и книготорговыми организациями этих стран стали традиционными. Вслед за изданием «Библиотеки Победы», которую по взаимной договоренности готовили издательства братских социалистических стран, в том числе и наше, появилось новое — «Европейская поэзия». Эта библиотека включает лучшие образцы поэзии XX столетия. Интересная особенность — стихи печатаются на двух языках (в переводе и на языке оригинала). У нас уже вышли поэтические антологии Болгарии, Чехословакии и ГДР. Эти книги — тоже результат международного сотрудничества. Наше издательство заинтересовано в расширении «географии» участников этого издания. Завершились многотомные библиотеки литератур братских народов — от Болгарии и ГДР до далеких Монголии, Вьетнама и Кубы.

В 1985—1986 годах нашего читателя снова, уверен, ожидают интересные встречи с талантливыми произведениями многих писателей стран социалистического содружества. Обо всем не рассказать — потому лишь несколько примеров. Произведения болгарских писателей Н. Фурнаджиева и С. Хр. Караславова. Стихи венгра Л. Надя. Роман «Отцы» В. Бределя и книга литературоведа и критика К. Хёпке (ГДР). Сборник «Современная кубинская повесть» — произведения М. Коссио, Н. Наварро и М. Барнета. Двухтомник стихов лучших монгольских поэтов. Стихи В. Броневского и очередной том «Библиотеки польской литературы» — современная повесть. Роман «Конец века в Бухаресте» М. Садовяну, избранное З. Станку и сборник рассказов писателей СРР. Книги видных писателей ЧССР — рассказы и повести В. Шикулы и романы «Его называли Ячменек» и «Возвращение Ячменека» Ф. Кубки. Собрание сочинений Иво Андрича, двухтомник избранного (стихи и проза) Р. Зоговича и сборник юмора «Голова сахара» (Югославия). Выходили и выходят книги в переводе с албанского. Особо выделю том рассказов и очерков писателей

всех социалистических стран Европы, что вышел к 40-летию великой Победы над фашистской Германией.

...Альманах «Африка». Он еще молод. Ему всего 7 лет. Листаю оглавление очередного подготавливаемого на 1986 год выпуска — стихи, романы, рассказы, сказки, притчи, публицистика. Писатели 15 стран приглашены на его страницы — Нигерия, Конго и Мадагаскар, Гана, Острова Зеленого Мыса, Танзания и Кения, Сенегал, ЮАР...

Вдвое старше «Восточный альманах». В 1986 году он отдает свои страницы писателям Афганистана, Вьетнама, Монголии, КНДР, КНР, Ирана, Филиппин, Сирии, Ливана, Бирмы, Японии и других стран.

Надо сказать, что литература стран Азии и Африки представлена в ИХЛ не только альманахами. К 100-летию со дня рождения выдающегося японского писателя Дзюнъитиро Танидзаки мы подготовили двухтомник избранных произведений. Читателей ожидает встреча с хорошо известным в СССР турецким писателем, отважным борцом за мир А. Несином — в однотомник избранных произведений войдет сатирический роман «Король футбола» и рассказы, многие из которых переведены на русский язык впервые. А в книгу «Память. Современная китайская новелла» включены наиболее значительные произведения китайских писателей, созданные в жанре новеллы в течение последних десятилетий. Большинство новелл этого сборника на русском языке публикуется впервые. Выйдет в свет и новое издание романа «Тропою грома» П. Абрахамса (ЮАР), и сборник повестей двух сенегальских писательниц М. Ба и А. Соу Фалль.

В плане выпуска редакции литератур Испании, Португалии и Латинской Америки в эти два года — собрание сочинений бразильца Ж. Амаду, романы испанского писателя Э. Мендосы «Правда о деле Савольты», «Игра в классики» аргентинца Х. Кортасара, «Призовая лошадь» чилийца Ф. Алегрии, сборники рассказов колумбийца Л. де Грейффа, очередной выпуск альманаха «Латинская Америка» и т. д. Об антифашистской борьбе в Испании в 1936—1939 годах — поэтический сборник «Бессмертен подвиг ваш».

Как и всегда, в эти два года в ИХЛ будут широко представлены произведения писателей стран Западной Европы и США, Канады, Новой Зеландии, Австралии. Уже простое перечисление говорит само за себя: первые тома собрания сочинений У. Фолкнера и трехтомник избранных произведений Ф. С. Фицджеральда, двухтомники избранных произведений Г. Грина и Дж. Олдриджа, роман Алена-Фурнье «Большой Мольн», романы М. Кларка «Осужден пожизненно» и Ж. Сименона «Часовщик из Эвертона», новеллы Г. Броха, роман М. Пруста «Содом и Гоморра» (один из романов цикла «В поисках утраченного времени»), сборники новелл современных писателей Финляндии, Канады, антология «Поэзия Франции. XX век», антология «Поэты мира в борьбе за мир»...

В те дни, когда писались эти заметки, издательство получило сигнальный экземпляр весьма необычного издания. В названии — известный горьковский вопрос: «С кем вы, мастера культуры?» Отвечают на этот вопрос 70 выдающихся мастеров культуры: Горький, Шолохов, Рид, Барбюс, Гарсиа Лорка и Фучик, Кольцов и Фадеев, Манн, Шоу и Неруда, Гашек, Хемингуэй, Арагон и Брехт, Пристли и Леонов, Станев, Гарсиа Маркес, Рицос. Все эти писатели прошли сквозь труднейшие испытания: для одних это была первая мировая война, для других — схватка с фашизмом, самоотверженная борьба за мир в наши дни.

Значительную часть нашего плана составляют произведения мировой классики. За 55 лет своей деятельности издательство «Художественная литература» выпустило 2 миллиарда экземпляров книг — почти 17 тысяч названий. Больше половины — это классика. Четвертая часть из них — мировая.

Выпуск классики, понятно, продолжается. Собрания сочинений последних лет — Гёте, Гейне, Тагор, Теккерей, Дюма, Франс, Мао Дунь... Большим читательским спросом пользуется серия «Библиотека классики» и «Классики и современники». И тома библиотек «Древняя литература Востока», «Сокровища лирической поэзии» тоже не залеживаются в магазинах, хотя они скорее для ценителей-знатоков и для специалистов.

В 1985 и 1986 годах выйдут в свет новые тома десятитомных сочинений Бальзака и Диккенса, восьмитомник Голсуорси, заключительные — Сенкевича, Гашека и Цвейга, а также двухтомники А. Стриндберга и Эса де Кейроша, однотомники О. Уайльда, Г.-А. Беккера, Елина Пелина, романы «Кукла» и «Фараон» Б. Пруса, новеллы Ж. де Нерваля, сборник лучших произведений поэзии и прозы Ж. Д.'Арбо, «Поэзия немецких романтиков», стихи П. Ронсара и автора бессмертного «Интернационала» Э. Потье...

Каждое новое поколение испытывает чувство радостного изумления, прикасаясь к выдающимся творениям далекого прошлого, открывая их для себя. Мы продолжаем знакомить с этими произведениями наших читателей. В 1985—1986 годах в ИХЛ выйдет древнеиндийский эпос «Рамаяна», тамильская поэзия III—VI веков, андалусская — X—XI веков, «Записки о добрых деяниях и благородных сердцах» — замечательный памятник корейской литературы XVII—XVIII веков, классический китайский роман анонимного автора «Цветы сливы в золотой вазе, или Цзинь, Пин, Мэй» и тома приближающейся к завершению «Библиотеки античной литературы»—«Ораторы Греции», комедии Теренция и трагедии Сенеки. Читатель получит первые книги «Библиотеки Возрождения» — уверен, долгожданной.

Огромны планируемые тиражи книг Гомера, Данте, Гёте, Стендаля, Лондона, Джованьоли, Драйзера — и 300 тысяч экземпляров, и 500, и даже 700—750...

...Участие в международном книгообмене приносит радость и удовлетворение. Как не гордиться, что и орденоносное издательство «Художественная литература» вносит свою лепту в устойчивую — на протяжении уже нескольких десятилетий — строчку: «СССР на первом месте в мире по выпуску переводных книг».

В. ОСИПОВ,
директор издательства
«Художественная литература»

Среди книг

Издано в СССР

ХОСЕ СОЛЕР ПУИГ О СЕБЕ И О СВОИХ КНИГАХ

Кубинский писатель Хосе Солер Пуиг хорошо известен в нашей стране: на русский язык переведены три его романа: «Бертильон-166», «Крушение», «В год января» и «Ночной хлеб», изданный «Радугой» в 1984 году. Мы публикуем интервью Хосе Солера Пуига, которое взяла у него критик и переводчик Ю. Оболенская во время пребывания писателя в Советском Союзе.

— Революция принесла моей стране, кубинцам необходимые и долгожданные перемены, новую эпоху, свободу, счастье... А для меня как писателя она значит еще больше: если бы не революция, я никогда не стал бы писателем,— говорит Хосе Солер Пуиг.— Ведь мой первый роман был опубликован на Кубе уже после победы революции, а все мое творчество посвящено революции, моему народу.

— Расскажите, пожалуйста, о том, как появился ваш первый роман, как вы стали писателем?

— Профессиональным писателем я стал в сорок четыре года, но мечтал стать им всегда. Писать я начал еще подростком, правда, без особой надежды увидеть свои произведения опубликованными. Тогда я давал себе задания: например, писать по рассказу в день. Изредка мне казалось, что какой-то рассказ можно оставить, и я сохранял его «на будущее». Позже я пробовал посылать свои рассказы в журналы, но до революции журналы опубликовали всего несколько моих рассказов. Так шло до 1960 года; когда был издан «Бертильон-166», мне было уже сорок четыре года, и я считаю, что с той поры я и стал писателем.

— Первый же ваш роман был удостоен высшей премии «Дома Америк». Как у вас возникла мысль написать этот роман?

— Я дал почитать свои рассказы доктору Хосе Антонио Портуондо, и он-то и подал мне идею написать роман на основе этих рассказов. Я спорил, возражал, что романа из них не выйдет, но он уверял меня, что роман может получиться очень интересным. В конце концов я послушался его и написал этот роман о подготовке революционного восстания. Я писал «Бертильон-166» в обстановке борьбы, страшного террора, царившего тогда в Сантьяго, и, может быть, поэтому в нем есть то, что изумляет меня самого: в нем передана та атмосфера, которой я не смог воссоздать ни в одном моем последующем романе. Наверное, это удалось потому, что я сам был в гуще борьбы, был «пропитан» ею. В 1960 году был объявлен конкурс «Дома Америк», и Портуондо, который очень помог мне в работе над романом, посоветовал послать его на конкурс. Я отправил роман и — получил премию. Сейчас могу признать, что я несколько обманул жюри: дело в том, что в последний момент я вдруг узнал, что к конкурсу допускались произведения объемом более 200 страниц, а мой роман был короче — страниц 130, тогда я разыскал машинку с крупным шрифтом и «растянул» его.

— А как появились другие романы?

— Можно сказать, что я пишу не по вдохновению, а «по приказу». «Бертильон» был написан по приказу Портуондо, а уже следующий роман я приказал написать себе сам, так же было и с остальными романами. Причем мои книги всегда отражают мой собственный жизненный опыт, я пишу только о том, что сам хорошо знаю.

После «Бертильона» я написал «В год января» — признаюсь, что это моя наихудшая книга, хотя, работая над ней, я уделил много внимания ее стилю и хотел создать роман-«свидетельство». Потом был написан роман немного получше — «Крушение», потом «Ночной хлеб», «Большой дом», «Мир вокруг нас», последний из опубликованных роман «Узел», а сейчас я заканчиваю новый роман — «Одинокая душа».

— Вы уже знаете об успехе вашего романа «Ночной хлеб» у нас в стране, расскажите, пожалуйста, о нем поподробнее.

— Этот роман — биография моей семьи и собственная биография. Я написал о жизни нашей семьи в тяжелые времена диктатуры Мачадо, жестокой тирании, которую Куба терпела почти десять лет, и одновременно об ожесточенной борьбе против этой диктатуры. В то время я был подростком, но работал в пекарне. Помогая моему отцу, я учился печь хлеб — мне нравилась эта работа. Я проводил много времени с пекарями, и они сильно повлияли на формирование моей личности, на мой теперешний образ мыслей. Позже, в 1935

году, когда отец разорился, я стал разносчиком хлеба, потом агентом по страхованию, коммивояжером... Если бы я не работал в пекарне, мне бы, конечно, никогда не написать «Ночной хлеб», потому что надо видеть и знать, как он получается, этот хлеб...

— О чем ваш будущий роман?

— В «Одинокой душе» я хочу изобразить два года: 1934—1935, потому что в этот период в Сантьяго-де-Куба действовала антиимпериалистическая организация, которая называлась «Молодая Куба». Она была создана Антонио Гитерасом Ольмесом, выдающимся борцом, убитым позже Батистой. И затем я хочу показать дальнейшую жизнь персонажей «Ночного хлеба», то есть семьи Пердоме. Ведь эта семья — моя собственная семья...

— Героями ваших произведений становятся, как правило, реальные люди?

— Я действительно никогда не придумываю своих персонажей. За всю свою жизнь я придумал только одного героя — нищего, и только потому, что мне не довелось знать ни одного нищего, а для романа нужен был попрошайка. Мои герои — почти всегда люди, мне знакомые; крестьяне, мелкие буржуа, рабочие, мои родные, друзья. Меня привлекают простые люди, труженики, такие, как я сам. Я могу писать только о тех, кого хорошо знаю. Обычно я встречаюсь с людьми, которые потом станут моими персонажами, по четыре-пять раз, и наши беседы записываю на пленку — эти беседы длятся по многу часов. Уверяю вас, что в «Мире вещей» больше страниц, дословно воссоздающих эти беседы, чем придуманных мною.

— А какова «география» ваших романов?

— Это всегда Сантьяго-де-Куба, где я живу (за исключением нескольких лет, проведенных в Гаване). Это город, в котором я участвовал в революционной борьбе, где я своими глазами видел победу революции, город, в котором я начал писать...

— Как я поняла, ваши книги рождаются зачастую из бесед-интервью с будущими героями. Расскажите подробнее, как вы работаете над своими романами.

— Я вижу, вас заинтересовал мой метод. Я поясню его на примере романа «Мир вещей». Я задумал показать в романе сто лет борьбы. Первой моей собеседницей стала женщина, которой на следующий год должно было исполниться сто лет (она жива и сейчас, ей лет 105). У меня с ней было 15—20 бесед по два-три часа. Надо сказать, она любит поговорить — она очень бодра и жизнелюбива. Я записал на пленку все наши беседы, а позже взял еще десятки подобных интервью и несколько месяцев изучал их. И вот из этих интервью стали постепенно вырисовываться образы моего главного героя и других персонажей. Как я уже сказал, я ничего не придумываю, все беру из самой жизни. После того как я обдумаю все интервью и выберу персонажей, я приступаю к построению романа. До тех пор пока роман не будет закончен мысленно, не пишу ни строчки. А вот потом начинает рождаться роман. И никогда это не бывает тот роман, который я сочинял в воображении, а совершенно другой. И так каждый раз.

— В чем заключается, на ваш взгляд, роль литературы и писателя в современном обществе?

— Я думаю, что литература не в силах изменить жизнь. Я не претендую на то, чтобы человек, прочитав мои книги, изменился, я не стремлюсь никого учить. По-моему, единственное, что может книга, — помочь людям понять друг друга, понять жизнь. Труд писателя сродни труду инженера, строителя, любого человека, работающего для людей: строитель создает новый дом и улучшает жизнь людей, тем же самым занимается и писатель.

Романист изображает жизнь, а делать те или иные выводы — задача читателя. Другое дело — писатель-документалист: он может прямо и ясно выражать свою точку зрения и непосредственно влиять на читателя. Поэтому его роль в решении коренных проблем современности, таких, например, как борьба за мир, может быть очень значительна. Особенно ярко эта роль писателя-документалиста проявляется в советских произведениях.

— Но ведь художественное произведение, помогая людям понять и жизнь, и друг друга, тем самым влияет на человека и может способствовать формированию его личности, мировоззрения. Разве на вас не повлияли какие-либо прочитанные вами произведения, например книги ваших любимых писателей?

— Да, конечно. В юности я увлекался Хемингуэем, и его влияние на меня было велико в те годы, когда я начал писать. Повлияло на меня и творчество Томаса Манна. Позже я прочел много книг советских писателей, особенно меня поразили «Тихий Дон» Шолохова и «Мать» Горького.

— Можно ли говорить о влиянии советской литературы на современную кубинскую литературу?

— Конечно. Советская литература способствовала тому, что в произведениях наших писателей яснее зазвучала социальная позиция автора, углубилось их проникновение в действительность. Примером может послужить известный у вас роман Мануэля Лопеса Кофиньо «Последняя женщина и близкий бой», вдохновленный лучшими советскими романами.

— Говоря о писателях, чьи книги произвели на вас сильное впечатление, вы назвали Шолохова и Горького. Знакомы ли вы с творчеством других русских и советских писателей?

— Из русских писателей меня больше всего привлекают пять великих классиков — Толстой, Достоевский, Тургенев, Гоголь и Чехов, из советских, кроме уже названных Шолохова и Горького,— Константин Симонов, Борис Полевой. А самый мой любимый советский писатель Чингиз Айтматов.

— А вы помните свою первую русскую книгу?

— Конечно. Это было «Преступление и наказание» Достоевского, а из советских — «Мать» Горького. Позже я прочитал его

книгу «Мои университеты», я воспринимаю ее почти как документальную.

— Вы в нашей стране уже не первый раз. Что для вас как для писателя значат эти поездки?

— Здесь, в СССР, я чувствую себя как дома, мне кажется, что я вижу вокруг лица родных и друзей; то же выражение глаз, те же улыбки. Мне даже кажется, что быстрая речь москвичей и ленинградцев похожа на речь гаванцев или жителей Сантьяго. В каждый мой приезд сюда я поражаюсь грандиозным успехам и достижениям вашей страны. Вроде я был здесь совсем недавно, но нахожу все обновленным.

— Вы сказали, что заканчиваете новый роман, а каковы ваши планы на будущее?

— Пока не закончу этот роман, я не могу думать ни о каком другом. Надеюсь, это будет мой самый лучший роман, а будущий, конечно, еще лучше. Вообще я большой оптимист, надеюсь, что буду жить в XXI веке и продолжать писать...

ИТОГИ БОЛЬШИХ ОЖИДАНИЙ

Николай Анастасьев. Обновление традиции. Реализм XX века в противоборстве с модернизмом. Москва, «Советский писатель», 1984.

«...Столетие приближается к концу, и критическая мысль энергично осваивает его художественные накопления, стремится выявить его творческий облик»,— пишет автор этой книги. Перед нами, стало быть, еще одна попытка подведения литературных итогов нашего века.

Н. Анастасьев — известный специалист по зарубежной, преимущественно американской литературе, его книга посвящена главным образом писателям капиталистических стран. Почти все эти писатели учились и у русских классиков, многие из них отдавали должное таким явлениям советской литературы, как поэзия Маяковского и шолоховский «Тихий Дон», поэтому и наши писатели присутствуют в книге как ориентиры, но ее задача — выделить важнейшее в литературе «западного мира». Литературе или литературах? В данном случае речь идет о том, что при всех национальных особенностях стало достоянием общим.

Два основных вопроса стремится решить автор. Какие же писательские фигуры и произведения теперь, на исходе века, представляются важнейшими? Какова творческая природа этих явлений?

Первый вопрос интересен, надо думать, всякому читателю. Второй носит характер специальный: разве читателю не все равно, как называется у критиков стиль или направление? Однако любознательный читатель интересуется и специальными вопросами. Кроме того, читатель нередко бывает озадачен современной литературой. Раздумывая, с какого же конца подступиться к некоему чрезвычайно усложненному повествованию, он заглядывает в предисловия, примечания, ученые статьи. Правда, читатель, обращаясь к знатокам за помощью, тоже не всегда проясняет свои сомнения: произведения очевидно разные иногда определяются специалистами одинаково, и наоборот, родственные явления попадают почему-то в разные категории...

Н. Анастасьев сам постоянно выступает посредником между зарубежной литературой и нашими читателями. Зная о читательских недоумениях, он в своей книге придерживается установки на ясность — обоснованность и последовательность классификации.

«Концепция мира и человека» — надежный, избираемый Н. Анастасьевым критерий, позволяющий провести границу между различными творческими направлениями и методами. В данном случае, между реализмом — магистральной дорогой века, по определению автора, и его альтернативой — модернизмом. Отдельные признаки повествования или стиля для их разграничения, как Н. Анастасьев прекрасно понимает, недостаточны. Нет литературных приемов, которые бы являлись исключительной принадлежностью какого-то одного метода. Зачем реалисту отказываться от «потока сознания»? Почему модернист не может быть правдоподобен? И лишь концепция, объединяющая все усилия писателя, позволяет судить, реализм перед нами или же модернизм.

Что же их по существу разделяет? Н. Анастасьевым точно указан важнейший, хотя, казалось бы, малозаметный пункт. Надо не упустить, говорит он, причинно-следственных связей. Стимул всякого познания, в том числе художественного, заключается в стремлении постичь подоплеку происходящего. Иными словами, ответить на вопрос «почему?». Это «почему» не обязательно высказывается вслух, однако присутствует в произведении постоянно: почему он вдруг поднял голову? почему она его бросила и ушла к другому? почему они оба несчастны? Реалистическое произведение пронизано «почему» насквозь — от любого движения персонажа до построения всего сюжета, на каждом повествовательном шагу писатель-реалист ставит этот вопрос и организует наше внимание. Модернист от такого вопроса отказывается. Точнее, хочет убедить нас в тщетности подобного вопроса.

«Верность правде жизни», которую Н. Анастасьев видит у реалистов, складывается на основе убеждения в наличии и познаваемости правды. Правда, с точки зрения писателей-реалистов, может быть близкой и отдаленной, может представляться недостижимой, и все же она есть, ее надо искать. А модернизм — это кризис познания. Для модерниста правды нет, причинно-следственная связь явлений от нас скрыта. Тот же взгляд в окно или разрыв любящих сердец могут быть изображены у модерниста с величайшей тщательностью, однако лишь для того, чтобы горько посмеяться над видимой мотивированностью происходящего. Речь идет, понятно, не об иронии и парадоксе, вполне доступных реализму, но о конечном, безнадежном неверии во всякое «почему».

Нельзя сказать, как иногда говорится, будто модернисты отворачиваются от «внешнего мира» и отрекаются от «веры в человека». Высокоодаренные модернисты,

например Джойс, о котором Н. Анастасьев пишет, всматривались в жизнь с неустанным напряжением, а человек служил им (в том числе и Камю) последней ставкой. Не жалея сил и буквально не щадя живота своего, они искали средства для изображения мира внешнего и внутреннего — все новые, более результативные средства. И серьезный, что называется, умный модернизм, конечно же, умнее реализма поверхностного, внешнеописательного, по выражению Вирджинии Вулф, о которой в свою очередь говорится на страницах книги Н. Анастасьева. Но чем пристальнее всматривается писатель с позиции модернизма в мир, тем мрачнее становится его взгляд: мир — абсурд, человеку остается, держась до последнего и по возможности не теряя своего достоинства, идти ко дну. Таков именно серьезный, концептуальный модернизм, который, как отмечает Н. Анастасьев, дал на протяжении века свою классику.

Граница между реализмом и модернизмом, проведенная Н. Анастасьевым, однако, подчас теряется из виду, когда он дает разбор произведений — подробный и обстоятельный. Разумеется, граница иногда в самом деле трудно различима: на многих западноевропейских и американских писателей модернизм оказал сильное влияние,— но по крайней мере попробуем на примере книги Н. Анастасьева установить, в чем основная трудность разграничений. Разве мы не можем разобраться в оттенках и отличить исторический пессимизм от убеждения в познаваемости мира? Затрудняемся определить характер какого-то повествования?

Например, Н. Анастасьев пишет: «А тот же Фолкнер, положим, *формально* очень близок Джойсу. И если удастся показать, что при этом он *позиционно*, творчески ему противостоит, это послужит лишним доказательством в пользу внутренней гибкости и многообразия реализма в искусстве и опять-таки позволит прояснить многие существенные моменты в его историческом движении».

«Если удастся»...— целую главу Н. Анастасьев посвящает Фолкнеру, и, как читатель его книги, могу сказать: ему удалось многое разъяснить в Фолкнере, удалось расположить меня к Фолкнеру, но убедить, что Фолкнер противостоит Джойсу,— нет. Что Фолкнер отличается, при всем сходстве, от Джойса — кто же с этим станет спорить? Но именно противостояния между ними, несмотря на все аналитические усилия Н. Анастасьева, я так и не увидел. Нет сомнения, Фолкнер отталкивается от Джойса и других старших модернистов; будучи от них творчески зависим, он действительно хотел противостоять им, но удалась ли ему вполне его отчаянная попытка — вот вопрос.

Конечно, Н. Анастасьев старается не впасть в ту ошибку, которая у американских критиков называется «завышением замысла» (когда намерение принимается за исполнение). Нет, Н. Анастасьев тщательно разбирает, как замыслы писателя воплотились в его произведениях. Он делает это на материале книг Генри Джеймса и Джозефа Конрада, Шервуда Андерсона и того же Фолкнера. Эти разборы, как я уже сказал, многое проясняют, однако мои основные сомнения остаются.

«Цели своей он достигает»,— к такому выводу пришел Н. Анастасьев после анализа одного из романов Генри Джеймса, имея в виду, что благодаря изощренным усилиям писателя перед нами возник «образ пустоты». И — я перестаю понимать смысл понятия «образ». А когда Н. Анастасьев говорит, что у Шервуда Андерсона «отдельные фрагменты складываются... в цельную картину», я перестаю понимать слово «картина». Ведь образ, как нас учили,— это нечто живое и выразительное, воздействующее на читателя цельно, в самом деле как картина, а картина, словесная картина, поддается в свою очередь цельно-мгновенному восприятию. Так какой же это у Генри Джеймса «образ пустоты», если я вынужден тащиться по страницам его романов с усилием, следя за поворотами изысканно-оговорочной речи? Разве получилась у Шервуда Андерсона картина, если, кончая читать сборник его рассказов «Уайнсбург, Огайо», я забываю, с чего он начался? А если Джозефу Конраду удалось, как считает Н. Анастасьев, совершенно неясное сделать картинно-образно ясным, то почему же мне и Джозефа Конрада приходится читать с усилием? В фолкнеровских романах Н. Анастасьеву многое представляется видимым, слышимым, а я что-то ничего, читая те же романы, не слышу, не вижу — вижу зачастую лишь нагромождение слов.

Но, может быть, у нас с Н. Анастасьевым чересчур разные критерии творческой удачи и неудачи? Едва ли... Ведь когда Н. Анастасьев восхищается, скажем, «Великим Гэтсби» Ф. Скотта Фицджеральда, я с ним полностью соглашаюсь. И со многим другим, что есть в книге Н. Анастасьева, нельзя не согласиться. Что, например, возразить ему, когда он пишет о Конраде как фигуре краеугольной, как о писателе, который первым в западной литературе сформулировал идею стоической выдержки перед лицом немыслимых обстоятельств? Об этом уже немало писали, и суждения Н. Анастасьева лишний раз подтверждают обоснованность такой оценки Конрада.

Так что же нас разделяет? Прежде всего мне кажется, это некоторая недоговоренность об употреблении слов, терминов. За употреблением таких понятий, как «образ», «картина», «характер», «сюжет» и т. п., стоит определенная традиция, и ради подлинного прояснения сложных проблем ее целесообразно придерживаться, не расширяя границы какого-либо термина до беспредельности. В данном случае это особенно необходимо потому, что модернизм, от многого отрекаясь, отказывается и от решения ряда творческих задач, обозначаемых этими самыми понятиями. Наиболее последовательные модернисты так и говорят: не ищите у нас изображения. Они отказались от изображения любого предмета, будь то «пустота» или «неясность», и преподносят нам саму пустоту, саму неясность. Нам скучно и нелегко постигать их творения? Они того и добивались! Не будем же вносить в их текст наши благие пожелания, находя образы и картины там, где их нет и не должно было быть.

Такие фигуры, как Джеймс или Конрад, стоят у истока означенного отречения. У них же мы найдем немало творчески сильного, но давайте это искать, тщательно (дело трудное!) отличая удачу от неудачи. Напомню, речь идет о крупных писателях — классиках века, их статус в современной литературе незыблем, вопрос лишь в том, чтобы определить и оценить, что же им удалось, на каком пути. Если Н. Анастасьев сам признает, что «читать книги Фолкнера трудно», то почему же не добавить — точно так же, как Джойса, сделав вывод: видимо, Фолкнер нередко шел той же дорогой, что Джойс, сохраняя не только формальную, но и позиционную зависимость от него. Да, на исходе своей жизни Фолкнер высказал ряд идей, под которыми Джойс, наверное бы, не подписался. Но позвольте мне заочно присоединиться к тем американским и японским студентам, перед которыми Фолкнер выступал и которые осаждали его вопросами о том, где в его прозе найти воплощение тех же идей. Как хорошо знает Н. Анастасьев, на подобные вопросы Фолкнер часто затруднялся ответить. А ведь без творческого воплощения любая творческая декларация, при всей ее привлекательности и самостоятельной ценности, остается декларацией. Зачем же, в самом деле, завышать значение замысла?

Терпеливо и подробно разъясняя, как, при всей их затрудненности, читать книги Фолкнера, Н. Анастасьев уходит от вопроса, почему читать трудно. Таким образом он уклоняется от проблемы, путь решения которой сам же наметил — анализ причинно-следственных связей. Вернее, он разбирает эти связи, словно чертеж; увидев в тексте как конструкции обозначенный рев моторов в романе «Пилон», он делает вывод — вот рев моторов, а я в смущении себя спрашиваю: неужели я настолько туг на ухо, чтобы книжная страница сотрясалась от самолетного гула, а я ничего бы этого не слышал?

Второе из наших существенных разногласий имеет характер не теоретический, не литературно-критический, а, скорее, тактический. Поясняю на примере. Стремясь оспорить принципы разграничения реализма и модернизма, предложенные нашим крупным философом и эстетиком Михаилом Лифшицем (1905—1983), Н. Анастасьев не столько разбирает эти принципы, сколько тревожится. Если следовать этим принципам, то реалистическое искусство современности, по словам Н. Анастасьева, «лишится» некоторых выдающихся писателей — Фолкнера или Томаса Манна. Что значит «лишится»? Давайте в самом деле проясним вопрос. Говорим ли мы о принципах, которые должны быть применены, так сказать, невзирая на лица? Или же о том, что лишь писатели, занесенные в один ряд, имеют право на наше внимание?

Цель критики — реально анализировать реальный процесс. И когда Н. Анастасьев этой цели придерживается, его книга, даже при возникающих возражениях автору, помогает понять сложный процесс, который у нас на глазах входит в историю литературы XX века.

Читатель, вероятно, уже убедился, что эта рецензия скорее полемика, чем оценка. Дело в том, что не впервые автор этой книги и автор рецензии по затронутым вопросам «сталкиваются». Но уж таковы эти вопросы — то есть живой литературный процесс, требующий полемики.

Д. УРНОВ

Издано за рубежом

СУДЬБА ПОЛЬСКОГО КРЕСТЬЯНИНА

Wiesław Myśliwski. Kamień na kamieniu. Warszawa, PIW, 1984.

Мысливский Веслав. Камень на камне. 1984.

«Написать роман — это почти что создать антологию на тему жизни, антологию, в которую все можно вместить»,— говорил В. Мысливский о своем понимании романного жанра в одном из интервью задолго до создания им романа «Камень на камне». Новый роман известного писателя как раз можно назвать антологией на тему жизни польского крестьянина на протяжении последнего полувека польской истории. В нем отразились закономерности исторического развития, рост крестьянского сознания, прочность нравственных устоев народного восприятия жизни, изменяющихся, но не отмирающих бесследно вместе с уходящим укладом жизни.

Мысливскому удалось художественно ярко воплотить в романе давно высказанные им мысли о том, что судьба польского крестьянина — «это одна из наиболее содержательных польских судеб. В ней заключен синтез классового опыта нескольких поколений крестьян, в котором аккумулировалась общезначимая жизненная мудрость. В ней содержится почти вся система проверенных опытом поколений социальных, философских ценностей, которые, перерастая свои исторические рамки, являются ценностями сегодняшнего и завтрашнего дня, являются ценностями общечеловеческими».

Историческую судьбу польского крестьянина олицетворяет в романе его главный герой, Шимон Петрушка, основательный, трудолюбивый человек, чтущий заветы отцов, уважающий хлеб, землю, мать, родину. Такой герой намечался в польской «деревенской прозе» 60—70-х гг.— в произведениях Юлиана Кавальца, Тадеуша Новака, самого В. Мысливского (в его повестях «Голый сад», переведенной на русский язык, «Дворец»).

Однако в своей новой книге Мысливский оспаривает сложившееся во многих произведениях польской деревенской прозы и в значительной части польской литературной критики представление о том,

что крестьянину присущи особая психология и особое восприятие жизни, резко отличающие его от представителей других слоев общества. Для писателя крестьяне — «такие же люди, как и мы, как другие, только живущие в определенных, социально обусловленных обстоятельствах своей среды и своей культуры...».

В романе Мысливского изображена человеческая судьба, которая, при всей ее очевидной для читателя исторической и социальной обусловленности и типичности, предстает как судьба сугубо индивидуальная. В романе нет прямого показа исторических и политических событий. Они преломлены в биографии и размышлениях главного героя, выступающего в романе и повествователем. Жизнь Шимона Петрушки мы узнаем из его воспоминаний, в которых нет хронологической последовательности. Но различные части повествования, словно камни в постройке, плотно пригнаны друг к другу. Каждая глава воспоминаний героя имеет самостоятельное значение, но в целом роман масштабен по охвату событий. Эпический размах имеют и многие сцены деревенской жизни — например, описания природы, сенокоса или покупки коня на ярмарке и т. д.

В романе «Камень на камне» проявилась характерная черта всей прозы Мысливского: действие в его произведениях происходит в сфере памяти, мысли, воображения. Внешние события служат герою лишь исходным пунктом для его рассказа о людях, о жизни, о себе. Передать содержание романа поэтому непросто. Главное в нем не историческое время, а «время сознания» героя-повествователя. Но и оно заключено не столько в непосредственных размышлениях героя, сколько растворено в его жизненных наблюдениях, в его суждениях и оценках людей и событий. А канву биографии героя можно воссоздать, вслушиваясь в его внутренний монолог.

Жизнь Шимона охватывает последние полвека истории Польши — это война, освобождение страны, рождение новой народной власти, послевоенная миграция из деревни в город. Все, что с ним случилось, герой воспринимает как естественный ход жизни. При этом герой не оценивает своей судьбы, он принимает ее как нечто данное, должное: «Не всегда человек живет так, как ему хочется, а так, как он должен». Стойкость и даже стоицизм в характере Шимона позволяют ему сносить тяжелые удары судьбы. А их выпало на его долю немало. Семь раз он был ранен, воюя в партизанском отряде, дважды чудом спасся от расстрела. Его имя «Петрушка Шимон, 23-х лет» значится вместе с другими расстрелянными крестьянами на памятнике, воздвигнутом после войны в их честь. На его глазах вешали крестьян, не сдавших немцам поставки, а его друзей-партизан погибло столько, что перечислить всех по именам — «святцев бы не хватило». Плохо одетые и вооруженные, часто голодающие, партизаны вели смертельные бои с врагом за родную землю. «И в каждом дьявол сидел, и у каждого сердце из камня»,— такими словами говорит Шимон о самоотверженности и мужестве партизан.

Часто, особенно в годы войны, Шимону приходилось лицом к лицу сталкиваться со смертью. «Не раз и не два смерть подступалась ко мне и, видать, чаще, чем к другим. Случалось, она шла за мной по пятам, а не раз и ложилась отдохнуть рядом, думала, что во сне приберет меня к себе, и не раз бывал я в ее объятьях, но никогда не хватало у нее на меня сил»,— рассказывает Шимон. Воля героя к жизни преодолевала все злосчастия. «Жить мне всегда хотелось, не умирать. Жить и жить, дальше, больше... Кто знает, может, жить — это одиннадцатая заповедь, которую бог забыл возвестить людям».

События военных лет оставили неизгладимый след в памяти народа и в памяти героя романа, который постоянно возвращается к ним мыслями. О драматических коллизиях в его жизни и его подвигах в годы войны мы узнаем не только от него самого, но и от других персонажей, которым время от времени в романе передается слово. Сам Шимон скромен, он скупо упоминает о своем участии в пропитанной компании в сентябре 1939 года: «Чего я там навоевал, всего неполных три недели, и то больше маршировали то туда, то сюда...» В партизанском отряде имя «Орел» (так прозвали Шимона) пользовалось славой и уважением. И воевал он осмысленно, воевал за то, «чтобы земля могла родить. А раз так, то это и наша война»,— говорит Шимон своему отцу, который сомневается в том, что война — это крестьянское дело. После войны Шимон-милиционер защищает народную власть, давшую крестьянам землю.

События военных лет выявили высокую нравственность, чувство солидарности жителей деревни. Забыты были многие распри и обиды. Много лет ссорился и жестоко, до полусмерти дрался из-за межи Шимон с соседями. Но именно у них укрывается Шимон, преследуемый немцами. Вместе с ним отправились в лес к партизанам трое соседских сыновей, его бывших заклятых врагов. Все они погибают, а их отец становится близким человеком Шимону и помогает ему во всем до самой своей кончины.

Жизнь Шимона после войны сложилась не очень удачно. Оставив милицию, он прозябает в канцелярии, а потом занимается только своим небольшим хозяйством. Не удалась Шимону и личная жизнь: несчастливо закончилась единственная в его жизни настоящая любовь. Он отталкивает от себя любимую, узнав, что она без его ведома избавилась от ребенка.

Но невзгоды не сломили его. Истоки душевной силы и мудрости героя — в его полной сопричастности повседневной трудовой крестьянской жизни, в глубоко народном восприятии мира. Это восприятие неразрывно связано с отношением к труду как основе человеческого существования. «Труд,— говорил об этом Мысливский,— в крестьянской культуре был не только экономической категорией, но и культуросозидающей, а также моральной. В ней не было разделения на труд и культуру, на жизнь и культуру». Часто крестьянская культура отождествляется с культурой религиозной. В романе Мысливско-

го такое понимание отвергается. Шимон никогда не искал утешения в религии. «Что мне ад, когда я жил на земле»,— говорит он в споре с ксендзом, который упрекает его в богохульстве.

Невелико образование Шимона — едва наберется семь классов: «Еще в седьмом классе весной забрал меня отец навсегда из школы, он тогда начинал пахать, как раз под горку у леса, и некому было лошадь вести под уздцы, чтобы она не искривила борозды». Конечно, богатый жизненный опыт, доброе отношение к людям, к природе позволяют Шимону трезво судить об окружающем мире. Но при всей житейской мудрости Шимона его кругозор все же ограничен его биографией, характером и не должен полностью совпадать с авторской концепцией показанной действительности, которая остается в ряде случаев непроясненной. Это относится прежде всего к проблеме города и деревни. Ее касались, пожалуй, все польские писатели-«деревенщики», но мало кому из них удалось избежать известной мифологизации деревни и ее культуры, противопоставления нравственно непорочной деревни городу, развращающему попадающих в него крестьян. Есть такое противопоставление и в романе «Камень на камне». Оно проявилось и в истории старшего брата Шимона, вернувшегося из города душевнобольным, и в судьбах двух других братьев, изредка и неохотно посещающих родной дом («словно начальству пишешь, а не своим братьям»,— говорит Шимон), да и в катастрофе, постигшей Шимона. Его воз со снопами пшеницы попал под колеса машины, мчавшейся по шоссе. Это шоссе пролегло через деревню, и на нем то и дело кого-нибудь сбивают машины — Матея, Почейку. У Касперского в избе печь рухнула от этих машин, машины переехали собаку, теленка, подавили кур. «Нет уже покоя в нашей деревне,— размышляет Шимон.— Только эти машины, машины, машины. Словно лишь для них построили дорогу, а о людях забыли. А разве одни машины живут на этом свете? Может, придет время, когда не будет людей, а только машины... Сегодня тот, кто ходит на своих ногах, только мешает этим машинам и на дороге, и вообще на свете».

В заключающем роман монологе Шимона — средоточие его позиции защитника основных жизненных ценностей, священных понятий, существующих в каждом языке. «Мать, дом, земля. Например, земля. Знаешь, что такое земля?.. Землю и крот роет, в землю деревья уходят корнями, в ней роют окопы в войну. Из земли бьют родники, и человеческий пот впитывается в землю. И на этой земле, а не какой-нибудь другой, родится каждый человек. И когда уходит из дому, всегда берет с собой в узелке горсть родной земли...»

Большим достоинством романа является умелое использование писателем в повествовании Шимона образного и точного народного языка. «Мне кажется,— замечал Мысливский,— что крестьянский язык — это спасительный источник для польской литературы», и обращение писателя к глубинным слоям выразительного языка народа позволяет ему, избегая штампов либо нарочитой стилизации под крестьянский диалект (что нередко бывает в «деревенской прозе»), правдиво передать всю многокрасочность крестьянской жизни и духовного мира ее героев.

В. ХОРЕВ

СЕРЬЕЗНА ЛИ «СЕРЬЕЗНАЯ ЛИТЕРАТУРА»?

David Wheldon. The Viaduct. London, The Bodley Head, 1982.

Дэвид Уэлдон. Виадук. 1982.

Одним из признаков нынешней западной «экспериментальной» прозы выступает ее... вторичность. Утверждение, на первый взгляд, парадоксальное, но вполне логично вытекающее из некоторых законов и свойств «авангардного» литературного мышления последних десятилетий. В самом деле, новеллы, романы, полемизирующие с канонами прозы, отражающей реальность «в формах самой жизни», строятся, как правило, на достаточно разветвленной системе аллюзий — литературных, исторических, философских,— и обретают право на существование во многом благодаря взаимодействию с подобными «источниками питания». Тогда-то и возникает тот самый контекст, в котором все повествовательные компоненты обретают содержательность и смысл (или, во всяком случае, самую двусмысленность, над которой охотно размышляют интерпретаторы). Попытки же «непосвященного читателя» наладить контакт с произведением такого типа через соотнесение его с непосредственной реальностью (или личным опытом) обычно приводят к тому, что текст предстает «темным» и лишенным значения.

«Виадук»— роман-дебют англичанина Дэвида Уэлдона — отражает неплохое знакомство автора с творчеством Кафки, Беккета, Камю. Поступки персонажей романа, их взаимоотношения значимы не сами по себе, но лишь в той степени, в какой выступают символическим отображением более общих ситуаций и конфликтов, в своей совокупности складываясь в притчу, иносказание, метафору.

Возникающий на первой же странице образ гигантского виадука, железнодорожного моста, нависшего над долиной и подавляющего своими габаритами безымянный маленький городок, придает повествованию необходимую иносказательность. И отнюдь не случайным кажется замечание повествователя, что церковь (символ «гуманистических ценностей»), ранее доминировавшая над городским ландшафтом, кажется крошечной на фоне этого исполина. Впрочем, если технологическая цивилизация и взяла верх, то победа эта явно пиррова. Железная дорога теперь бездействует, точнее, используется отнюдь не по назначению. Поезда больше не ходят (почему, что случилось? — хочется спросить, но язык не поворачивается: роман-то интеллектуальный, философский и аллегорический, и подобным наивным «почему?» в нем места нет), а по заброшен-

ным путям семьями или в одиночку бредут странники — бредут наугад, без определенной цели. Быть все время в пути для них — цель и способ существования.

К этому загадочному людскому потоку присоединяется и главный герой. В начале романа он выходит на свободу, отбыв тюремное заключение за «подстрекательство к бунту» (если верить официальному обвинению) или (если верить ему самому) за то, что «отличался от остальных». Итак, неординарная личность в мире ординарности и заурядности...

Тема скитаний, странствий для английской литературы не нова и в свое время (еще в XVII, XVIII вв.) тесно связывалась с поисками истины, самоутверждением личности, ее движением вперед — к новому знанию, новому духовному опыту. Не удивительно, что понятия «путь», «движение» нередко передавались знаменательным словом «progress» (как, например, в классическом произведении Джона Бэньяна «Путь странника»). В мире Уэлдона поступательное движение — невозможность, миф, подвергающийся решительному разоблачению. Не более значимы понятия «истина», «смысл жизни». Духовные и нравственные ценности словно напрочь изгнаны из этого мира, а в образовавшийся вакуум вторгается Его Величество Абсурд, существующий в романе как бы в двух ипостасях. С одной стороны, нелеп и призрачен образ жизни городов и селений, раскинувшихся вдоль железной дороги и явно призванных воплощать пресловутое «организованное общество», оно же царство серости, мещанства, подавляющее всякое проявление личностного (творческого) начала и т. д. и т. п. Не менее абсурдны и скитания «паломников». Эти люди, блуждающие «из ниоткуда в никуда» — олицетворение того самого отчуждения, на которое, по Уэлдону (и по канонам «серьезно-абсурдной» литературы), обречен человек XX столетия. Эти новейшие пилигримы чужды и «организованному обществу», и друг другу (их контакты мимолетны и случайны), да и по отношению к самим себе (они «полые люди», если вспомнить элиотовскую формулу). Автоматизм функционирования «организованного общества» и лишенные внутреннего оправдания скитания странников в своей совокупности создают образ умирающей цивилизации.

В какой-то момент герой (его зовут Александр, но полное имя появляется лишь однажды, в остальных случаях он обозначен как А.— то ли перекличка с «Процессом» Кафки, то ли намек на анонимность, «неиндивидуальность» персонажа) решает прекратить свое бесконечное блуждание и остаться в одном из городков, где люди вроде бы отзывчивее, чем в других, но в конце концов приходит к выводу... К какому, угадать нетрудно: он понимает, что «осесть» — это значит лишь сменить один вид несвободы на другой, а стало быть, лучше ничего не менять и продолжать отбывать «свой срок» (по Уэлдону, все без исключения «отбывают срок», томятся в плену у абсурда) в скитаниях.

Вполне закономерный финал: А. возвращается в тот город, из которого в свое время бежал. Его арестовывают. Выясняется, что за время его отсутствия по его делу прошел новый процесс (перекличка с известным романом Кафки и здесь совершенно отчетлива), закончившийся вынесением смертного приговора (вопросы «за что?», «почему?» задавать, напомним, не приходится), каковой и приводится в исполнение. Все в этом мире обречены и приговорены. Такова мораль романа-аллегории «Виадук», в котором нашли отражение многие весьма характерные явления современной действительности Запада, но — важное дополнение — отразились в мистифицированном виде. Вслед за многими своими коллегами по перу отметив распад тех нравственных и духовных ориентиров, что издавна определяли содержание западной культуры, Уэлдон ничего не прибавляет к старой теме тотального абсурда и отчуждения, выдаваемых за норму и универсальный закон для любого современного человеческого сообщества.

Роман написан «по всем правилам», автор уже получил достаточно престижную премию, ежегодно присуждаемую ведущими книгоиздательскими организациями Великобритании за лучший дебют. Получил, так сказать, в виде поощрения за «новаторство», за правильно избранный путь.

Любопытно, впрочем, другое. Умение убедительно живописать негативность окружающего мира (свысока третируя и «сытого обывателя» с его апатией и безразличием ко всему, кроме собственного мирка, и «наивных идеалистов», то бишь тех, кто, не поддаваясь модным апокалипсическим настроениям, все еще надеется изменить и улучшить мир) и тем самым обеспечивать вполне комфортабельную «позитивность» собственного существования — традиция более давняя, чем литература «трагического абсурда». Впрочем, «трагедия» теперь приобрела специфический облик. Трагизм и отчаяние «в рабочие часы», например, за писательским столом, а на досуге вполне заурядный гедонизм — явление достаточно характерное для культурной ситуации, отмеченной нарастающей профессионализацией тех сфер деятельности человека, которые по сути своей профессионализации чужды.

О штампах массовой литературы говорилось и писалось предостаточно. Куда меньше внимания обращается на прогрессирующую несерьезность так называемой «серьезной литературы», превращающейся в предмет увлекательной игры между автором и интерпретатором (критиком, литературоведом) и оставляющей не у дел «просто читателя». Массовую литературу критикуют за то, что она изготовляется почти промышленным способом и главной целью имеет получение максимальной прибыли. Увы, нечто подобное, судя по всему, происходит и в области «серьезной литературы», которая также превращается в своеобразный ширпотреб.

СЕРГЕЙ БЕЛОВ

◆

Из месяца в месяц

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ОТ ИРВИНГА ДО ОЛИВЬЕ

На родине Шекспира театр всегда пользовался заслуженной популярностью, и поэтому неудивительно, что книга Майкла Сандерсона «От Ирвинга до Оливье», недавно вышедшая в издательстве «Эфлон пресс», сразу вызвала большой интерес. Эта книга отличается от многих других исследований, посвященных театру. Подзаголовок ее гласит: «Социальная история актерской профессии 1880—1983». Автора интересовало все: социальное происхождение актеров, размер их жалованья, положение в обществе. Его интересовало также, какие привилегии давала им известность, как актеры отнеслись к сильной конкуренции кинематографа, а впоследствии и телевидения. Подробно рассказывает он и о появлении первых актерских профессиональных организаций, крупнейшей из которых ныне является созданный в 1929 году профсоюз актеров Великобритании «Эквити».

Конечно, много изменений произошло в судьбе актеров за сто лет. Актерское сословие, признанное и уважаемое, давно не ставится ниже других профессий, труд артистов отмечается высокими наградами: например, одному из выдающихся актеров современности Лоренсу Оливье был пожалован титул пэра и королевский орден «За заслуги». Большое внимание уделяется и профессиональной подготовке актеров: еще в 1904 году была создана Королевская академия драматического искусства, которая, кстати, многим обязана Бернарду Шоу. Одно время он даже читал там курс «Основы политической экономии для актеров». В университетах Бристоля, Бирмингема, Манчестера и некоторых других имеются факультеты драмы. Но, по горькому замечанию Сандерсона, современный актер — даже талантливый, прекрасно образованный и преданный искусству — в девяти случаях из десяти остается без работы. Тревожит и то, что если в начале 50-х годов безработица среди актеров составляла 30—40%, то к концу 70-х она возросла до 80%. Хотя, разумеется, заработная плата тех, кто имеет работу, несомненно, больше, чем сто лет назад.

Богатый фактический материал, обширная библиография и комментарии позволили театральному критику лондонской «Файнэншл таймс» Майклу Ковени рекомендовать эту книгу не только будущим актерам, но и всем любителям театра.

ГДР

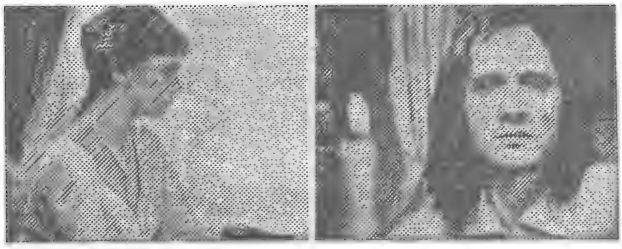
ФИЛЬМ О ФРИДРИХЕ ГЁЛЬДЕРЛИНЕ

Творчество выдающегося немецкого поэта-романтика Фридриха Гёльдерлина (1770—1843) в последнее время привлекает внимание не только писателей и литературоведов, но и кинематографистов. На студии ДЕФА режиссер Герман Цшохе снимает фильм по сценарию Кристы Коцик «На полпути» (так называется известное стихотворение поэта).

В фильме рассказывается о любви Гёльдерлина и Сюзетты Гонтар, жены франкфуртского банкира Якоба Гонтара, в доме которого поэт одно время служил воспитателем. Вынужденная разлука с возлюбленной, воспетой Гёльдерлином под именем Диотимы, и ее гибель сыграли роковую роль в его жизни. Узнав в 1802 году о смерти Сюзетты, он впервые испытал приступ неизлечимой душевной болезни, терзавшей его вплоть до смерти.

На снимке: Енни Грельман в роли Сюзетты Гонтар, Ульрих Мюэ в роли Фридриха Гёльдерлина.

(Журнал «Фильмшпигель»)



Создатели фильма, действие которого разворачивается с 1796 по 1806 год, решили показать историю трагической любви поэта-романтика на фоне бурных событий, происходивших в Европе на рубеже XVIII и XIX веков. Личная драма Гёльдерлина совпала с трагическим исходом Великой французской революции, оказавшей столь сильное влияние на немецких романтиков, с крахом представлений поэта о добре и справедливости.

В основу сценария легли воспоминания современников Гёльдерлина, его произведения и переписка с Сюзеттой Гонтар. «Для нас было очень важно донести до зрителя всю красоту языка поэта, способную взволновать даже тех, кто, быть может, никогда не интересовался поэзией и мало что знает о творчестве и судьбе Гёльдерлина,— сказала автор сценария картины Криста Коцик в интервью журналу «Фильмшпигель». — Наш фильм не будет элитарным, он обращен к самому широкому кругу зрителей.

«На полпути» — это название мы выбрали не случайно, — отмечает Криста Коцик. — Для нас это метафора, обозначающая нереализованность удивительных возможностей поэта, всегда стремившегося к цельности и гармонии. В названии фильма заключен и другой смысл. Именно на середине жизни прервалась творческая деятельность поэта. В 36 лет он попал в клинику для душевнобольных, и здесь мы заканчиваем наше повествование. Гёльдерлин дожил до старости, но все последние годы сознание к нему не возвращалось».

ПОВЕСТЬ СОРБСКОГО ПИСАТЕЛЯ

Издательство «Миттельдойчер ферлаг» выпустило повесть известного сорбского писателя Юрия Коха (см. «ИЛ», 1980, № 11) «Вишневое дерево».

Это рассказ о взаимоотношениях трех героев — Зны, Маттиаса и Зигхарта, рассказ о двух разных мирах: несколько архаичном, романтичном мире сорбского хутора, где перед домом растет вишневое дерево, на крыше дома — гнездо аиста, а на лугу пасутся лошади, и о современном рациональном мире техники, машин, автомобилей, телевизоров...

Писатель вводит в повествование фигуры сорбской мифологии: богиню жизни Зиву, свадебного духа Брашку, водяного. Активно вторгается в действие и призрак погибшего от несчастного случая Маттиаса.

В интервью еженедельнику «Зоннтаг» Юрий Кох подчеркнул, что, несмотря на трагический конец повести, «Вишневое дерево» нельзя считать пессимистическим произведением. «Моя повесть построена на символах, — сказал писатель.— Умирают герои, но снова расцветает вишневое дерево, которое все считали погибшим, жизнь продолжается...»

Критики пишут о Юрии Кохе как о «типичном сорбском писателе», чье творчество тесно связано с фольклором, сказаниями и сагами народности, к которой он принадлежит. «Как и в других его произведениях, в новой повести «Вишневое дерево» причудливо переплетается реальное с фантастическим, жизнь и сказка», — отмечает рецензент газеты «Нойес Дойчланд».

«Может быть, не во всем можно согласиться с писателем в чрезмерной идеализации патриархальной жизни, далекой от техники и цивилизации, — пишет газета «Берлинер цайтунг». — Но нельзя не восхищаться этой очень поэтичной книгой, написанной ярким, красочным и вместе с тем простым языком».

ГРЕЦИЯ

МОЛОДЕЖИ — О РИЦОСЕ

Издательство Центрального Совета КНЭ (Коммунистической Молодежи Греции) «Одигитис» выпустило в свет монографию «Листая Рицоса» известного филолога Эвтихии Кариди. В книге предпринята попытка в доступной форме рассказать ученикам старших классов, студентам, молодым рабочим о сложном и многомерном творчестве замечательного поэта Янниса Рицоса, лауреата международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами».

Э. Кариди анализирует основные поэтические сборники Я. Рицоса и наиболее значительные поэмы всех периодов его творчества — «Песнь моей сестре», «Поэма последнего века до Рождества Человека», «Греция», «Хозяйка Виноградников», «Кварталы мира», «Лунная соната», «Чудовищный шедевр» и др. Большое внимание автор монографии уделяет и жизненному пути Я. Рицоса. Ведь драматическая биография поэта — это сама жизнь многострадальной Греции: войны, диктатуры, концлагеря, лишения, страдания, борьба.

В книге «Листая Рицоса» молодому читателю предлагается обстоятельный литературоведческий анализ стихов, которые запрещали в мрачные годы диктатур и демонстративно сжигали на афинских площадях, стихов, созданных за колючей проволокой концлагерей. Наряду с «ангажированной» поэзией яркого социального звучания Э. Кариди рассматривает произведения, в которых ощутимо влияние греческой фольклорной традиции (поэмы «Эпитафии», «Гибель Милоса»), поэмы и стихи, отмеченные смелыми поисками новых форм, нового поэтического языка (сборники «Заметки на полях времени», «Свидетельства», «Любовное»). Вниманию читателя предлагается также анализ так называемых «мифологических» поэм Я. Рицоса — больших философских полотен, в которых обобщается социальный опыт народа, ставится проблема личной и общественной ответственности за жизненный выбор («Филоктет», «Орест», «Исмена», «Федра»). Как отмечает Э. Кариди, в этих поэмах древнегреческая мифология и античная история насквозь пронизаны современностью. Автор уверенно, со знанием дела ведет молодого читателя по безбрежному океану творчества Я. Рицоса, легко оперируя огромнейшим материалом. А это задача не из легких. Ведь Я. Рицос за 50 лет работы в литературе издал более ста книг: поэтические сборники, поэмы, пьесы, повести, эссе, переводы.

В главе «На родине пролетариев» автор монографии рассказывает греческому читателю о поездках Я. Рицоса в СССР, о советской теме в его творчестве, о работе поэта над переводами русских народных песен, произведений В. Маяковского, А. Блока, С. Есенина, И. Эренбурга, о его большой и многогранной деятельности на посту президента греко-советского Общества дружбы.

ИНДИЯ

ДЕТЕКТИВ ИЛИ СОЦИАЛЬНЫЙ РОМАН?

«Можно ли, используя приемы детектива, создать произведение, рисующее широкое полотно современного общества?» — такими словами начинается рецензия Аравинда Кумара Рая, опубликованная на страницах газеты «Джан юг». Рецензия посвящена разбору нового, только что появившегося романа «Пешки, ферзи, короли», принадлежащего перу известного прозаика, пишущего на хинди, Рамаканта. Рамакант не новичок в литературе: в молодости он писал стихи, выпустил несколько сборников рассказов, а в последние годы перешел к более объемным жанрам — повести и роману. Его повести «Миниатюрные войны», «Третья страна» стали заметными явлениями в литературе хинди последних лет.

Действие романа развертывается в Калькутте. В центре повествования судьба деревенского подростка по имени Шиталь, который, спасаясь от произвола местного заминдара, бежит в город, где, не найдя работы, попадает в банду и вскоре оказывается за решеткой. Из ворот тюрьмы он выходит уже преступником. Однако в сложной игре воротил преступного мира он всего лишь пешка.

Перед читателями проходит целая галерея образов или, как пишет рецензент, «микрокосм современной индийской действительности, которую писатель знает совсем не по книжкам».

Автор рецензии так оценивает в целом новое произведение Раманканта: «Исследуя в романе социальные основы преступности, писатель стремится показать механизм той системы, которая гонит человека из деревни в город и вынуждает его становиться преступником».

И, отвечая на вопрос, поставленный вначале, рецензент пишет, что, используя технику детектива, автору удалось создать яркий социальный роман, показывающий современную индийскую действительность такой, какая она есть.

«Вероятно, это первая в литературе хинди попытка подобного рода, — пишет в заключение рецензент, — и именно благодаря этому ее можно назвать смелым экспериментом, открывающим новые возможности старого жанра».

ИРЛАНДИЯ

«ЛЮБОВЬ К ИРЛАНДИИ»

Под таким общим заглавием по ирландскому и британскому телевидению демонстрируется серия фильмов, снятых по известным произведениям ирландских прозаиков — Джеймса Джойса, Джеймса Планкета, Эдны О'Брайен, Шона О'Фаолейна, Уильяма Тревора.

Многие фильмы представляют собой экранизацию рассказов; именно в этом жанре, замечает рецензент журнала «Лиснер» Джон Дагдейл, ирландские писатели добились значительных успехов. Особенно большой резонанс получил телефильм «Несчастный случай», снятый по одноименному рассказу Джеймса Джойса.

Рассказы из сборника Джойса «Дублинцы», пишет критик, не раз экранизировались. Однако фильмы, снятые в 70-е годы по рассказам «Сестры», «Земля», «Милость божия», не оказались удачными. Психологическая проза Джойса плохо поддается переводу на язык кинематографа.

Иную оценку Джон Дагдейл дает работе Джона Линча, режиссера фильма «Несчастный случай». Перед Линчем, как и перед его предшественниками, замечает рецензент, стояла отнюдь не простая задача. Ведь сюжета, как такового, в рассказе нет. Замужняя женщина, миссис Синико, несчастливая в браке, влюбляется в банковского служащего мистера Даффи. Поначалу и он отвечает ей взаимностью, но потом врожденный рационализм и эгоистичность натуры берут верх: он приходит к выводу, что любая привязанность — это обуза, и рвет отношения с миссис Синико. Описанию взаимоотношений этих людей отведено, пишет рецензент, всего несколько страниц в тексте Джойса. Практически вся остальная часть рассказа — внутренний монолог мистера Даффи, его размышления о собственной правоте или, напротив, ложности поведения.

Режиссеру, пишет Джон Дагдейл, надо было проявить немалую изобретательность, чтобы «наполнить фильм фактурой». Он развил некоторые намеки, бегло намеченные сюжетные линии. Очень помогло режиссеру указание Джойса, что мистер Даффи любил музыку Моцарта. Это дало возможность создать превосходное музыкальное сопровождение к фильму. В фильме весьма ощутимы ибсеновские мотивы. Они, замечает рецензент, не имеют прямого отношения к происходящему в рассказе, скорее воскрешают мир самого Джойса, большого поклонника искусства норвежского драматурга. Со вкусом, знанием и умением воспроизведен в фильме Дублин. Причем воспроизведен исторически точно, отмечает рецензент. И все же у критика есть одна, с его точки зрения, серьезная претензия к фильму Линча: в нем «много любви к Ирландии, но недостаточно много Ирландии Джойса».

РУМЫНИЯ

КАМИЛ ПЕТРЕСКУ И КРИТИКА

В издательстве «Эминеску» в серии «Библиотека критики» вышла антология статей и рецензий, посвященных творчеству одного из крупнейших румынских писателей XX века Камила Петреску (1894—1957), автора широко известных романов «Последняя ночь любви, первая ночь войны» (переведен на русский язык), «Прокрустово ложе» и других. Издание антологии было приурочено, как отмечается в еженедельнике «Ромыния литерарэ», к 90-летию со дня рождения выдающегося писателя, поэта, драматурга.

Бо́льшая и наиболее интересная часть антологии, пишет рецензент «Ромыния литерарэ» Н. Манолеску, посвящена Петреску-романисту. Подбор статей позволяет увидеть, как по-разному воспринималось творчество писателя за последние семь десятилетий. Но на протяжении всех этих лет, подчеркивает Н. Манолеску, критика оставалась единодушной в оценке вклада художника, значительно обновившего поэтику румынского психологического романа. Еще Дж. Кэлинеску, ставя автора «Последней ночи любви, первой ночи войны» в один ряд с такими крупными прозаиками, как Л. Ребряну, Г. Пападат-Бенджеску, предсказывал, что «последующие поколения румынских романистов будут учиться романной технике у К. Петреску». Это и было подтверждено ходом литературного развития, о чем красноречиво свидетельствует и данная антология, заключает рецензент.

США

«ПУТЕШЕСТВИЕ В НИКУДА»

В нью-йоркском издательстве «Дайел пресс» вышла книга, представляющая собой синтез текстового и фотографического материала о бездомных в США. Создатели «хроники» — журналист Дэйл Маэрридж и фотограф Майкл Уильямсон, как отмечает корреспондент «Дейли уорлд» Джон Талбат, дали своей книге беспощадное название: «Путешествие в никуда». Они с полным правом употребили слово «путешествие», поскольку сами, как и их герои, отправились в мучительный путь. В поисках крова над головой ночевали в ночлежках, жили в люмпеновских джунглях. Они наблюдали, как люди устраивают свое «жилье» на ночь: кто всей семьей забирается в машину, кто в палатку, кто в пустующий сарай или гараж, а кто остается прямо на улице. Маэрридж и Уильямсон исколесили Калифорнию, а также северные города Янгстаун, Гэри и Питтсбург и города так называемого Солнечного пояса (то есть южных штатов). Собирая материал для будущей книги, авторы окунулись в мир безнадежности и голода, тревоги и опасностей.

«В условиях сегодняшней жесткой экономии, — комментирует Дж. Талбат, — прежде всего стоит вопрос о работе, а потом уже о доме и о семье». «Надежда найти работу и крышу над головой — вот что толкает и бездомные семьи, и бездомных одиночек сниматься с места и кочевать»,— пишет Джон Талбат.

Однако сплошь и рядом группы бездомных снимаются с места и устремляются туда, откуда бредут из-

можденные толпы таких же обездоленных. По поводу этой бессмысленной миграции рецензент печально шутит, что Рейган «поднял страну на ноги».

Итак, в США, в издательстве «Дайел пресс», вышла смелая и нужная книга с непретенциозным и даже поэтическим текстом, впечатляющим фотоматериалом. Маэрридж и Уильямсон, конечно же, не могли охватить все стороны явления бездомности и дать его полную картину. Но безусловно одно: документальное повествование Маэрриджа и Уильямсона, по мнению рецензента, будет нужно тем, кто сегодня включается в борьбу за перемены.

ТУНИС

ПРЕМИИ ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД АРАБСКОЙ КУЛЬТУРОЙ

Как сообщает журнал «Аль-Фикр», Арабская организация по вопросам просвещения, культуры и науки, резиденция которой находится в Тунисе, присудила премии за заслуги перед арабской культурой двум выдающимся «представителям арабской мысли»: тунисскому писателю Махмуду аль-Месади и египетскому философу Заки Нагибу Махмуду.

М. аль-Месади (род. в 1911 г.) является одним из основоположников новой тунисской литературы. Ему принадлежат философская пьеса «Плотина» (написана в 1940 г., впервые опубликована в 1955 г.), повесть «Рождение забвения» и другие произведения. Некоторое время он занимал пост министра просвещения.

З. Н. Махмуд — виднейший египетский философ, основоположник школы «логического позитивизма» на Арабском Востоке. Кроме многочисленных философских работ им написана автобиографическая повесть «История души» и ряд публицистических произведений.

ФРАНЦИЯ

К СТОЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ ПИСАТЕЛЯ-КОММУНАРА

«Юманите» опубликовала большую статью, посвященную памяти писателя, видного деятеля Парижской коммуны Жюля Валлеса.

Жюль Валлес начал свою деятельность как публицист. Газеты с язвительными памфлетами Валлеса были нарасхват. Бесстрашный журналист не раз подвергался жестоким гонениям. Издаваемые им газеты «Улица», «Народ», «Непокорный» были запрещены цензурой. Четыре раза Валлеса бросали в тюрьму.

После провозглашения Парижской коммуны Валлес избирается в ее руководящие органы, редактирует пользующуюся большой популярностью газету «Крик народа». Когда коммуна была подавлена, Валлес, приговоренный к смертной казни, эмигрирует в Лондон, здесь он создает автобиографическую трилогию «Жан Венгтрас», которую вынужден публиковать под псевдонимом. На родину писатель смог вернуться лишь в 1880 году, после амнистии коммунаров, всего лишь за пять лет до своей смерти. 80 тысяч парижан проводили в последний путь неутомимого борца за свободу и социальную справедливость.

В нынешнем году исполняется 100 лет со дня смерти писателя-коммунара. По инициативе Ассоциации друзей Жюля Валлеса во французской столице была развернута большая выставка, состоялся международный литературный коллоквиум на тему: «Жюль Валлес: журналист, хроникер, романист».

К 40-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ НАД ФАШИЗМОМ

В Париже вышла книга «Воззвания к немцам. 1940—1945 гг. Т. Манн».

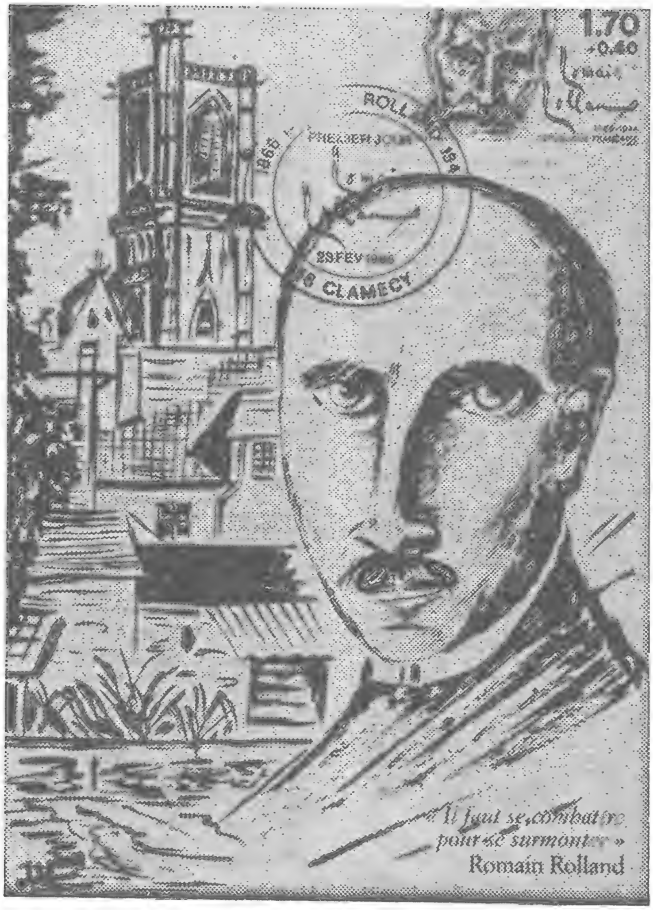
Переиздания этой книги ждали с 1948 года. В ней собраны речи, с которыми Нобелевский лауреат 1929 года, автор «Смерти в Венеции», один из величайших писателей XX века Томас Манн обращался в годы войны к своим соотечественникам-немцам из Лондона.

Пламенные речи Т. Манна были подобны факелам, которым писатель пытался зажечь души соотечественников в Германии, обращаясь к ним из-за Ла-Манша, а потом из-за океана, когда покинул «идеалистку Европу» и стал американским гражданином.

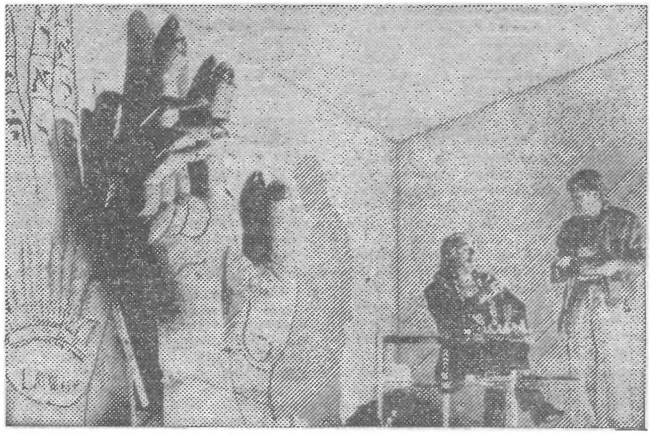
Томас Манн «через голову дьявола» пытался достучаться до сердца и разума немецкого народа, призывая Германию собраться с силами и вырваться из кошмара, в который вверг страну Гитлер.

Книга «Воззвания к немцам...» — документ высокой

Почтовая открытка и марка, выпущенные в ознаменование сорокалетия со дня смерти Ромена Роллана.



литературной публицистики, который напомнит народам Европы о трагических и героических событиях второй мировой войны.



На снимке: сцена из спектакля «Парк» в мюнхенском театре «Каммершпиле».

(Журнал «Шпигель»)

ФРГ

НОВАЯ ПЬЕСА БОТО ШТРАУСА

В старом, запущенном, захламленном парке появляются двое необычных посетителей. Это Оберон и Титания, король и королева эльфов из шекспировской комедии «Сон в летнюю ночь», те самые, что помогли когда-то соединиться влюбленным парам, Лизандру с Гермией и Деметрию с Еленой. Теперь они решили помочь современным немцам, Георгу с Элен и Вольфу с Хельмой, этим заурядным, ко всему на свете равнодушным молодым людям, у которых в обиходе одни и те же расхожие фразы, идет ли речь о любви или о биржевых акциях. Волшебника Оберона пугает их неспособность к глубоким чувствам, к подлинному общению. «Их чувства по сравнению с нашими — все равно что вот эта ящерица по сравнению с драконом. И чувства эти могут совсем захиреть, даже угаснуть, если мы не вдохнем в них новую страсть». Оберон хочет «духовно раскрепостить этих жалких калек», этих «тупиц с износившимися чувствами». Помочь ему в этом, кроме Титании, должен слуга Пэк, который появляется здесь в облике художника Киприана.

Так начинается новая пьеса известного западногерманского драматурга Бото Штрауса «Парк», постановку которой одновременно осуществили мюнхенский театр «Каммершпиле» и западноберлинский «Шаубюне». Парк в пьесе — «последнее прибежище романтики и снов наяву», — пишет в в швейцарском еженедельнике «Вельтвохе» критик Вольфрам Кнорр. Пусть он запущен и захламлен — все равно это «волшебный сад», где можно «вспомнить о былых ценностях».

Но ни Георг с Элен, ни Вольф с Хельмой уже не способны ощутить никакого волшебства, «Миссия Оберона терпит провал», — пишет рецензент журнала «Шпигель» Урс Йенни. Оба помощника предают его. Художник Киприан приспосабливается к спросу, начинает бойко торговать своими магическими амулетами и, как замечает Вольфрам Кнорр, «сам поддается магии погони за деньгами». Титания, вместо того чтобы «вдохнуть в людей божественную страсть», сама оказывается во власти низкой похоти. Оба терпят жестокое поражение. Но и Оберон капитулирует. Он отказывается от своих намерений и решает остаться среди людей, стать одним из них, таким, «как все», незаметным, заурядным.

К финалу парк «очищен» от всех таинственных, волшебных сил. Он вновь становится прибежищем пьяниц, праздных юнцов да любителей бега трусцой. «Поражение богов, поражение художника, поражение человека — так можно было бы определить тему пьесы», — пишет в «Шпигеле» Урс Йенни. Но при всем при том перед нами — «светлая, умная, веселая комедия». Она сразу снискала успех у зрителей. Во многом этому способствовало мастерство постановщиков Дитера Дорна в Мюнхене и Петера Штайна в Западном Берлине. Кроме них еще семнадцать западногерманских театров заявили о своем намерении поставить пьесу. Вольфрам Кнорр считает, что в этом отчасти проявляется распространенный ныне интерес к «мифическому».

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ИХ ХОТЕЛИ ЛИШИТЬ РОДИНЫ

Среди новых фильмов, выпущенных в ЧССР в год 40-летия освобождения стра-

Народный артист СССР Олег Табаков и Мирослава Соучкова в главных ролях нового чехословацко-польского фильма «Кукушка в темном лесу».

(Газета «Руде право»)

ны от фашистской оккупации, большой интерес публики вызвала последняя картина режиссера Антонина Москалика по сценарию Владимира Кёрнера «Кукушка в темном лесу» (совместного чехословацко-польского производства).

Этим фильмом В. Кёрнер продолжает свою основную тему — обличение фашизма («Осколки в траве», «Гибель хутора Бергхоф» и др.). На этот раз он обращается к проводившейся гитлеровской Германией практике насильственного «окемечивания» физически здоровых, соответствовавших арийскому типу детей других национальностей.

Одной из жертв такого духовного порабощения становится и маленькая героиня фильма — девочка из чешской деревни Эмилька. Она была взята на «перевоспитание» эсэсовским офицером, комендантом концлагеря Отто Кукуком (фамилия Кукук в переводе на русский означает «кукушка»).

Отто Кукук — палач и садист — относится к своей приемной дочери необычайно ласково, добиваясь, чтобы она его полюбила, как родного отца. При этом он даже не особенно лицемерит. Ребенка он купил. Теперь это его вещь, и вполне естественно, что он хорошо относится к тому, что составляет его собственность. А кроме того, его увлекает задача — Эмилька должна привязаться к нему, полюбить его.

В значительной степени это ему удается. И только оказавшись случайно свидетельницей «работы» своего приемного отца, Эмилька прозревает, пережив глубокое духовное потрясение.

Чехословацкая печать высоко оценивает значение фильма, который не только показал подлинный облик фашистских извергов, но раскрыл и некоторые социальные и психологические факторы, способствовавшие превращению людей в чудовищ в человеческом облике. Как указывает газета «Руде право», убедительность и глубина воздействия фильма на зрителя во многом определились игрой исполнителя главной роли — народного артиста СССР Олега Табакова.

Фильм «Кукушка в темном лесу» получил одну из трех главных премий на фестивале чешских и словацких фильмов 1985 года.

ШВЕЦИЯ

«ИЗБРАННЫЕ СТИХИ» МАЯКОВСКОГО НА ШВЕДСКОМ

Творчество Владимира Маяковского хорошо известно шведскому читателю. Его стихи, фрагменты из поэм выходили в переводах известных поэтов Бенгта Янгфельдта и Гуннара Хардинга.

Сейчас в Швеции вышел однотомник «Избранных стихов» Маяковского в переводе Олы Пальмера.

Рецензент журнала «Букревю» Ирэна Сеттерберг пишет: «Впервые на шведском языке прозвучали поэмы «Про это», «Хорошо!», статья «Как делать стихи» и многие другие произведения. И хотя не все переводы одинаково удачны — некоторым из них свойственна тяжеловесность, «постаментность» — ведь Маяковский вообще очень труден для переложения в иную языковую и поэтическую стихию,— в целом однотомник «Избранных стихов» открывает новую страницу в истории шведско-русских литературных связей».

◆

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
О. С. ВАСИЛЬЕВ (зам. главного редактора), **Л. А. ГВИШИАНИ-КОСЫГИНА**, **Ю. В. ДАШКЕВИЧ**, **Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ**, **Г. П. ЗЛОБИН**, **И. Ф. ЗОРИНА**, **Т. П. КАРПОВА**, **Е. Ф. КНИПОВИЧ**, **А. А. КОСОРУКОВ**, **Т. Л. МОТЫЛЕВА**, **П. В. ПАЛИЕВСКИЙ**, **А. Н. СЛОВЕСНЫЙ**, **Е. В. СТОЯНОВСКАЯ**, **М. Г. ФЕДОРОВ** (отв. секретарь), **К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **Л. З. ЭЙДЛИН**.

Художественный редактор **Е. Н. Черняев**. Технический редактор **Е. П. Поляков**.

Адрес редакции: 109017. Москва, Пятницкая ул., д. 41, телефон 233-51-47.

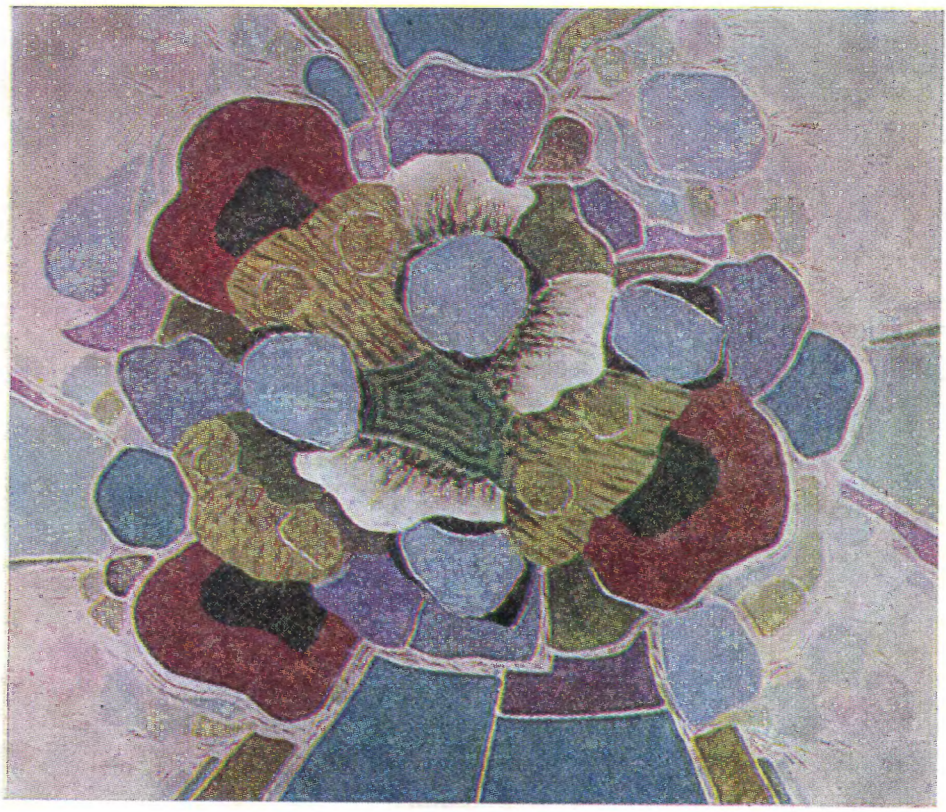
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 01.07.85. Подписано в печать 09.08.85. А 07262. Формат 70×108 1/16.
Печать высокая 22,4 усл. п. л., уч.-изд. л. 26,409.

Тираж 410 000 экз. Зак. 2470.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.



ИОН ГЕОРГИУ «Висячий сад».

Цена 1 руб. 80 коп. ИНДЕКС 70394

К НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ

В 1986 году редакция предполагает опубликовать следующие произведения:

КОБО АБЭ (Япония)
Вошедшие в ковчег

ДИТЕР ВЕЛЛЕРСХОФ (ФРГ)
Победителю достается все

КУРТ ВОННЕГУТ (США)
Малый не промах

ВЛАДИМИР ГОЛЕВ (Болгария)
Все сначала

ГРЭМ ГРИН (Великобритания)
Мое знакомство с генералом

ЯН КОЗАК (Чехословакия)
Адам и Ева

НАНТАС САЛЬВАЛАДЖО (Италия)
Акробат

НАТАЛИ САРРОТ (Франция)
Детство

ОСВАЛЬДО СОРИАНО (Аргентина)
Не будет больше ни горя, ни забвения

РОБЕРТ СТОУН (США)
Флаг на заре